

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Лешков В. Н.	Соловьев В. С.
Св. Нил Сорский	Погодин М. П.	Бердяев Н. А.
Св. Иосиф Волоцкий	Беляев И. Д.	Булгаков С. Н.
Иван Грозный	Филиппов Т. И.	Хомяков Д. А.
«Домострой»	Гиляров-Платонов Н. П.	Шарапов С. Ф.
Посошков И. Т.	Страхов Н. Н.	Щербатов А. Г.
Ломоносов М. В.	Данилевский Н. Я.	Розанов В. В.
Болотов А. Т.	Достоевский Ф. М.	Флоровский Г. В.
Пушкин А. С.	Одоевский В. Ф.	Ильин И. А.
Гоголь Н. В.	Григорьев А. А.	Нилус С. А.
Тютчев Ф. И.	Мещерский В. П.	Меньшиков М. О.
Св. Серафим Саровский	Катков М. Н.	Митр. Антоний Храповицкий
Муравьев А. Н.	Леонтьев К. Н.	Поселянин Е. Н.
Киреевский И. В.	Победоносцев К. П.	Солоневич И. Л.
Хомяков А. С.	Фадеев Р. А.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Аксаков И. С.	Киреев А. А.	Башилов Б.
Аксаков К. С.	Черняев М. Г.	Концевич И. М.
Самарин Ю. Ф.	Ламанский В. И.	Зеньковский В. В.
Валуев Д. А.	Астафьев П. Е.	Митр. Иоанн (Снычев)
Черкасский В. А.	Св. Иоанн Кронштадтский	Белов В. И.
Гильфердинг А. Ф.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Распутин В. Г.
Кошелев А. И.	Тихомиров Л. А.	Шафаревич И. Р.
Кавелин К. Д.		

АЛЕКСАНДР ГИЛЬФЕРДИНГ

**РОССИЯ
И СЛАВЯНСТВО**

**МОСКВА
Институт русской цивилизации
2009**

Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство / Сост.: Лебедев С. В. / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2009. — 496 с.

Впервые после 1917 г. публикуются идеологические труды выдающегося русского мыслителя-славянофила, историка, собирателя русских былин Александра Федоровича Гильфердинга (1831—1872). Взгляды его сложились под влиянием великих славянофилов А. С. Хомякова и Д. А. Валуева. В работах, посвященных славянской истории, Гильфердинг показывает характер отношений славян и западных колонизаторов. В своих исследованиях он развеивает миф о просветительской деятельности немецких католических орденов, рисует объективную картину онемечивания и порабощения славянских народов. В трагическом столкновении славян и Запада спасительная роль принадлежит России, которая сохранила славянские народы от их уничтожения «культурными нациями» Запада. Большинство сочинений Гильфердинга развивают идеи славянофильского учения.

ISBN 978-5-902725-41-1

© Институт русской цивилизации, 2009.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Александр Федорович Гильфердинг был одним из самых замечательных русских людей XIX века. За свою короткую жизнь он много и славно потрудился на благо Российской державы, русской культуры и русского слова. Немец по происхождению, все свои силы он положил на благо России и славянства. Ученый самого широкого профиля, яркий публицист, умелый дипломат, политический и общественный деятель, руководитель петербургского Славянского Комитета, один из виднейших славянофилов, теоретик одного из самых популярных в то время идеологических направлений — панславизма, собиратель и исследователь русского фольклора, — все это Гильфердинг. Свои стихи посвящал ему Тютчев. Проникновенные слова о Гильфердинге после его безвременной кончины произнес лидер славянофилов Иван Аксаков. Трогательные некрологи после смерти Гильфердинга были опубликованы во многих газетах славянских земель.

К сожалению, это имя незнакомо большинству современников. Нельзя сказать, что в XX веке Гильфердинг был запрещен. В отличие от многих его единомышленников по славянофильскому движению Гильфердинг не был полностью вычеркнут из энциклопедий. В советское время издавались его труды по русскому фольклору, в частности собранные им 318 онежских былин. В целом Гильфердинг как ученый-славист и исследователь русского фольклора в нашей стране более или менее изучался. Но Гильфердинг как политический мыслитель совершенно неизвестен современным русским людям. Между тем многие во-

просы и проблемы, поднимаемые в статьях Александра Федоровича в позапрошлом веке, актуальны и в наши дни.

2

Родился Александр Федорович 2 (14) июля 1831 года в Варшаве, в семье директора дипломатической канцелярии при наместнике Царства Польского. 1830—1831 годы — сложное время русско-польской войны, время очередной кровавой распри славян, одного из эпизодов «домашнего старого спора». Именно славянский вопрос и станет главным в творчестве Гильфердинга.

Предки Гильфердинга приехали в Россию из Германии, из Саксонии, еще при Петре Великом. Отметим, что предки Александра Федоровича прибыли из Верхней Саксонии (не путайте с Нижней, а также Саксонией-Ангальт). Это был край, некогда заселенный полабскими славянами и покоренный силой оружия немцами в XII веке. Большинство славян Саксонии, как и всей Восточной Германии, за несколько веков угнетения совершенно онемечилось. Лишь многочисленные географические названия свидетельствуют о том, что когда-то земли восточнее реки Эльбы (по-славянски Лабы) были славянскими. Впрочем, славянское население Саксонии отчасти сохранилось и до наших дней. В окрестностях города Баутцен (Будишин) и поныне проживают остатки некогда многочисленных лужичан — последних славян края. Вероятно, предки Гильфердинга помнили свое славянское происхождение. Случайно ли Александр Гильфердинг стал одним из первых исследователей истории лужичан?

К описываемому времени Гильфердинги полностью обрусели и служили верой и правдой русским монархам. Дед, Иван Федорович, преподавал немецкий язык в Московском университете. Отец, Федор Иванович Гильфердинг, сделал блестящую административную и дипломатическую карьеру. Напомним, что до 1831 года Царство Польское (то есть собственно польские земли, присоединенные к России в 1815 году, после

победы над Наполеоном) было фактически самостоятельным государством. Царство Польское имело свой сейм (парламент), правительство, армию, денежную единицу и прочие признаки суверенитета. Единственное, что связывало Царство Польское с Российской империей, была династическая уния — самодержавный Император Всероссийский одновременно был конституционным царем польским, которого в Варшаве представлял наместник. Как видим, Гильфердинг-старший был кем-то вроде министра иностранных дел Польши. В дальнейшем он стал сенатором и занял важный пост директора Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел и архива этого министерства. Этот департамент занимался делами иностранных подданных, живущих в России, в том числе и иностранными колонистами, а также проблемами иностранной иммиграции в России. Пожалуй, больше нигде в России, кроме этого ведомства, невозможно было получить информацию о той нездоровой проблеме, которую породил приток иностранцев в Россию. Отличаясь групповой солидарностью, что вообще характерно для многих диаспор во всех странах мира, западноевропейские иммигранты, которых в России называли «немцами», сумели занять весьма влиятельное положение в российском обществе. В царствование Николая I до половины генералитета и министров были немцами. Многие влиятельнейшие министры вообще не знали русского языка, благо рабочим языком российских министерств был французский. Федор Иванович Гильфердинг-старший, будучи немцем, но также и честным чиновником, видел ненормальность этого положения. Вероятно, славянофильские взгляды его сына были заложены им именно на основании его собственного опыта, то есть опыта высокопоставленного чиновника империи.

Гильфердинг-старший, католик по вероисповеданию, воспитал сына в истинно русском духе и крестил в православии. Во многом это объяснялось близким знакомством с А. С. Хомяковым и другими славянофилами. Во время своих приездов в Москву Гильфердинг-старший непременно навещал славянофилов, обсуждал с ними стоящие перед Россией

проблемы. Несмотря на немецкое происхождение и важный пост в правительственных сферах Российской империи (а может, и благодаря этим обстоятельствам), отец Александра Федоровича критически оценивал внутреннюю и внешнюю политику страны. Забвение национальных интересов России во имя «европейских интересов», разрыв между европеизированной дворянской «публикой» и русским православным народом, инородческое, в первую очередь немецкое, засилье — все эти вопросы обсуждались славянофилами. И высокопоставленный чиновник Ф. И. Гильфердинг во многом был согласен со славянофилами. Его сын Александр Федорович, как видим, с детства был связан со славянофилами. Можно сказать, он родился славянофилом. Не приходится удивляться тому обстоятельству, что он органически вошел в их братство.

3

17-летним юношей Александр оправился из Варшавы в Москву. Он поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Впоследствии годы его учебы в университете (1848—1852) объявят «годами реакции». Но для юного Александра Гильфердинга то были годы творческого подъема и развития отечественной науки. Под непосредственным влиянием ученого И. И. Поплавского он заинтересовался историей славян. Разумеется, интерес к древней славянской истории привел его к движению за возрождение славянства.

В университете Александр вошел в кружок славянофилов и испытал особенно сильное влияние А. С. Хомякова и К. С. Аксакова. Считается, что юношеские увлечения являются самыми сильными для человека. В жизни Александра Гильфердинга именно его взгляды студенческой поры определили всю его дальнейшую деятельность. Он стал славистом в научной сфере и панславистом в области политики. Показательно также и то, что в эпоху, когда для студентов были характерны воинствующие материалистические взгляды, Гильфердинг оставался православным верующим.

В 1852 году А. Ф. Гильфердинг окончил историко-филологический факультет Московского университета. Продолжая традиции семьи Гильфердингов, полтора века служивших царю и Отечеству, Александр Федорович поступил на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. По совету Хомякова он занялся изучением санскрита.

В 1853 году А. Ф. Гильфердинг публикует свою первую работу «О сродстве языка славянского с санскритским», которая вскоре была переработана в магистерскую диссертацию «Об отношении языка славянского к родственным» и стала значительным событием в науке.

Одновременно А. Ф. Гильфердинг занялся популяризацией славянской истории для русской публики. Так, в 1854 году в «Московских Ведомостях» он помещает «Письма об истории сербов и болгар», в «Москвитянине» — «Историю балтийских славян». Продолжением этого труда стала «Борьба славян с немцами на Балтике и Поморье в средние века» — работа, опубликованная в 1861 году. В этих трудах А. Ф. Гильфердингом со знанием дела противопоставляются славянское и германское общества.

Работая в МИДе, А. Ф. Гильфердинг быстро сделал карьеру благодаря своим организаторским способностям и владению языками. В 1856 году, 25 лет от роду, он стал консулом в Боснии, находящейся тогда под турецким владычеством. Впрочем, этот пост был не только почетным, но и очень опасным, поскольку турки имели обыкновение расправляться с русскими дипломатами при первых же дипломатических конфликтах с Россией. Список русских дипломатов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей в мусульманских странах, очень велик. Поэт А. С. Грибоедов был самым известным, но далеко не единственным из их числа. Но все это не могло напугать молодого и деятельного дипломата. На своем посту Гильфердинг проявил значительные дипломатические способности, умело отстаивая интересы России и местных славян.

Большое внимание А. Ф. Гильфердинг уделял изучению и сбору древних славянских рукописей, а также былин,

сохранившихся в памяти народных сказителей. В 1858 году он выпустил на французском языке книгу «Восточные славяне», знакомящую западную науку с этнографией русской нации, а в 1859-м, на основе собранного им самим материала, книгу «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» — о зарубежных славянах.

В 1861 году Гильфердинг перешел на службу в Государственную канцелярию и уже два года спустя стал помощником графа Николая Милютина. Граф проводил административные реформы в Польше после усмирения мятежа 1863—1864 годов. Один из виднейших деятелей Великих реформ, руководивший всеми подготовительными работами, положенными в основу акта 19 февраля 1861 года, Николай Милютин, возглавив администрацию в Польше, начал проводить в жизнь программу широких демократических преобразований. О характере готовящихся реформ Н. А. Милютин писал в одном из частных писем: «Посланные мною указы и материалы — это первый шаг к реформам с ясно осознанною целью: поднять и поставить на ноги угнетенную массу, противопоставить ее олигархии... Со временем в самой Польше можно будет найти деятельные элементы, чтобы на них опереться, но теперь пока нужны русские деятели, и они необходимы не только вследствие ненормального положения края, но и по причине совершенного отсутствия организаторских способностей у поляков вне их отживших традиций. Эта способность проснется в них только тогда, когда связь с этой традицией прервется и явится на сцену новый, неведомый в польской истории деятель — народ»¹.

Гильфердинг, как уроженец Польши, прекрасно знающий польский язык и местные особенности, стал одним из ближайших соратников Милютина. Он был одним из творцов правительственной политики в Польше. Именно ему принадлежит проект преобразования польской системы просвещения, действовавшей до 1918 года.

Помимо госслужбы в жизни Гильфердинга все более крупную роль играет его общественная деятельность. Он все больше становится тем, кого в тогдашней России называли «общественным деятелем».

В России накануне отмены крепостного права общественная мысль пришла в оживление. Из гонимой политической группы славянофилы превращаются во влиятельное общественное движение. При этом внутри славянофильства обозначилось отдельное направление, известное как панславизм. Александр Гильфердинг стал одним из столпов панславизма. Именно в рядах этого движения он и выдвинулся как политический мыслитель. Объективной оценки панславизма, этого некогда могучего движения, получившего распространение среди многих славянских народов, до сих пор нет. В советское время панславизм почти не упоминался в научной литературе. Только в Большой советской энциклопедии о нем говорилось: «Панславизм — националистическая идеология и соответствующее ей политическое течение в среде русского дворянства и буржуазии во 2-й половине XIX — начале XX века... Идеи «П.» разделялись отдельными славянскими политическими деятелями различной политической окраски... Неточность и тенденциозность термина «П.», обнаружившиеся с момента его появления, нередко приводили к попыткам делить «П.» на «литературный» и «политический», а последний — на «демократический» и «реакционный», что лишь усиливало путаницу в понимании значения этого термина. Термин «П.» появился раньше обозначаемого им явления и был крайне неопределенным и противоречивым». Из этого советского определения трудно понять, что же такое панславизм.

Но и в постсоветское время ясности больше не стало. Так, в одной современной энциклопедии о нем сказано лишь то, что панславизм есть «направление общественной мысли, общественно-политическое движение, один из аспектов правительственной политики»². Мягко говоря, это не так. Правительство Российской империи преследовало панславистов как опасных вольнодумцев. И, разумеется, «аспектом правительственной политики» панславизм не мог стать. В XIX веке

власти Российской империи считали себя некими «европейцами», а не славянами. Понятно, что панслависты, напоминающие правящему дворянству о национальных правах русских, выглядели в глазах космополитической элиты империи как революционеры. И все же панславистское движение в России, несмотря на все преследования, развивалось и укреплялось.

Под панславизмом мы условимся понимать политическую идеологию и политическую практику по культурному и, как идеал, политическому сближению славянских народов. Разумеется, в панславизме существовало множество направлений, от радикальных, предусматривающих создание общеславянского государства под скипетром русского царя, с единым славянским языком, до умеренных, занятых малым, но очень важным делом помощи зарубежным славянам. В целом панславизм второй половины XIX века можно считать общественным движением, напоминающим политическую партию, одновременно оппозиционным официальному Петербургу, но и полностью поддерживающим православно-монархические ценности русской жизни.

В 1858 году в Москве был создан Славянский Комитет (официально называвшийся Славянским Благотворительным Обществом). Позднее аналогичные комитеты были созданы и в ряде других городов Российской империи. В пореформенные годы Славянские Комитеты стали влиятельной идеологической и политической силой. Современники не случайно уподобляли Славянские Комитеты политической партии, а неформальный лидер Комитетов, не занимавший никаких государственных постов, Иван Аксаков, превратился в политика европейского масштаба. Александр Гильфердинг также превратился в видную политическую фигуру благодаря своему участию в Славянских Комитетах. Членами московского комитета были известные славянофилы братья Аксаковы, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, историки М. П. Погодин и С. М. Соловьев, филологи Ф. И. Буслаев и О. М. Бодянский, поэт А. А. Майков, публицист, редактор журнала «Русский Вестник» М. Н. Катков.

В 1867 году в России, в Москве, была проведена славянская этнографическая выставка. На ее открытие прибыли гости со всех славянских земель. Это дало возможность провести в Москве Славянский съезд, что стало символом политического панславизма в России. Гостей съезда 14 апреля 1867 года император Александр II встретил словами: «Приветствую, вас, родные славянские братья, на родной славянской земле!»³. Эти слова вызвали большой резонанс в мире. Славянский съезд 1867 года стал высшим проявлением политического панславизма.

Однако уже тогда проявились в полную силу политические расхождения западных славян и русских. Никаких практических последствий этот съезд не вызвал. Большинство западнославянских гостей были либералами, настороженно относившимися к российскому самодержавию. Когда на одном из банкетов в честь славянских гостей славянофил В. А. Черкасский заявил, что православие должно стать основой сближения славян, это вызвало гневную отповедь гостей, среди которых преобладали католики и «свободомыслящие» (то есть атеисты). В съезде не участвовали поляки, а в Париже польские эмигранты устроили демонстрацию протеста против этого общеславянского мероприятия.

На обеде в честь открытия выставки известный панславист, друг и единомышленник Гильфердинга, замечательный филолог В. И. Ламанский поднял тост: «...да процветает в России наука и образованность, да принимает она народное самобытное направление, да развивается у нас славянское самознание и да становится русский язык языком общеславянским»⁴. Слова Ламанского вызвали овацию у присутствовавших, но никаких практических шагов после съезда не последовало.

Культура славянских народов активно развивалась в эту эпоху, но в русле общеевропейской культуры, для которой в то время были характерны секуляризация духовной жизни, позитивизм в философии, вера в абстрактно понимаемый прогресс.

Для Александра Федоровича 1867 год был не только годом Славянского съезда, но и годом его становления как политического деятеля. Когда в этом году Славянский Комитет был

создан в Петербурге, именно Гильфердинг возглавил его. Но бюрократический аппарат империи, переполненный инородцами и раболепствующий перед Европой, с подозрением смотрел на появление Комитетов. Всякая общественная инициатива казалась петербургской бюрократии «вольнодумством», и панслависты стали подвергаться преследованиям. Да, в те годы только очень смелый человек мог открыто провозглашать в самом крупном славянском государстве свои славянские взгляды! Таковы парадоксы русской жизни.

Александр Гильфердинг был смелым человеком. И он смело бросился в бой за славянские идеалы. Впрочем, это было время героев. Годы общественного подъема в России совпали со временем национального объединения Италии, Германии, Румынии. Все это также не могло не навести на мысль, что и славяне смогут обрести единство если не политическое, то культурное. Самое поразительное заключается в том, что впервые идеология панславизма возникла среди западных славян и лишь затем добралась до России.

5

К описываемому времени за пределами России из славянских земель полную независимость имела только Черногория. Остальные народы жили под властью немцев и венгров (в Австро-Венгрии) и турок. Практически повсюду славяне были угнетены, господствующие классы в славянских землях состояли из иноземцев и ассимилированных славян. Помимо политической и социальной дискриминации большинство зарубежных славян испытывали и культурную приниженность. Балканские славяне подвергались религиозному гнету со стороны турок.

Славянские языки были сведены до уровня простонародных наречий, существовали запреты на преподавание на родном языке. Впрочем, даже среди тех славянских языков, которые в силу политических обстоятельств особо не подвергались притеснениям, в то время еще не было определенных литературных норм. Так, до 1830 года в хорватском языке (который

австрийские власти противопоставляли венгерскому и поэтому не препятствовали его развитию) существовало целых семь различных правописаний. (И это при том, что, собственно говоря, язык хорватов был лишь местным говором сербского языка! Государственным языком в Хорватии, как составной части Венгрии, вплоть до 1843 года была латынь!) Аналогичные проблемы существовали и в чешском, словацком и большинстве других западнославянских и южнославянских языков.

Почти во всех этих языках до 60-х годов XIX века отсутствовали литературные нормы. Современному читателю это трудно представить, но полтора столетия тому назад не существовало не только славянских государств, но и литературных славянских языков.

Еще в начале XIX века ассимиляция и растворение в окружающих народах славян казались вопросом времени. Австрийские области Штирия и Каринтия, этнический центр словенского народа, а также славянские земли восточнее Эльбы окончательно онемечились. Среди австрийских славян заметную прослойку стали составлять различные группы перешедших на немецкий язык и культуру «полунемцев», в Венгрии среди словаков выросло значительное число «мадяронов», то есть омадьяренных, а на Балканском полуострове среди «потурченцев» начал складываться боснийский мусульманский этнос. Не случайно знаменитый чешский историк и философ Й. Добровский (1753—1829) считал историю своего народа законченной и свои книги писал по-немецки. «Оставьте мертвых в покое», — отвечал он на призывы собственных учеников развивать литературу на славянских языках.

Об участи славян и о причинах их тяжкого положения так писал в 1860 году А. Ф. Гильфердинг: «...что же ближе русскому народу, помимо собственной судьбы, как не судьба славян?»

Их участь печальная. Они все находятся под властью чужих держав и чужих народов... В старину и заграничные славянские народы составляли отдельные и независимые государства. Каким образом они лишились своей свободы и достались в чужие руки, было бы долго рассказывать... Первая вина их

падения была та, что они действовали раздельно и друг друга не поддерживали и что каждый из славянских народов сам по себе был постоянно раздираем несогласиями и распрями; другая вина была та, что они недовольно крепко держались своего быта и своих природных учреждений; заимствовали от иностранцев многое такое, что противно было их духу. Так составились у чехов и поляков учреждения наполовину немецкие, наполовину славянские; у болгар и сербов — наполовину славянские, наполовину византийские, и эти учреждения подавляли жизнь народа, а сами, будучи чем-то противоестественным, не давали никакой силы государству. Поясню эти слова... одним примером: в прежнем польском государстве народ был совершенно задавлен шляхтою и до того считался ничтожным, что даже не призывался на войну для защиты отечества; шляхта же не существовала в Польше искони, а образовалась под воздействием немецких учреждений того времени, так что даже самое имя это, шляхта, взято из немецкого языка; но в польской шляхте к немецкому понятию о благородном сословии присоединилось старинное славянское вечевое устройство, и из нее вышло нечто бестолковое и вредное для славянства...

Старые славянские государства на Западе должны были погибнуть, потому что были «разделены на себя», как во внутреннем своем быте, так и в отношении к другим славянам».

В этих словах прозрачен намек на угрозу для России утратить свою славянскую идентичность в случае дальнейшей вестернизации, которая способна создать в славянской стране лишь «нечто бестолковое».

6

В начале XIX столетия славянские народы активно пробуждаются во всех сферах культурной деятельности. Многие «бдители» славянского возрождения впоследствии признавали, что своим пробуждением славяне обязаны русским победам над турками, что привело к созданию Сербского княжества. На западных славян большое впечатление произвели

русские войска, которые как союзники монархии Габсбургов находились в славянских землях в 1799, 1805, 1813 и в 1849 годах. Наличие могучей славянской державы на востоке, казалось, вдохнуло в славян энергию и придало им смелость.

В 1826 году словенец Ян Геркель, «австрийский славянин», как называл он себя, ввел в научную литературу термин «панславизм». Впрочем, этот термин изначально получил совсем не то значение, которое должен был бы иметь.

Парадоксальным образом толчок к теоретическому панславизму дали революционные события в Австрийской империи в 1848—1849 годах, в которых славяне сыграли контрреволюционную роль, оказавшись вместе с русскими войсками спасителями Габсбургов. Эти обстоятельства вызвали яростные антиславянские высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса. В статье «Демократический панславизм» теоретик коммунизма Ф. Энгельс писал в духе самых яростных немецких шовинистов: «На сентиментальные фразы о братстве народов, с которыми обращаются к нам от имени контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и поныне является у немцев их первой революционной страстью...» «Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности, вплоть до их имени включительно... Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это будет прогрессом... Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии. Мы знаем, что теперь нам делать: истребительная война и безудержный террор — не в интересах Германии, но в интересах революции».

Однако, выступая против германских и венгерских революционеров, для которых славяне были «реакционными народами», в конечном счете славяне защищали свою национальную идентичность. Так, когда лидер революционной Венгрии Л. Кошут отказался дать автономию славянским народам, входящим в состав возрождаемого венгерского государства, заявив хорватской депутации, что не знает такого народа, как

хорваты, то это определило поведение всех немадьярских этносов страны. Губернатор Хорватии Й. Елачич повел войско хорватов и сербов на Вену и Будапешт. Елачич прямо объяснил причину, по которой весь хорватский народ поднялся сражаться за Габсбургов против демократии: «Я бы предпочел видеть мой народ под турецким игом, чем под полным контролем его просвещенных соседей... Просвещенные народы требуют от тех, кем они правят, их душу, то есть, говоря иначе, их национальную принадлежность». Подобные чувства разделяли и чехи, выступавшие против присоединения Чехии к объединенной демократической Германии. Не случайно видный деятель чешского просвещения К. Гавличек-Боровский говорил немецким демократам: «Что вы нас, немцы, страшаете русским кнутом (*russische Knute*); для нас, славян, он предпочтительнее и лучше вашей немецкой свободы»⁵.

Таким образом, в ходе европейских революций 1848 — 1849 годов славяне составляли консервативную силу, поскольку выступали за свое существование, а не за торжество «демократических» принципов. Неудивительно, что зародившийся у зарубежных славян панславизм вызвал симпатии именно у консервативных кругов России. У российских революционных демократов панславизм также составлял часть их программы, но в основном зарубежных славян рассматривали как потенциальных союзников в будущей революции. Консерваторы в то же время отмечали в славянском движении его отрицательное отношение к абстрактным принципам западного либерализма. В целом в пореформенной России панславизм стал частью политической философии консерваторов.

Но даже консервативный панславизм был оппозиционным официальному Петербургу, поскольку требовал переориентации всей внешней и, во многом, внутренней политики Российской империи. Наиболее последовательная программа панславизма, изложенная в книге Н. Я Данилевского «Россия и Европа», предполагавшая ликвидацию Австро-Венгрии и Османской империи, фактически предлагала русскому царю возглавить национально-освободительную революцию славянских народов.

В высших кругах Российской империи, особенно учитывая высокий процент представителей неславянских народов и космополитизм правящей имперской элиты, требования панславистов выглядели революционной агитацией. Впрочем, и революционер А. И. Герцен в своих взглядах на славянский вопрос и значение Константинополя фактически не отличался от Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева и Ф. М. Достоевского. Так, еще в 1854 году в цикле «Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону» Герцен писал словами Данилевского о городе, который должен стать столицей грядущей Славянской демократической федерации: «Ни Вена, город рококо — немецкий, ни Петербург, город новонемецкий, ни Варшава, город католический, ни Москва, город только русский, — не могут претендовать на роль столицы объединенных славян. Этой столицей может стать Константинополь — Рим восточной церкви, центр притяжения всех славяно-греков, город, окруженный славяно-эллинским населением»⁶.

Самым показательным в русском панславизме пореформенных лет было то обстоятельство, что он лишь в малой степени был «соблазном крови». Не столько этнические, сколько языковые и культурные факторы выдвигались на первое место в обосновании необходимого единения славян. Во второй половине XIX века, когда пышным цветом расцвели различные расистские теории (напомним, что в 1853 году выходит книга А. Ж. Де Гобино «О неравенстве человеческих рас», тогда же появляются различные социал-дарвинистские теории), взгляды русских панславистов, почти не беспокоившихся о «чистоте крови», казались странными.

7

Не надо думать, что панслависты писали политические манифесты и создавали партии. Нет, оппозиционные в России и преследуемые в других славянских землях, панслависты делали гораздо более важную работу, по сути создавая новую культуру славянских народов. Самой первой проблемой сла-

вянства того времени были выработка литературных норм славянских языков и, как программа-максимум, создание общеславянского языка.

Близость славянских языков, между самыми удаленными частями которых было больше сходства, чем во многих немецких и итальянских диалектах, была в панславизме главным доказательством того, что среди славян возможно, наряду с политическим и культурным, также и языковое единство. В XIX веке, когда только складывались нормы литературных языков, проблема языкового единства славян казалась решаемой. Выход виделся или в использовании славянами в качестве литературного общеславянского русского языка, или в разработке особого искусственного языка. Оба эти варианта имели своих активных защитников.

Так, за превращение русского языка в общеславянский выступали такие выдающиеся мыслители славянских земель, как чехи И. Юнгман (1773—1847), И. Гурбан (1817—1888), словаки Л. Штур (1815—1856) и К. Кузмани. Главный довод заключался в том, что на русском разговаривает большая часть славян, что на нем существует богатая художественная и научная литература и, наконец, русский более или менее понятен всем славянам.

Однако по причинам, прежде всего политическим, русский язык не стал всеславянским. Правительства Австро-Венгрии в соответствии с правилом «разделяй и властвуй» всячески препятствовали возникновению объединяющей своих славянских подданных культурной силы в виде общего языка. Напротив, именно в Австро-Венгрии поощрялось создание литературы на самых мелких наречиях, дабы еще сильнее расколоть славян. Именно в Австро-Венгрии изобретались «украинский» язык, а также прочие «славянские языки», единственным смыслом существования которых был подрыв культурного развития славянских народов. В России, учитывая неграмотность большей части населения, равнодушные правящие верхи к просвещению зарубежных славян, малочисленность русских школ за границей, враждебность католической церкви к России, эта идея не

вызывала отклика. В таких условиях у русского языка, увы, действительно было мало шансов стать общеславянским.

Создание искусственного языка в XIX веке не было чем-то удивительным. Можно вспомнить, что в основу итальянского литературного языка был положен флорентийский диалект XV века, на котором к моменту политического объединения страны говорило 600 тыс. человек из 27-миллионного населения Италии. В Норвегии, где много веков господствовал датский язык, после обретения самостоятельности в 1814 году началась борьба за создание «чисто норвежского» языка на базе народных говоров. В результате в этой маленькой стране уже к началу XX века сложились сразу три литературных языка (литературный датский, обновленный норвежский вариант датского языка и чисто норвежский). Это не прошло мимо деятелей славянской культуры.

Попытки создать общеславянский язык на базе общепонятных слов предпринимали словенцы Я. Геркель, М. Маяр, поляк С. Ланде. Из русских, кроме А. Ф. Гильфердинга, никто не предпринимал таких попыток. Однако все предложенные ими варианты общеславянского языка были слишком искусственными и непонятными. В принципе, искусственный общеславянский язык мог стать сначала литературным, а потом и разговорным языком славян. Но для этого необходимым было наличие политической воли и силы, которые могли бы внедрить этот язык в массы. Норвежский, итальянский, ирландский языки, наконец, иврит, стали языками именно благодаря тому обстоятельству, что их внедряли с помощью силы государственной машины. Но ничего подобного не было в славянских землях. И, к вящей радости славянофилов, развитие славянских народов пошло не по пути сближения и слияния.

Религиозный раскол славянства на католиков и православных отразился и на вопросе о графике языка всех славян, будь то русский или новосоздаваемый общеславянский язык. Католическая церковь категорически выступала против кириллицы, в свою очередь, православные отвергали латинский алфавит. Это обстоятельство привело к своеобразной полемике по поводу

алфавита будущего всеславянского языка. Известный чешский ученый Павел Шафарик (1795—1861) выступал за кириллицу, в то же время польские панслависты, начиная со С. Сташица (1755—1826), призывали самих русских перейти на латиницу. Следует заметить, что при всей религиозной непримиримости католиков с православными в 1860-х годах был осуществлен переход православных румын на латиницу. Кроме того, католическое духовенство в Белоруссии это же время начало выпускать белорусские католические издания на кириллице.

А. Ф. Гильфердинг попытался создать искусственный алфавит из 61 буквы, взяв за основу кириллицу, к которой он добавил особые буквенные знаки, отмечающие специфику отдельных славянских говоров, существующих в славянских языках, но и он сам не рассчитывал на успех. Общеславянскому алфавиту, разработанному им, посвящена специальная книга, но она осталась в истории памятником научного прожектерства, но не конкретной политической программы.

Частично вопрос формирования общего языка для части южных славян был решен в 1850 году созданием в результате соглашения деятелей сербской и хорватской культуры на базе говоров славян Боснии единого сербо-хорватского языка. Выдающуюся роль в создании литературной нормы сербо-хорватского языка сыграли хорват Людевит Гай и серб Вук Караджич. Чтобы не вызывать религиозных споров, единый литературный язык получил сразу две графики — «латинку» (ее называли «гаевича», по имени Людевита Гая) и кириллицу («вуковицу», по имени Вука Караджича). Кроме того, в 50—60-е годы шли бурные дискуссии по поводу создания единого чехословацкого языка. Хотя самобытность словаков не подвергалась сомнению, но все же их литературным языком со времен гуситских войн был чешский. Создание отдельного словацкого языка, с одной стороны, помогло бы культурному развитию словацкого народа, но вместе с тем подорвало бы единство славянского мира.

Таким образом, дискуссии о будущем языке и его графике не были такими уж абстрактными. В принципе, только из-за неблагоприятного стечения обстоятельств русский язык

так и не стал языком славянских народов и так и не появился общеславянский язык.

8

Главным камнем преткновения в славянских делах были религиозные различия. Взаимоотношения России с Ватиканом в пореформенную эпоху были очень напряженными из-за «польского вопроса» и проблем с галицийскими униатами. Так, вскоре после подавления польского восстания 1863 года Ватикан причислил к лику святых Иосафата Кунцевича (1580—1623), видного деятеля унии, непримиримого гонителя православных в Белоруссии в начале XVII века. Эта канонизация в конкретно-исторических условиях того времени была особенно вызывающая. В результате подобных действий с обеих сторон в 1866 году Россия разорвала отношения с Ватиканом.

Непримиримость двух ветвей христианства заводила в тупик все общеславянские предприятия. Среди некоторых русских мыслителей появлялись сторонники католицизма (самыми яркими примерами могут служить П. Я. Чаадаев, В. С. Печерин, В. С. Соловьев), но их «латинство» не имело ничего общего со славянскими проблемами.

Интересно, что некоторые надежды православным на воссоединение церковей дало старокатолическое движение во главе с баварским теологом Й. Диллингером, выступившим против догмата о непогрешимости папы. Отвергнув папские добавления в символ веры, старокатолики стали проявлять интерес к православной церкви, видя в ней (с чем были полностью согласны православные) исконную древнюю церковь. Старокатоличество имело большую поддержку в славянских землях. В частности, к старокатоликам присоединился хорватский архиепископ Й. Штроссмайер, основатель Югославянской Академии наук и искусств в Загребе, прозванный впоследствии «отцом Югославии». В 1888 году, когда Штроссмайер отправил приветственную телеграмму в Киев по случаю 900-летия крещения Руси, он получил выговор лично от

императора Франца-Иосифа. В результате полицейских мер в Австрийской монархии старокатолическое движение в славянских землях быстро заглохло.

Конфессиональный раскол славянского мира остался непреодоленным. Славянофильская мысль не смогла найти средства для преодоления этого раскола. Не случайно Н. Я. Данилевский в своем труде «Россия и Европа» обошел молчанием проблему взаимоотношения конфессий.

9

В ту эпоху сами русские были разделенной нацией, что отразилось на всем панславистском движении. Совершенно незначительная часть русских, проживавших в Галиции, землях прежнего Галицкого княжества, продолжала пребывать под властью польских панов. Хотя уже давно не существовало Речи Посполитой, но поляки и под австрийской властью продолжали править Галицией. Для духовного отделения Галиции от основной части России существовала униатская церковь, такая же нелепая и искусственная, как весь украинский национализм. Приходится признать, что вековые старания польских панов и австрийских властей оказались эффективными — к концу века была выведена порода украинских националистов, то есть русских, принципиально отвергавших все русское. Правда, при жизни А. Ф. Гильфердинга не существовало ни украинского национализма, ни самой мысли, что возможно создание «нации», именующей себя окраиной России и использующей в качестве национального символа образ национальных предателей и местный, намеренно испорченный диалект русского языка в качестве «ридной мовы».

Некоторые надежды вызывало развернувшееся в это время движение галицийских русин по разрыву унии и возвращению в православие. Но в Австро-Венгрии против православных была мобилизована вся полицейская сила империи Габсбургов, и многие русины (местные русские) вынуждены были исповедовать православие втайне, формально оставаясь униатами.

Зато среди галицийских униатов, оказавшихся в результате эмиграции в США и Канаде, при отсутствии политических преследований возвращение униатов в православие было значительным. К религии предков возвращались не только отдельные личности, но и целые компактные группы. Так, в 80-е годы XIX века почти 100 тыс. эмигрантов-униатов по инициативе и под руководством униатского священника А. Тота вновь стали православными. Впоследствии, в 1994 году А. Тот был причислен американской православной церковью к лику святых.

Однако повторим, преодолеть конфессиональную раздробленность славянства деятелям панславизма так и не удалось. И это едва ли не главная причина сохраняющегося раскола славянства и в наступившем XXI веке.

10

Наиболее наглядно противоречия внутри славянства, доказывающие цивилизационную несовместимость разных частей славянского мира, показали русско-польские конфликты. «Польский вопрос» был самым острым внутренним вопросом России на протяжении большей части XIX столетия, отравлявшим также и все панславистское движение. Однако необходимо коснуться «польского вопроса» еще и как внутриславянской проблемы.

В XIX веке не было более организованной, сплоченной, связанной с зарубежными правительствами и Ватиканом антирусской силы, чем польское движение за восстановление независимости. Среди поляков панславизм был мало распространен, да и то часто приобретал подчеркнуто русофобский (известный русский публицист национального направления М. Н. Катков называл его «русоедским») характер. После поражения польского восстания 1830—1831 годов среди польских эмигрантов на Западе сложился антирусский панславизм, представленный трудами Ф. Духинского, франкоязычными польскими журналами и особенно — в книге великого поэта А. Мицкевича «Книга польского пилигримства и польского мессианства» (1832). Смысл этого панславизма заключался в миссии Польши

по объединению славян для защиты от русского царизма. Во время Крымской войны в английских газетах, в частности в известной «Морнинг адвертайзер», издаваемой Д. Урквартом, печатались ссылки на лекции А. Мицкевича, в которых поэт устанавливал на основе филологии тождество русских с... ассирийцами. Оказывается (*it appears*), имя **Навуходоносор** (Небукаднецар) не что иное, как русская фраза «Нет Бога, кроме царя»! Возможно, именно потому, что поляки были славянами, русофобия под пером польских эмигрантов приняла особенно злобный характер. Польские авторы вообще отрицали славянство русских, считая их «азиатами», отказывая им даже в названии «русские». Даже поэт А. Мицкевич хотя и относил русских к славянам, но считал, что у славянства два полюса — Польша и Россия. Русские проникнуты духом монгольского рабства, а польский дух усвоил идеи Запада и распространяет их среди славян. Польское духовное начало — это братство народов и христианство. Польша принесла себя в жертву для искупления грехов рода человеческого. Новые начала польского духа должны проявиться благодаря новому мессии, который восстановит Польшу и сокрушит ее врагов. Предтечей этого мессии был Наполеон. Русские же, по словам Мицкевича, не знают, что такое музыка, и не поют, русский язык создан в Петербурге. Понятно, что возрождение Польши уничтожит Россию.

Разумеется, эти фантазии поэта, жившего в изгнании, вполне объяснимы и не заслуживали бы внимания, если бы не тот авторитет, которым пользовался А. Мицкевич в польском обществе. В целом русофобия оставалась определяющим чувством в польской политической философии. Восстание 1863 года вызвало определенный кризис панславизма, породив значительную полемику в русской политической литературе.

Для российских и зарубежных панславистов большое значение имело также то обстоятельство, что, оставаясь глухими к славянскому единству, поляки в тех западных землях, что по разделам Речи Посполитой отошли к Пруссии, подвергались усиленной и успешной германизации. Территория Познанского княжества Польши, чисто польская в 1815 году, уже через

четыре десятилетия приобрела немецкий характер, в основном за счет онемечивания поляков.

Причины такого положения стали поводом для обсуждений в русской национальной литературе. А. Ф. Гильфердинг признавал, что германизация поляков при отсутствии какого-либо успеха их русификации объясняется причинами цивилизационной близости Польши к Западу.

Позиция поляков вызывала протесты многих деятелей славянского движения за пределами России. Так, словацкий мыслитель, создатель литературного словацкого языка и при этом сторонник введения русского языка как общеславянского, Людевит Штур, в своем историософском произведении «Славянство и мир будущего», созданном еще в 1851—1855 годах, писал: «Польша погибла прежде всего из-за своего знаменитого «Nie Pozvalam», из-за своего вошедшего в немецкую поговорку «польского хозяйства», из-за плохо понятой польской свободы — и образ этой свободы, от которой, избави нас, Боже, все еще носится перед большинством этих заблудших, почти потерянных сынов славянства, ибо у них всегда на устоях слова «demokrata» и «demokratia», и при этом каждый думает только о себе, о своем «я», своих высокомерных притязаниях»⁷. Польский антирусский панславизм вызывал у Л. Штура насмешку: «Народ, так жалко управлявший своим государством, решительно не может иметь притязания на создание новых государственных форм или на руководство и предводительство другими народами»⁸.

Но, несмотря на эти гневные филиппики, на справедливые во многом упреки в национальном эгоизме и забвении общеславянского дела, российские панслависты фактически вынуждены были признать, что Польша и Россия, будучи славянскими странами, принадлежат разным «мирам», то есть цивилизациям. Если в России, несмотря на западничество правящих кругов и «болезнь европейниченья», по словам Н. Я. Данилевского, все же идея культурной самобытности русского народа была признана даже среди западников, то у поляков именно идея принадлежности Польши к Западу являлась квинтэссенцией «польскости».

Среди западнославянских народов, находящихся под чужеземным господством, стремление подчеркнуть свою «особость» в Европе могло носить преходящий характер. Как только положение славянских меньшинств в Австро-Венгрии и Германии несколько улучшилось в результате упорной борьбы за свои права с участием российской дипломатии, а большинство балканских славян получили независимость после русско-турецкой войны 1877—1878 годов, то на первый план в жизни этих народов выдвинулись более прозаические стремления к расширению политических и социальных прав внутри своего общества. Среди новых устремлений зарубежных славян были развитие своей литературы на национальном языке, подъем собственной культуры, закрепление собственной независимости, утверждение парламентаризма и представительной демократии. К концу XIX столетия стало ясно, что большинство зарубежных славян относят себя к западной цивилизации. Весьма показательна идейная эволюция виднейшего чешского деятеля, знаменитого историка Франтишека Палацкого, председателя Славянского конгресса 1848 года, депутата австрийского парламента, ставшего завзятым либералом и сторонником монархии Габсбургов. Славянский культурно-исторический тип, о котором писал Н. Я. Данилевский, так и не стал реальностью.

Одновременно в самой России усилился скепсис к славянскому единству. Наиболее полно этот скепсис отразился у К. Н. Леонтьева в «Византизме и славянстве», созданном в 1875 году. Отмечая, что и у славян распространяются идеи либерализма, К. Леонтьев фактически признал невозможность не только политического единства самодержавной России и вестернизированных славян, но и единства культурного.

Гильфердинг до конца дней упорно трудился в интересах славянского единства и как государственный чиновник, и как общественный деятель.

Впрочем, Гильфердинг в первую очередь оставался ученым. В конце 1860-х годов он возглавил этнографический отдел Русского Географического общества.

1860-е годы были замечательным временем открытия русского традиционного искусства и фольклора. Пока в столичных городах страны нигилисты провозглашали полное отрицание всего, что можно, а западники призывали «увенчать здание» империи конституцией, «как в Европе», славянофилы открыли невидимый материк русского народного творчества. В те годы вышли издания народных сказок А. Н. Афанасьева, русских песен, собранных Петром Киреевским, четыре тома северных былин, собранных П. Н. Рыбниковым, сборник причитаний Е. В. Барсова, великорусские и белорусские песни, записанные П. В. Шейном, сборники песен, сказок и загадок И. А. Худякова.

Гильфердинг не только руководил этнографами, но и сам ездил по самым «медвежьим углам» России, собирая образцы народного творчества. В Олонецкой губернии Гильфердинг стал одним из первооткрывателей устного фольклора Русского Севера. Поскольку на Севере никогда не было ни крепостного права, ни татарского ига и территории эти находятся далеко от Центральной России, то именно здесь к XIX веку сохранились многие черты культуры Киевской Руси. Не случайно Олонецкую губернию называли «Исландией русского эпоса». Подобно тому как в Исландии сохранились для исследователей образцы древнегерманского фольклора времен викингов, так и на Русском Севере ученым посчастливилось открыть старинные былины времен Киевской Руси.

Летом 1871 года Александр Федорович отправился из Петрозаводска в поездку по Олонецкой губернии. За три месяца напряженных исследований, опросив более 70 народных сказителей (из которых только пятеро были грамотными), скрупулезно заполнив более 2 тысяч страниц собранными образцами народной поэзии, Гильфердинг совершил настоящий научный подвиг. Опубликованная по результатам поездки статья «Олонецкая губерния и ее рапсоды», которую Гильфердинг разме-

стиль в либеральном журнале «Вестник Европы» (№ 3, 1872 г.), стала настоящей сенсацией. Когда-то Пушкин назвал Карамзина, оценивая его великую «Историю государства Российского», «Колумбом российских древностей». С не меньшим основанием Александра Гильфердинга можно назвать «Колумбом российской народной былины».

Результатом поездки Гильфердинга по Северу стал сборник из 318 былин с указанием имен сказителей и названием деревень, где они были записаны. Для этнографии XIX века, когда преобладало создание авторских произведений по фольклорным мотивам (как, например, «Калевала», созданная Э. Леннротом), это было внове.

Однако на выборах в Академию наук Гильфердинг был забаллотирован. Характерно, что многие академики не скрывали, что именно политические взгляды Гильфердинга привели его к неудаче. Он отнесся к неизбранию спокойно, считая, что от немецкого состава Российской академии, не изменившегося со времен Ломоносова, другого ждать не приходится.

Тютчев откликнулся на неизбрание своего друга такими стихами:

Спешу поздравить.
Мы охотно
Приветствуем ваш неуспех
Для вас и лестный, и почетный,
И назидательный для всех.
Что русским словом столько лет
Вы славно служите России,
Про это знает целый свет,
Не знают немцы лишь родные.
Ох, нет, то знают и они —
И что в славянском вражьем мире
Вы совершили — вы одни, —
Все им известно — *inde irae!*⁹
Во всем великом этом крае
Они встречали вас не раз,

В Балканах, Чехах, на Дунае,
Везде, везде встречали вас.
И как же мог бы без измены,
Высокодоблестный досель,
В академические стены,
В заветную их цитадель,
Казною русской содержимый
Для этих славных оборон,
Вас, вас впустить — непобедимый
Немецкий храбрый гарнизон?

В 1872 году Гильфердинг отправился в новую поездку на Север, но в дороге простудился и умер в Каргополе. Как сказал в своем памятном слове друг и единомышленник Александра Федоровича, вождь славянофилов Иван Аксаков, Гильфердинг погиб как солдат на посту.

Жизнь Гильфердинга оборвалась в самом расцвете сил. Но и того, что успел сделать Гильфердинг, достаточно, чтобы имя его осталось в памяти русских людей.

Сергей Лебедев

СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ В АВСТРИИ И ТУРЦИИ¹

Разделение славян. — Недостаточность знакомства русских с славянами турецкими и австрийскими. — Общий взгляд на положение этих славян. — Время покорения их турками и немцами. — Освобождение Сербии. — Польша при Александре I. — Возрождение славян в Австрии. — Заслуги славянских ученых. — Славянский съезд в Праге в 1848 г. — Славяне спасают Австрию в 1849 г. — Неблагодарность Австрии. — Где хуже славянам: в Австрии или в Турции?

Всякий русский без малейшего труда может узнать все подробности про немцев, французов, англичан, итальянцев, турок, американцев. Казалось бы, что за границей живут только чужие племена. А между тем далеко на запад и юго-запад от границы русского царства простираются народы, которых речь понятна русскому, которых предки составляли с предками русских одно племя и большая часть которых исповедуют нашу православную веру и молятся Богу на том же языке, как и мы. Эти народы — братья русских и любящие русских, как братьев, — называются славянами. Вместе с русскими они составляют одно славянское племя. В старину все славяне были одним народом, а потом разделились на русских, болгар, сербов, хорватов, словенцев, словаков, чехов, лужичан и поляков²; прежний общий славянский язык разделился на столько же наречий, которые, однако, все очень похожи одно на другое.

Русские, болгары, сербы, хорваты, словенцы, словаки, чехи, лужичане и поляки: вот сколько славянских народов. Их девять, и только два из них, **русские и поляки, живут в пределах** нашего Отечества. Стало быть, за границей есть семь народов, которых речь звучит как наша, и которые зовут нас своими братьями; а между тем мы ничего не знаем о них, а знаем про чужие народы, про французов, немцев, американцев, турок. Отчего же это?

Во-первых, оттого, что заграничные славяне не составляют особых государств, а находятся под властью других народов, отчасти немцев, отчасти турок. Немцы и турки господствуют и распоряжаются в их землях, и потому слышно только про немцев и турок, а что делается со славянами под их управой — это менее заметно.

Во-вторых, слишком много людей на Руси привыкли смотреть на мир Божий не так, как он есть, а так, как его показывают нам иностранцы — французы, англичане и немцы, от которых мы думаем позаимствовать всякую премудрость; иностранцы же стараются как можно меньше говорить о славянах, для того чтобы, по возможности, скрыть их от наших глаз и от глаз всего человечества. В том их расчет, особенно расчет немцев, и понять этот расчет очень легко.

Из всех немецких государств самое большое — Австрия. Но в Австрии только восемь миллионов немцев, а семнадцать миллионов — славян. Немцы располагают этими славянами, как им выгоднее, и им было бы неловко, если бы про это знали, <особливо> в России, где живут братья их поданных славян: потому их прямой расчет — стараться скрыть от нас даже их существование. И действительно, в немецких книгах, журналах и газетах про эти семнадцать миллионов славян нет и помину, тогда как про маленький немецкий народец, живущий в Шлезвиге и Голштинии, под управлением датского короля, немцы столько исписали, что всех сочинений об этом в десять лет не перечтешь.

Далее: в европейской Турции турок едва насчитаешь один миллион, а славян, подвластных им, миллионов восемь.

Иностранцы боятся дружбы этих восьми миллионов славян с нами, потому что Россия сделалась бы от этого еще сильнее. Цель французов, а в особенности англичан и немцев, та, чтобы мы чуждались турецких славян; они хотят добиться того, чтобы турецкие славяне перестали надеяться на **Россию**. Когда Россия потребовала в 1853 году, чтобы султан обеспечил и улучшил судьбу наших братьев, находящихся в его подданстве, Англия и Франция пошли на нас войною за турок; Австрия же, хотя не объявляла нам войны, однако сделала нам тогда, как известно, столько же вреда, сколько мог бы сделать явный враг. Понятно, почему и французы, и англичане, и немцы неохотно поминают про турецких славян, перед которыми так тяжело согрешили, и, когда речь пойдет о Турции, выставляют в ней только турок, а о славянах стараются умалчивать. Мы учимся преимущественно по книгам, которые пишут немцы, англичане и французы; преимущественно по их газетам мы судим о том, что делается за границей. Каково же наше знание о славянах?

Хорошо бы было, однако, нам знать о них. Они родные братья наши. Что же ближе человеку, после собственной судьбы, как не судьба родных братьев? А что говорится о человеке, то должно быть сказано и о народе, потому что в народе живет тот же дух человеческий, — и повторю: что же ближе русскому народу, после собственной судьбы, как не судьба славян?

Их судьба печальна.

Они все находятся под властью чужих держав и чужих народов. Другие народы, даже самые маленькие, например датчане, которых всего $2\frac{1}{2}$ миллиона, голландцы, которых три миллиона, бельгийцы, которых $4\frac{1}{2}$ миллиона, — независимы, управляются своими законами, учатся в школах на своем языке. А двадцать семь с лишком миллионов славян живут под чужою властью, под чужими законами, должны учиться на чужом языке. Из них семнадцать миллионов принадлежат, как я сказал, Австрии, восемь миллионов Турции; остальные два с лишним миллиона приходятся на долю Пруссии, а 60 тысяч живут в Саксонском королевстве. Вне

России только 125 тысяч славян, именно в Черногории, сохраняют свою независимость.

В старину и заграничные славянские народы составляли отдельные и независимые государства. Каким образом они лишились своей свободы и достались в чужие руки, было бы долго рассказывать; для того нужно бы было написать, хотя вкратце, их историю. Здесь скажу об этом только вообще. Первая вина их падения была та, что они действовали раздельно и друг друга не поддерживали и что даже каждый из славянских народов сам по себе был постоянно раздираем несогласиями и распрями; другая вина была та, что они, недовольно крепко держась своего быта и своих природных учреждений, заимствовали от иностранцев многое такое, что противно было их духу. Так составились у чехов и поляков учреждения наполовину немецкие, наполовину славянские, у болгар и сербов — наполовину славянские, наполовину византийские, и эти учреждения подавляли жизнь народа, а сами, будучи чем-то противоестественным, не давали никакой силы государству. Поясню эти слова, которые могут показаться темными, одним примером: в прежнем Польском государстве народ был совершенно задавлен *шляхтою* и до того считался ничтожным, что даже не призывался на войну для защиты отечества; шляхта же не существовала в Польше искони, а образовалась под действием немецких учреждений того времени, так что даже самое имя это, *шляхта*, взято с немецкого языка; но в Польской шляхте к немецкому понятию о благородном сословии присоединилось старинное славянское вечевое устройство, и из нее вышло нечто бестолковое и вредное для государства.

Слабейшие из славянских народов раньше достались иностранным завоевателям.

Первые покорены были немцами словенцы в Каринтии, Штирии и Краине, именно в 788 году, т. е. с лишком тысячу лет тому назад. Эти словенцы живут в горах и долинах на север от Адриатического моря, близ Италии.

Словаки, населяющие северную Венгрию, покорены были мадьярами или венграми в 907 году.

Лужичане, которые сами себя называют сербами, хотя живут далеко на север от собственных сербов, в нынешнем Саксонском королевстве, покорены были немцами в 1002 году.

Хорваты, обитающие на северо-восток от Адриатического моря, поддались Венгрии в 1091.

Болгары, населяющие северо-восточную и среднюю часть Европейской Турции, т. е. собственную Болгарию и большую часть Румелии³, покорены были турками в 1393 году.

Сербы, занимающие северо-западную часть Европейской Турции и соседние края Австрии, лишены были турками государственной независимости в 1389 году, и окончательно покорены ими в 1463 году, а часть их перешла во владения Австрии в 1690 году.

Чехи, жители Богемии и Моравии, т. е. северо-западной части Австрийской империи, поддались австрийскому государю в 1526 году, но с тем, чтобы оставаться при своих прежних правах и законах, а в 1620 году покорены были австрийцами и лишены своих прав.

Наконец, в 1795 году пало государство Польское, и при этом земли, населенные собственно польским племенем, присоединены были тогда к двум немецким державам, к Пруссии и Австрии.

Везде оправдалось слово, сказанное нашим Спасителем: *«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит»* (Матф. XII, 25).

Было время, когда и русский народ «разделился сам в себе»; тогда он достался в рабство татарам, а частью должен был подчиниться Литве; иноплеменное иго пробудило в русских память о прежнем единстве и братстве и чувство общего долга: Москва первая возобновила речь о всей Русской земле, и около Москвы стали собираться все уделы земли Русской, забывая зависть и распри.

Нельзя пророчить будущее; но, как Бог из глубины бедствий воздвиг Русскую землю и, научив ее единству, дал ей

могущество, так, быть может, перевоспитает и обновит он тяжелым уроком и прочих славян.

Старые славянские государства на Западе должны были погибнуть, потому что были «разделены сами в себе», как во внутреннем своем быте, так и в отношении к другим славянам. Вся собственная Польша, т. е. земля, населенная поляками (а не области, принадлежавшие Польше, но населенные русскими или литвинами), вся собственная Польша, говорю я, досталась двум немецким державам, Австрии и Пруссии. Прочие славянские народы, подвластные Австрии, до того были забиты, что они, казалось, потеряли память о своем бытии и стыдились называться славянами, а выдавали себя за немцев или венгров. Наконец, сербы и болгары в Турции страдали под игом невыносимым; многие из них, чтобы избавиться от мучений, принимали мусульманскую веру и, перерождаясь в турок, становились сами гонителями своих братьев.

Но в то время Бог из глубины бедствий начал воздвигать славянское племя к новой жизни.

В Сербии явился в 1804 году Георгий Черный⁴ и освободил часть своей родины от турок. Первым делом освобожденного народа было вспомнить, что у него есть братья одного с ним происхождения и одной веры, и отправить посольство в Россию — просить союза и покровительства. Вскоре затем русский отряд пришел в Сербию и помог Георгию Черному изгонять турок. Поход Наполеона на Россию в 1812 году заставил императора Александра I вызвать войска из Сербии и Турции и заключить с султаном мир. Георгий Черный надеялся на покровительство Австрии, но она обманула его, и он принужден был бежать из Сербии. Однако нашелся другой человек, который продолжал дело, начатое Георгием: именно Милош Обренович (в 1859 году избранный во второй раз князем Сербским)⁵. Он долго сражался с турками, по-прежнему искал опоры в России, и Россия Адрианопольским договором, заключенным в 1829 году, принудила Турцию признать свободу Сербии. Сербия получила право избирать своего князя, управляться своими законами, содержать свое войско; туркам запрещено жить

в ней, кроме как в некоторых указанных городах; султану она платит только дань и считается под его верховною властью, но он не может вмешиваться в ее внутренние дела.

Пример Сербии подтверждает нашу мысль, что страшные бедствия, которые постигли славянские народы, должны были переродить и перевоспитать их и тем приготовить к лучшей будущности. В прежнее время, когда Сербия была самостоятельным государством, она имела глубокие недуги. Народ был задавлен боярами, которые подражали вельможам соседней Византийской империи и, между прочим, переняли от них привычку к неповиновению и измене; беспрестанно сеяли они раздор в земле и разрывали ее на части; вера православная не была тверда в Сербии. Сербские короли и князья то выдавали себя за ее поборников, то объявляли себя, если казалось более выгодным, приверженцами Папы. Четыреста с лишком лет страдала Сербия под игом турок, но вышла из-под этого ига чистою и здоровою: боярства в ней уже нет, народ остался хозяином своей земли, и вера православная, которая поддерживала его во время невзгод, укоренилась в нем так, что ничем ее не поколеблешь.

В то самое время, когда сербский народ начинал освобождаться в Турции (должно заметить, однако, что он освободился не весь: Босния и Герцеговина, населенные также сербами, остались под властью турок, потому что там мусульман очень много и христианам двинуться было трудно), — в то самое время и у других славян пошли дела к лучшему.

В 1815 году, по Венскому договору, большая часть собственно польской земли была присоединена к России — под именем Царства Польского. Император Александр I не захотел мстить полякам за то, что они в старину, когда владели западною половиною Руси, подстрекаемые иезуитами, преследовали и старались уничтожить русскую народность и православную веру; напротив, он видел в поляках только братьев-славян и даровал Польше благоустройство, какого она давно уже не видала. При нем появились лучшие польские писатели и стихотворцы, между которыми Мицкевич приобрел бессмертную

славу. При Александре I началось дружеское сближение поляков с русскими, и такое сближение, несмотря ни на какие помехи и невзгоды, будет укореняться и принесет благие плоды, ибо вражда бесплодна, а любовь плодотворна.

Между тем как Польша оживлялась под правлением императора Александра I, оживлялись мало-помалу и славяне, подвластные Австрии.

Все эти славянские народы: чехи, словаки, словенцы, хорваты — находились тогда в таком состоянии, что трудно было даже надеяться на их возрождение. Дворянство было у них иностранное, немецкое или венгерское; в городах тоже жило более иноземцев, нежели славян; славянским оставался только простой, деревенский народ; образованных и богатых людей между славянами было весьма мало. Некому было говорить простому славянскому народу на его языке, некому было его образовывать и напоминать ему, что Бог не даром же призвал его на свет, что и ему должно трудиться духом, как и другим народам, потому что *не хлебом одним будет жить человек* (Лук. IV, 4). Однако нашлись такие люди, сначала немногие, а потом их число увеличилось. Эти люди были сыновья простых поселян, которым посчастливилось получить образование в училищах и которые, образуясь и совершенствуясь, не хотели забыть своего рода и племени, а, напротив, стали употреблять свою науку и образованность к пользе своего народа. Первый был Добровский, сын славянского простолюдина в Венгрии, переселившийся к чехам, в Прагу. Он первый напомнил всем славянам, что у них у всех язык один и тот же и что, стало быть, они все — одно племя. Хотя он был римско-католический священник, однако стал изучать церковный славянский язык, на котором читаются у нас и у всех православных славян божественные книги; он показал чехам и прочим славянам, что всем им нужно знать этот язык, как древнейший и коренной, чтобы разъяснить каждое славянское наречие.

Затем между чехами явились, также из простонародья, великие ученые и писатели; они ввели в честь свой родной язык, прежде забытый, вызвали в чешском народе память о его

славянском происхождении, братстве с другими славянами и минувшей славе и возбудили в нем желание стряхнуть с себя сон, навеянный на него Австрией. Эти люди были: Юнгман, Челяковский, Пресль, Ганка, Шафарик (уже умершие), Пуркине, Палацкий и многие другие⁶.

Между словаками тот же подвиг совершали покойные Колар и Штур⁷, между словенцами и хорватами — Водник, Блейвейс, Прешерин Станко Враз, Гай, Кукулевич-Сакцинский и другие.

Имена этих людей должны быть произносимы русскими с глубоким уважением, ибо их труды воскрешают духовную жизнь в братьях наших.

В то же время и сербы, подвластные Австрии, приняли участие в духовном пробуждении славянских народов, и русские, то есть малороссияне, в Галиции и северо-восточной Венгрии, также подданные Австрии, стали вспоминать о своем роде-племени, читать русские книги, писать по-русски и чувствовать себя опять русскими людьми.

В 1848 году, когда во всех почти державах Западной Европы произошли восстания, в Австрии немцы и венгры взбунтовались против своего государя и отняли у него почти всю власть; при этом они не хотели признать за славянскими народами, их соседями, тех же прав, какие они сами имели, а, напротив, потребовали, чтобы они, славяне, переделали себя в немцев и венгров. Славянские народы стали им сопротивляться и для того, чтобы сопротивляться успешнее, определили собраться в один город и договориться между собою. Так-то бедствия научают народы разуму. В прежние времена славяне всегда действовали розно и старались вредить друг другу; и только наученные тяжким опытом, они в первый раз, в 1848 году, решились соединить свои силы и стать заодно против своих недругов. В чешский город Прагу съехались лучшие люди от всех славян австрийских: чехов, словаков, поляков, галицких малороссов, словенцев, хорватов, сербов, и 3 июня открыли свои заседания. Но хотя австрийское правительство было оскорблено и унижено немцами, а славяне, напротив,

объявили себя верными защитниками своего государя, однако правительство это все-таки в душе недоброжелательствовало славянам. Оно дало командовавшему войсками в Праге, князю Виндишгрецу, приказание разогнать славянский съезд. Князь Виндишгрец 14 июня вывез пушки и начал стрелять в город. Прага принуждена была просить пощады, и славянский съезд был разогнан.

Несмотря на столь жестокий поступок австрийского правительства, славяне в этот раз продолжали еще оставаться его защитниками. В то время итальянцы восстали против притеснений Австрии, и король Сардинский пришел к ним на помощь. Венгерские полки не хотели сражаться против итальянцев и требовали, чтобы их отпустили домой; австрийское правительство принуждено было сделать это, а славянские полки остались в Италии, храбро сражались за Австрию и почти одни вынесли на своих плечах тяжелую войну, которая кончилась для Австрии победами и выгодным миром в 1849 году. Воротившись на родину, венгерские полки перешли на сторону противников австрийского государя; Венгрия совершенно отложила от него, взялась за оружие и объявила себя независимой. Славяне, живущие кругом венгров, с севера и юга, также схватили оружие, но против венгров, за австрийского императора. Хорваты и сербы австрийские пошли на эту войну поголовно, даже из турецкой Сербии прислана была им значительная помощь. Предводитель славянской рати, бан (т. е. воевода) Елачич⁸ храбро сражался с венграми и сильно стеснил их; а между тем в Вене, столице Австрии, вспыхнул мятеж, и тамошние немцы выгнали своего императора из столицы. Тогда Елачич с славянской ратью пошел на Вену, взял ее, разогнал мятежников и возвратил туда императора.

Кончив дело под Веною, он со своими хорватами и сербами продолжал воевать против венгров и храбро выдерживал натиск их превосходных сил, тогда как немецкое войско, посланное против них, под начальством князя Виндишгреца, почти совершенно истреблено было неприятелем.

За свои великие усилия в пользу австрийской державы, за неисчислимые жертвы, принесенные ими для ее спасения от мятежных немцев, от итальянцев и венгров, славяне ждали благодарности и награды. Они надеялись, что Австрия по восстановлению мира признает их, как она признавала их и кланялась им во время войны. Действительно, австрийское правительство обещало славянским народам, что они будут иметь такие же права, как немецкий народ; что у них в судах, казенном делопроизводстве и училищах будет введен славянский язык вместо немецкого; что славянские земли отделены будут в управлении от земель неславянских; что за хорватами утверждены будут старинные льготы, дарованные им королями венгерскими, что, наконец, сербы австрийские получают те права и преимущества, которые были признаны за ними еще в 1690 году императором Леопольдом, когда он переселял их из Турции, но которых Австрия не уважила с тех пор, и что в особенности вера православная будет у них обеспечена от всяких притеснений.

Как храбро ни сражались хорваты и сербы против венгров, однако они одни не могли одолеть их, особенно после истребления австрийской армии князя Виндишгреца, так как венгерское войско было гораздо многочисленнее и имело больше пушек. Потому Австрия обратилась за помощью к России; 3 июня 1849 года русские войска вступили в Венгрию, а 1 августа сдача Венгерского предводителя Гергея покончила дело, и австрийский император остался полным обладателем своего государства.

Благодарности славяне от Австрии не видали.

После покорения Венгрии австрийское правительство получило такую силу, что славяне принуждены были подчиниться всем его распоряжениям.

Им не только не дали никаких новых прав, но даже отняли все те, какие они имели прежде.

Для управления ими стали посылать немецких чиновников, в судах, казенном делопроизводстве и училищах ввели повсюду немецкий язык, подвели славянские земли под один

уровень с землями неславянскими; отняли у хорватов старинные льготы и наложили на них огромные подати, каких прежде они не платили, не дали сербам прав, обещанных императором Леопольдом, обременили их податями и стеснили веру православную, запретив православным вступать в брак с католиками иначе, как если перейдут в католическую веру, и учредив в их земле униатские епархии, для распространения унии.

А между тем славяне составляют главную силу Австрии. Большую часть своих доходов она получает от них. Они составляют большую часть, а в военное время две трети ее войска. В мирное время⁹ австрийское войско было составлено так:

чехов и словаков.....	126 700;
словенцев.....	29 900;
хорватов.....	36 400;
сербов.....	25 000;
поляков.....	49 500;
русских (из Галиции).....	65 900.

Итого славян в австрийском войске.....333 400.

К этому должно прибавить еще пограничные с Турцией военные поселения, населенные одними славянами, и где, по требованию правительства, всякий мужчина, способный носить оружие, обязан идти на войну. Там считается сербов 310 000, хорватов 550 000; они могут выставить (и в военное время не раз выставляли) более 100 000 войска.

Прочих народов в австрийской армии, в мирное время, считалось:

немцев.....	168 800;
итальянцев.....	74 900;
румынов или молдаван.....	27 300;
мадьяр или венгров.....	42 800.

Итого неславян в австрийском войске.....313 800.

Итальянцам и венграм Австрия не доверяла, и потому в войну 1859 года она удалила их от неприятеля, а сражались в Италии, большей частью, славяне. Они-то должны были про-

ливать свою кровь против Италии, которая не сделала им никакого зла, и защищать государство, которое, мы видели, как с ними поступает.

У себя дома славянские народы в Австрии стеснены так, как прежде никогда не бывало; они не смеют ни писать, ни сноситься между собою даже о книжных делах. Училища у них устроены таким образом, что славянские дети должны забывать в них свой язык и выходить оттуда немцами. Никогда еще, казалось бы, не было для славян в Австрии столь тяжелого времени. Однако все-таки они могут благодарить Бога за все, что было. Они далеко ушли вперед против прежнего. Теперь пробуждена в них духовная жизнь, теперь они поняли, в чем их сила и в чем слабость; теперь они знают, кто им враг и на кого они должны надеяться.

Другие славянские народы, болгары и сербы, живут в Турции. Где лучше славянам, в Турции или в Австрии? Спросите у славянина турецкого, и он вам ответит, что в Австрии лучше. «Там, по крайней мере, — скажет он, — правительство устроенное, есть суд и расправа; там человека не подстрелят на дороге, не придут безнаказанно его ограбить и обесчестить его жену или дочь». Спросите у австрийского славянина, и он вам ответит: «Нет, в Турции гораздо лучше, чем у нас; правда, там владеют турки — варвары, и если им вздумается, они человека убьют, ограбят, опозорят, и дело с концом; но ведь не со всяким это случится. Это как молния, которая <упадает> на одного, а других не тронет; зато у нас в Австрии всякого славянина притесняют, хотя вежливо, но больно; мешают ему во всем, держат его под надзором, переделывают в немца, и если он православный, стараются вогнать в унию. Нет, нашему брату куда просторнее и свободнее в Турции!» Так говорят австрийские и турецкие славяне друг о друге, и разобрать трудно, где им действительно лучше и где хуже. Но, во всяком случае, в Турции славянам жить становится год от года тяжелее. Правда, что турки теперь не так дики, как прежде; они начинают перенимать европейские манеры, и многие выучились говорить по-французски. Однако же манеры обра-

зованного европейца не сделают человека лучшим, если душа его не просветится, а душа-то у турок не только не просвещается, но, напротив, развращается. Прежде они верили в своего пророка Магомета: теперь они ни во что не верят. Прежде они были дики, но просты и добродушны; теперь они стали вежливыми, но зато лукавыми. С австрийцами они величайшие друзья, потому что и у тех и у других общий расчет — не давать славянам ходу; во всяком деле австрийцы поддерживают турок, турки — австрийцев.

Теперь в Турции случаи зверского свирепства против славян-христиан несколько реже, чем были прежде, но и такие случаи бывают. Например, в 1859 году туркам не понравился учитель православной школы в селе Обудовце в Боснии по имени Иван Жувалевич; они убили его на пороге церкви, бросили его тело в грязное место, поставили перед ним свечу, разложили книгу и, стреляя в тело из ружей, как в мишень, приговаривали: «Ну-ка, читай теперь!» Убийцы остались безнаказанными.

Это доказывает, что старинная дикость турецкая не совсем исчезла; а с другой стороны, научившись хитрить и лукавить, турки стали угнетать христианские народы гораздо тонченнее и больше прежнего. Они обещают им покровительство закона и разные улучшения, и что же выходит? Прежде христиане носили оружие и защищались им от насилия и самоуправства мусульман; теперь турки сказали, что насилия и самоуправства не будет, стало быть, христианам оружия не нужно, и отобрали у них все оружие, а мусульманам его оставили: вооруженный мусульманин может теперь делать что угодно с безоружными христианами, и суда на него нет, потому что, несмотря на все обещания, свидетельство христиан не принимается в турецком суде (кроме как в самой столице, Константинополе, где все делается напоказ перед Европой). Прежде христиане платили в казну очень мало и не несли рекрутской повинности; теперь турки сказали, что так как христиане должны быть сравнены в правах с мусульманами, то будут нести и одинаковые повинности; однако они побоялись

брать их в рекруты и обучать военному искусству и взамен рекрутства наложили на них огромную подать, которую всякий христианин платит ежегодно. Десятину с урожая, взимаемую с поселян, стали отдавать на откуп, и вместо десятой доли берется теперь часто половина собранного хлеба. Выдумали множество новых поборов, и христиане-земледельцы в Турции, прежде бывшие богатыми, сделались теперь нищими.

Таково ныне состояние христианских народов, болгар и сербов, под турецким владычеством (я разумею сербов в Боснии и Герцеговине, где они вполне подвластны туркам, а не в Сербском княжестве, где у них свои законы, свое управление, свой князь и где народ отлично успевает). При всем том и в этих славянских народах дух пробуждается, особенно у болгар; болгары заводят школы, стараются просветиться, начинают читать и писать книги, вспоминают свою старину, вспоминают, что они народ славянский, который *не хлебом одним будет жив*; из сербских земель, вполне подвластных туркам, оживает Герцеговина, соседняя с независимыми и храбрыми черногорцами, а в Боснии, которая особенно угнетена и где всего больше славян-отступников, перешедших в мусульманскую веру, пробуждение едва начинается; но и за Боснию нечего отчаиваться.

ВЕНГРИЯ И СЛАВЯНЕ

Книга Шассена о Венгрии. — Дух и призвание Венгрии. — Славянские государства тысячу лет тому назад. — Нашествие мадьяр. — Язык и характер этого народа. — Влияние мадьяр на судьбу западнославянского мира. — Арпад. — Солта. — Набеги мадьяр. — Св. Стефан. — Его конституция. — Венгрия и древнеславянский мир. — Палатин. — Дворянство. — Мадьяры принимают половцев и ясов. — Мадьяры под Киевом. — Русские в Венгрии. — Отношения мадьяр к туземцам. — Латинский язык и его значение для мадьярского народа. — Трансильвания. — Румыны. — Королевство Хорватское. — Либерализм мадьяр. — Завет св. Стефана. — Древняя Венгрия и древняя Англия. — Панславизм. — Кошут. — Венгерские славяне в войне 1848 — 1849 гг. — Отношения Польши к Венгрии. — Мадьяры и Польская шляхта. — Рыцарство. — Возможна ли борьба мадьяр со славянским миром? — Заключение.

Jean de Hunyad, récit du XV-e siècle, précédé de la Hongrie, son génie et sa mission. Etude historique par Charles-Louis Chassin. Deuxième édition. Paris, 1859¹.

Десять лет прошло с тех пор, как Венгрия пала пред силами России и Австрии². Венгрия снова заговорила; Европа снова начинает обращать на нее внимание. Снова, как десять лет тому назад, о Венгрии стали появляться во множестве статьи, брошюры, книги. Из числа этих сочинений мы выписали выше заглавие одного и намерены поговорить о нем.

Книга г. Шассена о Гунияде (в наше время принято написание имени согласно венгерской фонетике – Янош Хуняди. — *Прим. ред.*)³ вышла теперь вторым изданием. Первое напечатано было во время Восточной войны⁴, но тогда слово о Венгрии было еще несвоевременным. Теперь же книга эта скорее может достигнуть цели, для которой она написана, именно: возбудить в западных народах внимание к Венгрии и дать им понятие о мадьярском народе. Гунияд не есть главное действующее лицо в этой книге. Он взят как тип, как воплощение мадьярского народа и его геройских доблестей. Сам автор говорит в своем предисловии: «Книга моя состоит из двух отдельных частей. Первая заключает в себе историческое и философское рассуждение о Венгрии, ее духе и ее призвании. Мы стараемся доказать в нем три великие истины: религиозный либерализм венгерцев, их политический либерализм, их геройство, когда им предстояло жертвовать собою для общего дела. Борьба против светского преобладания католицизма, противодействие <те>ократическим притязаниям Рима, независимость венгерской церкви, постоянно охранявшаяся, сочувствие, с каким принята была реформа Лютера и Кальвина; конституция св. Стефана, ее источники и развитие, ее смысл и значение; непрестанная борьба против австрийского гнета и мер порабощения, принимавшихся австрийским министерством, вопрос о мадьярской народности и враждебных племенах (*la question de la nationalité magyare et des races ennemies*); наконец, истинный характер войны против турок в средние века, польза естественного союза с турками в современную эпоху (*l'utilite de l'alliance naturelle avec les Turcs à l'époque contemporaine*) — таковы главные точки, на которых мы останавливаемся в этом чересчур коротком обозрении, чтобы объяснить всем, что такое была Венгрия, чему она может служить в настоящих обстоятельствах и чем она будет со временем, что бы ни случилось. Вторая часть обозначена на заглавии прекраснейшим именем, какое только встречается в венгерских летописях: именем Ивана Гуниада. Около этого героя, неизмеримо великого своим мужеством и своею честностью, мы сосредоточили целый период

венгерской истории, одну из самых бурных, самых славных ее эпох — крестовый поход против Оттоманов и первые войны с Австрией. Рассказать об этой многотрудной поре самопожертвования — значит, по нашему мнению, напомнить забывчивой Европе о том, как ее некогда хранили и спасали рьяные наездники мадьярские и как ее могли бы еще хранить и спасти их достойные сыны, свободные граждане новой Венгрии».

Эта программа не только дает понятие о содержании книги г. Шассена, она показывает также, что история поставлена у него в служебные отношения к современности. Он пишет об Гунияде не для науки, не для Гунияда, а для подтверждения примером Гунияда современной политической темы.

Потому мы вправе отстранить здесь Гунияда и обратиться непосредственно к политической теме, составляющей сущность книги г. Шассена. Мы посмотрим, справедлив ли его взгляд «на Венгрию, на ее дух и призвание», как он выражается. Мы считаем тем более полезным обсудить этот взгляд, что хотя г. Шассен говорит от своего лица, однако издатель его книги поместил в предисловии к ней письма некоторых мадьярских корифеев, некоторых знаменитых представителей мадьярской народности, которые выражают автору самую теплую благодарность за его сочинение. Из этого мы заключаем, что его взгляд встретил сочувствие в мадьярских сердцах. Притом во многих статьях и брошюрах, защищающих интересы мадьяр, мы встречаем подобные мысли и воззрения.

Начиная предстоящий нам разбор, мы прежде всего заявляем друзьям мадьярского народа наше искреннее и полное сочувствие к нему. Да и возможно ли не сочувствовать народу, столь доблестному, исполненному благородного энтузиазма, беспредельной любви к отечеству, бесконечной готовности жертвовать собою для общего блага? Надобно иметь австрийское сердце, чтобы не сочувствовать мадьярам. Кто из нас не слышал от людей, участвовавших в кампании 1849 года, как мадьяры им полюбились, как им было жаль их и как всякому из них хотелось пожать руку благородному противнику? И в настоящее время вся русская литература, какие бы ни были в

ней разногласия по другим вопросам, с общим сочувствием следит за возрождением Венгрии, доказывая этим, что сочувствие, родившееся одиннадцать лет тому назад при личном столкновении с мадьярами, перешло у нас в общественное сознание. С какой же стати нам принимать на себя неблагородный и невозможный труд противодействовать этим чувствам? Напротив, мы желаем, чтобы они у нас росли и развивались постоянно, чтобы русские привыкали все более и более уважать многострадальный и крепкий душою народ мадьярский, чтобы они с большим и большим участием следили за его судьбою.

Но именно потому, что мы желаем этого, поднимем мы голос против воззрений, высказанных в книге Шассена, и тех стремлений, которые в них выражаются. Г. Шассен говорит, что, проникнутый пламенным сочувствием к мадьярскому народу, он желал своим пером послужить ему; мадьярские знаменитости, как замечено выше, действительно засвидетельствовали, что он, по их мнению, принес пользу делу мадьяр. А мы, напротив, полагаем, что воззрения, высказанные г. Шассеном, вредны для дела Венгрии, — во-первых, потому что они ложны, во-вторых, потому что они оскорбительны для других народов, и отчасти даже безнравственны, — и что каждый истинный венгерский патриот должен встретить их с неодобрением.

Народы, как люди: в обществе уважают только тех людей, которые сами уважают своих ближних; в обществе отворачиваются от тех людей, которые не умеют понять свое положение и которые хвастливо возвещают миру про свои особливые дары, про особливые подвиги, которые им назначено совершить.

Г. Шассен не только говорит об особливом призвании мадьярского народа в прошедшем; он объявляет о призвании его в будущем. Призвание его в прошедшем было (по словам г. Шассена) — защищать Западную Европу от варваров-турок; призвание его в будущем — защищать, в союзе с турками, Западную Европу от новых варваров, т. е. от России. Многие из читателей наших, прочитав эти строки, спросят нас: зачем мы тратим время на то, чтобы толковать о книге, в которой в наше

время пишутся такие пошлости? Но в том-то и дело, что такие взгляды еще не кажутся пошлостями некоторым из важнейших представителей мадьярской народности,⁵ как видно из благодарности, объявленной ими г. Шассену, и что мнения и фразы его могут найти отголосок между мадярами. Потому только мы и не бросаем этой книги из рук, а продолжаем спокойно вести речь о ней, как будто бы о дельном сочинении.

В истории Гуниада г. Шассена есть целая глава под заглавием: «La Hongrie rempart de la civilisation» (Венгрия — оплот образованности). Защитить свою грудь Западную Европу от азиатских орд, от татар и от турок было, по уверению нашего автора, задачей средневековой Венгрии. Действительно, Венгрия храбро воевала с татарами и турками. Необширный, немногочисленный народ мадьярский сделал, относительно своих сил, чрезвычайно много для отражения этих диких завоевателей. Но если бы автор не сосредоточил своего внимания исключительно на мадярах, а посмотрел бы кругом и на другие народы, то он сбавил бы восторженности в своих фразах об историческом *призвании* мадьярского народа в средние века. Вообще, нам кажется, что тут ни о каком особенном призвании речи быть не может. Мадьярский народ жил на пути, по которому и татары, и турки должны были идти, чтобы распространить свои завоевания на счет Западной Европы. Татары и турки наткнулись на мадьяр: мадьяры защищались; но и всякий другой народ на их месте защищался бы и, защищаясь, удержал бы на время татар и турок от нашествия на земли, которые он заслонял собою. В этом отношении другие народы сделали гораздо более для охранения Западной Европы от азиатских орд, а г. Шассен о них умалчивает. Русь приняла на себя первые удары татар, она более всех остановила их напор; Польша столько же сделала, сколько и Венгрия, если не больше, чтобы оттолкнуть их от Западной Европы; а когда они при первом налете сразили и Польшу, и Венгрию, то чехи, с одной стороны, хорваты, с другой, загородили им дорогу и победами своими положили предел их нашествию на запад. Г. Шассен, посвящая свое сочинение истории мадьяр, имел полное право

выставить преимущественно их участие в боях с татарами; но почему он не указал на то место, которое их частный подвиг занимает в общей борьбе христианского мира против потомков Чингисхана? Он сознается же, что вместе с мадьярами и Польша спасла Европу от татар: по какому случаю он приписывает эту честь только мадьярам и полякам, тогда как она принадлежит и Руси, и чехам, и хорватам? Потому ли только, что в недавнее время поляки были на стороне мадьяр, а хорваты, чехи и русские стояли против них?

Так же точно смотрит наш автор на борьбу мадьяр с турками. Опять он одним мадьярам с поляками приписывает спасение от них Западной Европы. О других народах, на которых сломилась сила Османлиев, он даже не удостоил упомянуть: ни о русских казаках, ни о румынах, ни даже о сербах и хорватах, которые, конечно, больше сделали, чтобы остановить и отразить турок, нежели мадьяры. Мне возразят, что сербы пали в борьбе, — но сколько сил турки должны были потратить, чтобы сломить их геройское сопротивление. Да и сами мадьяры, наконец, пали тоже, после гибельной битвы у Мухача⁶; большая часть их земли, с столицею Будую, на полтора столетия сделалась турецкою областью; Трансильвания признала верховную власть Порты: а хорваты с частью сербов продолжали геройски отстаивать свою родину и трупами, грудями трупов, загораживали дорогу на запад, которую без них не умели бы защитить малодушные государи австрийские. Обо всем этом г. Шассен умолчал. Он даже не почтил ни одним словом тех сербов и хорватов, которые, сражаясь под мадьярскими знаменами, прославились в числе лучших витязей христианской Венгрии; он даже, увлеченный непонятною слепотою народной исключительности, решился, на основании каких-то странных силлогизмов, отрицать, что благороднейший боец Венгрии, великий Гунияд, был родом не мадьяр, а румын, хотя сам приводит свидетельство древних актов, по которым его отец, Вук Бути из Гунида, прозывался *Олах*, что по-мадьярски значит Валах. Все это выказывает такую узость взгляда, которой мы не ожидали бы от мадьяра, сколько-нибудь добросовестного и

образованного, даже в 1848 году, во время самого сильного разгара народного фанатизма в венгерцах; а так пишет в 1859 году, с одобрением мадьярских корифеев, французский автор и думает, что он служит этим делу мадьяр!

Пусть мадьяры гордятся доблестными подвигами своих предков — что может быть лучше? Но пусть они и в прошедшем не присваивают себе исключительно того, в чем они были только участниками вместе со многими другими народами. Борьба с азиатским варварством была в продолжение многих веков уделом всей Восточной Европы. Мадьяры приняли в ней по необходимости участие; они сражались храбро, но какое имеют они право величаться званием особливых спасителей европейской образованности? Пусть они взглянут на Россию: не выдержал ли русский народ на своих плечах всю тяжесть Азии? Не он ли страхнул ее с Европы и отодвинул назад, и доныне еще продолжает неутомимо, непрестанно, от Каспийского моря до Тихого океана, борьбу христианской Европы с азиатским варварством? Но кто из русских когда-либо величался этими подвигами и превозносил свой народ перед другими? А ведь подвиги эти не тем чета, которыми хвастаются мадьяры.

Нет ничего проще и очевиднее, чем историческая роль мадьяр в прошедшем. Нужно быть совершенно ослепленным, чтобы не видеть и не понять этой роли; но г. Шассен не мог ее видеть, потому что роль мадьяр определяется только отношением их к другому, несравненно сильнейшему и важнейшему племени; а г. Шассен этого племени не любит и на всю историю Восточной Европы смотрит исключительно с мадьярской точки зрения.

Мадьяры, как известно, пришельцы в Европе. Они заняли нынешнее свое отечество в последних годах девятого столетия. Долго земля их — степное пространство по обеим сторонам среднего Дуная — переходила из рук в руки, с тех пор как была оставлена римлянами на произвол народов, стремившихся разрушить всемирную империю древности. В этих степях царил Аттила; в них перебивали руги, готы, гепиды, лонгобарды, все эти немецкие дружины, которые шли

завоевывать Запад; потом авары раскинули на них свои шатры и сносили туда награбленные богатства близких и далеких стран. Франки, после тяжелой войны, низвергли державу аварскую и почти уничтожили этот дикий народ; несколько лет оба берега среднего Дуная принадлежали к Римской империи, восстановленной Карлом Великим. Наконец, весь этот край перешел в руки славян, не завоеванием, а незаметным наплывом этого племени, в то время начинавшего заявлять свою жизнь в истории. На северо-запад от великой равнины дунайской, в Моравии и под Карпатами, слагалось одно славянское государство, так называемое Велико-Моравское княжество; на юге другое — Болгария достигала уже полного развития своих сил и уже владела нынешней Валахией и Трансильванией. С обеих сторон славяне шли заселять плодородные степи аваров и сеять хлеб там, где так долго кочевала со своими стадами эта хищная орда. Еще в 805 году авары посылали жалобу к Карлу Великому, что им от нашествия славян негде было жить. Скоро они совершенно исчезли, и через несколько лет, при распаде империи Карла Великого, вся нынешняя Венгрия очутилась во власти славян. Болгария занимала юго-восток ее, Моравия — север, а на юго-западе возникло особое славянское княжество Блатенское (названное так от Блатенского озера, Platten-See, по-мадьярски Balaton). Равнины эти, таким образом, сделались средоточием и местом соприкосновения всего западного славянства. Западная часть славянского племени, которая начинала уже распадаться на частные группы и стремиться к разъединению, к образованию нескольких отдельных народов и государств, снова увлечена была к общению и единству. В равнинах среднего Дуная поселения болгарских славян и сербо-хорватов сходились с поселениями славян закарпатских; здесь могла образоваться точка соединения между северо-западной группой славян, занимавшей в то время все пространство от Эльбы до Вислы и далее, до пределов Литвы, и между группой юго-западных славян, которая опиралась на Черное и Адриатическое моря. В западной половине славянского племени, простиравшейся от Дании до Греции, могло

развиться то, что развилось потом в восточной половине, на Руси: единство народное и крепкая организация общественная и государственная. И действительно, как только славяне утвердились в дунайской равнине, ими овладело стремление к единству. То племя и то княжество, которому принадлежала важнейшая часть этих земель, пространство между Карпатами и Дунаем, сделалось весьма скоро и, сколько видно, без всякого насилия средоточием большого славянского государства. В исходе IX века Велико-Моравское княжество (или королевство, как стали называть его) уже владело — на северо-востоке Малой Польшей и частью нынешней Галиции, на юго-западе Блатенским княжеством. Это государство было так сильно, что отразило победоносно все удары Германии. Политическое средоточие всего западного славянского мира, оно сделалось также его духовным средоточием. Сюда, в Великую Моравию, Кирилл и Мефодий перенесли свою деятельность из Болгарии. Христианское просвещение, передаваемое на родном языке и сопровождаемое славянской письменностью, стало разливаться отсюда с невероятной быстротой во все стороны. Принятое уже болгарами и сербами, оно через несколько лет водворилось уже в Чехии и Малой Польше, в Кракове и Праге. Связь религиозная должна была, разумеется, ускорять и скреплять единство народное и политическое; она должна была вести к тому, чтобы в западной половине славянского мира образовался из всех едва начинавших обособляться племен один великий народ (с некоторыми, быть может, различиями наречий и нравов), как эта связь повела у восточных славян, на Руси, к образованию одного народа из многих племен, живших там в IX веке. К чему все эти предположения? Они нам нужны для того, чтобы понять значение равнины среднего Дуная и историческую роль мадьяр, которым судьба отдала эту равнину. В предположениях, нами сделанных, нет, кажется, ничего произвольного: правильность их очевидно подтверждают факты, последовавшие тотчас за водворением славян в той стране. Если бы не помешала случайность, то западный славянский мир, вероятно, приступил бы в IX веке — к исполнению той

задачи, которая, как кажется, лежит на России XIX века: соединившись в единство народное и государственное, он начал бы самостоятельное развитие славянского духа и быта с помощью просвещения других народов, он принял бы самостоятельное участие в самом ходе европейского просвещения. Западному славянскому миру помешала случайность, и эта случайность были — мадьяры. Случайностью я называю их нашествие, разумеется, не потому, чтобы я был поборником того учения, по которому случай является управителем судеб человеческих. Этого вопроса я вовсе не касаюсь и говорю только, что, как факт, вторжение мадьяр в Европу имеет характер случайности: да и не сохраняют ли они до сих пор характера исторической и этнографической случайности? Окруженные славянами, немцами, романцами, они всем одинаково чужие; немец, романец, славянин, не понимая друг друга, все-таки слышат друг у друга какой-то общий строй речи; и всем им одинаково дика и странна кажется однообразно-звонкая речь мадьяра. Славянин, или романец, или немец хотят взаимно выучиться языкам немецкому, славянскому, романскому: для этого им стоит только усвоить себе чужие звуки и слова; но, чтобы заговорить по-мадьярски, для них недовольно выучить мадьярские звуки и слова; они должны, так сказать, перевернуть в голове весь способ выражения мысли в речении. Не только в речи мадьяра окружающие европейские народы слышат что-то чужое; они видят чужое в его характере и быте. Мадьяр носит на себе печать той самоуглубленной гордости, которая отличает азиатские народы от европейских. Хотя он сделался поневоле земледельцем, однако пастушеский быт ему роднее: где может, разводит он стада и сызмала срастается с лошастью, как истый кочевник; просторная *пуста* (степь) ему необходима для житья; где кончается *пуста*, кончаются и жилища мадьяр. Разбросанные по *пусте*, широкие селения их с беленькими домиками сохраняют вид шатров, укоренившихся на одном месте.

В последних годах IX века мадьяры придвинули свои шатры и стада к Карпатским горам. Сначала отраженные вели-

коморавскими славянами, они вскоре опять бросились на них, когда эти славяне сделались неспособными к дружной обороне вследствие внутренних раздоров в княжеском роде и истощены были продолжительной борьбой с Германией. Магьяры в несколько лет завоевали равнину среднего Дуная, истребили там славян или выгнали их и подчинили себе тех, которые жили на склоне <Карпат>, так же как <румынов>, занимавших Трансильванию. Горные места магьяры для себя занять не хотели.

Водворение магьяр на среднем Дунае имело неисчислимые последствия для западного славянского мира. Племя, совершенно чуждое славянам и всей Европе, разделило западный славянский мир на две половины, северную и южную, и не оставило между ними ни одной точки соприкосновения. Западный славянский мир предоставлен был всецело духу обособления, который уже начинал проявляться в нем, когда утверждение славян в Дунайской равнине вдруг остановило западное славянство на этом пути и дало перевес силе единения. Но теперь ничего уже не могло воспрепятствовать началу обособления. Ни в северной, ни в южной группе, отдельно взятой, не было общего средоточия, довольно сильного, чтобы стянуть каждую из них и удержать от распада в самой себе. И северная и южная группа западных славян, со времени нашествия магьяр, стала вырабатывать в себе по несколько отдельных народностей там, где в начале были только племена, едва отличавшиеся друг от друга, и которые при иных обстоятельствах, вероятно, также легко слились бы в одно целое, как на Руси поляне, вятичи, новгородские словене и др. Напрасны были усилия могущественнейших государей побороть этот дух обособления и установить единство то в северной, то в южной группе западных славян. Непреодолимая сила народной <особности> уничтожала их труды. Ни Симеону Болгарскому в X веке, ни Стефану Душану Сербскому в XIV, ни Болеславу Жестокому Чешскому в X, ни Болеславу Храброму Польскому в XI, ни Вячеславу II Чешскому в XIII веке не удалось при огромных усилиях связать воедино два славянских народа, столь близких между собою, как чехи с поляками,

сербы с болгарами. Южная группа, при всех превратностях судьбы, осталась упорно разделенною на свои четыре народности (болгар, сербов, хорватов и словенцев); из четырех народностей, на которые распалась северная группа (чехов со словаками, лужицких сербов, поляков и, наконец, балтийских славян, подразделенных, в свою очередь, на несколько племен, упорно отвергавших соединение), только три первые уцелели, а последняя погибла под ударами Германии.

Отделенные друг от друга и разъединенные между собой, славяне и северной и южной группы не в силах были сделаться самостоятельными деятелями европейского просвещения наравне с великими народами романскими и германскими. Северная группа, отрезанная мадьярами (вначале язычниками, а впоследствии католиками) от Греции и Болгарии, не могла отстоять православия против усилий римского и немецкого духовенства и с католицизмом приняла весь строй романо-германской жизни. Чехи, поляки, лужичане нравственно, а частью и политически поработились Западной Европе, а балтийские славяне, которые не хотели такого порабощения, должны были остаться неподвижными при своем язычестве и были истреблены Западною Европою; поляки же, чехи и лужичане, вследствие слабости своих сил, сравнительно с силами тяготевшего над ними романо-германского мира, не в состоянии были спасти природных основ своей славянской жизни даже в глубине народных масс: начала романо-германского мира, несомые католицизмом, проникли у них всюду, завладели всем народом, всеми его понятиями, всем его бытом. Страшная реакция против католицизма и германского духа, родившаяся у чехов из предания православного христианства и остатков славянского быта и известная под именем Гуситских войн, вызвала дивные подвиги мужества; она имела огромное влияние на Западную Европу, но не смогла освободить чехов от нравственного подчинения Западу; она только истощила их силы в благородной, но для них самих бесполезной борьбе и имела последствием совершенное их порабощение немецкому племени. А у поляков даже такой реакции не было. Таким обра-

зом, историческая жизнь в северной группе западных славян протекла без внутренней самобытности, на почве, подкопанной чужими стихиями и которая поэтому даже не могла долго выдержать на себе никакого самостоятельного государственного здания. Впрочем, разбор явлений исторической жизни у этих народов, явлений, которые все, посредственно или непосредственно, развились из указанного нами начала, такой разбор не относится к предмету нашей статьи. Мы надеемся исследовать их особо.

Итак, водворение мадьяр на среднем Дунае, мы сказали, предоставило северо-западных славян беспрепятственно духу обособления и принудило их примкнуть, как второстепенные тела, к организму несравненно сильнейшему, романо-германскому католическому Западу, который и заглушил в них свободное развитие славянской жизни. А юго-западных славян мадьяры, напротив, совершенно отрезали от романо-германского Запада и привязали к гниющему организму Византии. Вполне чуждые окружающему миру народов, мадьяры также мало могли быть для славян задунайских проводниками образованности латинского мира, как они не могли служить чехам и полякам звеньями соединения с миром православным⁷. Юго-западные славяне, сербы и болгары, сохранили православное христианство с народным богослужением и народную письменность; но и они не в состоянии были развиваться самобытно и плодотворно. На северо-западе католицизм и быт латино-германский подточили народную почву и тем обусловили падение; на юго-западе народная почва осталась цела вследствие внутреннего характера православной церкви, которая не только не разрушала существенных стихий славянского духа и быта, а, напротив, давала им приют и освящение; но у сербов и болгар было слишком мало силы, чтобы удержаться от влияния Византии, с которою мадьяры, так сказать, заперли их в одну ограду, и тлетворный воздух гнившей империи заразил, если не народную почву, то всю государственную надстройку. Историческое развитие болгар и сербов было так же лишено внутренней самостоя-

тельности, так же слабо, как развитие северо-западных славян, и еще скорее кончилось падением⁸.

Мы указали на последствия водворения мадьяр в дунайской стране: последствия огромные, роковые для целой половины славянского племени, для всей средней полосы Европы, от Эльбы до Немана, от Адриатического до Черного моря! Вот всемирно-историческое значение мадьярского народа в прошедшем. Что в сравнении с этим их войны с Турцией, с Австрией?

Мысль об этом значении мадьяр была вполне определенно выражена уже чешским историком Палацким, хотя она в его истории поставлена как-то отрывочно и теряется из виду при дальнейшем изложении судеб чешского народа⁹.

Впрочем, дело так ясно, так осязательно, что не видеть и не понять его нельзя без особенного ослепления. Но французский автор книги о Венгрии, о которой мы повели речь, этого не хотел понять, вследствие какого-то, проявляющегося у него везде, неуважения и невнимания к славянскому миру и желая сочинить для мадьяр какую-то первенствующую, не обусловленную никакими посторонними стихиями, роль на востоке Европы. А надобно заметить, что г. Шассен читал определение исторического значения мадьяр, сделанное Палацким; он читал это определение и не понял его смысла, а удовольствовался только этим замечанием, брошенным вскользь: «Палацкий написал в одной из своих книг: «В то самое мгновение, когда славянские племена готовы были слиться между собою, явились мадьяры и, вонзившись в средину славян, воспрепятствовали их соединению». Отсюда (продолжает г. Шассен) гнев панславистов против венгров и их постоянные и несправедливые нападки на Венгрию».

По какому случаю панслависты, как их называет г. Шассен, делали нападки на мадьяр, об этом мы скажем несколько слов впоследствии и увидим, были ли эти нападки несправедливы или нет. Но мы можем с уверенностью сказать, что ни один из панславистов (под этим именем разумею всех людей,

желающих развития славянских народностей и их взаимного общения), что ни один из панславистов не питает гнева против мадьяр за то, что они сделали славянам в прошлые века. Гневаться на них за это можно было разве в сентиментальных стихах, как Колар, оплакивавший в своей поэме все жертвы, какие судьба похитила у славянских народов. Это было кстати на известной ступени развития народного сознания у западных славян, при младенческом взгляде, который отличает сочинения Колара, не уничтожая их достоинств и значения. Но с какой стати вздумали бы теперь славяне, более хладнокровно и зрело смотрящие на вещи, гневаться за то дело, которое судьба велела совершить мадьярам? Гневаться на них и на судьбу славяне могли бы разве только тогда, когда бы они узнали, что было бы лучше, если бы самостоятельное и общее развитие славянского мира началось в IX веке, а не в XIX, если бы оно имело основной почвой средину Европейского материка по обеим сторонам Карпат, а не пространство от Белого моря до Черного и до Тихого океана. Что было бы лучше для славянского мира и для всего человечества, никто не решит; и потому никто не почувствует вражды к мадьярам за то, что они лишили западных славян возможности начать в IX веке общими силами самобытное историческое развитие. Мало ли полегло на земле племен и поколений, не достигши полного проявления своих природных начал? Можно жалеть об них, но зная, сколько жертв требует тяжелый ход истории, нечего питать бесплодного гнева против тех, кто погубил эти племена и поколения¹⁰.

Мы знаем историческую роль мадьяр. Роль эта не ограничивается первым временем их пребывания в Дунайской стране; она продолжалась много веков. Мы надеемся, что в настоящее время она кончилась и что для мадьярского народа наступила другая роль. Но останемся пока еще в прошедшем.

Народ немногочисленный, ворвавшийся в средину племен чуждых, несравненно многочисленнейших и сильнейших, каким образом мадьяры могли устоять в завоеванной земле и не быть изгнанными или задавленными общим напором со-

седей? И вместе с тем, каким образом, удерживаясь среди европейских народов, могли они не утратить своей народности? Удержать свою народность, конечно, было для них возможно вследствие того, что мадьяры не расселились по всей покоренной ими стране, а столпились в середине ее, в привольных степях, отодвинув туземцев под горы, и что, прикасаясь к трем разным народностям — славянам, румынам и немцам, они не могли подпасть под исключительное влияние ни одной из них. Но каким чудом мадьяры спаслись от изгнания или истребления дружным натиском народов, которые столько пострадали от их вторжения и которые, наконец, должны были соединиться против хищных пришельцев? Почему они не были выгнаны, как гунны, или не были истреблены, как авары? Гунны и авары принадлежали к тому же племени, как мадьяры; они расположились в тех же местах; они были сильнее и страшнее их. Каким же образом мадьяры избежали участи своих могущественных предшественников?

Этот народ одарен был удивительным инстинктом самосохранения. Инстинкт самосохранения составляет, так сказать, существенную черту всей прежней истории мадьяр, и особенно поразителен он в начале их европейской жизни. Судьба как бы нарочно наделила мадьяр в такой удивительной степени этим инстинктом сообразно с необыкновенной опасностью их положения в Европе, дабы могла устоять эта живая стена людей, разделявшая надвое западнославянский мир.

Из всех завоевателей уральского племени одни мадьяры с самого начала умели воздержаться от главной причины, которая увлекла к скорому падению орды Аттилы и Баяна, Алпарслана и Малек-шаха, Чингисхана и Тамерлана¹¹ и участвовала в быстром ослаблении Османлиев: мадьяры не прельстились подчинением себе огромного пространства земель, огромного количества народов. Они тотчас же и, как видно, совершенно добровольно и сознательно ограничили пространство, которым хотели владеть, естественными пределами страны, где они поселились и где получили действительный перевес над всеми другими народностями. Это видно из древнего мадьяр-

ского предания о том, как тотчас после покорения всех племен внутри самой Венгрии сын первого завоевателя Арпада¹², Солта¹³, определил границы своего государства: границы эти совпадают с естественными пределами Венгрии¹⁴. Это видно из всех исторических свидетельств, как венгерских, так и иностранных. В порыве воинственной ярости, сопровождавшей приобретение нового отечества, мадьяры стали делать опустошительные набеги на окрестные земли — в Германию, Италию и греческие области; но эти набеги имели единственной целью поживиться добычей и показать свою удаль. Нет следа, чтобы какой-либо из этих набегов был внушен мыслью о завоевании, об утверждении мадьярского господства за Карпатами и южнее Дуная и Савы. Ни в одном из этих набегов не участвовал сам государь мадьярский; это были частные предприятия некоторых старшин для стяжания богатства и славы. Но эти набеги скоро прекращены были, как только Германия собралась с силами для их отражения, и венгры избегли, таким образом, мести со стороны Западной Европы. Едва кончилась эпоха набегов, обусловленная избытком воинственных сил, как главною заботою преемников Арпада сделалось расширение и утверждение христианства между мадьярами. Этим только мадьярский народ мог вступить в европейскую семью. Распространением христианства ознаменовал себя в особенности четвертый преемник Арпада, св. Стефан, которого народное предание именует творцом Венгрии и за которым история должна признать это название. Его учреждениям мадьярский народ обязан своим сохранением. Стефан принадлежит к числу тех великих организаторов, которых судьба посылает иногда младенчеству народам, окруженным опасностями, несоизмерными с их силами, и нуждающимся в мудрой и крепкой постройке государственного здания, сообразного с их положением. Мы, впрочем, не хотим сказать, чтобы учреждения св. Стефана были личным творением его произвола: как все живые учреждения на свете, они родились из потребностей народа и дали им только сознательную форму и освящение. Венгерские историки не без основания видят

зародыши стефановых законов в первых распоряжениях Арпада и его сподвижников в Дунайской стране. Возникши из живого источника, учреждения св. Стефана продолжали жить и развиваться при его преемниках, так что, вероятно, многое, приписываемое святому королю, установилось только в последующее время; но критический разбор этого предмета увлек бы нас слишком далеко.

Если мы <сообразим> положение мадьяр — чужого племени, насильно захватившего земли среди европейских народов и подвергнутого опасности быть поглощенным ими либо изгнанным и истребленным, то мы увидим, что, кроме принятия христианства, мадьярам нужен был такой государственный порядок, который, с одной стороны, не заключал бы в себе излишней сосредоточенной власти, а с другой — не отстранял бы единства в правительстве; что следовало, с одной стороны, оставить за мадьярами-завоевателями некоторые преимущества, а с другой — дать подчиненным племенам такие права, которые вызвали бы в них участие к сохранению порядка вещей, созданного мадьярским завоеванием. Как отсутствие правительственного единства было бы очевидной гибелью для мадьяр, так была бы гибельна для них деспотическая централизация, которая поставила бы в зависимость от личных дарований правителя судьбу такого шаткого здания, каким бывает всегда государство, основанное на завоевании: события, разыгравшиеся в тех же местах после смерти Аттилы и Баяна, доказывают это, не говоря о других примерах. Некоторые преимущества мадьяры должны были оставить за собою, чтобы их потомки не имели охоты переродиться в славян или валахов; но нужно было предотвратить угнетение славянской и румынской народности мадьярскою, чтобы не дать им повода восстать и призвать против мадьяр своих соплеменников с севера, юга и востока. Такова была задача, предстоявшая первому устройителю мадьярской державы. Св. Стефан решил ее с умением, которому нельзя не дивиться.

Вопрос об единой державе был уже решен до него. Хотя при вторжении в Европу власть князя была весьма слаба и он

казался в начале только главою союза почти независимых старшин, соединившихся для общего похода, однако тотчас по водворении на Дунае значение этой власти силою обстоятельств стало все более и более возвышаться. Вероятно, если бы св. Стефан захотел воспользоваться своею победою над частью народа, взбунтовавшейся против введения христианства и вслед за тем покорением Трансильвании (где один из старшин, спутников Арпада, основал было независимое княжество), то он мог бы взять в руки власть неограниченную. Но он этого не сделал. Магьяры с гордостью указывают на свою конституцию, как на древнейшую в Европе: они имеют на это полное право. Конституция св. Стефана получила свое начало около 1000 г., и, стало быть, с лишком столетием старше английской *Magna Charta*. Не вдаваясь в подробности ее, мы укажем только на то, что конституция св. Стефана совмещала в себе все условия, бывшие необходимыми для сохранения мадьярской народности в завоеванном ею крае. Королевская власть была довольно сильна; но стране, разделенной на комитаты, предоставлялось полное местное самоуправление; сейм, в котором могли участвовать все дворяне или свободные люди (это было одно и то же: древнее дворянство мадьярское, по своей многочисленности и политическому значению, соответствует шляхте, развившейся потом в Польше), — сейм решал законодательные вопросы и другие важные дела, общие для всей страны; в каждом комитате созывался сеймик или конгрегация, представлявшая в малом виде подобие общего сейма. Замечательно сходство всего этого государственного порядка с древним политическим устройством западных славянских народов. Они также делились первоначально на *жупы*, совершенное подобие венгерских комитатов, имевших каждый, как и славянские *жупы*, укрепленное средоточие, где собирался народ в случае неприятельского нашествия, где производился торг, находился суд и жил начальник комитата, *шипан* (слово, очевидно, переделанное из славянского *жупан*). Сходки в славянских *жупах* и общий сейм в главном городе земли представляют такое же сходство между древним устройством западных славян и ма-

дьяр. Весьма вероятно, или, лучше сказать, несомненно, что государственный порядок Венгрии сложился наподобие того порядка, в котором мадьяры застали туземных славян при водворении своем между ними. Но устройство *жуи* с их сходками у западных славян подверглось повсюду скорому разложению под влиянием многих посторонних стихий; а у мадьяр, сознательно принятое законодателем за основу всего политического бытия страны, оно утвердилось незыблемо и устояло донныне. Одно учреждение исключительно свойственно Венгрии и возникло как будто бы из стремления оградить государство от опасностей междуцарствия и от столкновения между сеймом и королем. Это была должность палатина. Когда король правил, палатин был верховным судьей и надзирателем пограничных крепостей, оборонявших страну; блюститель закона, он председательствовал на сеймах, хранил государственные уставы и грамоты и передавал королю жалобы его подданных. В случае же отсутствия короля или неспособности его к правлению, а также во время междуцарствия верховная власть переходила к палатину. Нельзя не дивиться тому, что при таких правах палатина эта должность осталась неприкосновенной во все время независимости Венгрии и что как короли не решались уничтожить звание, столь стеснительное для них, так, с другой стороны, никто из палатинов не отважился присвоить себе королевскую власть.

Мы сказали, что политические права (участие в сеймах и сеймиках и другие преимущества, о которых мы не распространяемся) принадлежали дворянству и что дворянами были в Венгрии все свободные люди¹⁵. Они не платили податей; они обязаны были идти на войну по призыву короля. Первоначально этот господствующий класс составляли завоеватели — мадьяры; туземцы были обращены в низшее сословие, лишенное политических прав и жившее большею частью в качестве крепостных людей на землях, которые мадьяры распределили между собою при завоевании. Но мадьяры умели избегнуть исключительности; они не поставили резкой грани между собою и побежденными народами. Мадьярская терпимость относи-

тельно других народов упрочила завоевательное государство Арпадово и спасла мадьяр. Терпимость эта проявлялась двояким образом. С одной стороны, мадьяры не только не берегли своих прав исключительно для себя, но охотно делились ими со всеми единоплеменными кочевниками, которые подходили к их границам. *Единоплеменников* они тотчас принимали как равноправных братьев и отводили им жилища в своих степях. Эти пришельцы, естественно, теряли скоро свои особенности среди родственных мадьяр и органически сливались с ними. Прием пришлых кочевых племен в общество мадьяр начинается на первом шагу их в Европе. Когда мадьяры еще только собирались перейти за Карпатские горы, они допустили в свою орду семерых старшин половецких (куманских) с их родами и подвластным им народом. При завоевании Трансильвании мадьяры тотчас побратались с так называемыми секлерами, которых предание, может быть основательно, выдает за потомков гуннов, оставшихся там после разрушения Аттилиной державы. Сын Арпада, Солта, принял в мадьярское общество бисенов; внук Арпада, Тотсун, каких-то магометан, выходцев из земли *Булар* (вероятно, Волжской Болгарии), и водворил их большею частью около Пешта, где они, по принятии христианства, слились с мадьярами. Переход кочевников из черноморских степей в Венгрию продолжался и в последующее время и завершился в XIII веке самым значительным переселением: тогда мадьяры отвели у себя жилища всей орде половцев (куманов) и языгов, или ясов, гонимых татарами, и дали им все права, коими сами пользовались. Этот многократный прилив единоплеменников с востока более всего способствовал внутреннему упрочению мадьярской народности; можно даже полагать, что без последнего и главного приращения сил принятием половцев она давно исчезла бы сама собой.

В отношении к народам *европейским* древние мадьяры руководствовались мудрой общительностью и терпимостью и тем заставили их забыть зло и обиды завоевания. Эта черта проходит через всю прежнюю историю мадьяр, начиная с первых шагов их на европейской земле. Древнейший русский ле-

тописец упоминает о том, как венгры прошли мимо Киева, на пути к своему новому отечеству; древнейший летописец венгерский говорит о том же, прибавляя сказание о войне с Киевским князем и о блистательной победе над ним. Мы вправе не верить сказочным подвигам мадьяр под Киевом, тем более что сам летописец ссылается, для удостоверения в правдивости своего повествования, на народные песни мадьярские; однако едва ли при таком походе могло обойтись без враждебных столкновений. Но и в мадьярском предании война с русскими кончается миром и дружбою, так что при переходе за Карпаты многие русские пошли за мадьярским вождем, поселились в Венгрии и верно служили ее государям: «Потомство их, говорит летописец, живет там до нынешнего дня» (Анопум, рег. *Belae notarius*, гл. 10). Нет никакого основания отвергать это сказание; но как бы то ни было, обширные поселения русских людей (малороссов) в Венгрии восходят до отдаленнейшей древности, и эти русские жили постоянно в дружбе с мадьярами. Даже события 1848 года не поколебали ее, сколько нам известно. Тяжелее была вначале, без сомнения, участь других славян в Венгрии, а также румынов, как народов завоеванных; но, сколько видно из древних свидетельств, мадьяры не были жестоки в обращении со своими подданными. Они отличались этим от своих предшественников в завоевании Дунайской страны — аваров, свирепость которых на многие века осталась памятною славянам; зато и гибель аваров была ужасна, и обратилась в притчу точно так же, как их жестокость. Предание мадьярское олицетворило в первом завоевателе, Арпаде, дружеское общение с туземцами. Оно представляет его пирующим ежедневно со своими венграми и с другими народами. «И соседние народы, — прибавляет мадьярский летописец, — слыша о делах венгров, стекались к князю Арпаду и, добровольно покоряясь, служили ему с великим рвением, а многие сделались у него домашними гостями». Скоро славяне и румыны стали приниматься в ряды свободных людей или дворян, а с другой стороны, многие из мадьяр вследствие разных обстоятельств, переходили в разряд крепостных. Уже во

время св. Стефана в Венгрии, можно полагать, не все дворянство состояло из мадьяр, и не все туземные жители, славяне и румыны, лишены были политических прав. Право местного самоуправления получили, по конституции св. Стефана, одинаково комитаты чисто мадьярские и комитаты, в которых жили почти исключительно славяне и где, по всей вероятности, само дворянство было более или менее славянское. Таким образом, конституция св. Стефана сделалась дорогою не только мадьярам, но и славянам, как хранительница общих прав и вольностей. Венгерские славяне стали сами с ревностью поддерживать устав, на котором держалось все государственное здание, воздвигнутое мадьярами в завоеванной славянской земле. Св. Стефан в своей конституции прибавил еще одно важное примирительное начало: вместе с христианством, принятым из Рима, он ввел латинский язык в Венгрии, не только как язык церкви, но как язык правительственный и административный. Латинский язык, употребление которого в средние века принесло другим странам Западной Европы огромный вред, задержав развитие народной образованности и заглушив много живых народных сил, оказал, напротив, мадьярам неисчислимую пользу; можно сказать, что латинский язык, вместе с конституцией св. Стефана, спас мадьяр от народной борьбы с славянами и с тем вместе от гибели. Язык нейтральный, он предупреждал столкновение обеих народностей в делах общественных и правительственных и ограничивал как мадьярский язык, так и славянский область частной жизни, где оба могли существовать безобидно друг для друга. Латинский язык был такой жизненной потребностью для Венгрии, что он укоренился там, как нигде в другом месте, и с самого начала сделался не только языком государственных актов, но языком устных прений на сеймах и сеймиках и в судах, языком всех официальных сношений. Всякий житель Венгрии, к какой бы он народности ни принадлежал, учивался говорить <по-латыни>, коль скоро хотел принимать участие в общественных делах. В таком употреблении латинский язык оставался в Венгрии, как известно, до 30-х годов

нынешнего столетия; известно также, в какое замешательство пришли там взаимные отношения народностей, когда отменили официальное значение латинского языка.

Мы говорили до сих пор преимущественно об отношениях, в какие древние мадьяры вступили к славянской народности. В этих отношениях заключался для потомков Арпада вопрос жизни и смерти, ибо очевидно, что главная опасность грозила мадьярам со стороны реакции покоренных славян и их заграничных соплеменников. Мы видели, что чувство самосохранения внушило мадьярам и их первому устройтелю, св. Стефану¹⁶, такой образ действия, который не только предупредил восстание славян, но даже позволил им забыть зло, сделанное им мадьярами: во всей прошедшей истории нет следов народной вражды венгерских славян против завоевательного племени; нет таких следов в их народных песнях.

Подобная политика руководила мадьярами и в отношении к другим народностям. Св. Стефан поселил в Венгрии много немецких ремесленников и рудокопов и в Трансильвании основал сплошные немецкие колонии. Эти переселенцы получили больше права, и народность их была вполне ограждена. Венгрия издревле славилась своим гостеприимством; люди из разных стран селились там под охраною мадьярской терпимости, и многие приобретали с дворянством все политические права. Только участь румынов в Трансильвании была тяжела. Трансильвания получила устройство, не сходное с Венгрией; она разделена была на три народности: мадьярскую, секлерскую и немецкую, которые управлялись отделенно, сами собою, а общие дела решали совокупно на сейме; румыны же, хотя составляли главную массу населения Трансильвании, не были признаны самостоятельной народностью, имеющей политические права, и те из румынов, которые были признаны дворянами, не являлись представителями своего племени, а заседали между членами привилегированных народностей. Трудно решить, почему древние мадьяры поступили так несправедливо относительно румынов: потому ли, что не боялись этого народа, не имевшего в

то время никакого политического бытия, или вследствие случайных причин, которых мы здесь не станем доискиваться.

Через сто лет после основания конституции св. Стефана Венгрия приобрела целое славянское государство, простиравшееся от Дравы до Адриатического моря. Нет сомнения, что дружелюбные отношения, в которые мадьяры умели поставить себя к завоеванным ими славянам, и преимущества конституции св. Стефана были главной причиной того, что хорватский народ, когда прекратилась его древняя династия, добровольно согласился призвать на свой престол род Арпада. Венгрия признала за хорватами полную независимость внутреннего самоуправления; между Венгрией и Хорватией установлена была только политическая связь в лице короля и тех депутатов, которых хорватский сейм отправлял на сейм венгерский представителями интересов Хорватии. Руководствуясь своей мудрой политикой относительно славян, мадьяры не только подписали эти условия, но — надобно сказать к их чести — свято хранили их во все продолжение своего самостоятельного существования. Зато и хорваты грудью стояли за Венгрию.

Со своею терпимостью относительно чужих народностей мадьяры соединяли постоянно полную религиозную терпимость. Г. Шассен в своем введении к истории Гунияда, посвятил целую главу доказательству религиозного либерализма мадьяр. В самом деле, они даже в самую темную пору средних веков упорно отвергали вмешательство папской власти в светские дела, и православные постоянно пользовались у них свободой вероисповедания. В этом отношении, по крайней мере, трансильванские румыны не были унижены, как в политических правах. В самой Венгрии православная вера была вначале сильно распространена и, как кажется, до XIII века преобладала между мадьярами над католицизмом. Она уступила ему мало-помалу вследствие постоянного усиления западного влияния и недостатка общения с Востоком, а также вследствие стараний латинского духовенства, которое св. Стефан одарил огромными материальными средствами. Нет никаких следов, чтобы мадьярское правительство стесняло

свободу православных и предпринимало против них гонения. Венгерские русины могли сохранить православное исповедание неприкосновенным во все время самостоятельности Венгрии и обращены были в унию только ревностью австрийского правительства (окончательное их присоединение к униатам совершилось в 1768 году)¹⁷. Веротерпимость должна была сделаться таким же основным правилом для мадьяр, как терпимость к народностям, ибо последняя не могла существовать без веротерпимости, а терпимость в деле народностей была, как мы видели, жизненным условием для существования самого мадьярского народа. Католицизм не привил к мадьярам своей исключительности; его нетерпимость не соответствовала их потребностям. Потому нигде, как между мадьярами, реформа, проповеданная Лютером и Кальвином, не нашла столь скорого и полного отголоска. Еще в XVI веке протестантство сделалось господствующим вероисповеданием мадьяр. Для защиты свободы вероисповедания они вели кровавые войны с австрийским правительством. Чтобы восстановить католицизм в мадьярском народе, нужны были все ужасы императора Леопольда I¹⁸ и его палачей, иезуитов, ужасы, которым трудно найти подобных в истории рода человеческого; нужна была политика, избравшая себе девизом: *faciam Hungariam captivam, postea mendicam, deinde catholicam* (обращу Венгрию в рабство, потом в нищенство, наконец в католичество). Но и девятимесячные казни в Эперьес, которые превосходят по жестокости истязаний и числу жертв все, что совершилось на земле бесчеловечного, не могли сделать католицизма господствующим исповеданием мадьяр. При первой возможности они снова заставили Австрию признать вместе с древними конституционными правами Венгрии свободу вероисповедания. Хотя численный перевес между мадьярами остался, со времени гонений Леопольда, на стороне католиков, однако реформатская вера до сих пор называется в Венгрии «мадьярскою верою» по преимуществу; события 1860 года показали, как мадьяры, верные памяти своих великих вождей, Бочкая¹⁹, Текели²⁰ и Ракоци²¹, умеют отстаивать свободу совести.

Все, что мы сказали об образе действия прежних мадьяр и началах их политической и религиозной жизни, свидетельствует о том, как высоко мы ценим этот народ, как высоко мы ценим благородные предания, завещанные ему историей. Никто из мадьяр не обвинит нас в недостатке сочувствия к их славному прошедшему. Во многом мы здесь почти повторяли слова мадьярского панегириста, г. Шассена. Но в исходной точке нашего взгляда мы с ним не согласны. Мы того мнения, что роль мадьяр в прошедшем обуславливалась преимущественно их положением среди славян и что их терпимость в отношении к народностям и вероисповеданиям и все основные начала их гражданского устройства были необходимым последствием чувства самосохранения, которым судьба так богато одарила мадьярский народ и его первых законодателей. Г. Шассен, не обращая никакого внимания на особенность положения мадьяр в Европе, приписывает, напротив, все это *природному либерализму*, которым будто бы мадьярский народ отличается между всеми племенами Восточной Европы. Нам трудно поверить, чтобы были племена по природе либеральные, а другие — по природе нелиберальные; нам даже такое мнение кажется несовместным с идеей о возможности развития в роде человеческом. Либерализм и нелиберализм народов зависит не от врожденных стихий, а от тысячи обстоятельств, творимых, изменяемых и разрушаемых ходом истории. В одном положении народ действует и, действуя, привыкает мыслить либерально, в другом положении он является нелиберальным; часто народ, под влиянием внутренних и внешних обстоятельств, из нелиберального делается либеральным, из либерального — нелиберальным; часто в одно и то же время народ является в одних отношениях либеральным, в других — нелиберальным. Отчего Древний Рим, когда в его внутреннем гражданском устройстве господствовал либерализм, насколько могло быть либеральным древнее общество, был страшным деспотом в отношении ко всем другим народам, а когда дал у себя простор громадному деспотизму, стал либеральным к подвластным племенам? Отчего Англия так либеральна у себя дома и в

Канаде, в Австралии и так нелиберальна в Индии и на целом Востоке? Отчего, наконец, сами мадьяры в 1847 и 1848 годах выставляли себя представителями либеральных начал в отношении к Австрии и поступали так нелиберально с хорватами, сербами, румынами? Странно читать в книге г. Шассена, что в Восточную Европу явилась с каким-то природным либерализмом завоевательная орда Арпадова, эта ближайшая соплеменница гуннов и аваров, половцев, татар и турок, как допускает сам г. Шассен. Дело в том, что эта орда по природе не была ни более, ни менее либеральна, чем все выходцы из азиатских степей, вторгавшиеся поочередно в Европу. Но мадьяры, или их первые вожди, умели понять, что если они не уживутся в своем новом отечестве со всеми племенами, какие нашли там, то накличут на себя такую грозу, которая их сотрет с земли. Вот отчего мадьяры и стали действовать либерально относительно народностей и религий. Сознание существенной необходимости для мадьярского народа ладить с другими племенами в его земле было так живо и сильно в эпоху первого его устройства в Европе, что св. Стефан в своем завещании к сыну выразил в следующем странном изречении свой взгляд на основания могущества государств: «Помни, — писал он Эмерику, — что государство, единое по языку и по быту, бывает слабо и шатко» (*unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est*). Как понять это правило первого венгерского законодателя, прямо противоположное тому, что всеобщий политический смысл признает залогом силы и стойкости всякой державы? Очевидно, мысль о необходимости для *Мадьярского* государства состоять из нескольких народностей, взаимно признающих свои права, до того овладела сознанием творца венгерской конституции, что он перенес эту норму в свое представление о государстве вообще: видя, как пагубно было бы желать сделать Венгрию государством одного народа, он вообразил, что разнообразие народных стихий составляет существенную потребность всякого вообще государства.

Но г. Шассен не разделяет мнения св. Стефана и сожалеет, что преемники великого законодателя соблюдали его правило

(разумеется, покуда на троне Венгрии не сидели австрийцы). Он говорит: «Все преемники короля-апостола следовали его *опасному* наставлению... Как нарочно, они воздерживались от мадьяризации румынов, что было для них чрезвычайно легко» и т. д. Несколько ниже г. Шассен продолжает: «Постоянная децентрализация была доведена (у мадьяр) до крайних пределов. Не только мадьяры *позволили* румынам, славянам и немцам удержать подле них свою народную особность, но даже, когда делали завоевания в Болгарии, Боснии, Сербии, России, Молдавии, Валахии, Чехии, Польше или Австрии, они не отваживались слить в обычаях и языке завоевания эти со своими собственными владениями. Мало того: всем иностранцам, какие бы они ни были, жидам, измаилитам и цыганам, а также поселившимся в некоторых свободных городах итальянцам, грекам, французам, — мадьяры оставляли предания и обычаи их предков. По излишней ревности они не раз принуждали силою к обращению в христианство, но никогда не производили вооруженной пропаганды в пользу своей народности. Нестройные части целого связывались одна с другою только конституцией св. Стефана... Такая система, слишком сложная и не довольно крепкая, чтобы создать единство среди разнообразия, помешала Венгрии сделаться тем, чем сделалась Франция со времен Людовика XI и Ришелье, — народом, обеспеченным в своем будущем, неразрушимым, неделимым, потому что разнородные племена, из которых она некогда слагалась, были слиты друг с другом и составляют один народ. Франция подверглась вооруженному нашествию: ее не разрезали на части. Победители не могли лишить ее естественных границ, Рейна, Альпов, Пиренеев и Атлантики, потому что между этою рекою, этими горами и этим морем встретили цельный народ. Венгрия неспособна выдержать операцию вроде договоров 1815 года: события последних лет доказали это слишком прискорбным опытом. Она была бы свободна и велика в настоящее время, если бы имела некогда, как мы (т. е. французы) своих *уравнителей* (нивелёров). В этом мы не сомневаемся».

Напрасно г. Шассен старается затем загладить бездушную жестокость взгляда, выраженного в этих строках, фразами о «великодушии» мадьяр, «которое дозволило родиться и существовать этому *плачевному* учению» (*cette déplorable doctrine* — т. е. терпимости в отношении к народностям) и другими излияниями гуманитарной фразеологии. Все-таки *учение*, которое помешало мадьярам истребить славян и румынов в своих владениях, остается плачевным, по мнению г. Шассена; все-таки он сожалеет, что мадьяры, когда им удавались завоевания в чужих землях, не налагали на тамошних жителей своего языка и своего быта: что, разумеется, могло быть достигнуто, если только было возможно, уничтожением одной части населения и страшными насилиями над другою. По какому же праву, спросим мы г. Шассена, он осуждает иезуитов и австрийцев за резню в Эпериес, за потоки крови, пролитые для водворения католицизма в Венгрии? Человеку, излагающему подобные мнения, прямая дорога — в иезуитский орден. Родись г. Шассен в XVII веке, а не в XIX, он не довольствовался бы мысленным истреблением славян и румынов в пользу мадьярской народности; он, вероятно, вместе с Колоничем и Караффою, истреблял бы вещественно мадьяр-протестантов в пользу католицизма. Если бы мы не принимали в соображение расстояния между словом и делом, между теорией и исполнением, то пришлось бы даже поставить Колонича и Караффу²² выше г. Шассена: ибо Караффа и Колонич могли верить в католицизм, как в единоспасающую церковь, а г. Шассен не может верить в единоспасительность мадьярской народности.

Мы не обратили бы внимания на приведенные мнения нашего автора, которые должны внушить отвращение всякому его читателю, если бы события нашего времени не сделали нужным напоминать мадьярам заветное правило: «Какою мерою мерите, отмерится вам». Желая положить на славян и румынов мадьярский язык и мадьярскую народность, они тем самым оправдывают Австрию, когда она старается онемечить их самих: или пусть они докажут, что мадьярская народность абсолютно лучше немецкой.

Развитие централизации и подведение всего под один уровень, наподобие Франции, этот недостижимый идеал Венгрии, по мнению г. Шассена, — было для Венгрии совершенной невозможностью. Полагать, что она могла и должна была стремиться к этой цели, доказывает полнейшее непонимание самых условий ее существования. Мы надеемся, что представили довольно ясно причины, по которым мадьярский народ, если хотел жить в Европе, должен был руководствоваться полной терпимостью в деле народностей и вероисповедания и держаться начал децентрализации и самоуправления, завещанных ему конституцией св. Стефана; в противном случае, его ожидала участь гуннов и аваров. Как же возможно было при таких условиях следовать централизующей и все подводящей под один уровень политике Франции? Да и составляет ли такая политика особенное счастье для страны? Внутреннее чувство мадьяр не обмануло их: никто из природных королей их никогда не помышлял об уничтожении конституции св. Стефана; а потом, когда Венгрия перешла под власть Габсбургской династии, с какою беспримерною стойкостью оберегала она свое древнее уложение с его двумя основными началами — местным самоуправлением и свободой исповедания! Сколько крови пролила для них! Мадьярский народ чувствовал, что с ними отстаивает самое свое существование. Недаром называл он конституцию св. Стефана и свободу исповедания палладиумом своей народности. Это сознание коренилось так глубоко, что когда Австрия пыталась уничтожить свободу исповедания и ограничить права протестантов и православных в пользу католицизма, то против нее вооружались не только православные и протестанты, но сами католики-мадьяры. Это мы видели недавно, и то же самое повторялось при всяком нарушении со стороны Австрии начала свободы совести; даже в XVII веке, когда религиозный фанатизм был в самом разгаре, когда готовилась уже в Европе страшная тридцатилетняя война, вождь мадьяр, восставших для защиты религиозной свободы, сделался католик, Стефан Бочкай, который и принудил императора Рудольфа II к подписанию Венского дого-

вора, объявлявшего полную свободу протестантам в Венгрии (1606 г.). Не тот путь, по которому развивалось государство во Франции, предстоял Венгрии. Все существенные ее стихии могли, напротив, уподобить ее Англии во внутреннем развитии. Венгрия в начале XI, Англия в начале XII века получили уже основания конституционного порядка. И в Венгрии, и в Англии эти основания были аристократические, запечатлены были следами недавнего завоевания; но они, с одной стороны, не уничтожали значения верховной власти и вследствие этого не могли вести к образованию олигархии, а с другой, давая полный простор местному самоуправлению, открывали доступ в конституционную жизнь народным стихиям и несли с собою примирение завоеванных с завоевателями. Во всем этом древняя Венгрия сходилась с древней Англией. Но Англия на этих основаниях построила одно из великолепнейших зданий человеческих, а Венгрия?.. Органическому развитию Венгрии помешала, с одной стороны, многочисленность и сосредоточенность завоевательной, мадьярской стихии, которая не могла слиться со стихией завоеванной, славянской, как норманны слились с англосаксами; а с другой стороны, Венгрию задержала опасность ее положения. Со дня наступления турок все силы ее должны были направиться к борьбе за независимость, за христианство; внутренняя, гражданская жизнь страны сделалась для нее второстепенною заботою. Вскоре опасность от внешнего врага принудила Венгрию искать опоры в династии, которая располагала или должна была располагать силами всей Германской империи и состояла в ближайшей связи с могущественнейшей державой тогдашней Европы, с усерднейшей противницей ислама, с Испанией. А попавши под скипетр Габсбургов, Венгрия тем самым прощалась с возможностью внутреннего развития. Ныне, в XIX веке, ей приходится отстаивать еще те существенные условия ее бытия, которые восемьсот лет тому назад положены были в основание ее политических и гражданских учреждений.

Между тем как Венгрия, с XV века до XI, билась и тратила все свои силы, чтобы только сохранить возможность

существования, чтобы отразить турок и устоять под властью Австрии, — славянский мир вокруг нее менялся. Поочередно упали, на западе и юге, славянские народы, некогда разрозненные мадьярами и шедшие с тех пор путем обособления и одностороннего развития, одни за романо-германской Европой, другие за Византией. А на востоке слагался и расширял свою державу другой славянский народ, более цельный, огромный, и в котором сосредоточилась судьба славянского мира. Наконец, в наше время западные славянские народы, упавшие, лишившиеся политической самостоятельности, стали сознавать причины своего падения и захотели сойти с того пути, который привел их уже к гибели и мог вести дальше к совершенному уничтожению. Эти народы стали сознавать, что причиной гибели, которою кончилась прошедшая история каждого из них, — было, во-первых, взаимное обособление и отчуждение, а во-вторых, неразрывно связанный с этим отчуждением упадок собственных народных, славянских начал и господство чужих стихий, разрушивших у них народный и государственный организм. Вместе с этим сознанием родилась внушенная естественным чувством самосохранения потребность устранить причины прежней гибели и заменить их тем, что нужно было славянским народам для их спасения и будущего преуспеяния, т. е. заменить прежнее обособление и отчуждение сближением и общением, прежнее подбострастие к чужим стихиям — развитием своей собственной народности, одним словом, родился панславизм. Таково, действительно, его точное определение, такова его сущность, очищенная от клевет и нелепых вымыслов, какие на него навязали враги его; а у панславизма природных врагов немало. Природные враги панславизма суть все те, коим выгодно было падение славян, для коих еще выгоднее бы было их совершенное уничтожение и которые поэтому не могут желать их возрождения и развития. Таким образом, в нелюбви к панславизму сходятся австрийцы и все их друзья и все приверженцы Германии; турки и все люди, желающие продления их власти в Европе; наконец, даже некоторые из греков, желающие

поддержать преобладание греческого элемента в славянских землях Турции. Все это всячески старалось подавлять распространение панславизма; все это взводило на него небылицы, чтобы сделать из него пугало. Таким образом, говорили, смотря по публике, к какой относилась речь, с одной стороны, что панславизм есть скрытая форма западных революционных идей, приспособленная к востоку Европы, с другой стороны, что он есть орудие русского правительства для распространения его господства на запад и юг. Все возгласы о панславизме, которые нам случалось читать во множестве книг и брошюр, направленных против этого нового начала, в сущности, повторяют, с большею или меньшею расточительностью фраз, с более или менее патетическими указаниями грозящих от панславизма ужасов — то или другое из вышеприведенных обвинений. Противники панславизма не обратили внимания на то, что эти два обвинения взаимно уничтожают друг друга; что нельзя поверить, чтобы панславизм был союзником революционных идей, когда в то же самое время выставляют его орудием русского правительства и обратно. Но они считывали на людское легкоеверие и, действительно, находили, особливо прежде, сильный отголосок, как на западе, так и на востоке Европы. Им дела не было до того, как нелепо само по себе каждое из двух обвинений, взводимых ими на панславизм. Скажите, не было ли нелепостью обвинять в связи с западными революционными идеями направление, которое хотело освободить славян от зависимости в отношении к Западу и обращало их к нормальному развитию собственных народных начал? Не было ли нелепостью обвинять живое начало панславизма в том, будто оно орудие русского правительства? Можно ли было допустить предположение, чтобы люди, стоящие во главе разных славянских народов, лучшие, наиболее уважаемые их люди, увлекающие за собою мнение своих соотечественников, захотели служить кому бы то ни было орудием? Противники панславизма не хотели подумать о том, что сколько, с одной стороны, невероятно, будто бы это учение было орудием чужой политики, или, если бы оно было

таким, могло не потерять тотчас всякое значение, столько же, с другой стороны, законна и неизбежна у славянских народов любовь к России и стремление сблизиться с нею. Сущность панславизма заключается в идее общения и взаимности славянских народов: что же значила бы эта идея, если бы исключен был обширнейший, самый могущественный и наиболее исполненный живых сил народ славянский? Сущность панславизма заключается в развитии в каждой из славянских земель народных славянских начал: что же значила бы эта идея, если бы исключен был тот славянский народ, у которого эти начала сохранились в наибольшей чистоте и силе!

Мне нечего оправдывать панславизм: это одно из тех стремлений человеческих, которые оправдывают себя сами и которых не могут остановить никакие клеветы, никакие усилия противников. Мне нужно было объяснить точное значение панславизма только для того, чтобы определить необходимые последствия его для Венгрии.

Как в прошедшем историческая роль Венгрии обуславливалась ее положением относительно славянского мира, так обуславливается она этим положением и в настоящее время. Но самое положение Венгрии относительно славянского мира совершенно изменилось под влиянием идеи панславизма. В прежнее время мадьярский народ держал западных и южных славян в вещественной раздельности и способствовал чрез это их внутреннему разъединению и всему развившемуся на основании разъединения историческому ходу, который кончился, как нам известно, поочередным падением всех западных и южных славян. Роль мадьярского народа в общей истории славян была, по существу своему и по своим последствиям, враждебною для них, хотя сами мадьяры старались уживаться и ладить со славянами и этим держались. Теперь славяне отказываются от прежнего разъединения и всех сопряженных с ним начал и стремятся к соединению, если не материальному, то умственному и нравственному. Станут ли мадьяры препятствовать этому новому началу, проявившемуся в жизни славян, и держать их по-прежнему в разъединении? Это невозможно. Мадьярам

пришлось бы бороться вещественным средством против начала невещественного, им пришлось бы употребить свое материальное положение между северо-западною и юго-западною группю славян, как средство уничтожить между ними возможность общения, обмена мыслей и союзного действия. В наше время, при нынешнем состоянии Европы, такая роль немислима. Какою бы китайскою стеною посреди славян ни захотели сделаться мадьяры, ток идей через нее проникнет и ее мало-помалу разрушит живой рост народов, ею разделяемых. Но Боже сохрани мадьяр от бесплодной роли китайской стены между славянами, сознавшими свое братство и стремящимися к единению! Если они не слепы, то они должны видеть, что история в настоящее время идет к возрождению славянского племени во всех его ветвях, к проявлению его природных сил, к его сознательному и общему действию в судьбах человечества. Горе мадьярам, если они захотят мешать: исторически ход сокрушал и не такие народы.

А вначале мадьяры захотели мешать славянам в новом фазисе их развития. Зато как скоро и как горько почувствовали они свою ошибку.

При первом появлении панславизма мадьяры вострепнулись. Они почуяли тотчас, что дело зашло о самых жизненных их интересах. Внимание их тем более обращено было на панславизм, что он провозглашен был впервые в их же земле: знаменитый Колар был венгерский словак, он жил и действовал в Венгрии, его поэма «Дочь Славы» напечатана была в Пеште в 1832 году. Понятно почему именно среди венгерских славян родилась идея панславизма: для них всего осязательнее была их разрозненность и слабость, которая от этого происходила, и поэтому всего ощутительнее потребность союза и нравственного единения. Мадьяры отнеслись к новому началу, как обыкновенно делают в подобных случаях люди, которым не хочется менять старый порядок вещей, где они занимают преобладающее место, на новый, выгоды которого для них сомнительны: они отнеслись враждебно к возрождению славянских народностей и к их единению. Они стали сейчас приписывать

материальную цель этому единению и испугались мысли о слиянии всех западных и южных славян в одно славянское государство, которое стерло бы с лица земли чужой народ, водворившийся среди них. Магьяры немедленно признали и провозгласили панславизм и вообще идеи славянской народности своим опаснейшим врагом.

Мы не станем описывать здесь ни распространения народного самосознания и стремлений к единению между славянами, ни борьбы этих начал с магьярами, которые, со своей стороны, выставили принцип магьярской народности и, пользуясь выгодами своего положения, захотели наложить ее посредством насильственных законодательных мер на всех славян, живущих в Венгрии и землях, исторически с нею соединенных. Испуг их перед панславизмом был так велик, что они не считали себя безопасными, покуда в пределах Венгрии останется хоть один славянин. В каких-нибудь двенадцать лет (с 1836 по 1848 год включительно) магьяры в борьбе с неведомым дотоле врагом совершенно оторвались от основного начала всей прошедшей своей истории, от того начала, которому они обязаны своим существованием в Европе, от терпимости относительно народности. Те люди, которые простирали до крайних пределов *нетерпимость*, приобрели тогда самую огромную популярность между магьярами и стали во главе их, например Кошут, говоривший, что он не признает в пределах Венгрии никакой другой народности, кроме магьярской. Как далеки эти слова от древнего завещания св. Стефана: *unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est*. Но зато св. Стефан на восемьсот с лишком лет обеспечил магьярский народ, а Кошут в один год сгубил его.

Известна история междоусобной войны, вызванной в 1848 году исключительностью и нетерпимостью магьяр и противодействием развившегося у славян сознания собственной народности. Эта междоусобная война, которая длилась 14 месяцев, которая опустошила целые области и свела в могилу десятки тысяч людей, принадлежит к числу самых горьких явлений современной истории. Славяне оплакивают ее

столько же, сколько и мадьяры, и кажется, можно произнести над нею беспристрастный приговор.

Но не таков приговор, произносимый над этою войною г. Шассеном и товарищем его, мадьяром, г. Ираньи, которые посвятили описанию ее особое сочинение. У них мадьяры повсюду являются благородными рыцарями, славяне, и преимущественно их двигатели, панслависты, — агентами, купленными Австрией и сеявшими, для пользы ее, *мятеж* против благородных и справедливых мадьяр. Кажется, время прошло писать историю в таком тоне. Если гг. Шассен и Ираньи не стыдятся выписывать из старых газет и выдавать за правду подобные клеветы на славянское движение у хорватов, сербов и словаков венгерских, то почему бы и нам не выписать, также из старых газет, и выдать за правду, что все движения, бывшие во Франции против народного конвента в 1793 и 1794 годах, все восстания в Вандее, в Лионе, в Тулоне и проч., были произведены «золотом Питта и Кобурга», как гласила фраза того времени? Но славяне вступили в союз с Австрией и помогли ей покорить Венгрию. Это вовсе не доказательство, чтобы движение их проистекло из австрийского источника, так же, как добровольный переход тулонских жителей на сторону Англии во время революции не подаст никакому разумному человеку повода предполагать, чтобы восстание Тулона против конвента было, в сущности, делом Англии. Тулон восстал и имел на это *свои* причины; ему угрожала опасность: тогда он, не видя ни с какой другой стороны помощи, забыл природную французскую антипатию к Англии и бросился в ее объятья. Так точно поступили, в подобных обстоятельствах, венгерские славяне. Можно сожалеть о печальной необходимости, заставившей их, когда не было никакой другой точки опоры, стать под австрийское знамя. Но укорять их в этом мадьяры не имеют никакого права: зачем они в то время, когда славянское движение было еще совершенно народно и не имело ничего общего с австрийскими интересами, зачем они в то время отвергали всякое примирение со славянами, провозглашали их бунтовщиками и настаивали прямо на безусловном их подчинении безрас-

судным требованиям ультрамадьярской партии? Зачем они искали союза с явными врагами славянских народов, с Турцией и с франкфуртским парламентом, который, со своей стороны, также раздражил славян требованием абсолютной германизации в Чехии и других славянских землях немецкого союза, как пештский сейм безусловным отрицанием прав славянской народности в Венгрии. Гг. Шассен и Ираньи хвалят эти союзы и указывают на Оттоманскую Порту и на «либеральную, единую (unitaire) Германию» как на естественных союзниц мадьярского народа в будущем. Мы совсем другого мнения и полагаем, что союз такого рода был бы для них гибелью. Заключая союз, надобно иметь в виду, во-первых, чтобы союзник обладал действительною силою (иначе какая от него польза?), а во-вторых, чтобы дружба с ним не возбудила вражды с теми стихиями, с которыми находишься в ближайшей связи. Что же Порты Оттоманская может сделать в пользу мадьяр? А союз с нею будет всегда возбуждать негодование сербов и хорватов, с которыми мадьяры живут вместе. Какая была сила у франкфуртского парламента? Но положим, что когда-нибудь *унитарная* Германия сделается существенностью; однако союз с нею, если он только будет направлен против славян, о чем именно и помышляют гг. Шассен и Ираньи, естественно, подымет против мадьяр чехов и их ближайших соплеменников, словаков, т. е. все население северо-западной Венгрии: выгодно ли это будет?

Наконец, гг. Шассен и Ираньи указывают на третьего союзника для мадьяр против славян или панславизма, как они выражаются, — на Польшу. Действительно, между обоими народами существует издавна сочувствие, и оно проявилось в 1848 и 1849 годах помощью, которую мадьяры получили от польских выходцев. Сочувствие это в прежнее время обуславливалось общою борьбою против турок, а еще более общим аристократическим или, лучше сказать, *шляхетским* направлением. Не знаю, задавал ли себе кто-нибудь вопрос о влиянии мадьяр на образование в Польше шляхетства? Это влияние должно было существовать, как нам кажется, и существовать весьма сильно. Мы не предполагаем, чтобы оно шло с проти-

воположной стороны, т. е. чтобы Польша имела в этом отношении влияние на Венгрию, как потому что в Венгрии, где общественный порядок основан был на завоевании, аристократическая стихия была явлением естественным и необходимым, а в Польше, в земле славянской, где общество сложилось без участия завоевания, шляхетство имело характер неестественного нароста, искажения жизни; это подтверждается уже и тем, что у мадьяр аристократическая стихия стояла во главе общественных учреждений с самого начала их гражданственности, с конституции св. Стефана, а польское шляхетство стало развиваться гораздо позднее.

Как бы то ни было, мы видим разительное сходство между старым польским понятием о шляхте, содержащей в себе исключительно всю полноту народной и государственной жизни, всю *речь посполитую*, и между старым мадьярским понятием о *дворянском народе*, совмещающем в себе также всю полноту политической жизни страны. Оба народа, польский и мадьярский, заслужили славу рыцарских народов (*peuples chevaleresques*, как их величают французские публицисты, в том числе и г. Шассен). Общие рыцарские наклонности могли служить им связью в прошедшем; память об этой связи сохранилась и в старинной пословице: *Węgier, Polak dwa bratanki, Tak do szabli, jak do skłanki* (венгерец, поляк — два братца как при сабле, так и за стаканом); но в настоящее время рыцарство, ни как учреждение действительно существующее, ни как дух учреждения минувшего, не может представлять народам ни опоры, ни условий плодотворного развития внутри или полезной связи во внешних отношениях. По существу своему, рыцарство есть учреждение противочеловеческое и противохристианское: ибо, делая некоторых людей как бы привилегированными представителями нравственного благородства, признавая за ними как бы монополий доблестей, делающих их достойными гражданской свободы, оно тем самым, в принципе своем, отвергает нравственное благородство и эти доблести во всех прочих людях: стоит только вспомнить переход французского слова *vilain* от понятия «поселянин» к понятию человека

бесчестного, низкого душою. Рыцарство является смягченной и облагороженной степенью древнего общественного устройства, противопоставлявшего гражданина рабу, в котором отвергалось не только нравственное достоинство, но и всякое человеческое право. Новый мир все более и более понимает безнравственность учреждения и самого понятия рыцарства и сбрасывает их с себя повсеместно. Счастливы страны, которые избавились от рыцарского духа совершенно (как, например, Англия и Франция)! Еще счастливее те страны, в которых его никогда не бывало (как, например, Америка и Россия с целым православным миром). И горько ошиблись бы те страны, которые хотели бы еще основать что-нибудь на рыцарском начале, как мечтают некоторые из мадьяр и поляков. Мы показали несостоятельность одной основы, на которой хотели утвердить союз мадьяр с поляками против остальных славян. Другая основа, о которой особенно распространяется г. Шассен, это — антипатия поляков к панславизму. Действительно, в 1848 году многие поляки стояли против своих братьев — славян, сербов, хорватов и др. Действительно, поляки долго отстраняли себя от стремления к единению и самобытному развитию народных начал, которое овладело всеми другими славянами, западными и южными, от Лузании до Македонии, и которое не осталось без сочувственного отголоска в России. В другом месте подробно разобраны причины этого отчуждения поляков от общего, всеславянского движения их соплеменников. Эти причины заключаются в «рыцарской», шляхетской стихии, которая проникает в польскую жизнь, польские воззрения. Внутреннюю несостоятельность этой стихии мы только что показали; она также мешает сближению поляков с другими славянами, чуждыми рыцарскому духу, а главное, не позволяет им искренно признать начало народности, составляющее всю основу новой жизни прочих славян, потому что это начало принудило бы их отказаться от старых своих притязаний на восточную Галицию, на половину Малороссии, на Белоруссию и Литву. В самом деле, поляки могут выдавать эти земли за польские только в том случае, если шляхта будет почитаться, как в былые

времена, содержащей в себе всю полноту народной жизни; ибо эти земли польские только по шляхетскому сословию, а не по народу. Неправое притязание мешает им вступить чистосердечно в славянское общение. Но шляхетский взгляд на вещи не устоит перед духом времени, и поляки откажутся от него, как отказываются уже лучшие, здравомыслящие их люди. Они уже видят, что вся будущность Польши заключается в ее сближении и единении с остальным славянским миром. Магьяры не могут рассчитывать на Польшу как на будущую союзницу против развития славян, их окружающих; в будущем она может быть их союзницей только в таком случае, если они сами искренно сблизятся со славянами.

На какую сторону магьяры ни посмотрят, они везде увидят невозможность борьбы со славянским миром, с идеей единения и народного развития, которая все более и более его одушевляет. Уже 1848 год показал им невозможность борьбы. Какие бы ни были причины, способствовавшие победе славян и какое бы ни было разочарование, которое сопровождало эту победу, одержанную с помощью Австрии, общий, основной смысл исторического урока ясен: магьяры не могут бороться с новым стремлением, которое овладело славянскими племенами и которое западные публицисты называют панславизмом. Магьяры так и поняли этот урок, но, к несчастью, слишком поздно для предупреждения катастрофы 1849 года. Последние заседания тогдашнего венгерского сейма, уже удалившегося из Пешта и собравшегося в Сегедине, были посвящены уничтожению всех тех мер, которыми магьяры хотели наложить свой язык и свою народность на прочие племена Венгрии, особенно на славян; изготовлено было новое законоположение, дававшее простор всем народностям в этой стране и отстранявшее все то, что побудило хорватов и сербов взяться за оружие против магьяр. Прежний фанатик безусловного господства магьярской стихии в Венгрии, г. Кошут, в 1851 году, во время своего изгнания в Малой Азии, издал проект будущей организации своего отечества и в этом проекте отвергал все прежние свои положения, предлагал славянской и другим народностям

полнейшую свободу развития, полнейшее равенство с мадьярской, уступал сербам право выбирать себе воеводу, наконец, отказывался от всех недавних притязаний Венгрии на подчиненность Хорватии и Славонии, оставляя между ними только федеративную связь. Сегединские законы и Кошутов проект были всенародною исповедью мадьяр в грехе, который они совершили против славян. Мы настолько верим благородству мадьяр, что понимаем их в *этом* именно смысле и не считаем их лишь обманчивыми обещаниями, данными в минуту опасности, в надежде их не исполнить в день торжества²³. Мы хотим также верить тем выражениям дружбы, которыми мадьяры с тех пор осыпали своих сограждан славян, мы хотим верить чистоте их намерений при совершившемся в последнее время сближении их с сербами, хорватами и чехами. Но если их дружба действительно искренняя, если их намерения в отношении к славянам действительно чисты, то зачем мадьяры хвалят и благодарят автора книг вроде тех, которые издает г. Шассен, где возрождение славянских народов, где русский народ и все славянство осыпаны отвратительнейшею бранью и клеветою; где чистые и честные деятели славянского возрождения, из коих многие запечатлели свой подвиг кровью, представлены какими-то низкими орудиями чужих интриг? Зачем мадьяр, г. Ираньи, поставил свое имя рядом с именем г. Шассена на одном из таких сочинений? Те славяне, которые прочитают эти книги, будут иметь полное право усомниться в искренности и добросовестности нынешней дружбы к ним мадьяр. Еще большее право будут они иметь не верить им и готовиться против них, если справедливо то, что мы слышали, будто мадьяры, заискивая дружбу более сильных славянских племен, сербов и хорватов, в то же самое время притесняют народность словаков, менее сосредоточенных и потому слабейших; будто они скрытым образом стараются мадьяризовать словаков и не хотят признавать их народности наравне с хорватской и сербской, на том основании, что последние имеют за себя историческое право, а словацкая народность не имеет таких прав. Мы надеемся, что, к чести мадьяр, эти слухи окажутся ложными

или что если есть между ними люди с подобными взглядами, то их мнение замолкнет перед заслуженным негодованием всех мадьярских патриотов²⁴. В самом деле, можно ли в таком вопросе ссылаться на историческое право, когда право это основывалось на уничтоженных ныне в Венгрии (самим мадьярским сеймом 1848 года) привилегиях сословий и когда в этом праве не было помину о начале народности, о коем ныне идет речь? Отстраняя совершенно это начало, средневековое историческое право венгерское давало фактически полное равенство всем народностям и своею терпимостью обеспечивало, как мы видели, внутреннюю безопасность Венгрии: а теперь некоторые люди основываются на этом самом праве, чтобы отказывать народности словаков в равном признании с мадьярской! Но положим даже, что историческое право было бы за мадьяр в этом вопросе (а мы показали противное): как могут благоразумные мадьяры обращать внимание на историческое право, коль скоро оно противоречит новому жизненно-му началу, от которого зависит и современное преуспеяние, и вся будущность мадьярского народа!

Мадьярский народ прожил всю свою историческую жизнь среди славянского мира. Несравненно слабейший, по малочисленности и одинокости своей в Европе, он в прежние века держался тем, что умел ладить с окружающими его жилища, а отчасти обитающими с ним вместе славянскими народами, разъединенными между собою не только во внешней деятельности, но и во внутреннем сознании. Ныне славянские народы устремились к умственному и нравственному единению и к общей самостоятельной деятельности. Недавний опыт доказал мадьярам, что они бессильны воспрепятствовать этому движению. Поставленные судьбою среди славянского мира, они должны учиться ладить с ним при новом его направлении, как ладили с ним в былые времена.

На огромном пространстве Восточной Европы, от Белого моря до Адриатики, от Чешских гор до Кавказа, раскинуто поле для славянского племени: но среди этого пространства, среди восьмидесяти миллионов славян, его занимающих,

судьба поставила несколько небольших, чужих славянам, своеобразных народов. Таковы на северо-западе полтора миллиона <литвы>, на юго-западе около двух миллионов албанцев, на юге с лишком восемь миллионов румынов; таковы в середине, у западного края, пять миллионов мадьяр. Неразрывно связаны все эти народы со славянским миром; обусловленная самой природою, связь эта проходит чрез всю их прошедшую историю: она вся вращалась в кругу славянского мира; никакая сила этой связи не расторгнет. Вступить во вражду со славянским миром для этих народов было бы безрассудством. Пользуясь разрозненностью славян, тот или другой из этих народов мог бы получить временный успех в распре со своими ближайшими славянскими соседями: но к чему бы это повело? Есть ли у этих народов материальная сила для постоянной борьбы со славянским миром? И что еще важнее, есть ли у них духовная сила, которая оправдала бы их соперничество со славянами? Какие самобытные, жизненные начала могут <литва>, румыны, албанцы, мадьяры, внести в развитие человечества? И вот, в настоящее время, когда весь славянский мир начинает сознавать себя, когда он начинает сознавать свое призвание к самобытному, жизненному подвигу в развитии человечества, мы хотели бы сказать этим народам, и в особенности мадьярам, которым посвящена была наша речь, мы хотели бы сказать им: «Соедините ваши сердца со славянами; соедините с ними ваш труд. Среди славянского мира нашлось место для вашего доблестного и своеобразного народа: найдется место и для вашего доблестного, своеобразного труда в великом подвиге, который должен быть предпринят славянским миром для всего человечества».

СПб. Ноябрь 1860

ЧЕМ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА У ЮЖНЫХ СЛАВЯН?

Опасности, среди которых находится православная вера у южных славян. — Есть ли противодействующая им стихия? — Константинопольские фанариоты. — Низшее духовенство. — Церкви и монастыри. — Народные училища. — Духовная литература. — Положение православной церкви в Австрии. — Случаи вероотступничества у православных славян в Австрии и Турции. — Болгары и латинство. — Боснийские и герцеговинские богомилы и магометане. — Введение христианства у южных славян. — Пропаганда католицизма. — Князь Неманя и православие. — Св. Савва, просветитель сербов. — Народность православной веры у южных славян.

Когда мы читаем или слышим о бедственном состоянии православной церкви у единоверных нам южных славян, то многие из нас, быть может, спрашивают себя: чем же поддерживается у них вера православная? Ведь это бедственное, это ужасающее состояние не со вчерашнего дня — оно длится с лишком четыреста лет.

Вопрос трудный и вызывающий на размышление: чем поддерживается православная вера у южных славян под игом Турции и властью Австрии? Исчерпать его я не берусь; но позволю себе представить несколько мыслей, к которым этот вопрос привел меня, когда я старался объяснить себе на месте причины, привязывающие южных славян к православной вере.

Единственная опора какой бы то ни было веры, у какого бы то ни было народа есть его убеждение в том, что она истинна. Это несомненно, и сколько пример истории, столько же и здравый смысл показывают, что всякая другая опора, представляемая под веру, — насилие ли, светские ли выгоды и соображения и тому подобное — не только не поддерживает веры, а, напротив, губит ее, будучи отрицанием свободы убеждения, единственной годной для нее основы, так как эта основа одна соответствует сущности веры.

В массе народа, исповедывающей известную веру, убеждение в том, что она истинна, передается семейным и общественным преданием и воспитанием из рода в род и возвышается до степени духовного сознания (где это сознание возможно: я не говорю о религиях низших) размышлением, чтением, наставлением, — словом сказать, духовным образованием у тех людей, которым доступно это благо. Это может быть так, положим, у нас в России: убеждение в истине православной веры живет в народе и передается от поколения к поколению свободно и беспрепятственно; есть многочисленное духовенство, призванное к тому, чтобы наставлять народ, и проповедью, частным поучением, совершением таинств, наконец, примером собственной жизни утверждать его убеждение в истине исповедываемой им веры; есть церкви, построенные по всем местам для того, чтобы народ внимал в них слову Божию; есть всякого рода училища, в программах которых разумное утверждение в вере постоянно сопровождает образование в науках; есть духовная литература, у которой должна быть цель — распространять в читателях всех сословий понимание истин православного христианства и свободным обсуждением отстранять всякое сомнение и недоразумение; есть, наконец, типографии, существующие для того, чтобы делать священные книги доступными всякому человеку в России, даже самому бедному.

А взгляните на южных славян, наших единоверцев. И они так же, как русский народ, наследовали православную веру от своих предков. Но вот уже четыреста с лишком лет, как стоит

над ними с поднятой саблей или палкой турок и твердит каждому из них с детства до конца жизни: «Твоя вера не правая, а моя, мусульманская вера, истинна, и видишь ли, за это Бог даровал мне власть и силу, а тебя, неправоверного, сделал моим рабом!» — и колотит он его, и показывает ему на его отца, брата или соседе, что он властен отрубить и ему голову, и приговаривает: «А покинь-ка ты свою веру и обратись к истинной, магометовой, и ты будешь таким же господином, как я, будешь властвовать и блаженствовать на этом свете и на том».

Мало того. К этим православным, стоящим под саблей и палкою турок, приходит миссионер римской церкви, образованный, знающий свет, умеющий лечить разные болезни: он пренебрегает всеми трудностями и опасностями пути, презирует все удобства жизни, чтобы служить с ревностью, достойной уважения и удивления, тому, что он считает христианской истиной; он приходит к православному славянину в Турции и говорит ему: «Ты веришь в истинного Бога, как христианин, но ты не принадлежишь к настоящей церкви, установленной Спасителем на преемстве Петра Апостола; греки, из гордости, отложились от этой церкви и из корыстолюбия привлекли к себе твою братию; но зато посмотри, какая разница! Твой Цареградский владыка только берет с тебя деньги, а мой епископ дает, напротив, деньги своим бедным: как он печется о своем стаде, воистину по примеру апостольскому! И как сами турки уважают нашу церковь: они не смеют обращаться с нашими людьми так, как обращаются с вашими; могущественнейшие государства, Франция, Австрия, служат папе и не дают в обиду его верных чад; они строят им церкви, училища: переходи к нам, ты веры своей не переменишь, а будешь пользоваться такими преимуществами, каких греческая церковь не имеет и никогда иметь не будет».

Наконец, является к бедному православному и английский миссионер, основывает в его городе училище, принимает туда даром бедных детей и вдобавок дает деньги их родителям, сыплет на все стороны священные книги и говорит: «Читай, поучайся и не верь своей церкви, которая умеет только предпри-

сывать ненужные обряды, налагать лишние бремена; верь просто слову Писания, как мы, и присоединись к нам. Видишь ли, мы первый народ на свете, самый свободный, самый сильный: Турция трепещет перед нами. Если ты будешь нашим, никто не посмеет тронуть и волоска на твоей голове!»

Таким образом, главнейшая основа, поддерживающая существование веры в народах, т. е. преемственная передача из рода в род убеждения в ее истине, окружена у православных славян в Турции противными силами, которые многообразными способами стремятся поколебать ее и уничтожить или ослабить в каждом из этих славян убеждение в том, что вера, наследованная им от предков, есть истинная вера.

Посмотрим же теперь, существуют ли у православных славян турецких стихии, которые противодействовали бы этим усилиям и могли бы утверждать в их сознании уверенность в истине их исповедания?

Духовенство содействует ли исполнению этой задачи? Известно, что высшая иерархия в славянских землях Турции выбирается из числа так называемых Константинопольских фанариотов, для которых управление славянскими паствами Македонии, Болгарии, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии составляет главнейшую доходную статью, отдаваемую на откуп почти что с торгов. Понятны отношения <таких> иерархов к этим паствам.

Известно, что еще не так давно православные болгары, жители города Кукуша (в Македонии), для того только, чтобы избавиться от подобного иерарха, решились обратиться в унию и просить себе епископа из Рима — и тотчас отреклись от папы и возвратились в православие, как только патриарх поставил им архиерея — болгарина. Этот случай говорит собою достаточно и избавляет нас от обязанности приводить другие примеры в доказательство того, что подобные отношения православных славян к так называемым фанариотам существуют по всей Турции. Низшее духовенство, как горское, так и монашеское, в этих землях свое родное, славянское; но образования оно не имеет, потому что решительно негде ему

получать его, и несмотря на высокие нравственные достоинства многих его членов, оно в умственном развитии вообще не стоит выше народа: потому оно (кроме немногих лиц, которые заслуживают тем большего уважения) не в состоянии воспитывать народ, наставлять его в вере и в прениях о вере побеждать миссионеров римских и протестантских.

Церкви, монастыри и общественное богослужение, конечно, много содействуют поддержанию у православных славян Турции веры отцов; но их слишком мало: есть до сих пор целые края православные, где никто не слышал богослужения, а до сороковых годов нынешнего столетия число церквей, особенно сельских, и монастырей было еще несравненно меньше нынешнего; притом в обширной славянской области (Македонии и восточной Албании, где жители — болгары) в немногих существующих церквях и монастырях богослужение совершается по-гречески, и, будучи непонятно народу, не может иметь на него достаточного действия¹.

Училищ почти нет у южных славян в Турции: прежде их не было вовсе, разве что в немногих монастырях обучались церковной грамоте готовящиеся к духовному званию; в последние годы в некоторых городах православные учредили народные училища, но их число так незначительно и преподавание в них еще так недостаточно, что они до сих пор не могли иметь заметного участия в поддержании православной веры в этих землях.

Духовная литература у южных славян в Турции не существует вовсе, священные книги у них не печатаются,² а получают из России с великим трудом, так что самые церкви нуждаются в них, а народу они решительно недоступны.

Все вышесказанное относится к южным славянам, сербам и болгарам, находящимся под властью Турции. Но, кроме того, часть южных славян, именно почти два миллиона православных сербов, живет в Австрии. Этим славян турки не трогают, протестантские миссионеры не имеют к ним доступа; но при всем том, конечно, православная вера у них не более безопасна от искушения, чем в Турции. Церковь православная

не имеет в Австрийских владениях гражданских прав, одинаковых с римско-католическою; ее членам ежедневно дается чувствовать их унижение; молодые люди православного исповедания, обучающиеся в казенных учебных заведениях, обязываются присутствовать при уроках римско-католического законоучителя, а законоучителей православных при этих заведениях не бывает; почти все гимназии в областях, где обитают православные сербы, находятся исключительно в руках римского духовенства³; а курс в этих гимназиях обязателен для всякого православного, желающего получить какую бы то ни было общественную должность: поступая на службу, военную или гражданскую, православный серб в Австрии знает наперед, что весь свой век останется в низших чинах, а переход в католицизм дает ему верное ручательство в повышении. Так потрясает Австрия православные убеждения в высшем слое сербского общества; а на простой народ призываются к действию иезуитские и францисканские проповедники, которые обещают поселянам всякие льготы, в особенности относительно податей, если они согласятся перейти — не в католицизм, а только в унию. Для распространения ее между сербами даны австрийским правительством большие средства построением униатских церквей в таких даже местах, которые еще ждут униатов, назначением при них священников с хорошим содержанием и т. п.

Итак, нельзя сказать, чтобы в Австрии преемственное хранение православной веры в народе встречало меньше противодействия, чем в Турции. А кто может там блюсти за этим хранением и утверждать в народе веру, которую так сильно стараются поколебать в нем? Патриарх? Но он стеснен гражданскими властями так, что его голос редко и слабо долетает до народа. Подчиненные ему епископы? Но Австрия озабочивается, чтобы их выбирали между людьми «неопасными», не умеющими протестовать. Приходские священники и братья существующих в этих землях старинных православных монастырей? Но они в течение последних лет подверглись такому разорению (податями, от которых до 1850 года были

избавлены, и отнятием принадлежавших прежде православным монастырям поместий, за которые они одни не получили никакого вознаграждения), что бьются теперь из-за куска хлеба и утратили отчасти прежнюю энергию. Притом вследствие недостатка духовных православных училищ и отнятия казною капиталов, завещанных в прежнее время на такие училища, число молодых людей, способных к принятию священства, ежегодно уменьшается, и ряды православного духовенства в австрийских областях видимо редуют. Много ли, стало быть, может сделать духовенство у австрийских сербов, при неоспоримом усердии и достоинстве своем, против всех мер, приспособленных к ослаблению и разрушению в этом народе православной веры? О характере тамошних училищ я сказал; о церквях, которые в этом крае не оправились еще от разорения, причиненного в 1848 году, и у которых по большей части отняты капиталы, служившие для их поддержки, я умалчиваю, так же как о духовной литературе, столь слабой и подавленной,⁴ что иметь заметное влияние на народ она не может; умалчиваю и об издании некоторых священных книг православных, предпринимавшемся в разное время по распоряжению австрийского правительства, так как эти книги не только не распространяются в народе, но даже отвергаются им, как подозрительные.

При всем том, однако, как в Австрии, так и в Турции, православная вера у южных славян решительно не слабеет. В ее среде не возникло ни раскола, ни ереси, ни какого бы то ни было отступления от чистоты христианского учения, несмотря на то что предметы религиозные сильно занимают умы этих племен и что невежество народа и слабость влияния на него высшей иерархии могли бы, по-видимому, облегчить распространение ложных мнений и толков. Переход же частных лиц из православной веры в мусульманство или в другое христианское исповедание случается чрезвычайно редко, да и то большею частью невольно или бессознательно; так, например: сирота, оставшийся после православных родителей, берется в мусульманский дом⁵ или призывается в католическом или

протестантском училище и воспитывается, таким образом, в другом исповедании; деревенская девушка увлекается или, еще чаще, насильственно похищается мусульманином и, чтобы не возвратиться в родительский дом опозоренною, предпочитает остаться мусульманкою в гареме своего соблазнителя; замужняя женщина изменяет своему долгу связью с мусульманином и потом спасается в его доме и объявляет себя мусульманкою; православная девушка влюбляется в католика и, как в Турции смешанный брак не допускается, принимает веру своего жениха (это бывает и в Австрии, и даже в гораздо сильнейшей степени, так как там и православный мужчина, чтобы жениться на католичке, обращается в католицизм, тогда как в Турции, для избежания смешанного брака, невеста-католичка, чтобы выйти за православного, обыкновенно принимает его веру, и таким образом, в общей сложности, равновесие обоих исповеданий не нарушается).

Случаи независимого от таких внешних отношений вероотступничества у православных славян в Австрии и Турции так редки, что в жизни церкви они совершенно незаметны. В западных славянских областях Турции, т. е. в Боснии, Герцеговине и Старой Сербии, я не встретил ни одного подобного случая, несмотря на то, что мусульманский гнет там ужасен и что, с другой стороны, католицизм именно в этих областях всего сильнее⁶. Не ручаюсь за Болгарию, где созревшая в народе и доходящая иногда до страстности потребность иметь, как в былые времена, свою родную иерархию и богослужение на славянском языке могла вызвать в некоторых местах мысль — подчиниться Риму на правах униатов для того только, чтобы освободиться от иерархической власти греков. Но это мимоходные явления, которые, как мы видим на деле, отстраняются тотчас, как скоро Константинопольский патриарх решится удовлетворить законным требованиям славянской паствы. Если мы посмотрим на такие явления с точки зрения самих болгар, то мы не сочтем их за признак упадка в них убеждения в истине православной веры: ибо возникшая в некоторых местах Болгарии мысль отложиться от Констан-

тинопольского патриархата имеет единственным поводом отчуждение высшей иерархии, как особенной касты, от народа и введение в славянских церквах богослужения на чужом языке: и то и другое скорее согласно с началами римской церкви; но в отношении болгар римская церковь, чтобы пользоваться ошибкою патриархата, отрекается от своих начал и обещает недовольным болгарам и народную иерархию, и славянское богослужение. Конечно, мы не думаем оправдывать помышлений об унии, родившихся в умах некоторых болгар. Мы видим в этом их неопытность и совершенное незнание того, какая судьба постигла других славян – униатов; но мы хотели показать, что такие помышления, как они ни печальны и оскорбительны для нас, еще не обличают в болгарях упадка убеждения в истине православной веры: они обличают в них, напротив, только слишком нетерпеливое чувство того, что церковное управление в их земле не соответствует их желаниям, — желаниям, вполне согласным с духом православия.

Случаи же сознательного перехода болгар в католицизм или протестантизм, также как и в мусульманское исповедание, сколько мы знаем, чрезвычайно редки, и в этом народе убеждение в истине православной веры живет так же упорно, как в сербах турецких и австрийских. Последние, т. е. австрийские сербы, не уступают своим турецким собратьям в твердости, с какою они хранят православное предание. Вероотступничество такого человека, как Омер-паши или каких-нибудь (хотя весьма немногочисленных) австрийских офицеров и чиновников из православных сербов, которые свою карьеру предпочли вере своей, составляет явление столь ничтожное в жизни народа и церкви, что об нем говорить не стоит.

Словом сказать, в какую сторону мы ни посмотрим у южных славян, везде мы встречаем тот же важный и, надобно сознаться, многозначительный факт: убеждение в истине православной веры укоренено в этих племенах так, что оно противостоит всему. Четыреста лет турецкого, сто семьдесят лет австрийского плена, усилия разных пропаганд, соединенные с самыми невыгодными обстоятельствами внутри самой

церкви у сербов и болгар, не могли поколебать в них этого убеждения. Такой факт я называю знаменательным даже в отношении к самой России: сравните безопасность православной церкви в наших пределах, сравните средства, которыми могут утверждать у нас в народе сознание в истине православия, сравните все это и многое другое с положением единоверных нам южных славян — и вспомните, что у них нет раскола, нет примеров добровольного и сознательного предпочтения чужого исповедания своему.

В чем же заключается, наконец, эта дивная сила православной церкви у южных славян? Постараюсь ответить на этот вопрос по крайнему моему разумению, не прибегая за объяснением к каким-нибудь случайным обстоятельствам, например к невежеству народа, которое будто бы поддерживает в нем отцовские предания, как говорят иные (ибо наши раскольники доказывают, напротив, до какой степени невежество пагубно для хранения православной истины), и не удовлетворяясь также, как делают другие, мыслью об особенном содействии Божиим: ибо, — скажу словами одного из замечательнейших истолкователей православия, — «если, с одной стороны, справедливо признавать пути Провидения во всем развитии истории, то, с другой, неразумно и, может быть, несогласно с христианским смирением отгадывать случаи прямого вмешательства Божьего в дела человеческие»⁷.

По моему мнению, сила православной веры у южных славян заключается в том, что самая сущность православия вполне сродни с сущностью славянского духа и быта.

Возьмите магометанство, религию по преимуществу фанатическую, воинственную, отрицающую у женщины бесмертную душу; религию, которая во внешнем поклонении отвергает все говорящее чувствам, а во внутреннем созерцании погружает человека в чувственность, которая стесняет свободу частной жизни условными обрядами и свободу жизни общественной деспотическим религиозно-государственным авторитетом. Всеми этими и многими другими существенными свойствами магометанство прямо противоположно суще-

ственным свойствам славянского племени. Впрочем, чтобы объяснить неуспех магометанской проповеди между южными славянами, достаточно признать в них (а это несомненно) на столько благородства душевного, чтобы предпочесть высоту духовную высоте материального положения; а всякий из этих славян, как бы он ни был невежествен, как бы мало ни понимал свою собственную, христианскую веру, чувствует внутренним чутьем (если он не в состоянии уразуметь сознательно) неизмеримую высоту христианской веры сравнительно с исламом. Разговор с каждым, самым простым и одичалым, поселянином в этих странах убедит вас в существовании этого внутреннего чувства.

Коль скоро это чувство и это сознание существует в южных славянах, вопрос заключается в том: готов ли славянин жертвовать выгодами мирскими для сохранения своей духовной высоты и способен ли он подвергнуться страданиям и, если нужно, смерти, чтобы не изменить тому, что считает истиной? Кажется, история и современность довольно громко отвечают в пользу славянского народа.

Однако же в Турции мы находим немалое число славяно-мусульман; именно в Боснии и значительной части Герцеговины. Положим, в настоящее время ислам не имеет силы привлекать к себе славян; но в старинное время, когда в нем было больше энергии против его завоевательного фанатизма, как видно, плохую защитой было и чувство превосходства христианской веры и готовность жертвовать собою для служения истине?

Надобно взглядеться попристальнее в это явление, и оно откроет нам многое.

История свидетельствует, что Босния и Захолмие (т. е. три четверти нынешней Герцеговины, за исключением южной ее части, древней Травунии, где теперь православная вера господствует почти исключительно) находились издавна в самом неустроенном религиозном состоянии. Официально эти земли считались в духовной области Рима, и православная вера, хотя, как видно, проникала в народ, однако не достиг-

ла первенства; а между тем дуалистическая ересь, известная под названием богомильской, преемница манихейского и павликианского учения, вероятно, именно вследствие борьбы латинства с православием в самом народе распространилась здесь с удивительной быстротой. Богомильство и католицизм оспаривали друг у друга умы князей и аристократии боснийской и захолмской; в XIII веке богомильство, по-видимому, совершенно владело этими странами, но в XIV и XV, благодаря влиянию Венгрии, усилиям пап и усердию посланных сюда монахов францисканского ордена, католицизм одержал верх при дворе боснийских государей, и множество богомилов добровольно или по принуждению приняли римское исповеданье; православная же вера хранилась в значительной части простонародья, но не пользовалась в Боснии и Захолмии покровительством властей и высшего сословия, так что даже не оставила по себе в этих землях почти никаких памятников, ни церквей, ни монастырей, ни даже письменности. Вдруг нагрянул ислам — и богомильство, которого не могли искоренить все усилия Рима, мгновенно исчезло: об нем с тех пор не было помину в Боснии и Захолмии, а тамошняя аристократия является с того времени вся исповедывающей магометанство. Стало быть, вот почва, на которой ислам водворился между южными славянами. Легкость, с которою богомилы приняли его, объясняется, кроме желания сохранить свое аристократическое положение, самым характером их веры. И дуализм и ислам были порождением южного Востока (хотя вышли, разумеется, из двух различных точек созерцания); и дуализм и ислам отделяли бездною неисполнимою Божество от чело-вечества, не сознавали в Божестве любви, не понимали Божественной Троицы, веровали в явление пророка-параклита после Христа,⁸ в богослужении отвергали все символическое и заменяли символ голым, обязательным обрядом⁹. Это внутреннее сродство обеих религий доказывает, что переход боснийских и герцеговинских богомилов в ислам не был случайным, а существенно необходимым фактом, коль скоро ислам явился властелином в страну, наполненную богомилами.

Оттого мы даже не видим в исторических памятниках следов борьбы между этими исповеданиями: богомилство вдруг исчезает в этих странах, и магометанство вдруг является в них исповеданием высшего сословия и части остального народа. Я упомянул о том, что католицизм в Боснии и Захолмии долго боролся с богомилством и наконец привлек к себе часть его последователей. В Боснии и Герцеговине эти две религиозные стихии везде совместны были в своем постоянном антагонизме, тогда как православная вера, сколько видно, оставалась вне их круга. Этим, кажется, объясняется то, что мусульманство и теперь еще преимущественно распространено в тех краях Боснии и Герцеговины, где из двух христианских исповеданий преобладает католицизм, и несравненно слабее там, где христианское население принадлежит к православной вере¹⁰. Нет сомнения, что при завоевании этих областей султаном Магометом II ислам был принят и значительною частью римско-католического населения; ибо непосредственно перед турецким завоеванием католицизм сделался там, как я сказал, религией двора и аристократии и многие из богомилов были принуждены подчиниться ему для светских выгод: что же им стоило потом, для таких же выгод, опять отречься от католицизма и признать себя мусульманами, коль скоро мусульманство было до такой степени сродно их первоначальному вероисповеданию? Впрочем, и в позднейшее время, когда о богомилстве не осталось и помину, католики довольно легко совращались в ислам: это доказывают и воспоминания местных жителей, и жалобы римского духовенства. Причину этого явления я вскоре постараюсь объяснить, а теперь поставлю только общий вывод из предыдущего изложения, именно: что ислам утвердился между славянами преимущественно на почве дуалистической ереси, отчасти также и на почве католицизма, но отнюдь не на почве православия.

Это находит новое, неопровержимое подтверждение в том, что между всеми южными славянами ислам приобрел себе последователей только в Боснии и Герцеговине, и вместе с тем объясняет такое явление. В Боснии и Герцеговине (за исключе-

нием юго-западного ее угла) туземцы-мусульмане составляют почти четверть всего населения; в Болгарии же и собственно сербских землях (княжестве Сербии, Старой Сербии и южной Герцеговине)¹¹ славяне-мусульмане составляют самую незначительную долю населения, — и именно эти страны были чисто православные, когда их застало турецкое владычество. Но откуда взялись там те немногие мусульмане, которые говорят по-сербски и по-болгарски и, по-видимому, принадлежат к славянской народности? Не полагаю, чтобы они все, или даже большинство их, происходили от тех частных случаев обращения, о которых я говорил выше и которые в старину были гораздо обыкновеннее (ибо известно, что прежние султаны брали насильно толпы детей в покоренных христианских землях и воспитывали их в мусульманстве для зачисления в янычары). Но независимо от этого первые государи турецкие раздавали своим сподвижникам поместья в новопокоренной Болгарии и Сербии и водворяли целые массы турок и обращенных в мусульманство арнаутов в важнейших городах и стратегических пунктах этих земель: понятно, что потомки переселенцев сроднились с языком окружающего христианского племени и теперь отличаются от него только вероисповеданием¹². Притом в Болгарии были тоже многочисленные богомилы, и хотя видно, что эта ересь уже угасала там во время, предшествовавшее турецкому завоеванию, однако весьма вероятно, что остатки ее еще были застигнуты исламом и, конечно, столь же легко поглощены им, как в Боснии (ближайших данных об этом я, впрочем, не имею). Наконец, в Болгарии прилиvalo много татарских, мусульманских стихий и гораздо прежде нашествия турок,¹³ и, разумеется, эти стихии тотчас привились к турецкому магометанству и нашли в нем опору, без которой они иначе исчезли бы в преобладающем христианском населении. Вот многочисленные источники, из которых проистекло большинство мусульманских жителей Болгарии; самая же малая часть их (впрочем, и без того немногочисленных сравнительно с Боснией и Герцеговиной) могла произойти от православных болгар — вероотступников¹⁴.

Покончив дело с мусульманством, рассмотрим внутренние отношения южных славян к вероисповеданиям, разделяющим христианский мир.

В христианство южные славяне обратились без труда и сопротивления; крещение сербов началось уже в VII веке, крещение македонских и фракийских славян — в VIII, а может быть и раньше. В Болгарии противодействие христианству выходило не из покоренной славянской стихии, а из среды завоевателей, задонских болгар, и принятие князем Борисом крещения доставило полное нравственное торжество славянской стихии, с которой завоеватели-болгары с тех пор совершенно слились, оставив славянам только свое имя.

Это легкое и беспрепятственное торжество христианской веры между южными славянами, совпадающее с целым рядом подобных явлений в других славянских землях, объясняется, конечно, не равнодушием славян к вере, а, с одной стороны, внутренним согласием христианства с требованиями их духа, с другой — слабым развитием у них языческой мифологии¹⁵. Несмотря на близость южных славян к Византии, а иногда по причине этой самой близости, православное исповедание не приобрело у них бессовместного господства в начале их христианской жизни: напротив, перевес находился на стороне католицизма. Сербы получили первую христианскую проповедь из Рима, по свидетельству самих византийских источников, и хотя в IX веке Восточная церковь приняла деятельное участие в утверждении между сербами христианства, однако до XII века земля сербская оставалась официально в области римской церкви. Сербские князья и короли признавали над собою власть папы и постоянно сносились с ним, главный пастырь Сербской земли, архиепископ Барский (Антиварийский), зависел от Рима и получал оттуда *паллиум*, и ему подчинены были епископства в сербских и албанских пределах¹⁶. В Болгарии с самого крещения Борисова началась борьба Западной церкви с Восточною. Борис несколько времени стоял решительно на стороне первой, и проповедники ее имели в Болгарии обширное поприще деятельности; и хотя Борис потом объявил

себя в пользу Восточной церкви и Болгария была признана за нею, однако государи ее редко были искренно преданы православию. Они боялись влияния соседней Греческой империи и охотно искали себе опоры на Западе. Известны сношения могущественнейшего из царей болгарских, Иоанна Асеня, с папою Иннокентием III; такая политика была, можно сказать, наследственную у болгарских государей.

При таком направлении верховной власти, конечно, не от нее зависело, что католицизм не водворился в болгарском народе во время его независимого существования. Верховная власть не только не поддерживала искренно православной веры, но давала народу всевозможные поводы отступить от нее. Несмотря на то, католицизм вовсе не приобрел в Болгарии последователей между православными: те католики, которые там оказались, были исключительно обращенные богомилы¹⁷. Стало быть, не правительство, а сам народ сохранил в Болгарии неприкосновенной православную веру. Еще разительнее представляется это явление в сербских землях. Они, как я сказал, состояли официально под властью Рима и связаны были с ним своей иерархией. Но славянское богослужение и проповедь Кирилла и Мефодия проникли к сербам, и православная вера водворилась в народе. Каким образом это происходило, мы не знаем: это был органический процесс народной жизни, который остался незамеченным в современных памятниках, но который вдруг обнаружился великим фактом, изменившим совершенно направление сербской истории. В 1143 году один из мелких удельных владетелей, разделявших между собою сербскую землю, Неманя, в летах зрелого мужества отрекся от латинской веры и принял православие. Все прочие удельные князья восстали против него, и не раз он находился на краю гибели. Но он одолел, и вместо крошечного наследственного удела своего, в части нынешней Черногории, оставил своим сыновьям обширную державу, заключающую в себе значительную часть сербских земель. Очевидно, Неманя пользовался какою-то вновь вызванною к деятельности силою, если он в короткое время мог совершить в сербских землях такой огром-

ный переворот: эта сила была народ, а народ стал за него, как за представителя православной веры. Что Неманя сделал для православия у сербов в области политической, то сделал сын его св. Савва в области церковной. Он установил там православную иерархию, он проповедью своею обратил в православную веру тех, которые ей не принадлежали, и утвердил в остальном народе ее чистоту. Вот почему сербский народ назвал и называет до сих пор св. Савву своим просветителем. Название это могло казаться странным и бессмысленным тем, которые не принимали во внимание вышеизложенных обстоятельств; ведь сербская земля была давным-давно просвещена христианством, когда св. Савва начал в ней действовать¹⁸: св. Савва был ее просветителем в смысле православия.

Обыкновенно смотрели иначе на характер деятельности Немани и на причину его быстрых успехов¹⁹; а как тут лежит, по нашему мнению, ключ к пониманию древней истории сербов, то мы постараемся подкрепить наш взгляд некоторыми доводами.

Только такой переворот, какой должен был произойти в исторической жизни сербов правительственным признанием народного православного вероисповедания, может дать разумное объяснение необыкновенному факту, поражающему нас в сербской истории. Позволю себе привести слова, сказанные мною в другом месте: «Сербы считают, так сказать, свое историческое существование со дня крещения Немани в православную веру, вся прежняя, пятисотлетняя, ее бездеятельная и не бесславная, история их сделалась до такой степени чужда им, что во всех их старинных летописях и сказаниях не говорится о ней ни слова. Эти летописи и сказания начинаются все с великого Немани, называя его внуком сестры равноапостольного царя Константина. Между Константином Великим, который умер в 337 году, и Неманею, который родился в 1103-м, летописцы сербские помещают два поколения! Этот бессмысленный анахронизм, который сделался общим достоянием всех сербских летописей, имеет, однако, свое значение: он сам есть, можно сказать, выражение исторического факта; имен-

но он значит то, что весь долговременный период, прожитый сербами от падения Римской империи и до крещения Немани, весь этот период, в котором они подчинены были римской церкви, исчез в сознании народа, как нечто не существовавшее для него». Это доказывает также, что торжество православной веры в Сербии, виновником которого явился Неманя, не было делом личным или правительственным, а приготовлено и вызвано было самим народом; иначе латинство нашло бы убежище в народе и до нас дошел бы хоть какой-нибудь голос оппозиции с его стороны в Сербии.

Только одна известная мне сербская летопись упоминает о том, что была до Немани какая-то эпоха в истории сербского народа; характер же этой эпохи летопись определяет именно так, как мы его понимаем: она указывает на ту самую религиозную причину, по которой эпоха эта должна была исчезнуть из памяти сербского народа. Вот слова, которыми начинается летопись под заглавием: «Жития и начелства Срьбских господ, кои по ким колико царствова», найденная нами в рукописи XV века в Ипекской патриаршей обители:

«Так как было написано о предании древних веков и о мимотекущих временах и летах и о бывших царях, как они царствовали с начала мира и по потопе даже до сих последних времен, то подобает вспомнить и о сербской земле, как она была обращена в христианскую веру первоначально, *и потом, когда угасла в ней первая проповедь благочестия, как и кем она во второй раз привлечена была к первоначальной, проповеданной апостолами благочестивой вере*, в которой мы и видим ее сияющею; и наконец, когда благочестие озарило ее, кто начальствовал над нею в эти последние времена.

Об них-то преимущественно предстоит нам слово боголюбозное и достойное всякой хвалы: ибо явились в ней (т. е. в сербской земле) великие светильники миру, одни равночестные апостолам, другие мироточцы и чудотворцы, и архиереи достоблаженные, и множество преподобных и праведных мужей. Откуда же нам наилучшим образом начать нашу речь? Очевидно, что отсюда, откуда и следует.

Итак, *когда угасла, как я сказал, первая проповедь, преданная святыми апостолами, в земле сербской и различные ереси умножились в ней на много лет, то начальствующие никак не заботились об истреблении еретических плевелов до самого того времени, когда явился великий жупан Неманя, который и возобладал самовластно этою землею, как написано в его житии, составленном там, где он находится (т. е. где почивали его мощи, в Студеницкой Лавре). В этом житии говорится о том, как он жил богоугодно в мире и как, сочтя себя у цели земной славы своего царствования и покинув ее, принял крест Господень... поселился в горе Афонской и, подвизавшись там остальные годы, перешел в вечность... При жизни же, когда он еще был правителем, он истребил все ереси в державе своей, земле сербской, и насадил благочестие, и построил многие церкви»* и т. д.

Таким образом наш летописец положительно указывает на то, что после первоначального водворения христианства в сербской земле в ней наступил долгий период неправославный и что великий жупан Неманя (1144 — 1197) был в ней не только творцом единовластия, но главное — восстановителем православия.

Мы можем сказать с уверенностью, что православная вера проникла в сербские земли и укоренилась там вопреки первым государям и иерархии, находившимся в зависимости от Рима, что распространение там православной веры было делом самого народа и что Неманя и св. Савва только установили и признали в области правительственной и иерархической народную веру.

Но преемники Немани не были тверды в православной вере. Побуждаемые распрями с Византией, они не раз вступали в сношения с папами и не раз выказывали готовность принять католицизм. Их церковная политика сходствовала с политикой болгарских царей, и мы должны повторить относительно преемников Немани на сербском престоле то же, что мы сказали о болгарских государях: если в Сербии под их правлением православная вера сохранилась ненарушимо,

то этим она обязана была народу, который своею твердостью в вере помешал правителям осуществить многократные попытки соединения с Римом.

Народ, народ! — вот сила, которая утвердила православную веру в сербских и болгарских землях во время их государственной независимости; и эта же самая сила продолжала хранить ее в последующую эпоху под тяжелою властью мусульманских правителей.

Но как объяснить эту народность православной веры у южных славян? Как объяснить этот органический процесс слияния православной веры со стихиями их народной жизни, без которого невозможно понять, например, самые существенные факты в истории сербского народа?

Южным славянам предстоял выбор между православной верой и католицизмом. Конечно, решение зависело не столько от догматической части, различие которой не могло не оставаться более или менее недоступным народному сознанию, сколько от внутреннего строя церковной жизни. Ту церковь славяне должны были почтить истинной, которая осуществляла в духовной сфере их высший идеал общественной жизни человечества.

Бесконечно разнообразные явления общественной жизни человечества определяются отношениями двух, вечно совместных и сопроникающихся, начал: прирожденной свободы всякого лица и общественного авторитета, полагающего границы этой свободе.

Славянское племя издревле пыталось согласовать эти два противоположные начала человеческой жизни не внешним, а внутренним образом — и это есть существенная особенность славянского духа и его бытовых проявлений: славянское племя не хотело ограничить личной свободы внешним авторитетом отвлеченной идеи государства, как древний мир и народы романские; оно не хотело ограничить авторитетом аристократического преимущества некоторых членов общества, подобно народам германскими, а искало ограничения личной свободе каждого члена общества в нравственном авторитете

единодушной воли всех его членов: свобода и единогласие — вот существенные стихии славянской жизни. Кто сколько-нибудь всмотрится и вдумается в ее явления, кто сличит ее особенности в древние времена, когда начала ее проявлялись в наибольшей чистоте, с тем, что осталось еще в славянских землях самородного, тот признает, мы надеемся, справедливость этого определения.

Спору нет, что никогда и нигде славянское племя не осуществило идеала своей общественной жизни (да и какой народ вполне осуществил его?); спору нет, что свободное единогласие, как начало общественного строя, слишком высоко стояло над условиями практической государственной жизни, и славяне везде ставили себе или признавали, так или иначе, другой, внешний общественный авторитет; спору нет, что, при многообразных переворотах и всяких посторонних влияниях, коренное их общественное начало частью искажалось, частью подавлялось или даже совершенно сглаживалось в их быте и государственной жизни. Но могло ли оно исчезнуть из славянского духа?

Не находя себе достаточного удовлетворения среди внешних условий общества, оно искало себе убежища в среде, недоступной этим условиям, и нашло его в православной церкви.

Так и романский мир, в то время, когда терялась в жизни общественной римская идея отвлеченного государственного авторитета, воссоздал ее в церкви и положил основание папизму. Так и германский мир, в то время, когда терялся, порожденный его бытовыми началами, средневеков<о>й аристократизм, воссоздал его стихии в церковной сфере в виде протестантства²⁰.

Но разница между отношениями этих племен к церкви и отношениями к ней славян огромная, существенная. Романские и германские народы низвели вселенский строй церкви до уровня своих собственных начал; славяне не прикоснулись до вселенского строя церкви, а свободным избранием вступили в него, ибо почуяли в нем осуществление, в духовной области, своего собственного общественного идеала.

В чем же заключается сущность и отличительная особенность строя православной церкви, как не в том, что она признает в себе свободу человеческую; ограничивает же ее и хранит единство не силою внешнего авторитета, а нравственную силою единодушия и единогласия всех своих членов?

Для тех читателей, которые, может быть, не вникали вполне в этот предмет, приведу в подкрепление моей мысли свидетельство четырех восточных патриархов, которые в окружном послании от 6 мая 1848 таким образом отвечали папе Пию IX, обвинившему православную церковь в отсутствии авторитета для ограждения произвола в вероучении: «Православие сохранило в нашей среде вселенскую церковь... хотя нас не поддерживает никакая внешняя власть, вроде того, что его святейшество (папа) именуется церковным правительством, и хотя мы не имеем между собою другой связи, кроме взаимной любви, и другого ручательства в единстве, кроме сыновней преданности общей нашей Матери, у нас охрана веры заключается в целом теле церкви, т. е. в самом народе, который хочет, чтобы его религиозный догмат оставался вечно незыблемым и согласным с преданием его отцов». Подробный же разбор этих двух начал, свободы и единогласия, соприсущих и сопроникающихся в строе православной церкви, сравнительно с внутренним строем католицизма и протестантства, читатели найдут в трех рассуждениях Хомякова, напечатанных под заглавием: *Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les confessions occidentales* (Paris. 1853, Leipzig. 1855 и 1858); мы указываем на них, считая неуместным вдаваться здесь в вопрос, выходящий далеко за пределы нашей задачи.

Итак, допустим, с одной стороны, тот, по нашему мнению, несомненный факт, что в основании первоначального славянского быта лежало начало свободы и единогласия как нравственного закона, ограничивающего произвол свободы; с другой стороны, примем свидетельство окружного послания Восточной церкви о духовной свободе и нравственном законе единогласия как об основе православного строя церкви. Это

дает нам право сказать, что в православном строе церкви славянские народы нашли осуществление своего собственного идеала общественной жизни человечества; это и объясняет, почему славянские народы сами, часто без содействия властей, а иногда и вопреки им, в силу какого-то внутреннего органического процесса, принимали и усваивали себе православную веру. Это объяснит также, почему ни католицизм, ни протестантство не в силах отвлечь южных славян от православной церкви, как бы ни было невыгодно в материальном отношении состояние у них этой церкви, какие бы преимущества проповедники двух западных вероисповеданий ни выставляли им на вид в случае обращения. Это объяснит, наконец, почему между южными славянами православные относительно стоят гораздо крепче за свою веру, нежели католики²¹.

Явления религиозной жизни южных славян, очевидно, соответствуют многим существенным явлениям жизни русского народа, о которых напоминать не нужно. И там, и на Руси начала славянского духа развились в одинаковом направлении. Развитие было противоположное у тех славянских народов, которые получили христианскую веру не в виде православия. Но именно эта противоположность не служит ли отрицательным доказательством нашей мысли? А что должно сказать о чехах, которые так долго и так упорно хранили, окруженные со всех сторон римско-немецкой средой, остатки мимоходной православной проповеди, посетившей их землю, и в лице Гуса сделали попытку восстановить у себя собственными силами учение и строй вселенской церкви? Но я предвижу, что мне сделают одно возражение, именно относительно нашего отечества меня спросят: каким образом в русском народе, и именно в народе, мог появиться раскол, если коренные начала этого народа до такой степени сродны духу и строю православной церкви? Прошу тех, которые захотели бы возразить это, подумать, в самом ли деле раскол направлен против церкви, поскольку она православна, т. е. против ее внутреннего, существенного духа и строя, и не есть ли он скорее неразумный протест одной части народа против внешнего строя общественного, обнимаю-

щего и внешнее проявление церкви, поскольку эта внешность кажется иноземною и неправославною?

Впрочем, я не высказываю *a priori* мысли о внутреннем сродстве коренных начал славянского быта с существенной основой, на которой зиждется строй православной церкви: я выразил эту мысль потому, что не нашел другого удовлетворительного объяснения важнейшим фактам прошлой и современной жизни южных славян. Но приложение этой мысли было бы огромное и простерлось бы на все широкое поле славянской истории и славянской современности, она бы объяснила многое и многое в жизни русского народа и в болезненной истории западных славян: пусть же подвергнется она добросовестному критическому анализу.

Возвращаюсь к специальному вопросу о южных славянах и пользуюсь пока вышеизложенным результатом, без которого, как сказано, я не нахожу разумного объяснения явлениям их народной жизни.

Православная вера до такой степени слилась с их народностью, что в народных наименованиях серб и болгарин заключается *impliciter* понятие о православном вероисповедании. Если бы только один из этих народов, хоть, например, сербский, соединял с своим именем понятие о православной вере и мог не знать о существовании других единоверных народов, то мы, пожалуй, сочли бы такое соединение чем-то внешним и случайным, противоположаемым иноверию чужих народов, не сербов; но всякий серб знает, что подле живут болгары и греки: он беспрестанно встречается их, и ему известно, что они хотя не сербы, однако такие же православные христиане, как он сам; то же самое должно сказать о болгарях. Предполагать в сербах и болгарях мысль о какой-то монополии православной веры у их народа, отдельно взятого, было бы нелепо и противоречило бы их собственному народному взгляду на церковь. Итак, если болгарин и серб, называя себя своим народным именем, тем самым произносит исповедание православной веры, то он делает это не из гордого чувства монополии не в противоположность чужим народам, а потому, что православная вера сделалась

внутреннюю принадлежностью его народного духа: в ней, как я сказал, нашли себе убежище и осуществление собственные коренные начала его славянской народности, и если православная вера <отыметса> от него, то и народность его исчезает.

Вот почему люди сербского и болгарского племени, как скоро перестают быть православными, не только теряют свое народное имя в глазах своих соплеменников, но сами от него тотчас же отказываются. Серб и болгарин, обращенный в мусульманство или в католицизм, ни за что уже не назовет себя сербом или болгариним, хотя и говорит по-сербски или по-болгарски и живет между сербами и болгарами. Мусульманин назовет себя турком (хотя бы и не знал ни слова по-турецки) или (специально в некоторых местах Болгарии) помáком; католик назовет себя латином или (специально в части Болгарии) павликаном. Даже родному своему языку отступившие от православия сербы и болгары не сочтут возможным дать наименование сербского или болгарского, а назовут его как-нибудь иначе, например, просто *нашим* языком или языком такой-то местности. В этом любопытном отношении народности к православной вере существует, по-видимому, оттенок между южными славянами, с одной стороны, и греками — с другой. Оттенок кажется мне довольно замечательными, и я остановлю на нем внимание читателей, хотя и в этом случае нужна еще критическая поверка моего наблюдения. Греки считают православную веру священнейшим заветом своих предков, своим достоянием среди народов мира, и в поддержании ее между ними участвует в значительной степени народный патриотизм; но люди греческого племени (хотя весьма немногочисленные), которые приняли ислам или католицизм, не перестают быть и считать себя греками; у южных же славян в поддержании православной веры участвует не столько народный патриотизм, сколько внутренняя стихия их народного быта. Одним словом, грек хранит православную веру потому, что он грек, но он остается все-таки греком, хотя бы изменил своей вере (что вместе с тем составляет для него измену своему отечеству); серб и болгарин хранит свою народность, толь-

ко поскольку он хранит православную веру, и, покидая свою веру, не только изменяет своему отечеству, но теряет свою народность: он перестает быть сербом или болгаринном.

Таким образом, у южных славян православную веру поддерживает самая народность славянская.

Но скажут, может быть, что есть у православной веры между сербами и болгарами и внешняя поддержка: Россия и княжество Сербия. Может быть, и между ними самими иногда слышатся голоса, что «православная вера у нас погибла бы, если бы не было России и Сербии». Не должно верить этим речам, вызванным безграничною преданностью страждущих славян к единоверной братии, не должно в особенности гордиться этим. Были века, когда Россия не имела никакого влияния на южных славян, когда самое имя России, может быть, незнакомо было большинству народа у них, и это были самые тяжелые века турецкого владычества, и все-таки православная вера у них уцелела.

Конечно, в новейшее время надежды южных славян все более и более усиливаются, и Сербское княжество, питая эти надежды своим примером, имеет самое благотворное влияние на поддержание православной веры в соседних землях. Но что же поддержало ее в самом этом княжестве в течение тех четырехсот лет, когда оно разделяло участь Боснии и Болгарии? Неужели надежда на материальное избавление, а не внутренняя стихия народной жизни?

Южные славяне не потому стоят твердо в вере, что говорят себе: «Потерпим еще до завтра: авось завтра Россия или Сербия избавят нас» (хотя надежда избавления, более или менее отдаленная, разумеется, не может их покинуть не только по историческим воспоминаниям, но по самому существу природы человеческой); нет, их мысль относительно России и Сербии следующая: «Мы страдаем за нашу веру: на то воля Божия, но, славу Богу, есть у нас единоверная братия, которая не страдает, а благоденствует; дай Бог ей благополучия и награди Он нас также со временем за то, что мы храним Его святую веру».

Я не спору, что Россия имеет огромное значение для южных славян относительно веры: я отвергаю лишь возможность такого предположения, будто бы православная вера хранилась там только вследствие надежд на Россию. Это вовсе не уменьшает обязанности русских помогать поддержанию веры между южными славянами всеми средствами, какие может внушить им братская любовь. Ведь если я богат, а брат мой беден, то уверенность, что брат мой не погибнет, хотя бы я и не помог ему, нимало не избавляет меня от обязанности ему помочь.

А имеют ли для нас взаимно православные славяне значение относительно веры? Имеют, или по крайней мере могут иметь, и, кажется, немаловажное. Не говоря о множестве других сторон (ибо этот предмет выходит из пределов нашей задачи), укажу только на одно обстоятельство. И для нас может быть не бесполезно знать, чем именно поддерживается православная вера в народах? Южные славяне дают живой и неопровержимый ответ на этот вопрос. Если есть у нас еще такие люди, которые считали бы нужным у нас для охранения православной веры какое-либо внешнее стеснение, то пусть они взглянут на южных славян. Православная церковь стоит там не в ограде, из которой заперты выходы: она стоит, как вольный собор единомыслящих людей, которые сказали бы всякому, кто бы вздумал их покинуть: «мы тебя не держим», — и которых все-таки никто не покидает.

СПб. Май 1860

ДУХ НАРОДА СЕРБСКОГО

ДУХЪ НАРОДА СРБСКОГЪ,
од Ювана Хаџића. У Карловцы, 1858

Характер и направление литератур западных славян. — Хаджич и его книга. — Взгляд Хаджича на уособицу областей сербской земли. — Меропхи и влахи. — Самоуправление сербских жуп (волостей). — Настоящее политическое положение сербского народа. — Заключительный вывод о книге Хаджича.

Литературы западных славян состоят почти исключительно из так называемых беллетристических произведений и из специальных исследований по разным вопросам науки. Мало в них (я говорю здесь о литературах славян австрийских и сербов, а не о богатой и разнообразной польской литературе), мало в них таких творений, в которых бы общая мысль овладевала материалом, добытым учеными изысканиями. Если является общая мысль, то она выражается обыкновенно отрешенно от материала, от положительных фактов, большею частью в форме поэтического сознания; если представляются положительные факты, то они остаются сухим, безжизненным материалом. Иначе и не может быть там, где народное самосознание только что начинает пробуждаться. В этом отношении история Чехии Палацкого стоит совершенно особняком; но и в ней материал не везде осилен мыслью. Сербы же не имеют никакого подобного труда в своей литературе.

Книга г. Хаджича осталась бы не замеченною в литературе, более развитой, чем сербская; но в сербской литературе она есть явление замечательное и утешительное. Г. Хаджич, сербский литератор, с 1827 года получивший известность под псевдонимом Милоша Светича и участвовавший в 1837-м и следующих годах в составлении законодательства Сербского княжества, пытается в своем последнем сочинении разгадать и объяснить те жизненные начала, которые проникают сербскую историю и настоящий быт сербского народа. Такой попытки еще не было в литературах австрийских славян и сербов. Честь и слава г. Хаджичу!

У чехов подобная попытка, если бы взялся за нее человек, которому она была бы под силу, могла бы быть исполнена легче, потому что там уже довольно хорошо разработаны данные, предлагаемые как историей, так и современным бытом народа. У сербов задача была гораздо труднее: порядочной истории Сербии нет, и даже значительная часть памятников ее не только не разработаны критически, но даже не изданы. Все, что сделано для разработки того, что уже издано, принадлежит нашему соотечественнику, г. Майкову. Быт народа сербского известен только в некоторых краях; но до сих пор в сербской земле находятся такие места, где не только быт жителей, но даже самые города, села, реки и горы совершенно неизвестны (так, например, обширное пространство от Нового-Пазара до Лесковца и от Лесковца до Приштины). Притом же сербские писатели еще мало привыкли к строгим приемам науки и критики; они еще слишком любят поверхностно смотреть на предмет и выхватывать из него случайно те или другие данные, какие им придется по вкусу. Все эти недостатки существуют в книге г. Хаджича: и неполное критическое подготовление материала, на котором он основывает свои выводы, и неопытность в наукообразной критике, и поверхностность (часто даже ошибочность) в том, что он извлекает из показаний древних писателей, и склонность выбирать частные, подходящие к его мысли, факты, не обращая внимания на другие факты, ей противоречащие. Но, несмотря на все эти недостатки, книга г. Хаджича не только

заслуживает похвалы, как первая попытка приняться за решение важного вопроса: она имеет положительное достоинство по верности своих основных мыслей. На это-то достоинство мы должны обратить главное внимание, не останавливаясь на недостатках, неизбежность которых показана.

Странно в книге г. Хаджича — и это, конечно, следствие того, что материал науки у сербов не подготовлен и что сам автор не привык обращаться наукообразно с своим материалом, — странно, говоря я, что в этой книге основные мысли сочинителя верны, тогда как исторические и лингвистические исследования, на которые он опирает их, шатки, часто ошибочны и вовсе не доказывают этих мыслей. Видно, основные мысли эти выработались у автора из внутреннего чутья исторической истины и из глубокого, инстинктивного понимания народного быта, а не из его ученых изысканий. Эти мысли заслуживают здесь краткого изложения. Г. Хаджича поражает страшная ненависть и зависть, разделяющая жителей разных областей сербской земли. Отчего произошел этот гибельный разлад? Он старается доказать, что еще в отдаленной древности, гораздо раньше прихода (в начале VII века по Р. Х.) сербов и хорватов из-за Карпатских гор в их нынешнее отечество, там жили славянские племена. Присутствие некоторых славянских поселений на среднем Дунае еще до завоевания этих стран римлянами кажется мне фактом несомненным, но все-таки доказательства, приводимые г. Хаджичем, его не утверждают. Он пользуется известиями писателей классической древности отрывочно и не критически, делая иногда самые странные производства собственных имен и впадая в явные ошибки. По прочтении его рассуждения об этом предмете, подумаешь скорее, что славян в древности не было на Дунае; надобно избрать другой путь, чем произвольную этимологию имен *сарматы*, *боии*, *бата* и т. п. для доказательства того, что славяне действительно жили издревле в этих странах. Приняв старобытность славян на Дунае за основание своей теории, г. Хаджич вслед за тем говорит о воинственном нашествии толпы сербов и хорватов, призванных в VII веке греческим императоро-

ром Ираклием с севера для освобождения Иллирика от власти орды грабителей, аваров. Г. Хаджич полагает, что эти славяне-пришельцы заняли не весь Иллирийский треугольник; что хорваты водворились только на западной окраине его, а сербы распространились по восточной и южной его окраине, где ныне Сербское княжество, Ново-Пазарская область и Черногория. Между этими двумя полосами, занятыми пришлым, завоевательным славянским племенем, остались нетронутыми Босния и Герцеговина со своими славянами-старожилами. Вот, по мнению г. Хаджича, главный источник ненависти и зависти, разделяющей эти области с теми краями, которые были заняты, с одной стороны, хорватами, с другой — сербами, вот главная причина, почему босняк и герцеговинец, хотя время изгладило все следы различия в языке и памяти народной, не так дорожит именем серба, как потомок настоящих сербов, т. е. житель Сербского княжества и черногорец; вот причина, почему он менее одушевлен сербским патриотизмом и всегда, в старину так же, как теперь, думает только о своих областных интересах. Далее, г. Хаджич старается проследить это различие в старинных памятниках сербского языка и имеет в виду показать в этих памятниках две стихии, мало-помалу сливающихся, именно стихии мягкой речи южных славян-старожилов и стихии жесткого говора пришельцев с севера. Но все филологические соображения, которые он делает по этому поводу, не выдерживают строгой критики.

Вообще, мне кажется, что положение г. Хаджича о двух стихиях, вошедших в состав сербского народа, — туземной, неохотно покорившейся, и пришлой, завоевательной, — верное в основании, должно быть совсем иначе понято в приложении. Мне кажется невероятным, чтобы завоевательные полки сербов и хорватов водворились исключительно в двух полосах, как будто бы математически начертанных, оставив другие области нетронутыми. Я полагаю, напротив, что завоеватели равномерно расселились повсюду и повсюду равномерно застали туземцев, которые должны были им подчиниться. Оттого-то в древнем Сербском государстве так резко обозна-

чилося разделение на сословия. Что такое эти *меропхи* и *влахи* являющиеся в древнем Сербском государстве в качестве низшего сословия, как не потомки покорившихся или покоренных туземцев? Ведь еще в XIV веке сербу в Сербском государстве запрещено было жениться на дочери влаха; а влахи, исчисляемые в дарственных грамотах этого времени, носят все, почти без исключения, славянские имена, стало быть, не были какие-нибудь иностранцы, как можно бы было иначе предположить, а туземные, славянские или ославяненные, жители края. Вот это-то различие покоренной и завоевательной стихий, равно принадлежащее всем областям сербским и с течением времени перешедшее в различие резко разграниченных сословий, было причиной того внутреннего разлада, которого нельзя не заметить в древней жизни сербов, во время их независимости. А разлад между отдельными областями совершенно просто объясняется, мне кажется, естественным разъединением их в стране, изрезанной цепями гор, и природной склонностью сербов жить розно, мелкими волостями, дорожащими правом внутреннего самоуправления и вовсе не заботящимися о более обширных требованиях государственного устройства.

Сам г. Хаджич признает и прекрасно определяет это характеристическое свойство сербского быта, и две последние главы его сочинения, посвященные разбору древнего, коренного начала самоуправления сербских волостей, или жуп, жупанств, и потом применению этого разбора к настоящему времени, составляют лучшую часть книги, нас теперь занимающей. Он прекрасно объясняет, что сербы сначала так покорно подчинились верховной власти византийских императоров, потому что они вовсе не заботились о государственном строе, а Византия не вмешивалась во внутренние распорядки отдельных волостей; он показывает, как, вследствие упадка власти и значения прежнего, внешнего государственного центра, т. е. Византии, и наконец завоевания ее латинскими крестоносцами, потребность такого центра внутри самой Сербии стала возникать мало-помалу: как представителем этого нового, государственного начала явился род Неманичей, бывших жупа-

нов, т. е. волостных правителей зетских¹, и как им постоянно противодействовал народ, преимущественно же боярское сословие, стоявшее за прежнюю волостную независимость. Вот общее заключение, к которому г. Хаджич приходит после этих исторических рассуждений:

«То, что мы видели до сих пор, указывает нам на два могучих, жизненных начала, лежащих в глубине души сербского народа. Одно начало, с которым он уже пришел в свои настоящие жилища (около 640 г.), есть личная свобода и самоуправление под собственными старшинами, по старым народным обычаям и по законам, предписанным общим голосом на сходке. Другое начало, принятое тотчас по приходе в теперешние жилища и усвоенное им, есть вера христианская, православная восточная. Вот жизненные начала сербского народа, или, лучше сказать, самая его жизнь; без них он себя считает как бы не живущим. За них он всегда боролся, за них проливал свою кровь. Верховная государственная власть могла находиться вне сербского народа, как и было в первые шесть веков его истории, от прихода сербов за Дунай до Немани. Если бы Греческое православное царство не было потрясено и не досталось в руки иноземцев, кто знает, стали ли бы сербы помышлять о том, чтобы верховная власть над ними перешла в их собственную землю? Этим самым началом объясняется, почему сербы под Юрием Бранковичем отдали в 1433 году Белград и верховную власть над своею землею мадьярам, надеясь с их помощью отстаивать свою волостную независимость и православную веру. Вслед за тем они водворили свое устройство волостного самоуправления в Среме² и за право пользоваться им проливали свою кровь под знаменем мадьяр. Мадьяры вначале охотно признавали за ними право внутренней свободы управления, потому что помощь сербского оружия была им весьма нужна и полезна для защиты от турок и поддержки государства. Деспот Сербский в Среме управлял народом своим независимо, в совокупности с народными старшинами, по собственным законам и обычаям сербов; а сам он был вместе с тем членом верховной земской власти Венгер-

ского королевства. И позднее, всякий раз, когда сербы, в большем еще числе, переселялись в Венгрии, они поставляли эти два непеременимых условия: свободу своего вероисповедания и собственное управление под своими домашними старшинами, по своим законам и обычаям (*propriis magistratibus, legibus et consuetudinibus*). Это всегда им и было обещаемо, но никогда не исполнялось долго. Отсюда рождались между сербами жалобы и неудовольствия. Что подвинуло их покинуть свои жилища и в 1750 году под предводительством Ивана Хорвата, в 1752 и 1753 годах под предводительством Иована Шевича и Райка Прерадовича переселиться в Россию? Оставляю в стороне все прочее, что нарушало оба существенных начала их жизни, и упоминаю только об одном законе, провозглашенном Марией Терезией в 1741 году, которым постановлялось: «Чтобы в Далмации, Хорватии и Славонии отныне поддерживалось единственно римско-католическое вероисповедание; чтобы митрополиту греческой церкви впредь не было дозволено простираť свою власть на эти края; чтобы наблюдали за существующими еще епископами греко-несоединенной церкви, дабы они не производили каких-нибудь беспорядков или волнений; чтобы в этих областях, согласно постановлению 1723 года, § 86, только римско-католики могли владеть поземельною собственностью, а люди иных исповеданий не занимали даже сельских должностей». По этим постановлениям можно судить и обо всем другом и понять, почему сербы покинули тогда свои жилища в Австрийской державе и пошли искать отдаленного отечества в России. Дело в том, что враждебная рука прикоснулась до жизненного начала, без которого народ этот существовать не может. Лишенные домашнего самоуправления и видя опасность, угрожавшую их вероисповеданию, сербы австрийские побрели по белому свету, чтобы спасти по крайней мере одну святыню своей жизни, православную веру. Как глубоко вкоренены эти две потребности в душе сербской, потребность внутреннего самоуправления и свободного исповеданья православной веры, видно и из того, что ни рука неприятельская, ни враждебная судьба, ни ковар-

ная политика не успели в течение веков изгладить в ней или вырвать из нее эти чувства. Сколько раз сербы, в продолжение своего бедственного существования, жертвовали всем, всею своею жизнью, лишь бы сохранить или вновь приобрести эти две святыни своего духа, — и наконец приобрели их с оружием в руке и завоевали, если не во всей сербской земле, то по крайней мере в придунайской части ее (нынешней Сербии), внутреннюю независимость под управлением собственных старшин, по своим законам и обычаям, и обеспечили там свою православную веру. Нужно ли говорить о Черной Горе, которая в продолжение стольких веков, хотя и лишенная части своего старинного достояния, именно приморского края, отбивает оружием все силы Турции для охранения этих двух святынь народного сердца? Поистине, сербы не заботились так о верховной государственной власти; они равнодушно признавали ее за греками, за турками, за мадьярами, за австрийцами и только ни за что не отказывались от двух указанных мною святынь своего народного бытия. Черногорцам еще в древнее время, когда Дубровник (Рагуза) перестал признавать над собою господство Византии, досталась в руки и полная верховная власть над своею землею; но они не дорожили этим началом, довольствуясь своею волостною свободою и внутренним самоуправлением; ибо они, по старому обычаю, по которому признавали некогда православного царя греческого своим верховным государем и покровителем, охотно и добровольно, влекомые внутренним чувством, стали впоследствии почитать в душе своей православного царя русского в том же смысле. Наконец, что другое было вооружение сербов австрийских в 1848 и 1849 годах против мадьяр и избрание народом патриарха и воеводы, как не стремление к защите православной веры и к возобновлению уничтоженной волостной независимости с собственным внутренним управлением, т. е. с народным правителем или воеводою (жупаном) и по народным законам и обычаям? А верховная власть при этом ненарушимо признавалась в лице императора австрийского, в пользу которого сербы восстали, надеясь получить под его

покровительством то, чего они так долго лишены были под господством мадьяр».

На последней странице своей книги г. Хаджич повторяет вновь свои выводы в применении к настоящему политическому положению сербского народа. Он спрашивает: «В каком положении находятся ныне сербы в Сербском княжестве?» — «Они пользуются ныне, — отвечает он, — полною домашнею, волостною (жупскою) независимостью под управлением своих собственных старейшин, по своим законам и обычаям, — независимостью, признанною и утвержденною трактатом 1829 года между Россией и Портой и гарантированную всеми пятью великими европейскими державами; а верховная власть принадлежит Турецкому государству. Таким образом, эти сербы находятся, можно сказать, в том же точно государственном отношении, в каком они состояли к Византийской империи со времени прихода своего в эти земли до Немани. Только их настоящее положение в том смысле лучше и счастливее, что пять первобытных *жуп*, на которые распадалась тогда эта страна, теперь не разделены между пятью особыми *жупанами*, а все вместе (хотя и не в совершенной целости: Срем и некоторые другие куски отошли от Сербии) находятся под управлением одного старшины, одного князя, составляют одно княжество и живут одною общею жизнью, чем значительно облегчается решение задачи сербской истории в будущем. В каком положении находятся сербы в Боснии и Герцеговине? Они лишены волостной независимости и самоуправления³ и состоят под непосредственным управлением Турции. В каком положении находятся сербы в Среме и Венгрии? Они живут под непосредственным управлением Австрии. В каком положении находятся черногорцы? Они пользуются полною волостною свободою и независимостью под управлением своего князя и своих старшин, по своим законам и старинным обычаям, совмещая в себе и верховную власть над своею землею и не имея, вне ее, над собою государя, но почитая в душе, по старинному народному чувству, единого православного царя русского, как покровителя своей свободы и своего православия».

Этими словами кончает г. Хаджич свое замечательное сочинение. Мы могли упрекать его в недостатке полноты и критики, когда он разбирал известия древних писателей и филологические данные. Мы могли не согласиться с его мыслью о неравномерном, так сказать, распределении двух стихий, образовавших сербский народ, туземной и завоевательной; да притом то, что он сам говорит во второй части своей книги об основных началах сербского общества, прямо противоречит такой неравномерности и подтверждает мнение, нами высказанное об этом предмете, ибо начала, выставляемые г. Хаджичем, как основы сербской жизни, как «святыня сербского духа», господствуют совершенно одинаково во всех сербских землях, и в тех, где он видит исключительно потомков завоевателей VII века, и в тех, где население происходит, по его взгляду, от старожиллов-славян. Но, указывая на ошибку г. Хаджича, мы не отнимаем тем высокого достоинства у его книги. Мы ему благодарны за ясное указание и развитие мысли о значении двух стихий, туземной и завоевательной, в образовании сербского народа⁴. Мысль эта делается достоянием науки, как скоро при свете ее изучены будут критически явления сербской истории и древнего сербского быта. Что же касается до определения и разбора основных стихий сербской жизни, то мы тут видим в г. Хаджиче глубокое понимание своего народа и можем желать только, чтобы такое понимание встречалось чаще, и не у одних сербов, но и в других славянских землях.

СЛАВЯНСКИЕ НАРОДНОСТИ И ПОЛЬСКАЯ ПАРТИЯ В АВСТРИИ

Новый фазис в борьбе австрийских славян за свою народность. — Программа Австрии относительно славян после революции 1848 — 1849 гг. — Бах и немецкая культура. — Бесплодность усилий Австрии в германизации славян. — Императорский диплом 20 октября 1860 г. — Партии в западнославянском мире: их цели и стремления. — Историческое право — идея федеративной перестройки Австрии и значение этой идеи в славянском вопросе. — От кого зависит разрешение славянского вопроса?

При внимательном взгляде на происходящее у австрийских славян всякий убедится, что общественные вопросы вступают там¹ в новый фазис.

Доселе вся деятельность этих славян, чехов, словаков, хорватов, сербов, словенцев, русских галичан, сосредоточивалась в одном: в заявлении своего народного бытия, в утверждении прав своей народности против стихий, ее не признававших.

Эта работа началась, как известно, в науке и литературе и потом мало-помалу перешла в жизнь практическую. 1848 год обнаружил силу воскресшего в австрийских славянах сознания своей народности. Одни, как хорваты, сербы и словаки, взяли за оружие и составили полки и армии, чтобы отражать мадьяр, отвергавших их народные права, отрицавших самое право их на народное существование. Другие, как чехи, иллирийские словенцы и русские галичане, посвятили все свои

общественные силы, все влияние своих голосов на сеймах одной цели: охранению себя от притязаний немцев и поляков.

Одни только поляки в Кракове и Галиции оставались чуждыми этому всеобщему движению австрийских славян. Им нечего было в нем участвовать. Движение это имело, как сказано, единственной целью — отстоять свою народность от тех стихий, которые хотели поглотить славян, как свое достояние. Положение австрийских поляков было совсем другое: опасность быть поглощенными Германией стояла для них на втором плане, а иным казалась и вовсе не существующею; на первом плане было притязание присвоить себе русскую Галицию (не говоря о других областях) на основании идей, смешанных из западного либерализма и аристократического духа, точно так же, как немец-либерал во франкфуртском парламенте² присваивал себе Чехию, Моравию и землю иллирийских словенцев, точно так же, как либерал-мадьяр в пештском сейме не признавал в пределах венгерской короны ничего, кроме мадьярской народности. Сходство положения, сродство стремлений вызвало союз. Мадьярский сейм отправил посольство к франкфуртскому парламенту, который принял представителя благородной нации венгерской с громом рукоплесканий и неоднократно выражал свое сочувствие мадьярам. Поляки, ссорясь с франкфуртским парламентом и либеральною Германиею за Познань, в делах австрийских соглашались с ними, помогали им, стояли на их стороне в австрийских палатах. Таким образом, австрийские славяне увидели против себя либеральную Германию, либеральных мадьяр и либеральных поляков, одним словом, всех тех, кому выгодно было отрицать народное бытие того или другого славянского племени, присваивать ту или другую славянскую землю. Сочувствие притязаниям и стремлениям мадьяр, совершенно сходным с их собственными притязаниями и стремлениями, повлекло Дембинского и Бема, повлекло тысячи польских волонтеров в ряды армии, которая сражалась против словацкого легиона Гурбана, против хорватов и сербских полков Елачича и Кничанина. Сочувствие положению русских галичан, которые терпели то же самое от

поляков и того же самого от них домогались, что они терпели и чего они домогались от немцев и мадьяр, сделало чехов, словаков, хорватов, сербов, самыми горячими защитниками русского дела в Галиции, наполнило всю тогдашнюю их журналистику самой жаркой полемикой против поляков за права русской народности.

Словом, поляки одни не приняли в 1848 году участия в общем движении австрийских славян; напротив того, они стояли в стане их врагов на стороне мадьяр и либеральной Германии.

Но остальная Польша, кроме галицийской шляхты и заграничной эмиграции, была в то время безмолвна и не могла поддержать своих братьев в Австрии. Усилия их не удались и имели только один результат: они выказали австрийским славянам на деле характер польских стремлений и удалили их от поляков.

Усилия всех прочих австрийских славян удались в одном: они действительно отстаивали бытие своих народностей. Чехи и словенцы не дали себя поглотить собирателям немецкой земли, заседавшим во Франкфурте; хорваты, сербы и словаки не дали наложить на себя народность мадьярскую, русские галичане не дали себя уничтожить полякам.

Но для борьбы с такими врагами, как поляки, составляющие в Галиции все шляхетское сословие, как целая либеральная Германия, как мадьяры, располагавшие 100-тысячной армией, — славяне, разбросанные по местоположению, разединенные историческим развитием и религией, должны были схватиться за какой-нибудь общий центр, за центр уже готовый, имеющий силу существующего, признанного факта. Они схватились за австрийскую династию, за австрийскую монархию и поддержали и ту и другую.

Чехи, словенцы, хорваты, сербы, словаки, русские галичане отстаивали свое народное бытие от либеральной Германии, от мадьяр, от поляков; но в пылу борьбы отдались совершенно в руки австрийского правительства и после победы очутились в полном ему подчинении.

Спасенной монархии австрийской предстояло два пути: или признать, как это было обещано, законное бытие славянских народностей, дать славянской стихии в общественном устройстве тот перевес, который она имеет в народонаселении империи, сделаться, одним словом, федеративным государством с преобладанием славянских народностей и оправдать таким образом надежды славян; или же остаться по-прежнему при владычестве немецкого меньшинства над массою не признаваемых в своей народности славян и других, помощью славян низложенных племен. Первый путь чересчур противоречил всем вековым преданиям Австрийского дома; избран был второй путь. Но чтобы оправдать до некоторой степени в собственных глазах свой поступок с славянами, и вместе с тем, чтобы приобрести опору либеральной Германии, разочарованной неудачею 1848 года и искавшей нового выхода своим завоевательным стремлениям, Австрия приняла на себя роль носительницы немецкой образованности, «*deutsche Culturträgerin*» на Востоке. Программа франкфуртского парламента сделалась относительно славян и других не немецких народов программой Австрии — и с большим еще деспотизмом, нежели это делал франкфуртский парламент, — принялся бывший либерал в этом парламенте, ставший австрийским министром, Бах, проводить беспощадный уровень немецкой «культуры» над всеми народностями империи, а преимущественно над славянами.

Снова пришлось всем славянским племенам Австрии, чехам, словенцам, хорватам, сербам, словакам, русским галичанам, отстаивать свое народное бытие, уже не под знаменем австрийским, а против Австрии, в союзе с мадьярами и в некоторых случаях даже с поляками (хотя в Галиции поляки не отказывались от своих притязаний на Русскую землю и даже пользовались содействием австрийского правительства для подавления там русской народности³. Десять лет <с лишком> длилась эта борьба славян против германизирующей Австрии, борьба скрытая, без шума и блестящих подвигов, но ежечасная, повсеместная. Австрия была побеждена не каким-нибудь одним проигранным делом, а бесплодностью своих десятилет-

них усилий, расстройством своих финансов, всеобщим озлоблением народов, их радостью при ее поражениях в Италии. Она бросила свою роль «носительницы немецкой культуры» и 20 октября 1860 года провозгласила снова политическую равноправность всех народностей, призвала их к законному участию в общественной жизни.

С этого времени славянских вопрос в Австрии, как мы сказали в начале нашей статьи, вступает в новый фазис и является гораздо более сложным, нежели он был прежде, когда вся деятельность славян сосредоточивалась просто в заявлении и обороне своего народного бытия. На прежней точке стоят уже только слабейшие славянские народности в Австрии, которым грозит еще опасность быть не признанными и поглощенными, как словенцы в Штирии, Каринтии, Краине, Истрии, теснимые немцами и итальянцами, словаки и сербы, подавляемые мадьярами, русские в восточной Венгрии, которых попирают те же мадьяры, русские в Галиции, которых попирают поляки. Другие славянские народности в Австрии, чехи, хорваты, поляки, в настоящее время обеспечены от опасности быть уничтоженными; их бытие признано и немцами, и мадьярами. С тем вместе кончился <для них> фазис простого сопротивления чужим элементам, простой защиты своего бытия. Наступили новые требования: оборонительного положения недостаточно, надобно двинуться вперед, но по какому пути? Избрать путь — вот трудная задача, которую должны разрешить себе эти славяне в настоящее время, — причина их недоумений, их колебаний, запутанности их действий.

У них, сколько мы могли заметить, обозначались две партии; одну мы назовем федеративно-австрийской, другую — партией исторического права или польской.

Федералисты видят, что славянские племена Австрии, по своей разрозненности и по множеству чужих стихий, которые повсюду парализируют их силы, нигде не могут своими собственными средствами создать себе удовлетворительное политическое положение. Поэтому они возобновляют мысль, родившуюся в 1848 году, — общими силами преобразовать

Австрию и сделать из нее федерацию равноправных народностей, между которыми славянская, по своему численному перевесу, непременно получила бы первенство. В 1848 году эта идея руководила всеми вождями славянского движения; теперь она более принадлежит консерваторам, особенно у чехов. Беспрепятственно выражают они ее в разных формах. Так, например, мы читали в чешской газете «Час» по поводу венгерского вопроса: «Нам, славянам, воистину можно поверить, когда мы стараемся о мирном разрешении венгерского дела, что мы действуем не из каких-нибудь посторонних побуждений. У нас нет в запасе какого-нибудь Grossdeutschland⁴, и наше единственное пристанище — Австрия. В ней единственно можем мы не только сохранить себя, но и развиваться, и потому с нашим народным существованием отождествилось изречение нашего Палацко-го: «Если бы Австрии не было, мы должны бы были создать ее себе». Нас нельзя упрекать в том, что мы из любви к мадьярам неумолимо стараемся о мирном разрешении венгерского вопроса, ибо нет причины, чтобы мы держали сторону мадьяр, от которых славяне еще ничего хорошего не видали, и если бы дело зависело от одних мадьяр, то и впредь никогда бы не увидели. Если мы при всем том хлопочем о мирном соглашении, то мы делаем это, поистине, не для пользы мадьяр, чтобы поддерживать их притязания: мы делаем это для пользы Австрии, с благосостоянием которой тесно связано наше собственное благосостояние, не только как граждан, но и как народности».

Точно так же судят и хорваты, за исключением той антиславянской партии у них (особенно между аристократией), которая мадьярским аристократическим идеям готова жертвовать своею собственною народностью. Народная же партия стоит тоже за федеративную Австрию. Она рассуждает так: «Если Венгрия отделится от Австрии или сохранит с нею связь только династическую, со своими собственными министерствами, своими финансами, своею армиею, то мы погибли. Нам невозможно будет остаться независимыми от Венгрии, и если бы даже мадьяры согласились признать за нами внутреннее самоуправление, это ни к чему бы не послужило. Завися

от Пешта, мы были бы совершенно в их руках, они бы нас поглотили. Но мы так же мало хотим быть под властью немецкой централизации, как под властью централизации мадьярской; нам нужна Австрия, но Австрия федеративная».

Эта славянская федералистическая партия, поддерживающая Австрию, не есть, нужно заметить, партия правительственная. Правительство австрийское в настоящее время следует преимущественно идеям немецко-централизационной конституции. Оттого-то такая полемика между либеральными славянами-федералистами, поддерживающими Австрию, и либеральными же австрийскими правительственными органами, понимающими Австрию в другом, немецком смысле.

Ближе к правительству, хотя тоже на почве федерализма, стоят те славяне, которым приходится еще, как мы сказали, отстаивать свое народное бытие — словаки, русские в Галиции, сербы (в бывшей Воеводине) и др. Они также желают перерождения Австрии в федеративное, по преимуществу славянское государство; но это перерождение Австрии, как дело будущего, стоит у них на втором плане; настоящее же, исполненное опасностей для самого существования их народностей, требует союза с австрийским правительством, какое бы оно ни было. Оттого мы видим, что с уменьшением опасности от чужих стихий эти славяне приближаются к федералистической оппозиции; с увеличением опасности делаются безусловными поборниками правительства, как, например, русские депутаты из Галиции, которые недавно, в заседаниях австрийского *рейхсрата*, давали единодушно свои голоса немецкой правительственной стороне против общей федералистической оппозиции всех других славян и таким образом доставили первой большинство — потому только, что в рядах оппозиции видели польских депутатов, с прежним упорством отрицающих, даже ныне, права русской народности в Галиции.

Эти славяне сознают сами, куда это ведет, но иначе действовать они не могут. Они жертвуют надеждами на политическую свободу в настоящем, сохранению для будущего своего народного бытия. Что может быть в этом смысле вы-

разительнее следующих строк, которые мы выписываем из одной передовой статьи органа словаков — «Пешт-Будимских Ведомостей за 1861 год»:

«Прошел уже год, как издан императорский диплом 20 октября. К этой грамоте обращал свои взоры каждый из народов Австрии, как к древу жизни, надеясь тотчас, как только вкусит его плода, излечить болезни, порожденные 12-летним деспотизмом. Вскоре, однако, оказалось, что только некоторые народы, как то: немцы и мадьяры, были призваны и избраны поделить между собою сокровища Октябрьского диплома, а другим суждено было тщетно взывать: «Дайте и нам того, что там обещано и что принадлежит нам по праву!» — и отойти с пустыми руками... Между всеми народами австрийской монархии нам, северославянам (т. е. словакам), достался самый худший удел. Правда, венское правительство выпустило нас из-под ферулы немецкого абсолютизма, но отдало нас в руки мадьярских конституционных пашей, и мы попали из огня в полымя. Назначив во все комитаты великих жупанов из числа лиц, известных своей мадьяроманией, правительство посадило нам, северославянам (словакам), на шею столько пашей, сколько комитатов в нашей земле. Тот полководец самый лучший, который умеет, не вынимая меча, уничтожить неприятеля им же самим. Правительство хорошо поняло эту тактику, назначив таких великих жупанов, которые с выбранными или, лучше сказать, назначенными каждым из них конгрегациями сами бросаются в сети деспотизма и тащат туда как мадьярский, так и другие народы. Эти всемогущие господа, за которыми следует ослепленный, но, впрочем, благородный народ мадьярский, приведут или, вернее, привели уже нас, словаков, и другие угнетенные народности к тому, что мы будем искать помощи, где и как знаем, и что как мы, так и они, найдем себе только гроб политической свободы и самостоятельности. Мадьяры по собственной своей вине проиграют не только то, что имеют, но и то, что могли бы иметь еще. Мы, напротив, выиграем, вот почему: мы выиграем именно тем, что мадьяры будут в проигрыше и что они снова лет двенадцать будут вместе с нами стенать под насилием, ими

самими наклепанным, и таким образом либо погибнут, либо научатся уважать право и правду».

Перейдем от этих славян, стоящих еще в прежнем оборонительном положении, к противоположной партии, к партии крайнего движения, которую мы назвали партией исторического права или польской. Она могла пока проявиться только у чехов и, может быть, отчасти, у хорватов (хотя последним антагонизм с мадьярами мешает смело вступить на почву исторического права, на которой стоят сами мадьяры). Известно, что такое историческое право, как его понимают мадьяры и поляки и как начинает понимать его одна партия у чехов: по их понятиям, история создала для избранного ею народа право господства над известным пространством земель, которые когда-либо подпадали под его владычество. Таково основание, на котором «избранный судьбою», «благородный», «просветительный» народ мадьярский отыскивает исключительного господства не только над своею собственною мадьярскою землею, но и над всеми славянскими народами, которые принадлежали некогда к короне св. Стефана. Таково основание, на котором «избранный судьбою», «благородный», «просветительный» народ польский отыскивает исключительного господства не только над странюю, населенною польским племенем, но и над всем пространством русских и литовских земель, когда-либо состоявших под владычеством Польши. Чехи также вспомнили свою историю, свидетельствующую о прежней обширности их государства, которое обнимало не только Чехию и Моравию, но и Силезию. Воссоздать это государство собственными силами нет никакой надежды; но нельзя ли бы восстановить древнюю «корону» чешскую в союзе с восстановленною «короною» венгерскою, с восстановленною в ее исторических пределах Польшею? Эта мысль представилась чехам и, сколько можно судить, овладела умами некоторых передовых их деятелей. По крайней мере заметна в этих деятелях какая-то небывалая прежде благосклонность к притязаниям мадьяр и снисходительность к ним, даже когда эти притязания нарушают право славянских народностей в Венгрии, и очевид-

на несомненная благосклонность к притязаниям поляков. Они, которые прежде так жарко ратовали против поляков за право русской народности в Галиции, теперь как бы игнорируют русскую народность не только в Галиции, но и во всех областях, на которые простираются польские притязания⁵.

Народы, основывающие свое дело только на историческом праве, не могут иметь удачи. Историческое право может быть полезным политическим орудием для противоборства такому правительству, как австрийское, которое существует только в силу исторического права и вместе с тем его беспрестанно нарушает. Но никакая народность не может безнаказанно провозглашать историческое право своим руководящим началом в отношении к другим племенам. В этом смысле историческое право заключает в себе ложь и раздор: оно есть самоубийство для народа. Каждая народность имеет равные права на существование в своих пределах и на беспрепятственное развитие; это прямо истекает из самого права человеческой личности, и как это право не мешает людям различаться друг от друга способностями, силою, случайным счастьем, богатством, так и равноправность народностей оставляет между ними различие, происходящее от материальной и нравственной силы, от дарований, от выгод положения, от количества накопившегося умственного и вещественного капитала и т. д. Но что такое значит между всеми этими условиями, решающими взаимные отношения народностей, историческое право? И по какому мерилу судить об историческом праве одного, об историческом бесправии другого, когда история в вечном своем движении постоянно низвергает старое право, коль скоро оно отжило, и создает новое, коль скоро оно предъявляет живые начала? Поляки имеют притязания на западные русские области и на Галиции, мадьяры на славянские и другие земли, принадлежавшие короне св. Стефана, на том основании, что они ими некогда владели: но было время, когда первые входили в состав Русского государства; было время, когда вся нынешняя Венгрия принадлежала славянам. Или новейшее право поляков и мадьяр уничтожило древнейшее право русских на Западную Русь, славян на Вен-

грю? Если новейшее право устраняет древнейшее, то почему же должно действовать *это* новейшее право, а не другое, еще новейшее? Если, например, мадьяры оправдывают свои притязания на господство над славянскими землями тем, что завоевали их в 900 году, то отчего же бы Австрии не оправдывать своего господства над самими мадьярами тем, что завоевала их в 1849-м? Очевидно, что не этот принцип может решать взаимные отношения народов. Он не только заключает в себе свое собственное отрицание, он противен всем жизненным началам настоящего мира, он требует возвращения к средневековым началам. В учении исторического права международные отношения определяются не народностью самого народа, а господствующей над ними аристократии. В поляке, а также в мадьяре жив до сих пор шляхтич средних веков: дворянство в Литве, в Западной Руси, в Галиции — польское, стало быть, эти земли принадлежат Польше! Дворянство в крае словаков и карпаторусов, в Сербской Воеводине, в Хорватии и Славонии, исключительно или отчасти мадьярское, стало быть, эти земли принадлежат мадьярам! Перенесите этот принцип из области отношений международных в сферу отношений гражданских, и вы прямо придете к праву человека над человеком, шляхтича над холопом. Оттого-то, чтобы прикрыть эту радикальную ложь своего принципа, чтобы снискать сочувствие либерального Запада к их «либеральными стремлениям и, может быть, даже, чтобы заглушить в самих себе внутреннее противоречие правды, эти люди выдумывают и пускают в свет самые дикие теории, самую наглую историческую фальшь. Вы читаете, например, что народ польский или мадьярский — это особенный избранник Провидения, особенный сосуд благодати Божией, предопределенный быть борцом против варварского, русского и славянского мира и сделаться его просветителем; Польша и мадьяры — это искупители народов, «о их же ризе меташа жребий», и которых воскресение возродит и спасет все человечество. Это еще самые умеренные из теорий польских и мадьярских. Но и такие теории не могут еще достаточно оправдать притязаний на владычество поляков над

русскими землями, мадьяр над славянами. Тут-то хватаются они за историческую ложь и утверждают перед лицом Европы, например, что орда мадьяр-завоевателей, которых современники рисуют самыми зверскими, самыми кровожадными разбойниками, принесла с собою славянам принципы свободы и равенства; они утверждают, что уния церковная совершилась также непринужденно и была благодеянием для народа. Но этого все еще мало; они идут далее; они утверждают, что русской народности вовсе нет на свете, что древняя Киевская и Новгородская Русь — это была Польша, что «Слово о Полку Игореве» и «Русская Правда» писаны по-польски, что нынешнее южнорусское племя — те же поляки, а великорусское племя, «москали» — смесь финнов с татарами и вовсе не славяне, что «Екатерина II указом предписала москалям именоваться русскими», что «Шафарик и Карамзин согласно доказали, что русский язык не чисто славянский»⁶ и т. д.

Ложь порождает ложь. Чтобы прикрыть ложь принципа исторического права, берется историческая фальшь, превышающая размер всякой виданной лжи человеческой.

Дело, прибегающее к таким средствам, обличает свою несостоятельность и может временно успевать только тогда, когда встречается перед собою другую ложь или мрак, а не свет и правду.

Мы глубоко скорбим о народах, которые имеют несчастье основывать свою деятельность на историческом праве. Ложь его извращает и отравляет все стороны их жизни, убивает в них умственную свободу и чувство правды. Мало того: эта ложь властолюбивого шляхетства, прикрывающегося личиною либерализма, словами «свобода и братство», является столь ненавистною народам, которых оно хочет подчинить себе, что эти народы готовы отдать все, лишь бы только избавиться от такого господства. Разительные примеры тому перед нашими глазами: русские галичане подают свои голоса в пользу немецкой централизационной партии, чтобы не сделаться жертвою польских притязаний; словаки объявляют, что они предпочитают восстановление полновластия австрийской бюрократии владычеству мадьярского либерализма. Словом, народы, стоящие на гибель-

ной почве исторического права, убивают себя самих и внутренней ложью своего принципа, и отчаянным противодействием, которое они вызывают в других народах.

Жаль бы было чехов, если бы они поддались искушению этого блестящего для народного самолюбия, но смертоносного принципа. Они поставили бы себя в безысходный антагонизм с целой Германией, которая может и должна признать равноправность чешской народности с немецкой, но ни в каком случае не согласится уступить чехам исключительное господство в землях древней их короны, наполненных теперь немецким элементом. Но этого мало. Чехи утратили бы сами понимание чистых славянских, противных всякому аристократическому преимуществу, начал, которым они обязаны тем, что возрождение чешской народности, — недавно еще мечта немногих мыслителей, — осуществилось ныне в жизни нескольких миллионов людей; они утратили бы чувство славянского братства, которое снискало им сочувствие и нравственную поддержку всех славянских племен. И какой страшный грех против славянского дела берут они на себя, помышляя только о возможности нарушения целостности и нераздельности России — этой единственной живой опоры славянского мира, этой единственной хранильницы славянских начал, — России, без которой славянские племена были бы на востоке Европы тем, чем кельты на западе, материалом, послужившим к образованию других народов и уцелевшим кое-где в жалких обломках. Нам тяжело говорить так ученикам Шафарика, Челяковского и Ганки, этих великих деятелей славянских, которые любили горячо Россию, как единственную надежду славянских народов, которые дорожили ее благом и ее величием, как величием и благом всего славянства. Предъявляя притязания на область древней короны чешской и принужденные для этого, по принципу, потакать самым ложным, самым исключительным притязаниям польским и мадьярским, чехи ставят себя в антагонизм и с Германией, которая сильнее их, и со всем остальным славянским миром, который один может поддержать их против Германии: они сами налагают на себя руку.

К несчастью, и на другом пути, на котором стоят австрийские славяне, на пути федеративном, мы не можем ожидать для них успеха. Но этот путь по крайней мере не развратит их и не погубит внутренней ложью; не касаясь самых начал народной жизни славян, идея федеративной перестройки Австрии может повести их к политической неудаче, как было уже в 1848 году, но будущего ничем не связывает. Что действительно политическая неудача снова ожидает славян, что в Австрии восторжествует начало немецко-централизованное, это можно предвидеть, если дела пойдут так, как они шли до сих пор, и в разрешении их не вмешаются какие-нибудь посторонние стихии. Конечно, славян в Австрии более 15 миллионов против 17 миллионов, разделенных между четырьмя антипатичными друг другу народностями, немцами и итальянцами, мадьярами и румынами. Но мы видели, как различно политическое направление этих 15 миллионов славян; федералисты, чехи и хорваты, стоят тут между поляками и другими поборниками исторического права и словаками, русскими, сербами, которые, чтобы не сделаться жертвою исторического права, готовы на безусловный союз с немецким «централизационным правительством». Как же этому правительству, имеющему притом на своей стороне силу существующей государственной организации, не воцариться снова над этим хаосом народностей, — если, повторяем, не вмешаются какие-нибудь непредвидимые посторонние обстоятельства?

Нет никакого сомнения, что современное движение принесет австрийским славянам огромную пользу тем, что укрепит, распространит и разовьет в них народное сознание. Но положение их неутешительно, и им предстоит еще много обманутых надежд, много тяжелых испытаний; светлое, отрадное будущее еще далеко. Когда же настанет оно? Не знаем; мы знаем только одно: будущее славянского мира неразрешимо вне участия русского народа.

СПб. 31 октября 1861

ВЗГЛЯД ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН НА РОССИЮ

«Пешт-Будимские Ведомости» и вопрос об участии России в разрешении славянского вопроса. — Опасения западных славян компрометироваться суждениями о русском народе. — Положение общественных стихий в западнославянском мире и отличие от него южных славян. — Взгляд западных славян на государственную сторону России. — Невнимание славян к народному элементу России. — Понятия австрийских славян о славянофилах. — Общественные начала славянского мира и русский народ. — Мицкевич и его изображение русского народа.

Я хочу говорить о предмете довольно важном — о взгляде славян на Россию — по самому пустому и ничтожному поводу. Повод этот — несколько слов, мною сказанных в статье «Славянские народности и Польская партия в Австрии», которым выходящая в Пеште словацкая газета «Пешт-Будимские Ведомости» придала, в переводе статьи моей, совсем другой оборот и другой смысл. Мне показалось, что в этой маленькой неточности «Пешт-Будимских Ведомостей» отразилось непреднамеренно, без всякого желания редакции исказить мои слова, господствующее у австрийских славян общее настроение мыслей относительно России, и об этом-то настроении захотелось мне дать отчет.

Но какую же фразу изменили «Пешт-Будимские Ведомости» так, что это могло навести на рассуждение об общем вопросе?

Последние строки моей статьи были следующие:

«Нет никакого сомнения, что современное движение принесет австрийским славянам огромную пользу тем, что укрепит, распространит и разовьет в них народное сознание. Но положение их неутешительно, и им предстоит еще много обманутых надежд, много тяжелых испытаний; светлое, отрадное будущее еще далеко. Когда же настанет оно? Не знаем; мы знаем только одно: *будущее славянского мира неразрешимо вне участия русского народа*».

Начало фразы, как и вообще вся статья, переведено в «Пешт-Будимских Ведомостях» совершенно верно; но вот как переделаны последние слова. «Положение славян неутешительно, — сказано в переводе, — и им предстоит еще много обманутых надежд, много тяжелых испытаний; светлое будущее еще далеко. Когда же настанет оно? Не знаем; мы знаем только, что *славянские народы может спасти лишь славянская политика*».

В заключительной фразе моей статьи было сказано, во-первых, о необходимости и неизбежности участия русского народа в будущей судьбе славянского мира: **переводчик или редактор** «Пешт-Будимских Ведомостей» не захотел, чтобы тут было упомянуто о русском народе. Во-вторых, у меня в этой фразе говорилось о народе русском, а не о России как государстве; считая настоящее положение западных славян безвыходным, пока они будут ограничиваться самими собою, я выражал мнение, что исход их дела зависеть будет от участия нашего отечества, и именно от участия народа, т. е. общественных и нравственных сил земли нашей; мне и на ум не приходило какое-нибудь государственное вмешательство, а тот, кто поправлял мои слова, заставил меня говорить о политике: он перенес мою мысль из сферы общественной в сферу государственную.

Я уверен, что такое изменение сделано в моей статье «Пешт-Будимскими Ведомостями» без всякой внешней понудительной причины, т. е. помимо всяких цензурных побуждений: ибо теперешнее положение печати в Австрии не может требовать подобной осторожности в выражениях.

Что же заставляло словацкую газету исключить из статьи мысль о необходимости участия русского народа в разрешении славянского вопроса? Что заставляло ее заговорить о политике, когда у меня говорилось о деле общественном? В этом-то именно, кажется мне, и отразилось то общее настроение западных славян относительно России, о котором хочу повести речь. Я упомянул о том, что сделала с мыслью, выраженной в моей статье, словацкая газета, только для того, чтобы от этого частного случая перейти к общему явлению.

Останавливаясь же на нем, невольно спрашиваю: не приходится ли во всем, что говорится западными славянами в их общественных собраниях, во всем, что ими пишется, очевидное опасение «компрометироваться» каким-нибудь словом о русском народе — компрометироваться, разумеется, не перед австрийским правительством, в отношении к которому они уж не так-то осторожны, — а перед своим же общественным мнением? Далее, не замечается ли также, что все внимание их устремлено на вопросы государственные, на *политику* внутреннюю и внешнюю, а вопросы о началах *общественных* для них как будто не существуют?

Из этих двух явлений последнее, по моему мнению, есть существенное, основное, и первое из него проистекает как естественное последствие.

Западные славяне¹ тем глубоко отличаются от нас, что их деятельность сосредоточена исключительно в сфере внешних, государственных отношений. Трудно полагать, чтобы могло быть иначе в настоящее время. История совершенно подчинила их господству общественных начал Запада; все общественные стихии славянские у них стертые; славянин в Чехии, в Моравии, в Штирии и Каринтии разнится в настоящее время от своего соседа немца, в земле словаков от мадьяра, только — с одной стороны, признаками внешними, т. е. языком, костюмом, обычаями, с другой стороны — свойствами личными, т. е. особенностями своего характера; но в жизни общественной он совершенно отождествился с немцем или мадьяром, он стоит вполне на общественной почве Запада; его понятия о

государстве и государственной власти, о конституции, его словесные отношения с преобладанием в настоящее время класса бюргеров (которому у нас нет и соответствующего слова), его взгляд на землевладение, наконец, его религиозное направление — все это ничем не отличается от взглядов и отношений немецких и мадьярских, все это — принятое от западного мира². Между тем в славянских землях Австрии еще не развились причины, которые в более населенных и промышленных, более обремененных пролетариатом странах Запада, ближе к Атлантическому океану, породили чувство недовольства существующим общественным порядком, породили стремления социалистов. Австрийские славяне совершенно ужились с общественными началами Западной Европы и пока ими вполне довольны; между ними нет социалистов. К тому же, недосуг им думать о вопросах социальных. Поневоле все внимание их поглощено вопросами чисто политическими, правами славянской народности в отношении к народностям не славянским и к государству, которое везде, и в коронных землях Австрии, и в Венгрии, служит интересам, враждебным славянской народности. Единственный предмет, их занимающий, состоит в том: как устроить государственную конституцию Австрии и Венгрии так, чтобы славянские племена нашли в ней законное признание и покровительство? Или далее, какие могут явиться политические комбинации, чтобы доставить славянам еще полнейшую государственную независимость? Словом, западные славяне живут, мыслью и делом, исключительно в области государственной, политической.

Здесь не место говорить о том, что наше направление другое, что нам вопросы политические кажутся второстепенными. Если мы, к каким бы мнениям ни принадлежали (за исключением тех, уже немногих, которые не признают возможным ничего, кроме того, что есть на Западе), если мы все в том смысле социалисты, что мы задаем себе и, так или иначе, думаем решить вопросы о началах общественных, то существенная причина этому заключается, вероятно, в самом настроении современной русской жизни, которая вынесла из прошлого и

теперь стремится осуществить свои общественные начала, не находившая себе выражения при господстве у нас иноземных понятий и правил. Но этой-то стороны западные славяне решительно не видят в России и не могут ее понять. Сами занятые единственно вопросами политического характера, они видят в России только государство, замечают в ней, действительно с большим вниманием (насколько доходят до них сведения), каждый шаг русского правительства и те проявления нашего общественного мнения, которые имеют прямое отношение к вопросам правительственными. Но ничего другого, повторяю, западные славяне не видят в России. Они представляют ее себе какою-то Австриею, огромною машиною, сдерживаемую единственно государственною властью и в которой борются две силы, правительственная и противоправительственная³.

Обращая свои взоры только на государственную сторону России, западные славяне, очень понятно, не находят в ней того, чего считают себя в праве ожидать от славянского государства, единственно независимого славянского государства на свете. Так, относительно внешних дел они желали бы, чтобы политика России опиралась преимущественно на идеи славянской народности, имела в виду главным образом славянские интересы, — и разочаровывались всякий раз на счет нашего отечества, коль скоро замечали в русской политике начала, к которым они равнодушны или даже враждебны, например интерес германский, интерес принципа легитимности и т. п. Такое же разочарование должна была производить на славян внутренняя сторона России, как государства. Они жаловались у себя на господство бюрократии, — но не меньшее развитие бюрократических начал встречали они в том, что могли прочесть о России; они жаловались у себя на отсутствие свободы совести, на законы, стеснительные для протестантов и православных, — и у нас они читали про стеснение раскольников. В других отношениях они находили даже, что государственные учреждения, под которыми им приходится жить, более развиты, чем государственные учреждения России, например, относительно равенства всех перед законом гражданским и

уголовным, гласности судопроизводства, свободы слова и т. п. Ясно, что государственная сторона России не могла не разочаровывать славян. А только государственные вопросы, как я сказал, их занимают, сосредоточивают на себе все их внимание. Всякого русского, к ним приезжающего, они встречают с братскими объятиями; но самой России чуждаются, потому что видят в ней только государство и его учреждения и не видят народа и его общественных начал. Поразительно невнимание славян к народному элементу России, совершенное непонимание того, что в земле нашей существуют вопросы о началах общественных. В их литературах заметен живой интерес к России как в отношении политическом, так и отвлеченно-ученом, например, в том, что касается наших древностей, филологических особенностей нашего языка, нашей литературы, преданий и песен русского народа. Некоторые труды западнославянских ученых оказали нам самым важные услуги: не упоминая о прочих, назову, для примера, превосходный труд Шафарика — разбор древнейших известий о славянах, обитавших в России. Тем замечательнее, что среди всех этих деятелей ни один не обратил никакого внимания на современный общественный строй земли русской. Не только особого сочинения, я не встретил в западнославянских литературах даже статейки о русском народе в отношении к его общественным началам. Приведу еще любопытную черту этой односторонности взгляда на Россию. Известно, до какой степени так называемые славянофилы пользуются вниманием и сочувствием в славянских землях, и это происходит, конечно, оттого, что славянофилы, ранее и более других литературных партий наших, стремились к знакомству и сближению со славянами. Но как понимают они славянофилов? В их глазах это есть партия чисто политическая, главная цель которой — придать русской политике славянское направление, вывести Россию из-под политического влияния немцев и соединить самих славян в одно государство; славянофилов они обыкновенно называют «панславистической партией в Москве». Сущность славянофильских мнений — вопросы о началах общественных — до такой

степени чужда кругу идей, их занимающих, что они ее, так сказать, «игнорируют». Читая издания славянофилов с большею, может быть, охотою, чем прочие произведения русской литературы, славяне с любопытством останавливаются на каждой в них статье, касающейся какого-нибудь политического вопроса славянского, и спешат ее перевести, перепечатать, как бы она ни была незначительна, как бы мало ни заключала для них нового; а между тем ни одна капитальная статья, коль скоро в ней речь идет не о политике, а о началах общественных, не показалась им заслуживающей подобной чести⁴. Не находится ли в этих частных фактах подтверждение моей мысли, что в явлениях современной России западные славяне хотят видеть только политическую сторону? Немцы, англичане, даже французы в этом отношении лучше понимают Россию; у них обращали внимание (конечно, недостаточно и весьма часто неверно) на общественные начала нашего народа. Немец Гакстгаузен⁵ путешествовал по России нарочно с целью изучения ее бытовых стихий; хорошо ли, дурно ли он их понял, это вопрос посторонний, но, по крайней мере, видно, что предмет этот показался ему важным. А из славян никто до сих пор не был в России с подобною целью, тогда как исследователь-славянин, близкий к русскому народу по чувству родства, способный усвоить себе его язык, мог бы проникнуть в его быт, в его общественные стихии несравненно глубже и вернее всякого другого иностранца и, заглянув на нас со стороны, мог бы, вероятно, сказать что-нибудь и для нас самих поучительное. Но что говорить тут о нашей пользе, когда самый живой, самый существенный интерес самих славян, очевидно, требует, чтобы русские общественные начала сделались для них предметом изучения и размышления? Россия сохранила в живой современности общественные начала, которые были некогда общей принадлежностью славянских народов: поземельную общину и мир, отсутствие аристократического принципа в высшем классе, даже при наружном отождествлении его с аристократическим дворянством других стран; отсутствие определенного среднего, городского сословия; отсутствие

условленных, формулированных договором отношений между верховною властью и обществом, и проч. Весь этот совершенно своеобразный строй общества, в существе своем общинно-демократический, с правительством чисто монархическим может быть оцениваем так или иначе, можно считать его признаком детского состояния народа или залогом высокого его призвания в мире, можно желать его устранения и замены другими началами или, напротив, его полнейшего развития; но, во всяком случае, существующий факт несомненен; тот факт, что таков был действительно первоначальный, самобытный общественный строй у всех славянских племен и что первоначальные, самобытные общественные начала славянские уцелели в России под огромной исторической надстройкой, слагавшейся из самого разнородного, часто чуждого, даже совершенно противного свойствам основной почвы материала, и не только уцелели, но остались основанием громадной державы славянской. Каким же образом такой факт не занимает мысли западных славян? Каким образом они, с необыкновенною любовью обращающиеся к памятникам своей давно минувшей политической независимости — памятникам, которые на каждом шагу указывают на бывший некогда у них самобытный общественный строй, — не пожелают сличить эти свидетельства мертвой старины с живым организмом, с тем, что существует в русском народе? Что, если и они узнают, как уже узнали мы, в русском народе первобытные, коренные общественные начала славянского племени, сохранившиеся в течение мучительного тысячелетия государственного сложения земли Русской и просящиеся к жизни в новом мире? Какое значение получит тогда русский народ для других славян!

Но до этого сознания, может быть, еще далеко. В настоящее время вопросы общественные чужды западным славянам, ибо они так освоились с общественным складом западноевропейским, который ими совершенно овладел, что не чувствуют потребности и, может быть, даже возможности других общественных начал. Заботясь единственно об интересах правительственных, политических, они смотрят на нас только с го-

сударственной стороны. Народ русский для них не существует или существует только как масса грубых «мужиков» (это слово они приняли, с оттенком отчасти бранным), «мужиков», которых вы неоднократно встретите⁶ в карикатурах чешских в виде, более или менее уподобляющемся виду медведя и с которыми как-то неловко и стыдно сказать сродни, а тем более соединить идею коренных славянских начал. Даже настоящее освобождение этих «мужиков», как они выражаются, с наделом землею и мирским началом не представляется им ничем особенным; они придают ему значение исключительно политическое и административное, подобное тому, какое имело уничтожение крепостного права в Австрии. Что эта масса «мужиков-варваров», ныне освобождаемых, может иметь свое значение в истории не только как грубый материал, а как сила нравственная, этого и не снится западным славянам. Без сомнения, на понятия их о России и русском народе действуют отчасти и поляки, и отзывами своими и, в особенности, всем тем, что печатает о нас эмиграция. В представлении западных славян о русской земле и русском народе все как будто бы носится пред ними картина, нарисованная Мицкевичем, в которой столько ослепления (к несчастью, едва ли невольного, ибо Мицкевич жил в России и знал ее) соединяется с такою красотою стиха:

Kraina pusta, biala i otwarta,
Jak zgotowana do pisania karta —
Czyż na niej pisać będzie palec Boski,
I ludzi dobrych używszy za głoski,
Czyliż tu skreśli prawdę swiełej wiary.
Że miłość rządzi plemieniem człowieczem,
Że trofeami świata są: ofiary?
Czyli też Boga nieprzyjaciel stary
Przyjdzie i w xiędze téj wyrze mieczem,
Że ród człowieczy ma być w więzy kuty,
Że trofeami ludzkósci są: knuty?

.....

Spotykam ludzi — z rozrosłými barki,
Z piersią szeroką, z otylemi karki;
Jako zwierzęta i drzewa północy,
Pełni czerstwości i zdrowia i mocy.
Lecz twarz każdego jest jak ich kraina.
Pusta, otwarta i dzika równina;
I z ich serc, jako z wulkanów podziemnych,
Jeszcze nie przeszedł ogień aż do twarzy,
Ani się w ustach rozognionych żarzy,
Ani zastyga w czoła zmarszczkach ciemnych,
Jak w twarzach ludzi wschodu i zachodu,
Przez które przeszło tyle po kolei
Podań i zdarzeń, żalów i nadziei,
Że każda twarz jest pomnikiem narodu.
Tu oczy ludzi, jak miasta tej ziemi,
Wielkie i czyste, — i nigdy zgiełk duszy
Niezwykłym rzutem żrenic nie poruszy:
Nigdy ich długa żalność nie zaciemi;
Zdaleka patrząc — wspaniałe, precudne,
Wszedłszy do środka — puste i bezludne.
Ciało tych ludzi, jak gruba tkanica,
W której zimuje dusza gąsiennica,
Nim sobie piersi do lotu wyrobi,
Skrzydła wyprzedzie, wytcze i ozdobi.
Ale gdy słońce wolności zaswieci,
Jakiż z powłoki téj owad wyleci?,
Czy motyl jasny wzniesie się, nad ziemię,
Czy ćma wypadnie, brudne nocy plemię?

«Страна пустынная, белая и открытая, как приготовленная для письма бумага. Что ж, будет ли на ней писать перст Божий и, взявши себе за буквы доблестных людей, начертает там истину святой веры, что любовь правит родом человеческим, что трофеи мира суть жертвы? Или же придет старый соперник Бога и в книге той вырежет мечем, что племя людское должно быть ковано в узы, что трофеи человечества — кнуты?»

«Встречаю людей — с окладистой бородою, с широкою грудью и жирным затылком; как звери и деревья севера, полны свежести, здоровья и силы. Но лицо каждого таково, как их страна — пустынная, открытая и дикая равнина, и из их сердец, как из подземных вулканов, огонь еще не достиг до лица, не пылает в рдеющих устах, не застывает в темных морщинах чела, как в лицах людей Востока и Запада, по которым прошло чередой столько преданий и событий, столько горестей и надежд, что каждое лицо есть памятник народа. Здесь глаза у людей, как города этой земли, — большие и чистые, и никогда крик души не мелькнет в очах необычным взглядом; никогда не затмит их долгая скорбь. Смотришь издалека — величественны, дивны; войдешь в средину — пусты и безлюдны. Тело этих людей, как грубая ткань, в которой зимует душа-гусеница, пока не расправит себе грудь для полету, пока не спрядет, не <выткет> и разукрасит себе крылья. Но когда засияет солнце свободы, какая из этого чехла вылетит бабочка? Светлый ли мотылек взнесется над землею или вылетит грязная моль, исчадие ночи?»

Таково, действительно, насколько я могу судить, в сущности, понятие западных славян о России⁷: белая бумага, на которой неизвестно, что напишется, а написано пока только государственное устройство; народ — грубые тела людские, в которых общественная мысль еще спит летаргическим сном зимующей гусеницы, и Бог весть что принесет миру: пожалуй, порабощение народов, а в том числе самих славян, как столько времени твердили европейские публицисты со слов Наполеона I.

Сказанное мною, быть может, покажется славянам для них оскорбительным; но они сознаются, что я сказал правду, по крайней мере, относительно *общего* господствующего у них взгляда и настроения насчет России. Есть, конечно, личные исключения, но и между ними большая часть, вероятно, любят Россию с идеальной, чисто отвлеченной славянской точки зрения, как великую независимую славянскую землю, надежду

славянского мира, не отдавая себе отчета в том, что именно в земле этой должно быть важно и любезно для славян, что должно их обнадеживать. У нас в России мною, вероятно, недовольны будут те, в которых я разрушаю сентиментальные понятия о беспредельной, безотчетной преданности славян нашему отечеству. Но, во-первых, сентиментальность вредна и всегда ведет к разочарованиям; а во-вторых, слова мои относятся только к славянам западным, а отнюдь не к православным южным славянам, где действительно масса народная беспредельно предана России, — хотя мы должны опасаться, чтобы наше равнодушие и наш образ действия ее наконец от нас не оттолкнули, как уже отшатнулись от нас весьма многие личности, выделившиеся из этой массы европейским образованием. Наконец, я прошу заметить, что хотя суждение мое о взгляде западных славян на Россию отчасти жестко, однако же, оно не включает в себе никакого против них обвинения. Я старался показать, что взгляд этот у западных славян есть необходимое последствие, с одной стороны — обусловленной разными обстоятельствами односторонности их понятий и стремлений, сосредоточенных исключительно в сфере идей государственных, а с другой стороны — приложения этой односторонности мыслей и интересов к России; а что такого рода односторонний взгляд на Россию не может быть благоприятным для нас, в том, разумеется, виноваты не они, а мы сами.

Но как бы односторонность ни была естественна и извинительна, она все же включает в себе долю неправды и вред, а с тем вместе и обязанность из нее выйти, коль скоро она замечена. Было бы желательно (разумеется, если высказанные здесь мнения будут признаны справедливыми), чтобы хотя один человек между западными славянами сознал односторонность взгляда своих соплеменников на Россию и обратился к изучению русского народа, его общественных начал. Мы думаем тут не о себе — для нашего патриотизма это не нужно; мы думаем о пользе славян. Пусть западные славяне, не предрешая вопроса, придут и посудят сами. А искать живого родника самобытных общественных начал славянских им необходимо,

это для них вопрос жизни или смерти. Ведь нельзя же народу быть живучим, самостоятельным организмом без внутренних самобытных органических начал; ведь не политика же, какая бы она ни была, славянская или всякая другая, может спасти славянские народы!

Прежде чем заключу эту статью, позволю себе прибавить несколько строк в пояснение; боюсь, чтобы не поняли последних моих слов в том смысле, будто я предполагаю, чтобы западные славяне изучением русских народных начал и перенесением их на свою почву могли восстановить существовавший у них в древние времена самобытный общественный строй. О такой нелепости речи быть не может; искусственно нельзя создать самобытности в обществе. Но нет сомнения, что в этих славянских народах живет еще, под оболочкою господствующих западноевропейских общественных понятий и отношений, оцепеневший дух самобытного организма. Слишком неутешительно было бы предполагать противное. Неужели племена эти находятся действительно и окончательно в таком состоянии, что только языком и наружными обычаями, только какими-нибудь оттенками в характере личностей разнятся от немцев или мадьяр, а по внутренним общественным стихиям своим представляют лишь воспроизведение чужого, плеоназм в европейской семье? В таком случае, не лучше ли бы было, если бы они отказались и от внешних признаков, отделяющих их от немцев и мадьяр, и слили с ними свои силы по примеру своих соплеменников в Силезии и Саксонии, в Померании и других прибалтийских странах, где славяне, утративши вслед за своею независимостью и свои самобытные общественные начала, вполне отождествились с немецким народом и уже в его составе — с привнесением в него, быть может, каких-нибудь личных свойств славянского характера — совершили многое для человеческой мысли и человеческого развития? Но что, однако же, чехам и другим западным славянам не надлежит идти по этому следу, о том свидетельствует сила, с какою держится их народность, сила, доказывающая именно, что они еще не вполне поддались общественному духу

Германии, что в них еще таятся задатки общественных начал славянских. Вызвать эти начала к жизни, к развитию, вот что для них должно быть важнее всего, ибо до тех пор они будут народами без народных стихий, телами без внутреннего органического содержания. Но вызвать к жизни то, что в них еще осталось от самобытного общественного организма славянского, они при том состоянии, в какое привела их история, могут только усилием мысли и воли. Что воскресило к внешней жизни западные славянские племена, что вызвало в них сознание народного бытия, как не усилия передовых людей, как не мысль Добровского, Юнгманна, Ганки, углублявшихся в язык славянский и его памятники, Шафарика, воссоздавшего древности своего племени, Палацкого, объяснившего чехам их прошлое, Колара, воспевшего древнюю славу славян, Челяковского, Сушила и Эрбена, выведших из забвения их народную поэзию, Штура и Гавличка, возбудивших сознание их прав, и других деятелей науки и литературы? Плоды их трудов налицо: западные славянские народы, которых еще в начале нынешнего столетия даже бывшие между ними патриоты считали осужденными на скорое исчезновение, пробудились и хотят жить. То же самое может сделать мысль и слово передовых людей для воскрешения хранящихся в этих племенах остатков самобытного общественного организма. Только для этого мало будет кабинетных трудов ученого и литературной деятельности журналиста; нужно и живое общение с живым общественным организмом славянским.

ПИСЬМО К Г. РИГЕРУ В ПРАГУ О РУССКО-ПОЛЬСКИХ ДЕЛАХ

Чешская журналистика о русско-польском вопросе. — Отношения чехов к идее восстановления Польши. — Неведение положения и внутреннего значения России. — Вести о России в чешских газетах: источник их и характер. — Наивность «Народных Листов» при сообщении этих известий. — Заявления всех сословий русского народа. — Адрес старообрядцев. — Различия в отношениях австрийцев и русских к своему государству.

М. г.! Решаюсь писать к вам, чтобы высказать вам мое мнение о тоне, принятом органами чешского общества в польско-русском споре¹. Обращаюсь с письмом об этом предмете именно к вам, зная вас, милостивый государь, как одного из лучших и наиболее уважаемых представителей чешской народности, и надеясь, что мой голос, во имя старой нашей дружбы, будет выслушан вами со вниманием.

Следя за чешскою журналистикой, я весьма часто спрашиваю себя невольно: не находится ли чешский народ в войне с русским?

Ваши органы, выдающие себя за отголосок чешского общественного мнения, именующие себя поборниками чешской народности, стали относительно России в один ряд с краковским «*Часом*», со львовским «*Гонцом*», с варшавским тайным «*Рухом*». Они сыплют на Россию и русский народ беспредельные потоки клеветы; для них русский человек есть варвар,

русский солдат — трус и разбойник, Русское государство — воплощение злых сил, здание, которое нужно разрушить для блага человечества. Вам чешская журналистика слишком хорошо знакома для того, чтобы я обязан был подтверждать все это выписками из «Народных Листов» и других ваших газет.

В лагере восставших поляков такие голоса понятны: они воюют против нас, они стараются нанести нам возможный вред и, не щадя нас на деле, могут не щадить и словами.

Понятно также, что мы слышим подобные отзывы во многих органах немецкой, французской и английской журналистики. Западные народы опасаются России и не знают ее. Нет надобности, чтобы я объяснял вам, чеху и одному из передовых борцов славянского дела в Чехии, из каких побуждений значительная часть германских и других западных публицистов желают видеть распадение единственной славянской державы, единственного славянского народа, который имеет свою полную самобытность. Источники сочувствия Германии и вообще Западной Европы к полякам, — коль скоро они вооружаются против России (но не тогда, когда они отстаивают свою народность от германизации), — источники этого сочувствия так явны, что было бы с моей стороны даже смешно их раскрывать перед вами.

Все это для нас в России совершенно ясно; но чем мы объясним себе то положение, в какое становятся к нам ваши соотечественники?

От народа, пробужденного к умственной деятельности трудами Колара, Шафарика, Ганки, Палацкого, трудно было ожидать такого ослепления, такого невежества в вопросе, столь тесно связанном с историческими и этнографическими условиями славянского мира, как вопрос польско-русский.

Одного взгляда на славянскую карту Шафарика — этот замечательный памятник прежнего чешского беспристрастия в славянском деле — достаточно, чтобы рассеять в прах все проповедываемые теперь вашей журналистикой идеи о восстановлении польского государства в исторических пределах Ягеллонской монархии. Неужели все, чему учили чехов ве-

ликие воскресители их народности, до такой степени забыто, что они не видят, в чем заключается польско-русский вопрос? Неужели они, под туманом либеральных фраз и дипломатических нот, пускаемых Западом, не в состоянии разглядеть, что мы, что Россия отстаивает права народа против средневекового, завоевательного польского аристократизма, как бы он ни прикрывался знаменем европейской демократии?

Неужели они не видят, что, в сущности, дело идет вовсе не о том, чтобы спасти польскую национальность от угнетения, и даже не о том, чтобы дать земле, населенной польским народом, полную независимость от русского правительства; что дело идет о раздроблении русского народа, о восстановлении в западной части русских земель ига польского меньшинства над русскою народною массою, о разрушении русского государства? Коль скоро вопрос поднят в этом смысле, он перестает, очевидно, быть польским вопросом и становится русским; он касается уже не одного правительства русского в его отношениях к Польше, а касается всего русского народа; и, кажется, нужно было прежде всего подумать: согласится ли русский народ на распадение и на принятие снова ига польского меньшинства в западной части земли своей? Потерпит ли русская земля, чтобы разрушили насиланием государство, которое она строила тысячу лет, потерпит ли она это особенно в такое время, когда народ, всем жертвовавший для своего государства, начинает находить вознаграждение своих жертв в свободном развитии, которое государство ему открывает?

Но ваши соотечественники решительно затыкают себе уши, зажмуривают глаза, чтобы не видеть и не слышать. Я не встречал в органах чешских ни малейшего признака, чтобы они старались вникнуть в положение и внутреннее значение России, и даже узнать мнение и голос русских людей; я не видал <в> них перевода ни одной русской статьи; а между тем все, что печатается в польском стане, у вас переводится, комментируется, принимается на веру как святыня. Если редакция какой-либо из ваших газет удостоит заимствовать — и то, конечно, из иностранной, немецкой или французской, газеты —

сведение, происходящее из русского источника, то всякое такое сведение сопровождается следующей оговоркой: «Этому нельзя еще верить; подождем, что скажет «Час» или «Рух».

Для меня эта тактика, вдруг принятая вашими соплеменниками, в прежнее время высказывавшими нам столько внимания и сочувствия, эта тактика остается до сих пор совершенно загадочною. Признаюсь, я не раз думал: не попались ли чешские либералы в сети ультрамонтанских влияний? Впрочем, это такой вопрос, который вы лучше решите в Праге, нежели я в Петербурге.

Я хочу только спросить у вас: какая политическая мысль руководит вашими соплеменниками в их литературном ополчении против нас? По всему видно, что тут есть общий *mot d'ordre*², что вся чешская журналистика имеет в этом горячем вопросе какую-нибудь определенную практическую цель. Какая же эта практическая цель?

Вся Европа знает, и у вас это знают и высказывают лучше чем где-либо, что польское восстание может достигнуть какого-нибудь успеха только при вооруженной помощи со стороны западных держав.

Органы польских инсургентов — и чешские их союзники вместе с ними — действительно полагают всю надежду на вмешательство Франции, Швеции, Турции и т. д.; если же такого вмешательства не будет, то — все это чувствуют — силы польского восстания истощатся, экзальтация охладет, терроризм найдет отпор в здоровой части польского народа — и все дело кончится ничем. Вне этих двух возможных случаев, иностранного вмешательства или полной неудачи восстания, кажется нельзя предвидеть никакого другого исхода.

Предположим сперва последний случай: иностранного вмешательства не будет и польское восстание потухнет. Какими глазами будут смотреть тогда соплеменники ваши на единственный могущественный и независимый народ славянский? Что скажут они в извинение бесчисленных оскорблений, которые они теперь наносят русскому имени? Против поляков Россия — за это можно поручиться — не сохранит

чувств злобы. Противнику, павшему в борьбе, протягивают руку после боя, и русская земля не злопамятна: вы об этом можете судить по нашим отношениям к французам, англичанам и итальянцам после Крымской войны. Но что мы будем думать о том славянском народе, который до тех пор, пока считал нас сильными, выражал нам, устами лучших людей своих, братское сочувствие, а в минуту опасности вдруг стал осыпать наш народ, наше войско, наше государство словами вражды и поругания!

Отчего чехи в этом домашнем споре между двумя славянскими племенами одни не могли принять того положения, которое так естественно для всякого славянина-иностранца, не причастного к борьбе, т. е. положение нейтралитета, желающего быть по возможности беспристрастным, как это сделали органы словаков, хорватов, словенцев, сербов, болгар?

Теперь возьмем другую возможную гипотезу: иностранные державы, в той или другой комбинации между собою, пойдут на нас войной во имя Польши. С этим, разумеется, польский интерес тотчас отодвигается на второй план, а вперед выступят разнообразные интересы западных держав в борьбе с Россией. За кого будут тогда соплеменники ваши? В Крымскую войну они были решительно за нас и высказывали это насколько могли; они видели в нашем знамени знамя славянского дела. Теперь же им пришлось бы торжествовать при успехах французов, или англичан, или шведов, или турок и оплакивать победы русского оружия. Не правда ли, иначе быть не может, в такое положение чехи себя поставили?

И соплеменники ваши чувствуют фальшивость своего положения в отношении к России. Зайдя так далеко, они придумывают себе какое-нибудь оправдание и находят его в том софизме (которому, разумеется, сами не верят), что будто польское восстание есть народное дело для России, будто русский народ ему сочувствует и готов стать в польские ряды. С какою радостью хватаются чешские публицисты за каждую статью, печатаемую в этом смысле польскими газетами, как усердно они прикидываются верящими в подлинность издаваемых по-

ляками корреспонденций из России, как усердно строят они на них разные политические комбинации! Позволю себе напомнить вам несколько подобных известий, которые я читал в чешских газетах, пользующихся в вашем народе наибольшим авторитетом. Сегодня они перепечатают статью одного из трех или четырех русских, живущих в среде эмиграции, о необходимости самоуничтожения России и объявят, что это есть мнение всех людей, *либерально мыслящих* в моем отечестве; завтра они провозгласят слух, что в Петербурге вспыхнуло восстание и что сообщение его с Москвою прервано; то они откроют в малорусском народе сердечное сочувствие к полякам; то объявят, что казанские татары взбунтовались и подадут руку помощи Польше и что «русское правительство только скрывает это восстание»; то Курляндия вооружает стрелков на помощь полякам, то эту помощь готовят им студенты наших университетов и наши раскольники, то, наконец (кто бы этому поверил!), сама Москва белокаменная вступает в союз с польскими инсургентами. С каким восторгом и умилением перепечатали «*Народные Листы*» № 95 следующую статью, которую Львовский «*Gopіes*» напечатал как корреспонденцию из *Москвы*: «домовые обыски у нас не прекращаются, полиция хватает ночью, мы все живем под висящим мечем. Все упреки, делаемые России (вероятно, поляками), несправедливы. Россия есть вернейшая сестра Польши. Восторгаясь ее великими деяниями, она трепещет до корня своего духа (sic), каждому герою (польскому) она рукоплещет, она трепещет в восхищении нести свою кровь, свою жизнь, за дорогое дело (польское). Больше вам сказать не могу, не хочу и не смею... Знаю достоверно и могу вам поручиться, что польская кровь не пала на камень, что с нею польется другая кровь, что все готово даже в отдаленнейших пределах наших, что русская молодежь ничем не разнится от польской, что она составляет одно целое с *нашею* (sic, т. е. польскою), что множество ее находится в рядах наших. И дети чиновников и *попов* готовы вступить в ряды наши. Не смешивайте царского войска с русским народом. Молодежь и народ любят вас (т. е. поляков), они не имеют слов и

слез для вашего утешения, но их кровь потечет вскоре и брызнет до полночной зари» (sic).

Понятно, что в настоящее время польские инсургенты стараются протянуть восстание как можно дольше, сознавая необходимость дожидаться иностранного вмешательства, на которое возлагают все свои надежды; понятно, что для воспламенения охлаждающихся умов они придумывают всякие слухи, какие только могут обнадежить в получении помощи с какой бы то ни было стороны, хотя бы от казанских татар. Но я удивляюсь вере мирных публицистов чешских в эти порождения воспламененной фантазии. Да еще как серьезно они толкуют о них; как серьезно, например, *«Народные Листы»* комментируют приведенную корреспонденцию *«Гонца»* из Москвы. «О движении в России, — говорят они, — доходили постоянно лишь темные сведения. Теперь, однако, *«Гонец»* получил из Москвы *столь определенные* известия, что *невозможно уже сомневаться* в близкой катастрофе в самом средоточии русского народа».

Чтобы дать вам средства судить о том, как близка катастрофа «в самом средоточии русского народа», осмеливаюсь переслать вам, милостивый государь, при сем листы русских газет, в которых вы найдете несколько заявлений, довольно характеристических в этом отношении. Заявления эти не принадлежат каким-нибудь отдельным личностям: они принадлежать дворянству Московской и других губерний, Московскому и другим городским обществам, Московскому университету, крестьянам и раскольническим общинам.

Прочтите также слова, произнесенные, по случаю этих заявлений, русским государем; заметьте — к каким разнородным элементам русской земли они были обращены и как тесно эти элементы в заявлениях, на которые речь государя была ответом, связывались одною общею мыслью. В особенности же вникните в слова, написанные так называемыми раскольниками.

Милостивый государь! Эти слова русских старообрядцев со временем, смею думать, будут памятны всему славянскому миру более многого такого, о чем теперь трубят журналистика ваша, как о великих исторических событиях.

До сих пор в моем отечестве — в котором, вы со мною согласитесь, сосредоточены главные силы славянского племени — существовал глубокий внутренний разрыв. Правительство и высшая часть общества, вследствие реформ Петра Великого, удалились совершенно от народных преданий, почти оторвались от народного духа; с другой стороны, народ отстранял себя от европейской образованности, внесенной реформами Петра Великого в сферу правительства и высшего общества, и это отчуждение во всей полноте своей выразилось в старообрядцах и других раскольнических сектах, которые идеал русской жизни поставляли себе в давно минувших веках.

Вы поймете, до какой степени такое состояние парализовало правильное внутреннее развитие русской жизни и в высших сферах, и народной массе.

Многие думали, что болезнь почти неизлечима, что внутренний разрыв в нашей жизни долго останется непримиримым!

Но история приготовила лекарство, примирение уже началось. Уничтожение крепостного права, снявшее материальную преграду, которая разделяла высший, европейски образованный слой русского общества от русского народа, открывает народу возможность подыматься до уровня высшего общества, не отрекаясь от своих народных начал; а высшему обществу — входить в круг народной жизни, не отказываясь от европейской образованности.

И посмотрите: едва прошло два года со дня великого акта 19 февраля, и русские старообрядцы произнесли слово, неслышанное доселе в земле нашей: они сказали преемнику Петра I, что они ему, царю-освободителю, преданы сердцем своим; что в новизнах его царствования им старина наша слышится; что в нем они узнают дух древних русских царей добродетельных. Они засвидетельствовали, что их старина может перестать быть непримиримою с нашею новизною. Они, полагавшие идеал русской жизни исключительно в невозвратимом прошедшем, начинают видеть его в будущем; они, смотревшие назад, стали с нами заодно смотреть вперед, прилагают свои силы к нашим силам не только для отражения внешнего врага, но и для вну-

треннего развития земли русской. А таких людей у нас более 10 миллионов. Скоро эти 10 миллионов сольются с остальным народом русским в одну семью, ибо после акта 19 февраля совершенное уравнение между раскольниками и нами, логическое последствие этого акта, есть уже только вопрос времени.

Вы видите, милостивый государь, причины, по которым я ставлю несколько строк, написанных русскими старообрядцами, в число исторических событий нашего времени, почему простые выражения людей, которых у вас представляют себе боролатыми варварами, в глазах моих поважнее многих и многих дипломатических нот, наполняющих газеты толками и комментариями.

Повторяю: прочтите с беспристрастным вниманием посылаемые вам мною заявления, ознаменовавшие у нас день 17 апреля. Они произведут на вас, не сомневаюсь, некоторое впечатление. Вы увидите, как велика разница между понятиями русского народа о его государстве и теми понятиями, которые существуют в вашей чешской среде и которые она вносит в свои суждения о России. Дело в том, что у вас государство не есть создание ваших народных сил, а создание вашего правительства. Вы живете в государстве, как граждане, но ваш народ не вырос в нем, и оно не выросло из вашего народа. Оно охватывает вас, как внешняя сила, но не имеет с вами внутренней органической связи. Вчера у вас отрезали Ломбардию, и вы не чувствовали боли. Завтра хотят отнять у вас Галицию и прирезать к вам кусок из Турции: для вас это все равно. У нас не то. В мирное время вы можете видеть у нас самые противоположные мнения и партии по нашим внутренним делам; вы можете услышать у нас много такого, что вы, в вашей среде, приняли бы за признаки коренного антагонизма между государством и народом. Но пояись только внешняя опасность для государства — и, как выразилось московское дворянство, «все заботы смолкают и падают пред всеильным призывом отечества», и все будут «как один человек»; ибо русское государство куплено «ценою крови отцов и дедов» русского народа, ибо «русский престол и русская земля

не чужое добро ему, а свое кровное»; и в борьбе за неприкосновенность наших пределов «найдется весь народ русский от мала до велика, грудью и достоянием своим отстаивающий целость и неприкосновенность державы русской».

Милостивый государь! Эта разница между отношениями нашими и вашими к государству должна быть понята другими славянами, если они хотят судить о России. Поэтому, желая, чтобы дело сколько-нибудь разъяснилось соплеменникам вашим, я прошу вас настоятельно принять на себя труд поместить прилагаемые заявления русских людей в одной из чешских газет, преимущественно же в *«Народных Листах»*, так часто ссылающихся на авторитет вашего имени. Газета эта находила место на своих столбцах для бесчисленных и длиннейших прокламаций польских инсургентов; редакция ее, когда вы ей скажете: *audiatur et altera pars*³, не может отказать вам в исполнении моего желания. Если же, чего я не могу ожидать, последует в том отказ, то это будет свидетельством, которое я буду считать вовсе не излишним: ибо во всяком случае нам весьма полезно разъяснить наши отношения, знать, в ком мы имеем друзей и в ком недругов; в особенности же это полезно в семье одноплеменных народов, где взаимные сочувствия и антипатии не обуславливаются одними только мимоходными политическими комбинациями, а имеют свои корни гораздо глубже. В настоящем же случае я считаю такое разъяснение даже существенно необходимым. Вы знаете, что недавно был возбужден вопрос о переселении чехов в Амурский и Уссурийский край. Вы были в числе первых, от которых я слышал эту мысль; я первый (если не ошибаюсь) после возвращения из Чехии в 1859 году высказал такое предположение в статье, напечатанной в иркутской газете *«Амур»*. Теперь уже дело подвинулось довольно далеко. Депутаты от чешских переселенцев в Америке осмотрели места в Уссурийском крае, нашли их удобными и вручили, кажется, проект русскому правительству. Если голос современной чешской журналистики есть действительно голос чешского общества и чешского народа, то я раскаялся бы в участии, принятом мною в этом деле, опа-

саясь, что на берегах восточного океана зародилась бы новая Польша. Но я надеюсь, что вы мне дадите такой ответ, который уничтожит все мои опасения.

Эту надежду подает мне в особенности дошедший до меня недавно слух, что некоторые из передовых людей чешского народа засвидетельствовали перед некоторыми из русских, живущих в Австрии, что они не разделяют «увлечений» чешской журналистики в польском вопросе и что ее злословие против России и русских не есть выражение общественного мнения чехов. К сожалению, не знаю, верен ли этот слух, и во всяком случае, вы понимаете сами, что такое негласное свидетельство не может иметь для нас никакого значения в виду всех тех оскорблений, которые *гласно*, среди чешского общества, от имени чешского общественного мнения, наносятся нашему народу и нашему государству. Если эти оскорбления не выражают ваших народных понятий, если они принадлежат непризнанному меньшинству, то это должно быть заявлено гласно.

Цель моя была: обратить искреннею речью ваше внимание на неправильное положение, которое чешская журналистика приняла относительно России. Для самой России эта неправильность взгляда не может иметь никаких особенных последствий, но я опасаясь, что она может принести существенный вред верному пониманию славянского дела в вашем отечестве. Лестное внимание, в прежнее время оказывавшееся мне в чешской литературе, подает мне надежду, что настоящее мое письмо будет прочтено в среде вашей с благосклонным вниманием и во всяком случае принято будет за свидетельство моего искреннего желания — принести посильную пользу соплеменникам вашим. Примите и проч.⁴

СПб. 24 апреля 1863

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС¹

I

За что борются русские с поляками? — Завет Пушкина. — Отношения русского общества и русской печати (в апреле 1863 г.) к польскому делу. — Обзор истории борьбы России с Польшей. — В чем состоит сущность русско-польского вопроса? — Литература польская, туземная и эмиграционная и характер их участия в разрешении польского вопроса. — Поляки и панславизм. — Трагическое положение современной Польши. — Причины бессилия польского дела. — Чем должна кончиться борьба?

За что борются русские с поляками? Этот вопрос, вероятно, не раз задают себе читатели, следящие за печальною, кровавою распрее между двумя единоплеменными народами; не раз, вероятно, представляется он среди скуки ночного караула или после боя людям, которые славянскими руками проливают славянскую кровь и сами ждут смерти от брата-славянина.

Спросите поляка, за что *он* борется против русских? Он вам ответит громко и смело: «Я борюсь за свое отечество и его свободу, за свою народность и ее независимость». И он совершенно искренен: он действительно борется за свое отечество и свою народность; и нельзя — при всей скорби, возбуждаемой этою пагубною распреею, при всем справедливом гневе, внушаемом нам тою страшною ненавистью, какую выказывают поляки к *москалям*, теми потоками клеветы, которыми они нас

преследуют в Европе, — нельзя, говорим мы, не воздавать заслуженной дани уважения и удивления беспримерному самопожертвованию этих людей. История, может быть, осудит их дело; но самопожертвование поляков останется в ней славною, хотя печальною, страницей. И не мы, русские, станем умалять или чернить клеветою те чувства патриотизма, которые в настоящее время заставляют польских матерей высылать на верную смерть сыновей своих, заставляют образованных юношей из школ Кракова и Познани спешить на поле битвы, нестройные толпы шляхты выходить с плохим оружием на русские штыки и штуцера.

...Не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Кажется, русская литература не изменила завету своего великого Пушкина; и в настоящее время поляки не могут упрекнуть ее в раздражении и злобе против них. Среди кипящей против нас борьбы, борьбы, перенесенной поляками и во все журналы, во все общественные собрания образованного мира, мы не отвечаем клеветой на клевету, бранью на ругательства, проклятьем на проклятья. Когда мы вдаемся иногда в полемику, то ограничиваемся опровержением выдуманного или искаженного факта, восстановлением в истинном свете того, что было, но никогда не оплачиваем полякам их монетою. Если у нас в последнее время один орган, именно «Вестник Юго-Западной и Западной России», стал вести против поляков довольно запальчивую полемику, то не должно забывать, что этот «Вестник» есть исключительно местное явление, порождение края, в котором русские живут в ежедневном столкновении с поляками и отчасти в материальной от них зависимости; а что такое близкое соседство не совсем располагает в пользу поляков, тому самым неопровержимым доказательством служат все русские газеты и брошюры, какие печатаются вне пределов наших, в Галиции. Кажется, нельзя подозревать, чтобы галицко-русская печать была в зависимости от России. На-

против того, галицкие соплеменники наши, в органах своих, то и дело открещиваются от России, потому что поляки беспрестанно обвиняют их перед австрийским правительством в желании передаться *москалям*. А там-то в Галиции, вне России, русская печать вступает с поляками в такую полемику, какая у нас, в литературных органах наших, казалась бы невозможною; и вот местный Киевский журнал,² о котором мы упомянули и который решается отвечать крупными словами на те невообразимые для нас слова, какими разные польские органы чествуют москалей, — этот журнал, повторяем, стоит совершенно особняком в нашей литературе.

Что же? Неужели нам, в самом деле, отвечать полякам нечего? Неужели мы боремся только потому, что велено, и не знаем — за что мы боремся или не чувствуем за собою в этой борьбе никакого права, никакого исторического призвания и от этого не смеем поднять голоса, сказать нашего слова?

Это было бы для нас очень печально. Конечно, для материального успеха войны почти все равно. Воин не спрашивает и не может спрашивать, за что, по какому праву, за какую идею он борется. Он идет в поход, куда его посылает власть, представительница вооружившей и снарядившей его на службу страны, он сражается потому, что это его долг.

Но и он иной раз подумает: «За что мы, русские, бьемся?» А еще чаще думаем об этом мы, отдаленные зрители борьбы. И на этот-то, наталкивающийся на всякого вопрос, русская печать слишком скупа ответами.

Мы слышим с разных сторон много сетований на это предполагаемое равнодушие нашей литературы к русскому делу в борьбе с поляками, мы слышим много различных объяснений этого явления.

Одни говорят нам: «Это злорадство: наши писатели, вследствие нелюбви к правительству, очень рады затруднениям, которые делает ему Польша». Мы решительно отвергаем такое толкование, которое было бы слишком оскорбительно для нашей литературы. Люди, взводящие на нее подобное обвинение, забывают одно: ведь от польской войны терпит не

одно правительство; гораздо больше страдает от нее народ. Сколько она стоит народу людей, сколько денег; как разоряются жители края, в который проникают вооруженные толпы поляков! А как бы наши писатели ни относились к правительству, ни один из них не сознается в том, чтобы он не любил русского народа.

Другое объяснение, которое мы тоже не раз слышали: «Русские литераторы, чтобы не лишиться имени либералов, боятся тронуть поляков, которым сочувствует либеральная Европа и которые на своем знамени пишут самые либеральные слова: свобода, братство, равенство и проч.». Эта мелкая причина может иметь влияние лишь на некоторые отдельные мелкие личности и, конечно, не объясняет общего явления.

Третье объяснение: «Наша русская печать поставлена внешними обстоятельствами в такие условия, что ей неловко говорить о вопросе, не допускающем в наших пределах открытой полемики». Этому мы, действительно, приписываем очень важное влияние на положение дела, не входя, впрочем, в дальнейший разбор приведенного объяснения.

Четвертое предположение: «Многие писатели действительно не вполне уяснили себе, за что, собственно, идет борьба с поляками. Они не вполне убеждены в *нашем* деле, тогда как на стороне поляков священные идеи свободы, отечества, национальности». Это совершенно искреннее и почтенное чувство сомнения и составляет, как кажется, существенную причину слабого участия нашей литературы к польско-русской борьбе и связывается тесно с общим фактом современной русской жизни: со слабым развитием сознания наших славянских начал, исторического нашего значения в славянском племени.

Много раз было уже говорено и писано, что только на почве славянства возможно примирение русских с поляками. Мало того, только на почве славянства определяется самая борьба, раздирающая ныне эти два народа, находится ответ на вопрос — за что мы боремся? — и уясняется нам, что боремся мы не только потому, что велено, не только за права, дарован-

ные нам какими-нибудь трактатами 1815 года, но за наше вековое всеславянское, историческое дело.

Поясним нашу мысль.

Корень борьбы России и Польши теряется в глубине веков. Зародыш ее, можно сказать, существовал в славянском племени уже тогда, когда ни Россия, ни Польша еще не являлись на историческом поприще и когда историческая жизнь сосредоточивалась в других славянских народах, на юго-западе. Едва эти народы вступали в круг деятельности исторической, перед ними становился вопрос: войдут ли они органически, всю свою духовную, общественную и политическую жизнь в состав старшего, более образованного римско-германского мира или устоят на началах самостоятельного развития? Вопрос этот предлагался славянскому племени самою силою истории, иначе быть не могло: ибо, с одной стороны, славянское племя было так молодо, так неразвито сравнительно с крепко организованным миром романского и немецкого Запада, что этот мир мог казаться славянам высшим идеалом человеческого общества и сам должен был стремиться захватить в свой круг слабые организмы славянских народов. Но, с другой стороны, славянское племя было так велико, так свежо, что в нем естественно должна была жить потребность не только внешней, но и внутренней самостоятельности, инстинкт самостоятельного исторического призвания. На юго-западе зачатки свободного славянского развития были легко заглушены громадным перевесом западного мира, и эти народы утратили даже мало-помалу свою политическую независимость. Жизнь славянского племени сосредоточилась преимущественно в двух народах северо-восточной равнины Европейской: в Польше и России. Польша была ближе к Западу. Западный мир налегал на нее своею завоевательною силою, и в тяжелой борьбе с Германскою империєю польское племя утратило значительную часть своих земель: вся прилегавшая к Германии окраина славянская (все поморье балтийское, вся польская страна около Одера, Силезия и т. д.) была шаг за шагом отнята и онемечена. Но дальше завоевания материаль-

ного хватала сила завоевания религиозного, нравственного и общественного. Пока западная окраина польского племени делалась добычею Германии, восточные его части сосредоточивались в независимое государство и, спасая этим свою славянскую народность, в то же время проникались всеми началами западной жизни. Польский народ входил всем своим организмом в состав западноевропейского мира. Религиозные начала католицизма, общественные начала рыцарства, городская жизнь, целиком перенесенная из Германии, просвещение, основанное на преданиях римского классицизма, — словом, все было принято и органически усвоено Польшею с Запада. Польша, оставаясь славянскою, сделалась вполне членом латиногерманской семьи народов, единственною славянскою странюю, вступившею в эту семью всецело и свободно, не в силу материального завоевания, а добровольным принятием западноевропейских стихий в основу своей собственной, славянской жизни. Этот органический процесс внутреннего совоплощения Польши с латиногерманским или западноевропейским миром составляет сущность первой эпохи польской истории; в XIV веке Польша принадлежала уже, всеми стихиями своими, к семье западноевропейских народов.

Между тем русская земля шла другим, несравненно более медленным и тяжелым путем развития. В первые века исторического существования обеих стран, пока в Польше еще происходила внутренняя органическая борьба проникавших в нее западных идей с ее славянскими преданиями, сама Польша заслоняла русскую землю от непосредственного влияния латиногерманской Европы и способствовала тому, что на дальнем востоке нашем могли окрепнуть зародыши самобытной славянской жизни: то великая, хотя бессознательная, историческая для нас заслуга древней Польши, заслуга, которой мы не должны забывать. Религия, принятая русскою землею, связала ее с миром древнего просвещения, но с таким миром, который стоял вне западноевропейской семьи народов; и в то же время эта религия, по самому своему характеру невмешательства в мирское устройство, не предопределяла развития славянской

жизни чужими, вне ее определенными началами и формами; под ее покровом мог устоять и окрепнуть народ на своих славянских основах; под ее покровом эта часть славянского племени могла сложиться в народный и государственный организм, вполне самобытный во всех стихиях своей общественной и духовной жизни. Но тяжел, как сказали мы, и медлен был этот исторический ход; а уже в XIV веке Польша представляла общество вполне развитое, созревшее под влиянием Запада, проникнутое всеми началами его жизни. Деятельность ее должна была обратиться на восток, на русскую землю. Это было неминуемым последствием истории обеих стран: ибо коль скоро польский народ всецело отдался западноевропейской жизни, коль скоро те идеи, которые владели западным миром, идеи католицизма, рыцарства, латинской образованности, вошли в кровь и плоть поляков и сделались для них высшим идеалом человечества (а эта вера живет в поляках до нынешнего дня), — то нести этот идеал, нести католицизм, рыцарство, латинскую образованность другим славянам, их чуждавшимся, становилось священным заветом польского народа; и в этом чувстве, которое озаряет каким-то сиянием веры самые темные, самые горькие для русской земли страницы польской истории, находили себе оправдание эгоистические стремления как целой страны и целых сословий, так и отдельных лиц; оно освящало и дух пропаганды, присущий католическому духовенству, и дух господства, присущий шляхетскому рыцарству, и народное честолюбие, и властолюбие какого-нибудь *ходачково*³ шляхтича, который дома ходил в лаптях, а в мужицкой стране русской выступал знатным барином. Сама же Русь, со своей стороны, могла только способствовать, в то время, укоренению в поляках веры в призвание быть ее просветителями и властелинами.

Дело было в XIV—XV веках: что представляла полякам тогдашняя Русь? Страну глубокого невежества, с едва начинающимися зачатками государственной организации, в одной половине своей подчиненную диким язычникам литовским, в другой — раболепствующую перед ханом татарской орды.

Сама история как будто приглашала поляков в эти обширные края вестниками высшей цивилизации, высшей жизни общественной и духовной...

Всекий, кто вникал в существенные черты польской истории, в сущность отношений старой Польши к русской земле, согласится, что мы не объясняем произвольно этих отношений. Так понимают их сами историки польские. Сошлюсь на одного из них, на талантливейшего из польских историков г. Шайноху, который следующими словами определяет характер польской истории с самого ее начала: «Ток жизненных сил этого великого тела стремился от запада к востоку. Эти две противоположные стороны были двумя полюсами Польши со времен Мечислава и в последующие века; запад — ее восприемлющим полюсом, которым проникало в нее организационное влияние остального цивилизованного мира; восток — полюсом действующим, где это усвоенное внутренним процессом чужое влияние воздействовало самостоятельно на дальнейшее, в начале не имевшее еще определенных очертаний, поприще историческое. Проникновение этим органическим влиянием было, очевидно, начальной, первою эпохою этой деятельности; распространение того же влияния на дальнейшие края — позднейшею, второю»⁴.

Кажется, взгляд замечательнейшего из современных польских историков как нельзя более оправдывает нашу характеристику. Теперь позволю себе привести из книги того же писателя другое место, в котором выкажется, как этот совершенно тождественный взгляд может вести к противоположным понятиям. Г. Шайноха, приступая к рассказу о первом историческом столкновении Польши и Руси при Болеславе Храбром, упоминает о свадьбе дочери польского государя с Владимировым сыном Святополком, который, вследствие этого, едва ли не первый на Руси, подвергся влиянию польско-латинскому (это тот самый Святополк, которого наша древность прозвала *Окаянным*: черта замечательная!). Вот слова г. Шайнохи: «Вследствие прирожденной Польше и Руси противоположности духовной, обусловленной их различным положением меж-

ду двумя мирами, западным и восточным, и всею их первоначальной историей, брачный союз восточного великого князя с западною княжною не мог не получить прозелитического характера. И как не восток имел на запад, а запад на восток цивилизирующее влияние, то не из Руси, а из Польши выходила эта невольная деятельность необходимого прозелитизма. И вот, вместе с дочерью Болеслава, приезжает на Русь, именно в столицу Святополка, в землю Туровскую, от Болеслава епископ Рейнберн, и вместе с польскою женою и польским епископом Святополк принимает, первый в этих краях, семена западной образованности, которая заключалась в ту пору всецело в религиозном обряде Запада, так явно соединенном с влиянием Польши, что все это западное вероисповедание получило на Востоке название польского и слова «поляк» и «последователь западного обряда» значили то же самое. А это религиозное влияние было так же важно, как велика была разница между исповеданием Запада и Востока. Разницы этой нельзя искать только в позднейших временах разделения этих церквей, но в самом начале христианства, в совершенно различном их положении и, потому самому, развитии. Церковь Восточная подчинилась преобладанию светской власти, сперва византийских императоров, потом государей каждой отдельно страны, и, наконец, нашла в этих государях свое средоточие, свое начальство, и, утонув в слиянии, так сказать, с светскою властью, утратила свою нравственную силу, сделалась орудием светских целей» (в этих словах г. Шайнохи отражается общий взгляд поляка и западного человека, смешивающий церковь с иерархией и принимающий невмешательство в политические дела за раболепство). «Напротив того, церковь Западная, которой именно в эпоху появления Польши и Руси на историческом поприще грозила такая же участь неволи перед светскою властью, успела освободиться от этого вещественного ярма, вооружила дух против плоти и, вызвав исполинскую войну власти духовной, папской, против светской власти Германских императоров — это самое величественное зрелище всемирной истории, — вызвала, дальнейшими последствиями этой войны, нынешнее

западноевропейское просвещение, у которого весь восточно-христианский мир не смеет еще оспаривать превосходства»⁵.

Последние слова польского историка наводят нас на то, в чем именно заключается сущность русско-польского вопроса.

Если западная жизнь, со всеми ее стихиями, религиозными и общественными, есть действительно высший идеал человечества; если славянское племя призвано войти всем своим организмом в состав латиногерманского мира; если оно, пока не сольется с ним внутреннюю жизнь, должно оставаться жертвою мрака и зла, — то польское дело есть, очевидно, дело исторически правое; польская пропаганда должна быть признана благодетельницею славянского народа, еще чуждого западной жизни, и история не может не дать окончательно торжества Польше и польским идеям во всем славянском мире.

Так думали и думают большая часть поляков. Это убеждение и эта надежда присущи почти всем польским мыслителям; они вдохновляют и в настоящее время большинство двигателей польских.

Г. Шайноха не высказывается положительно; он сомневается. Польша, говорит он, приобщилась к западноевропейскому просвещению, у которого весь восточно-христианский мир *еще* не смеет оспаривать превосходства: такова нерешительная фраза польского историка.

А что, если он когда-нибудь станет его оспаривать? Что, если славянское племя должно и действительно имеет силу стремиться не к подчинению стихиям латиногерманской Европы, а, напротив, к внутренней самобытности? Что, если темная масса русского народа оказалась убежищем и хранильницею возможной, духовной и общественной, самобытности славянского племени? Как представилось бы в таком случае историческое дело Польши?

В таком случае мы (не обвиняя, разумеется, в частности, ни прежних поколений польских, ни поляков, современников наших, ибо это невольный плод исторической судьбы), сказали бы, что Польша совершила историческую измену славянскому делу, что в прошедшем казавшееся столь близким тор-

жество польского владычества в русской земле убило бы всю будущность славянского племени и что, в настоящем поляки вооружающиеся во имя преданий своей прежней истории против русской земли, тем самым ратуют против исторической будущности славянского мира.

И таков именно *наш* взгляд на эту борьбу...

Но впрочем, кому что за дело до нашего взгляда? История представляет факты, ее логика сильнее наших теоретических выводов.

Когда Польша в XIV веке кончила первый фазис своего развития, фазис внутреннего органического слияния своего с латиногерманскою Европою, и могла обратиться на русский восток с пропагандою воспринятых ею начал, невероятные успехи сопровождали первые шаги ее. Русская земля влеклась, так сказать, сама к свету цивилизации, к развитому общественному строю, с которым выступала Польша. Почти без насилия земля галицкая присоединилась к ней при Казимире Великом. Это было первым шагом к нравственному завоеванию поляками русских земель: пример Галиции возбудил в поляках сознание той будущности, которая открывалась им на славянском востоке, и, руководимые этим сознанием, магнаты польские нарочно, почти насильственно⁶ навязали наследнице польского престола брак с великим князем литовским Ягеллою, властелином всей западной половины русских земель. Влияние польское вдруг распространилось до Смоленска, до Киева, до Новгород-Северска и Брянска; и этот союз, еще сомнительный при Ягелле, скреплялся все теснее и теснее с каждым поколением, и при внуке Ягелла сам Великий Новгород едва не присоединился к этим мирным завоеваниям, которые доставляло Польше превосходство ее образованности, ее аристократической организации над невежеством и бессознательностью русской земли.

Но внутренние, живые, хотя бессознательные славянские начала не поддавались стихиям польской жизни. Русская народность, особенно в делах веры, стала подымать голову против польских начал. В XVI веке Польше приходится

уже полунасилием упрочивать свое господство над русским народом. Полунасилием заставляет она литовско-русские области окончательно соединиться с нею в одно государство (Люблинская уния 1569 года); полунасилием заставляет она русских людей подписать церковную унию с Римом (Брестская уния 1595 года) и насильственно вводит эту унию. Наконец, полное торжество Польши над русско-славянским миром кажется достигнутым, польское знамя водружено в Москве, вся восточная Русь должна подчиниться пропаганде польской цивилизации.

Но тут-то совершился великий исторический перелом, решивший судьбу славянского мира. Народ восточной Руси не признал превосходства польской цивилизации и захотел остаться при своих началах жизни: настолько развилось уже в русской земле сознание ее внутренней самобытности.

Изгнание поляков из Московского государства было первым шагом в этом новом историческом периоде: русская земля полагала в себе предел распространению польских начал. Восстание Малороссии было вторым шагом: русская земля заявляла потребность освободиться от них и там, где они уже водворились. Третьим шагом была реформа Петра I, которая имела в русско-польском вопросе то огромное значение, что она отняла у польской пропаганды на Руси разумную цель, что она упразднила, так сказать, историческую задачу Польши в отношении к русской земле. В самом деле, два прежних великих факта: освобождение Москвы и восстание Малороссии, доказали только, что русская земля предпочитает свою религиозную и общественную самостоятельность западноевропейским стихиям католической и шляхетской Польши; но на стороне Польши оставалось еще одно огромное преимущество, одно сильное орудие преобладания — образованность и наука, принятые Польшею от западного мира вместе с его религиозными и общественными началами. Пока Польша была образована, а Россия невежественна, вопрос еще был сомнителен, какой стороне принадлежит будущность в славянском мире: образованной ли славянской земле, но отказавшейся от внутренней

самобытности, или земле, с задатками самобытного развития, но коснеющей в невежестве?

При Петре Великом русская земля окрепла уже до такой степени, что для нее сделалось возможным принять западную науку и образованность, не отказываясь не только от своей внешней независимости, но и от внутренней самобытности своей жизни (мы не говорим, разумеется, об отдельных увлечениях западными идеями и формами, увлечениях, которые так сильно действуют и донныне и значения которых в русско-польском вопросе мы еще коснемся; но общий исторический смысл и окончательный результат петровской реформы именно таков). Русская земля воспользовалась плодами западной цивилизации, и с этим не вошла, подобно Польше, в состав латиногерманского мира, не потеряла начал своего самобытного славянского развития. Дело Польши в русском мире, как сказано, устранялось реформой Петра Великого, и заметьте, как ясно засвидетельствовала о том сама история. Петр был первый из русских царей, который ни разу не воевал с Польшею, и первый, который хозяйничал в ней, как у себя дома: так бессильна стала Польша перед Россией, как скоро Россия овладела сама последним орудием ее прежнего обаяния — западною образованностью.

Весь XVIII век был эпохою разложения государственного здания старой Польши. Обширные русские области, которые она в XIV и XV веках притянула к себе своим тогдашним нравственным и общественным перевесом над Русью, все эти области (за исключением лишь Галиции) возвратились в состав Русского государства, опять-таки почти без насилия (ибо если и было сопротивление, то лишь в разных местах со стороны польской шляхты, а не со стороны туземного населения). Польская земля, т. е. земля, населенная поляками, старая земля Казимира Великого, очутилась каким-то жалким обрубком среди сложившихся вокруг ее государств, похожая на человека, которого весь жизненный подвиг оказался несостоятельным и который, потерявши все, остается бесприютным и сирым среди новых лиц, новых потребностей. Это чувство бес-

приютности и сиротства составляет, бесспорно, самую характеристическую черту польского народа в эпоху, начавшуюся для него с конца XVIII века. Оно может пройти только тогда, когда Польша действительно сознает несостоятельность своего прежнего исторического стремления — властвовать во имя западных начал в славянском мире, когда она сама делается славянскою по духу. Но всякий поймет, как тяжел должен быть такой подвиг самоотречения, сколько нужно для него времени и разочарований. И надобно сказать, что совершение этого подвига зависеть будет не только непосредственно от Польши, но и от самой России. Россия одна в состоянии органическим развитием славянского духа положить решительный конец старым преданиям и надеждам польской пропаганды, иезуитской и шляхетской; и тогда только в поляках может возникнуть потребность в новой деятельности, дружной с русским народом, направленной к общему благу славянства. Но сама Россия, принимая богатства западной образованности, также, в увлечении западною жизнью, забывала свои славянские начала. Увлечения эти, правда, были только частные, ограничивавшиеся верхними слоями общества; славянские начала не уступили в России, как в Польше, место латиногерманским стихиям; славянский дух уцелел в России, и по мере подъема народных сил, ныне освобожденных от уз неволи, он неминуемо будет развиваться все более и более. Однако увлечениями своими к западным началам жизни Россия, по самой природе вещей, способствовала поддержанию в поляках их старых преданий и понятий; всякое уклонение России от самобытной почвы славянской в область западных стихий давало и дает пищу старому польскому духу. Таким образом, Россия, которая при Екатерине II окончательно развила у себя крепостное право и довела его до последних крайностей, — Россия применила этот самый принцип, совершенно чуждый славянским понятиям, подарок Запада славянскому племени, к землям, приобретенным при разделах Польши. Вместо того чтобы уничтожить там это насаждение Польши, она его признала и узаконила: она узаконивала тем самым гражданское владычество польского

шляхетского меньшинства над миллионами русского народа. И неудивительно, что поляки продолжали считать себя господами в этом просторном русском крае, что они не теряли надежды восстановить в нем и политическое свое владычество, возратить в будущем Польше области по Днепр и Двину, т. е. весь тот край, в котором они сохраняли гражданскую власть в силу крепостного права, утвержденного за ними Екатерининским законодательством.

Увлечение Западом и потому самому уступчивость наша старым польским идеям достигли своего апогея при императоре Александре I, воспитаннике Лагарпа, друге Чарторижского. Известно, что его русские подданные даже сетовали на него за предпочтение, которое он оказывал полякам. Об этом знают люди, помнящие ту эпоху, об этом говорят самые верные письменные свидетельства. Император Александр I сочувствовал аристократическому духу поляков; он восхищался их рыцарским характером и не находил ни этого аристократического характера, ни этого рыцарства в русском народе. Заняв после поражения французов в 1812 году правом завоевателя Варшавское герцогство, т. е. Польшу в собственном смысле, землю польского народа, русский государь решился восстановить польское королевство с полной гражданской и даже военной автономией, и он исполнил это вопреки сильнейшему противодействию главных европейских держав. Не только континентальные державы всеми силами старались на Венском конгрессе отклонить Александра Павловича от этого намерения, даже Англия убеждала его «обратить Польшу в простые русские губернии». Кто сколько-нибудь знаком с историей европейской дипломатии 1814 и 1815 годов, тому известны все эти, кажущиеся для нас теперь столь странными факты. Известно также, что император Александр, выведенный из терпения препятствиями, какие воздвигались Европою против его мысли о восстановлении Польши, был готов объявить за это войну своим союзникам, что манифест и воззвание к польскому народу были уже написаны и что только полученное в то время известие о высадке Наполеона устра-

нило эту войну. Известно, что в речи при открытии в Варшаве сейма поляки были выставлены перед Россией как образец, к которому ей следовало стремиться. Известно, наконец, что при Александре Павловиче правительство дало в западных губерниях такой простор и оказывало такое покровительство польской стихии, что значительная часть тамошнего местного русского дворянства именно в это время перешла в католицизм и приняла польскую народность.

При таких условиях в самой России, весьма естественно, поляки не теряли надежды, что того и гляди западная половина империи отдана будет Польше и отечество их явится снова одною из первостепенных держав Европы. Но надежды эти не сбывались. Император Александр I, при всем своем сердечном влечении к полякам, не мог изменить долгу русского государя, не мог отдать им пол-России; еще менее возможно было ожидать этого от его преемника. Тогда поляки поднялись, чтобы взять силою то, чего они прежде ожидали от нравственного влияния своего, от влияния западных идей на русское правительство.

Всякий, кому сколько-нибудь знакома история того времени, понимает, что обвинение в нарушении конституции, данной Польше Александром Павловичем, было только официальным предлогом революции 1830 года, фразою для прокламаций и европейской печати, а что действительной целью восстания было восстановить Польшу в ее прежнем господстве над западными русскими областями, действительным поводом — надежда легче достигнуть этого при тогдашнем замешательстве европейских дел. Прочтите любой памятник польский, принадлежащий стану инсургентов 1830 и 1831 годов, и вы в том убедитесь; а чтобы показать, как крепко укоренилась эта мысль в тогдашних поляках, я приведу следующий факт, который знаю от очевидца. Когда в 1831 году русские войска стали под Варшавой и готовились брать штурмом последнее убежище поляков, Вольское укрепление, фельдмаршал Паскевич пригласил командовавшего поляками генерала Круковецкого на свидание для переговоров. Дальнейшая за-

щита была уже очевидно невозможностью, и фельдмаршал считал нужным спросить Круковецкого об условиях, на которых он думал прекратить бесполезное кровопролитие. И что же? Польский генерал объявил, что единственное условие капитуляции, это — восстановление польского государства в границах 1772 года — с Белоруссией, Литвою и Украиной!

Катастрофа 1831 года не ослабила этих надежд. Напротив того, они еще сильнее воспламенились вследствие образовавшейся тогда польской эмиграции, которая, будучи оторвана от почвы действительности, от народа и его живых сил, вся предалась обаянию фантазии. Надобно помнить, что польская эмиграция была чрезвычайно многочисленна, что она состояла из десятков тысяч людей, все более или менее лиц образованных, считала в своих рядах политические знаменитости, как князя Адама Чарторижского, поэтов, как гениально-го Мицкевича, ученых, как Лелевеля, и мн. др., — и это объяснит нам ее громадное влияние на страну. Она имела свою историю; она имела свою литературу, откликалась на вопросы текущего дня и всему, что относилось, посредственно или непосредственно, к Польше, придавала тот фантастический колорит, который можно понять и должно извинить потому только, что это было именно плодом эмиграции, плодом общества, поставленного вне всякой жизненной действительности. Так, например, между 1830 и 1848 годами стала все более и более развиваться идея славянской народности и славянского братства. Какой же вид приняла эта идея в литературе польской эмиграции? Во-первых, русских пришлось исключить из славянской семьи, из славянского братства: *москали* были признаны финнами, татарами, монголами, смесью каких угодно племен, но только не славянами. Однако эти *москали* заняли в славянском мире весьма заметное место, которого отрицать было невозможно. Вследствие того создалась в польской эмиграции особая историко-мистическая теория; славянский мир был разделен на две враждующие противоположности, на мир добра и свободы, представительницею которого служила Польша, и на мир рабства и зла, воплощенный в России (см.

курс Мицкевича о славянской литературе, книгу Мерославского «De la nationalité polonaise dans l'équilibre européen» и множество других произведений эмиграции). Стоило ступить шаг далее, и эта историко-мистическая теория прямо переходила в новую религию. И действительно, Мицкевич, который в начале своих курсов о славянской литературе развивал эту систему дуализма Польши и России, — в конце тех же курсов выступил открыто как проповедник мессианизма, новой веры, откровение которой он получил от известного Товианского и которой он дал санкцию своего великого имени. Сущность этой религии состояла в том, что польский народ есть новый мессия, посланный для искупления всего рода человеческого, что он, как мессия, страдал, был распят и погребен, и воскреснет, и одолеет дух мрака, воплощенный преимущественно в России, и принесет с собою всему человечеству царство свободы и блаженства. Мессианизм, развивавшийся в 1842 — 1844 годах, возбудил против себя протесты самого католического духовенства и не мог долго удержаться даже в среде польской эмиграции: но он важен, как самый яркий признак того умственного состояния, до которого могли дойти эти люди. Однако и после падения мессианизма характер эмиграционной литературы не изменился. Западноевропейский демократизм был внесен в нее и применен к Польше, к славянскому племени. Но и демократический дух в этой сфере оставался также чужд народным началам славянским, как аристократический дух старой, шляхетской Польши, державшийся упорно в одной партии между эмигрантами. Польский демократизм оставался произведением западных понятий, идею, диаметрально противоположную славянской общине, этой демократической основе коренного славянского быта, заменяя славянскую общину завистливым равенством не связанной никаким внутренним союзом толпы. Но как же отзовется этот принцип равенства и демократии на вопрос о западнорусских областях, столь щекотливый для него, ибо Польша может иметь притязание на них только во имя аристократического, пришлого меньшинства над массаами туземного народа? Ответ эмиграции сле-

дующий: русского народа нет, это миф; есть москали, но они (как приведено уже выше) не славяне, не русские, и русскими стали именоваться только по указу императрицы Екатерины II; народонаселение же в западных губерниях России и Галиции — *русины* или *рутены*, ветвь польского племени, говорящая польским наречием, так что даже преподобный Нестор был польский летописец. Все это читатели найдут буквально в целой массе произведений польской эмиграционной литературы; в доказательство, что я не преувеличиваю, приведу только первую страницу длинного вступления г. Рыкачевского к его французскому переводу Лелевелевой «Истории Литвы и Руси до их окончательного соединения с Польшею в 1569 г.» Цель этого вступления, по словам автора, «доказать, что то, что называют Россия, есть лишь выдумка, бессмыслица, новое наименование, отвергаемое историей». «Нынешняя Россия, — продолжает польский писатель, — за исключением областей, занятых в 1772, 1793 и 1795 годах, равно как и тех, которые захвачены были в XVII веке, областей, которые все принадлежат польской народности, есть не что иное, как Московия, страна неславянская, народности азиатской и варварской, объявленная в XVIII столетии европейским государством, объявленная принадлежащею к славянской народности по указу, созданию абсолютной власти одной царицы. Россия носит имя, ей не принадлежащее; она славянская по тому же праву, как Австрия. Московия, основанная в XII веке в противоположность и из ненависти к духу славянскому или, лучше сказать, польскому, возвысилась разделом славянских земель, уничтожением их народности. Нынешняя Россия есть наибольшая противоположность славянским идеям, в особенности же идеям и верованиям польским. Что Польша утверждает, то отрицает Россия. Это наименование *Россия* ничего не обозначает. Это есть выражение чисто дипломатическое. Народность русская также мало соответствует действительности. Существует народность московская — славянская, если вы непременно этого хотите, но весьма слабая, не имеющая в себе ничего серьезно-го, и только внешняя, кажущаяся. Что же касается до души,

до идеи славянской, то она еще не родилась. Достаточно ли выражаться по-французски для того, чтобы принадлежать к французской народности? Русские употребляют славянский язык, который они усвоили себе в XII веке, исказив его. Но какие идеи, какие верования у них общие со славянами, и в особенности с Польшею? Никакие...»⁷.

Любопытно видеть, как и в этом хаосе просвечивает сознание внутренней противоположности начал русских с польскими.

Мы просим наших читателей не смешивать всей этой эмиграционной литературы с произведениями польских писателей в Варшаве, Познани и Львове, в Вильне и Петербурге. Здесь, в сфере жизни действительной, в соприкосновении с народною почвою, польскою или русскою, не могло возникнуть ничего подобного. Среда живой действительности производила и живые, основанные на сознании действительных фактов, явления; она произвела глубоко ученые труды Мацевского, она произвела добросовестную историю Морачевского, она произвела превосходные исторические монографии Шайнохи и множество других замечательных сочинений. С этими писателями можно во многом не соглашаться, можно часто (особенно у Шайнохи) видеть некоторую односторонность и увлечение во взгляде, однако чувствуешь, что тут находишься совсем в другом мире, чем в литературе польской эмиграции.

Но в последние годы и еще в настоящее время, слово остается не за живую, туземную, так сказать, литературу польскою, а за литературу эмиграционную. Мы сами отчасти изведываем на опыте, как велико может быть умственное влияние эмиграции, даже самой немногочисленной. Представим же себе, какое влияние на целые сферы общества должна была иметь эмиграция польская, считающая тысячами своих членов, располагающая огромными денежными источниками, связанная бесчисленными нравственными узами с родиною и действующая на страну, которую историческая судьба поставила под власть иноземцев. Вспомним, что действие это продолжается уже тридцать <с лишком> лет, и, состав-

вив себе по приведенным образчикам очерк идей, вырабатываемых и распространяемых этой эмиграцией, посудим о том, какое нервическое раздражение, какие фантастические понятия должны были овладеть значительной частью польского общества.

Прибавим ко всему этому, что сила истории требует от поляков, в отношении к русской земле, жертвы действительно тяжелой, одной из самых тяжелых жертв, какая когда-либо требовалась от человеческого общества беспощадной властью исторического развития. Небольшой народ польский, воспитанный в принципах католицизма и аристократии, во имя этих принципов приобрел господство над огромным пространством славянских земель, населенных народом другого наречия, другой веры, других начал общественных. Несколько столетий наслаждался он этим господством; он привык считать его законным и вечным, потому что католицизм твердил ему, что римская церковь одна властна над миром, одна источник спасения для души человеческой, что вера подвластного народа есть вера холопская; аристократический принцип твердил ему, что Польша, по праву своей шляхты, закрепила за собою бесспорным владением эти прекрасные русские и литовские земли; народная гордость, воспитанная католицизмом, аристократическим духом и прошлым господством, твердила, что польская нация действительно призвана к такому владычеству, и оправдывала это владычество чувством презрения к подчиненному племени. И что же? Вдруг на дальнем горизонте востока является <недуманно-негаданно> какая-то чуждая сила: это Москва, бившая челом пред татарским ханом, исповедующая ту же веру, как белорусский и украинский *хлоп*, не знающая шляхетского *гонору* и по всему этому также презираемая, как западнорусское простонародье. И эта Москва мало-помалу развенчивает польскую нацию, забирает все ее области. И теперь сила исторического развития требует, чтобы поляк отказался от мысли властвовать над русским народом, чтобы он, шляхтич и католик, признал себя гостем, терпимым по милости, в стране, где предки его были хозяева-

ми, чтобы он признал там первенство и прирожденное право господства за мужицкою народностью, за мужицкою верою. Поймите всю тягость этой требуемой жертвы, поймите, что с этим поставлен вопрос: быть ли полякам — небольшим 5 или 6 миллионным народом или властителями значительной части европейского материка, и вы поймете, за что собственно идет современная нам борьба.

Борьба эта есть результат (и, будем надеяться, приготовление к исходу) всей прежней истории, привившей славянскую Польшу к чужому организму, к миру латиногерманскому, сделавшей ее носительницею чуждых славянскому племени исторических начал. И вот, в последнее время, особенно под гальваническим влиянием эмиграции, доводящей до абсолютной формулы в теории и до болезненной крайности на практике все исторические начала польской жизни, выступило наружу, облеклось в действительные факты это внутреннее противоречие польских исторических начал с славянскою основою польского народа. «По делам их познаете их». И мы видели и видим их дела; мы осязаем это внутреннее противоречие.

Мы видели их в 1848 году проливающими свою кровь за угнетателей славянских народов, за мадьяр, против сербов, хорватов, словаков и русских и, после поражения, вступающими в ряды других угнетателей славян, — в турецкую армию.

Мы видели их в 1854 году снаряжающими «казацкий легион» на защиту турецкого мусульманства от христианской и славянской России.

Мы видели их в 1862 году командующими турецкими войсками для завоевания Черногории.

Мы видели и видим, как они сами рекомендуют себя западной Европе, «как единственных между славянами врагов и противоборцев *панславизма*» (т. е. предполагаемой в будущем самобытности и единения славянских народов), и как немецкие либералы, те самые люди, которые мечтают о будущем господстве Германии над славянским Востоком, берут их за это под свое покровительство (прочитайте только речи либеральной германской партии в прусском парламенте, про-

читайте, что пишут либеральные немецкие газеты в Австрии и других странах).

Есть в этом положении современной Польши что-то трагическое, плод именно этого внутреннего противоречия между общественными стремлениями Польши и историческими требованиями ее славянской основы; и это противоречие особенно ярко обозначается в настоящем восстании.

События последних двух лет готовили, по-видимому, мирное разрешение русско-польской распри. С одной стороны, освобождение крестьян выводило миллионы русского народа в западных губерниях наших из-под господства чужой народности, открывало этой части русского племени путь к развитию, и с тем вместе это дело обходилось без истребления и без экспроприации польского аристократического меньшинства, как было при освобождении Малороссии от поляков. А с другой стороны, земля, собственно, польская, Царство Польское, — все это видели, — быстро приближалось к полной гражданской автономии относительно России, при сохранении с нею связи, польза которой для России может казаться весьма сомнительною, но которая, в виду возрастающей силы германского элемента на Западе, едва ли бы могла быть заменена, в интересах польской народности, более выгодною политическою комбинацией.

И среди этого мирного развития обстоятельств, развязывавшего мало-помалу русско-польский узел — возвращением русскому народу самостоятельности в русских областях, возвращением польскому народу автономии в польской земле, — вспыхнуло восстание. Иначе, кажется, и быть не могло; слишком трудно было, чтобы поляки при всех тех стихиях, которые таились в их общественной жизни, согласились без боя на такой исход их вековой борьбы с русскою землею; слишком трудно было, чтобы они без протеста приняли изречение своего великого историка: «Давние времена не возвращаются; настоящее должно быть или много ниже или же много выше прошедшего»⁸. И замечательное совпадение: первые волнения в Варшаве последовали непосредственно за обнаружения

нием манифеста 19 февраля 1861 года; нынешнее восстание (если верить газетным известиям) было рассчитано именно в виду предстоявшего истечения первого двухгодичного срока крестьянской реформы. Таким образом, поляки вооружались против России под знаменем свободы именно в то время, когда Россия мирно сбрасывала с себя узы народного порабощения и возвещала свободу всей массе своего населения. Польша становилась в противоречие с необходимым политическим результатом освобождения русского народа и, сперва устами подольских дворян и дворян, готовивших известный адрес Замойского, а затем тысячами воззваний и газетных статей, наводнивших всю европейскую журналистику и сопровождавших вооруженное вторжение в русские области, захотела снова наложить на этот освобождаемый народ иго чужой национальности. И хотя инсургенты на первых порах, как уверяют, носили перед собою, идя навстречу русским войскам, знамя, на котором было написано: «за свободу нашу и вашу», — однако живой исторический инстинкт сказался в наших солдатах и в народных массах западнорусских губерний: они поняли, что это знамя не несет свободы русскому народу.

В самом деле, то внутреннее противоречие, которое преследует славянскую Польшу в ее подчинении историческим началам чуждого, неславянского мира, это внутреннее противоречие характеризует и нынешнюю борьбу поляков.

Они сражаются во имя свободы и сами искренно веруют этому; а Западная Европа, Англия и Германия радуются и сочувствуют этой борьбе, потому что она на неопределенное время отсрочивает освобождение славянских народов на Востоке.

Они сражаются под знаменем европейского либерализма и искренно убеждены в либеральности своих идей; а в то же время они союзники самых крайних представителей средневекового фанатизма: не только Монталамбер, но и Вельо приветствуют этих бойцов либеральных идей.

Они сражаются под знаменем народности и вместе с тем отрицают права народности 10-миллионного славянского же

народа на Руси, стремясь к восстановлению господства над ним польской национальности. Они считают себя демократами и, чтобы привлечь этот народ к себе, обещают ему материальную свободу, но с тем вместе несут с собою нравственное закрепощение белоруса, малоросса, литвина аристократическому меньшинству польскому, поселившемуся в их земле.

Вот это-то внутреннее противоречие и составляет бессилие польского дела. Но не будем судить этих людей слишком строго и в особенности не станем над ними глумиться: это плод старой судьбы исторической, это необходимый, но невольный исход всей прежней истории Польши. И вспомним, что мы сами не безвинны, вспомним, много ли мы сделали, чтобы предупредить резкий характер этого исхода — своевременным содействием развитию русской народности в областях, где она находилась под властью поляков, своевременным удовлетворением потребностям польской народности в ее собственном отечестве? В этом последнем отношении не мы стали бы оспаривать в чем-либо истину горячих строк, вылившихся из-под пера автора брошюры, слишком мало, к сожалению, у нас известной и оцененной: «Взгляд на политическое и общественное развитие в Царстве Польском с 1831 года до наших времен»⁹.

Но прошлого не воротишь, и теперь нам приходится бороться с поляками кровавою борьбою. Я надеюсь, что в предыдущих страницах мне удалось до некоторой степени разъяснить историческое значение этой борьбы и показать, что войска наши сражаются не только потому, что велено, не только за политическое право, основанное на трактатах 1815 года, и даже не только за права русской народности в русской земле, но что под наше знамя история поставила самобытность славянского племени, свободную будущность общественного и духовного развития славянства.

Не могу предвидеть, долго ли продлится настоящее восстание и какие будут его непосредственные политические результаты для России и для Польши. Но какой бы дела ни приняли оборот, я буду смотреть на будущее совершенно спокойно.

На то есть простая логика человеческая, чтобы знать, что такое племя, как славянское, не может быть осуждено на подчинение общественным и духовным началам иного исторического мира, что оно должно быть призвано к самобытному органическому развитию. На то есть логика истории, чтобы знать, что русская земля, коль скоро она и именно она одна (в чем и сомненья нет), представляет возможность такого самобытного, органического развития славянского, не может не одолеть сил, вооружающихся против этого развития, и что неотвратимый ход событий должен нести ее вперед.

СПб. 3 апреля 1863

II

В чем искать разрешения польскому вопросу? — Вмешательство Европы. — Отношения русского народа к чужим племенам. — Может ли Россия отделаться от Польши? — Польша XIX и Чехия XVII столетий. — Западная Русь и польские притязания. — Способы соединения Польши с Россией. — Система действий правительства с 1772 по 1 марта 1863 года. — Освобождение крестьян в западной Руси. — Характер стремлений русских и польских дворян при разработке Положений 19 февраля. — Параллель между Россией и Америкой. — При каких условиях возможно полное возрождение западной Руси? — В западной Руси ключ к разрешению польского вопроса.

В начале 1863 года мы прочли в газетах о ночном нападении вооруженных людей на наши войска в Царстве Польском; и то, что могло казаться тогда мимолетной вспышкой нескольких безумцев, приняло вдруг размеры громадного государственного вопроса для всей России, поглотило все ее внимание, привело в напряжение все ее силы.

Разумеется, восстание в Царстве Польском получило такое огромное значение для нас не вследствие материаль-

ных успехов наших противников, а по причине европейского вмешательства. Но и вмешательство Европы отозвалось у нас такой патриотической тревогой не потому единственно, что оно затронуло нашу честь, достоинство нашего народа и государства и грозит нам опасностями войны с могущественнейшими державами Запада; сила впечатления, произведенного у нас попытками европейского вмешательства, принадлежит, бесспорно, в значительной доле и самому характеру вопроса, сделавшегося предметом вмешательства, сознательному или инстинктивному пониманию того значения, какое польский вопрос имеет для России.

Польша есть больное место России: это сделалось афоризмом в Европе, и нет ничего вернее, только афоризму этому надобно дать несколько другой смысл, нежели в каком он обыкновенно произносится. Польша есть больное место России не потому только, что это беспокойная, неугомонная страна, которую мудрено править и которая вечно грозит бунтом; а, главное, потому, что Польша ставит Россию в постоянное внутреннее противоречие с самой собою и тем отнимает у нее свободу действия.

Россия, по своему значению, есть держава по преимуществу славянская, единственная в Европе представительница славянского племени. При этом русский народ, по своему характеру, не есть народ, склонный к угнетению чужих племен, и в славянской России другие, неславянские народности, вошедшие в состав нашего государства, не поставлены в худшее положение, нежели русские, а **иногда пользуются лучшим положением**. Финляндец, остзеец, закавказский житель не скажут, чтобы финская или шведская, чтобы немецкая, грузинская, армянская народности были угнетены русскою; а между тем единственная славянская народность, которую славянская Россия присоединила к своему государству, играет в нем роль жертвы, взывает на всю Европу о своем угнетении, приглашает все неславянские народы освободить ее от русской власти!

Вдумаемся в этот факт, и мы поймем, в какое противоречие он нас ставит. Мы влечемся искренним сочувствием ко

всякому благородному подвигу у народов Европы; мы порываемся верить в высокую задачу нашего народа, нашего отечества; мы порываемся верить, что Россия призвана

Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство
И правду, и бескровный суд...

И вот мы оглядываемся вокруг себя, и нас встречает Польша, и вместо любви и «святого братства племен», вместо того, чтобы быть «носителями правды и бескровного суда», мы видим, что нас считают палачами; мы видим себя предметом племенной вражды и ненависти, простирающейся до того, что нас хотят лишить права на славянское происхождение, только чтобы не признавать в «москале» своего брата по крови. Мы порываемся верить, что прямое, священное призвание России есть покровительство славянским народам, заступничество за них перед Европой, содействие их освобождению. И опять мы должны оглянуться на Польшу, или если бы мы хотели забыть про нее, нам укажут на нее наши недруги и напомним с укоризною: *«врачу, исцелися сам»*. Мы тяготимся преданиями «священного союза», мы рвемся на простор иной политической системы, мы видим себе природную точку опоры и надежных союзников в живых силах воскресающих или развивающихся народностей. И опять-таки мы спотыкаемся о Польшу; опять-таки должны сворачивать к старым преданиям «священного союза», отступаемся от принципа народностей, опасаясь его применения к Польше.

Везде, на всех путях, Польша заставляет Россию противоречить самой себе, своему призванию, своим политическим стремлениям и надеждам. И в этом-то состоит коренная причина, почему русские вообще так тяготятся обладанием Польши, почему мы так часто и так искренно говорим про Польшу: «да Бог с ней совсем, не надо нам ее». Едва ли какой-нибудь другой народ относится с такими стоическими чувствами к об-

ладанию страну, которую приходится держать силою: едва ли англичанин скажет, что ему Ирландии не надо, едва ли ту-рок пожелал бы избавиться от Албании или Боснии, Прусак — от Познанской области.

«Так Бог с нею, с Польшею, — скажет читатель, если он согласен с изложенным в предыдущих строках взглядом на значение Польши для нас, — надобно бросить Польшу, отдать ее; Бог с нею». Но в том-то и дело, что отдать Польшу Россия не может, что ей не отделаться таким легким и дешевым, физическим, так сказать, способом, от того внутреннего, нравственного противоречия, в которое ставит ее обладание Польшею. Мы не можем отдать Царства Польского, по причине связи Польши с западными губерниями, мы не можем отдать Царства Польского, разве его у нас отнимут силою после европейской войны, о которой подумать страшно и всего страшнее должно быть именно для поляка, любящего свое отечество: ибо в таком случае Польша имела бы, вероятно, такой же конец, как другая славянская страна, столь сходная с нею по своему историческому развитию. О Польше в XIX веке пришлось бы сказать то же самое, что история говорит о Чехии XVII века, что она, отстав от развития окружающих стран и остановившись на своих средневековых аристократических понятиях и притязаниях, — в безрассудной попытке шляхетского бунта, сама уже бессильная, сделалась яблоком раздора между двумя половинами Европы и истекла кровью под ударами с обеих сторон. Вот какой был конец Чехии, и не дай Бог Польше повторить эту трагедию и стать предметом и театром войны между западом и востоком Европы, как некогда Чехия между католическою и протестантскою половинами европейского Запада. Для нас, конечно, война была бы тягостна и опасна; но, во всяком случае, мы выйдем из нее, после больших или меньших усилий и пожертвований, с миром более или менее выгодным. А Польша... Для Польши европейская война будет окончательною гибелью, ее раздавят в столкновении двух половин Европы, от нее останется груда развалин и труп издыхающего народа, как от Чехии после тридцатилетней войны. Уже

чешский историк Палацкий произнес, по поводу настоящих событий, имя тридцатилетней войны; он напомнил полякам о последствиях европейской борьбы, которую вызвала чешская шляхта и от которой погиб весь чешский народ. И именно тот, кому дорого дело славянства, кто любит польский народ в надежде его будущего единения с славянским миром, содрогнется от подобной мысли.

Но, повторяем, хотя Польша тяготит нас как источник внутреннего для нас самих противоречия, отделаться от нее, отдать ее мы не можем, если ее не вырвет у нас война; и причины тому так ясны и уже так часто были высказываемы в последнее время, что распространяться о них было бы лишним трудом. Мы должны держать Польшу не просто из народного или государственного самолюбия (хотя нельзя отрицать, что и честь России имеет в этом деле свой голос, особенно после всех стараний, приложенных поляками и их сотрудниками на Западе к тому, чтобы сделать ее чувствительною). Всякому очевидно, что мы не можем отдать Польшу вследствие существующих притязаний поляков на обладание западною Русью. Отдать Польшу полякам с предоставлением ей полной независимости значило бы, через год или два, видеть вторжение польского войска в западные губернии и быть поставленными в необходимость снова завоевывать польскую землю. Отделаться от нее, уступив ее Пруссии или Австрии, или обеим вместе, значило бы принести целую славянскую народность в жертву германизации (которой поляки, как известно, так мало способны противостоять) и вдобавок дать иностранцам, обладателям Польши, через поляков огромное влияние на весь наш западный край.

Мы должны держать Польшу для наших западных губерний. Но теперь представим себе все случаи, все способы, какими мы могли бы держать Польшу, — и они на практике разобьются все о тот же камень преткновения, о притязания поляков на западную половину России.

Дайте Польше полную автономию с династическою только связью между ею и Россией, придумайте для нее какую

угодно конституцию, — и польская шляхта западных губерний будет тянуть к ней, повторяться будут Подольские адреса и не прекратится в западном крае болезненный антагонизм.

Соедините Польшу с Россией. Вы можете соединить их двумя способами: во-первых, общею абсолютною, безусловною диктатурой, во-вторых, какими-нибудь общими государственными учреждениями. О первом способе и говорить нечего; вред его уже испытан и доказан историей. При таком способе мы поставили бы Польшу снова в роль невинной жертвы, закалываемой деспотизмом, и благодаря этой роли и общему безмолвию она стала бы опять подкапываться под нас, стала бы ополячивать русские области.

Затем оставался бы второй способ. Но соедините Польшу с Россией общими государственными учреждениями, какими угодно, хоть совещательными, хоть всякими другими, — и в эти учреждения будет внесено, по причине притязаний поляков на западные губернии, зерно раздора и противоречия. В одном журнале высказана была мысль, что общее представительство было бы средством для примирения Польши с Россией. Но всякое представительство, будь оно совещательное, которое уже давно покойный К. С. Аксаков считал наиболее соответствующим основным началам и воззрениям русского народа, будь оно конституционное в западноевропейском смысле, подразумеваем в себе собрание людей, имеющих общую цель — желание блага государству, их призывающему, и народу, их избравшему. Все партии, все разномыслия должны сходиться на этой общей для всех основной точке. Оппозиция в представительстве немыслима как оппозиция благу народа и интересам государства, а как оппозиция известному воззрению на это благо и на эти интересы и проистекающей отсюда системе действия. Оппозиция должна быть *His Majesty's opposition*¹⁰, точно так же, как правительственная партия составляет *His Majesty's government*. Сама Россия, во всех трех ветвях русского народа, т. е. великороссы, малороссы и белорусы, русская, так сказать, Россия, без всякого сомнения, осуществила бы вполне эту задачу, как свидетельствует о том лучше всего образ

действия русского общества и русского народа в исполнении великой крестьянской реформы. Но к русским прибавьте представителей поляков при существовании польских притязаний на западную Россию: поляки эти, естественно и со своей польской точки зрения весьма добросовестно, из чувств самого почтенного патриотизма станут в систематическую оппозицию, не тому или другому взгляду или действию правительства, а самым жизненным интересам русского народа, самому бытию русского государства.

Итак, что же выходит из всего этого?

Обладание Польшею ставит Россию в неестественное внутреннее противоречие с ее характером и стремлениями; но отказаться от Польши Россия не может по причине польских притязаний на западные губернии.

В то же время, обязанная держать Польшу, Россия не может уладиться с нею правильным образом — опять-таки по причине притязаний поляков обладать западною Русью, и нельзя придумать для Царства Польского никакой комбинации, которая исправила бы ненормальность его положения относительно России и могла бы устранить проистекающее отсюда для нас внутреннее противоречие.

Ясно, что корень зла лежит не в самой Польше, а в западной Руси, что там надобно искать источники того губельного противоречия, на которое мы указывали в начале этой статьи и которое связано для нас, уже столько времени, с обладанием Польшею.

В самом деле, если мы вникнем в положение западной Руси и в характер той роли, которую Россия играла там с конца прошлого столетия, то мы поймем причину затруднений, поставляемых нам теперь польским вопросом. Логика исторических событий неумолима. Ненависть к нам славянского народа, соединенного с нами под одною властью, — ненависть, являющаяся отрицанием всех наших народных начал, истекает из притязаний поляков на западную Русь, которые мы удовлетворить не можем. Но не будучи в силах удовлетворить эти притязания и имея полное право их отвергать во имя здравого

смысла, исторической истины и всего, что составляет существо нашего народного и государственного бытия, мы ничего не сделали для того, чтобы притязания эти прекратились; а времени было, кажется, довольно. Вот уже четвертое поколение живет в западной Руси со времени ее освобождения от материальной власти поляков. Мы платим теперь за всю прежнюю систему действий в западной Руси.

История и современность знают государства, где в некоторых областях господствующая, создавшая государство народность подавляет другие покоренные племена. В английском государстве английская народность подавляет туземное племя Ирландии; в Австрии немецкою народностью, в Турции народностью турецкою подавляются туземные народности многих покоренных областей и т. п. Все это явления прискорбные и вредные, но естественные, основанные на простом факте завоевания и которые устраняются так же просто, как возникли. Либо завоевательная народность когда-нибудь уступит полную равноправность народности завоеванной и они уживутся вместе; либо завоеванные избавятся от своих притеснителей и восстановят свою народность в полном господстве, как сделали Греция, Сербия и др. Но где видала история пример, чтобы народность, господствующая в государстве, народность, его создавшая, была в одной части этого государства подавлена другою, покоренною народностью? Чтобы народность, завоеванная и потому играющая в официальной жизни государства и перед лицом других стран роль жертвы, на самом деле попирала народность господствующего в государстве племени? Такого диковинного явления не сыскать в летописях древнего и нового мира, его дано было осуществить России, которая в течение трех поколений могла сносить, чтобы под ее властью, в пространных областях ее державы, русская народность была подавляема, преследуема и даже уничтожаема меньшинством иноземцев. И это она допускала в тех самых странах, где началось гражданское развитие русского народа, где так долго сосредоточивалась его государственная жизнь и его просвещение! Но когда эти области снова возвратились под русскую

державу, Россия страдала двумя недугами: неполнотою сознания русской народности и крепостным правом, с которым соединялся аристократический взгляд на простой народ.

При Екатерине Россия приобрела западнорусские губернии материально, но вследствие этих двух тогдашних недугов не могла понять политического и нравственного призвания своего в той стране. Освобожденный материальною силою России от власти польского государства, западнорусский народ оставлен был, ее политическим непониманием и нравственным бессилием, под властью польской народности. Аристократический блеск польского магната был сроднее тогдашней петербургской сфере, чем необтесанная фигура своего брата русского, *хлопа* или «*попа*», с которым нельзя было и говорить, потому что он не понимал по-французски. Да и принцип крепостного права находился тогда в апогее; недавно он одержал такую блистательную победу в Малороссии: нельзя же было не уважить прав собственности польских панов, переименованных в благородное российское дворянство западных губерний, нельзя же было вывести холопа, и с ним русскую народность, из подчинения дворянину и с ним народности польской...

Всем известна эта печальная история, длившаяся с 1772 года по 19 февраля 1861 года и кончающаяся только с 1 марта 1863 года. Мы не станем входить в подробности тогдашней системы действий России в западных ее областях, системы, в которой всего осязательнее проявились последствия двух главных и так тесно связанных между собою недугов России XVIII и первой половины XIX века, отчуждения от русской народности и крепостного права. Частные проявления и результаты этой системы так многочисленны, что даже краткий их перечень увеличил бы настоящую статью непомерно; общее же проявление и общий результат не долго определить. Во-первых, благодаря отчуждению от русской народности и крепостному праву в Русском государстве целые области, населенные русским народом, шестью с половиною миллионами русских людей, продолжали состоять под властью польского

меньшинства, одного миллиона двухсот семидесяти тысяч поляков или людей, приставших к польской народности большею частью уже во время русского владычества. Затем польская народность могла и, мало того, естественно должна была считать эту страну своею, поляки не могли отказаться от притязания ее ополячивать и окончательно присоединить к себе, а отсюда и проистекают те ненормальные отношения между Россией и Польшей, вследствие которых им нельзя ни разойтись мирно, ни ужиться вместе ни при каком политическом устройстве.

Дурная система законодательства гражданского порождает много зла; но это зло исправляется легко, когда дурное законодательство заменится хорошим; дело может обойтись тихо, гражданским порядком, и пример тому представляет крепостное право в Великорусских губерниях, где оно было просто проявлением дурного законодательства гражданского. Но зло, порожденное ложною системою политическою, не так легко исправить; оно искупается кровью, и, конечно, кровь не лилась бы теперь от польского восстания, если бы с самого начала Екатерина II или ее ближайшие преемники возвратили гражданскую свободу и восстановили общественное значение русской народности в западной Руси; да и давно бы не было, в таком случае, помину о польском вопросе, и Польша, вероятно, жила бы теперь так же спокойно в единении с Россией, как живет, например, Финляндия.

При этом невольно приходит на ум сравнение между двумя огромными государствами, которые, как два молодых великана, стоят на противоположных концах старого мира, государствами, которые уже часто поставлялись в параллель друг с другом, даже в их официальных сношениях. Россия и Северная Америка одинаково таили в себе, по причине допущенной в старину и в то время казавшейся едва заметною уступки личным интересам господствующего класса в одной части страны, начало, отрицавшее самую основу их бытия, и одинаково повергнуты ныне, по милости этого враждебного начала, в ужасы междоусобной войны. Северная Америка, государство, основанное на договоре колонистов, не связанных

между собою никакими другими узами, кроме этого договора, во главу основного акта государственного бытия своего поставила начало свободы и равенства всех людей, — и в то же время из угождения интересам немногих плантаторов допустила в части штатов сохранение домашней институции, прямо противоположной ее основному принципу. И эта домашняя институция рабства, которую вначале так легко было устранить, все крепче и крепче внедрялась, и, чувствуя неестественность своего положения в стране всеобщей свободы, южная рабовладельческая аристократия стала развивать деятельность неутомимую, изумительную в своей последовательности и дружном усердии, чтобы упрочивать свое влияние в правительственных сферах, чтобы покрывать себя и свое дело авторитетом правительства и, по возможности, захватить в свои руки орудия исполнительной власти, чтобы изолировать свой край от влияния противных ей идей, чтобы поставлять свой рабовладельческий принцип под покровительство религии и «дела цивилизации» и устранять всякую критику, всякий неприятный намек. Книга, статья, проповедь в пользу свободы негров, какой-нибудь портрет г-жи Бичер-Стоу делались предметом доноса, представляясь местной власти как «возбуждение к социализму и резне белых черными», и вызывали преследования, насколько хватало сил плантаторскому влиянию. И была эпоха, когда правительство свободной Америки действительно служило делу рабства всеми своими силами и средствами и аболиционист признавался человеком опасным для спокойствия республики. Но время и возрастающее самосознание в свободной части государства все-таки опередили лихорадочную, искусственную пропаганду рабовладельцев, и 4 ноября 1860 года основной принцип Северно-Американского государства одержал наконец победу избранием в президенты человека, неблагоприятного к делу рабства.

Велики во всем несходства и даже противоположности между Россией и Соединенными Штатами; нет ничего общего между русским народом в западных губерниях России и африканским племенем; сходно только одно: уступка в основ-

ном, жизненном принципе страны, сделанная из угождения господствующему классу в части ее областей. Как Америка нарушила краеугольный камень своего бытия признанием домашней институции Юга, так точно случилось и с нами. Что такое основной, элементарный так сказать и во всем подразумеваемый принцип России, как не то, что это есть страна русской народности? Под знаменем русской народности и во имя этого своего коренного принципа Россия отобрала в конце XVIII века от Польши западнорусские области и тогда же нарушила его из угождения господствующему классу новоприобретенного края, допустив, чтобы польское меньшинство продолжало господствовать над русскою народностью в этих областях: и опять-таки как в Америке признание рабства не было вначале выговорено, а заключалось *impliciter*¹¹ в акте 1787 года, так и здесь нарушение коренного начала страны не было высказано, а подразумевалось в перенесении на польскую шляхту русских дворянских привилегий, в утверждении за нею крепостного права и разных других уступках польской аристократии. Вот все, что было сходного в странах, так несходных между собою, и посмотрите, как из этой одной общей точки сходства развился ряд явлений, аналогических не только в крупных чертах, но часто даже, *mutatis mutandis*, и в подробностях. И в России господство польской стихии над русскою народностью в западных губерниях, — господство, которое на первых порах можно было, вероятно, устранить без больших затруднений и без всякой несправедливости, — укоренялось все крепче и крепче, и, чувствуя шаткость своего положения в государстве русской народности, поляки, паны над русским народом, развили непреклонную, самую дружную, самую систематическую и ни пред чем не останавливавшуюся деятельность, чтобы упрочивать свое влияние в правительственных сферах, чтобы покрывать себя и свое дело авторитетом правительства и, по возможности, захватить в свои руки орудия исполнительной власти; они употребляли неутомимые усилия, чтобы изолировать западный край от влияния русских идей, чтобы поставить свой польско-шляхетский принцип под по-

кровительство религии и «дела цивилизации», чтобы устранить всякую критику, всякий намек, им неприятный. Книга, статья, проповедь в пользу западнорусской народности, какой-нибудь малороссийский букварь, какая-нибудь насыпь над гробом Шевченки делались предметом доноса, представляясь местной власти, как возбуждение к социализму и резне дворян мужиками, и вызывали преследования, насколько хватало сил польскому влиянию. И была эпоха (еще недавно), когда правительство русского государства, под влиянием принципа крепостного права, действительно способствовало утверждению польского владычества над русскою народностью в западном крае. Но время и возрастающее самосознание России все-таки опередили лихорадочную, искусственную пропаганду польского шляхетства, и 19 февраля 1861 года основной принцип России одержал, наконец, победу, великим актом, которым дарована была свобода русскому народу.

Довольно любопытна роль польского дворянства западных губерний в приготовлениях к этому акту. Россия сохранит ему вечную благодарность за то, что оно (в губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской) первое подписало официальное заявление, с которого начались гласно эти приготовления; но замечательно то, что поляки, столь щедро расточающие перед Европою похвалы своему самоотвержению и своим подвигам на благо человечества, как-то забывают хвастать этим актом 1857 года, которым они оказали действительно великую услугу человечеству; они (насколько мы могли заметить) как будто стараются обходить этот акт молчанием. Действительно, с их стороны это была величайшая политическая ошибка. Со временем история раскроет те побуждения и посторонние внушения, которые вовлекли в нее польских дворян Литвы; история расскажет также, как польские дворяне думали вначале, проведением мысли об освобождении крестьян без земли, превратить русское и литовское простонародье в пролетариат, безусловно зависимый от землевладельцев в своем существовании, и тем самым, под эгиду свободы, упрочить навсегда свое господство. Теперь еще не время разбирать столь

близкие к нам факты, но мы можем привести слова, которыми один участник дела, знакомый со всеми его подробностями, характеризовал нам отношение русских дворян и польских к крестьянской реформе во время ее обсуждения. «Русские дворяне, т. е. нелиберальное большинство, — говорил он, — хлопотали почти исключительно о хозяйственной стороне дела: десятиной меньше надела, рублем больше оброку, вот к чему сводились их толки и представления. Польские дворяне имели в виду интересы политического свойства: сохранить за помещиком власть над крестьянскими участками отстранением принципа бессрочного пользования; вместо безграмотного, как они его называли, волостного суда ввести суд и разбирательство помещика, назначить помещиков начальниками волостей, с предоставлением им, между прочим, надзора за всеми учебными и благотворительными заведениями в пределах волости; не допускать в невеликороссийских губерниях установления крестьянских общин, не давать крестьянам самоуправление, одним словом, удержать крестьянское население (т. е. русских и литвинов) в полной административной и политической зависимости от дворянства, вот чего, всеми силами, добивались поляки западных губерний, пока приготавлилась крестьянская реформа».

Тот же участник дела, которому мы обязаны этою характеристикой, доставил нам следующий любопытный коллективный отзыв польских дворян, призванных из комитетов Западных губерний, в котором они выразили свой взгляд на проектированное устройство крестьянских волостей с выборными старшинами и внутренним самоуправлением. «Мы с трудом можем вообразить нынешнее крепостное народонаселение России», — писали эти господа 24 марта 1860 года (и надобно признаться к стыду, что они нашли между русскими депутатами нескольких людей, которые присоединили к ним свои подписи, но тогда не все понимали, куда дело клонится), «...мы с трудом можем вообразить нынешнее крепостное народонаселение России, распределенное на *десять тысяч каких-то республик*, с избранным от сохи начальством, которое всту-

пает в отправление должностей *по воле народа, не нуждаясь ни в чьем утверждении* и которое между тем не в состоянии отвечать за сохранение общественного порядка, потому что краткость служебных сроков и право публичного обвинения на сходах, предоставленное членам волости, поддерживает и развивает между последними коллективную оппозицию против должностных лиц. Мы опасаемся, во-первых, что устранение *консервативного элемента частной собственности и соединенного с нею умственного развития* введет в русскую жизнь такой *крайний демократический принцип*, который несовместим с сильною правительственною властью и от которого могут пострадать *общественный порядок и спокойствие в государстве*; во-вторых, нам известно, что всякая отвлеченная система, не принимающая в расчет ни *исторического быта, ни местных условий*, требует, чтобы действительная жизнь подчинялась началам, которые не вытекают из самой жизни, а в иных случаях и прямо ей противоречат» и т. д. Недурно, и этот протест дворян-депутатов западных губерний¹² против *крайнего демократического принципа* крестьянского самоуправления, предвещавшего освобождение русской туземной народности от господства польского шляхетства, может быть поставлен наряду с теми бесчисленными протестами, которыми плантаторы южных штатов в 1860 году встретили избрание г. Линкольна, как торжество принципа «дикого произвола», долженствовавшего, по их выражению, «низвергнуть порядок и спокойствие республики и нарушить местные условия их быта». К счастью, заявления польского дворянства западных губерний против крестьянского самоуправления не были услышаны; но нельзя сказать, чтобы оппозиция его осталась вначале вовсе безуспешною. Всякий может заметить это при сравнении местного крестьянского положения для губернии Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской с местным положением великороссийским, особенно в том, что первое не определяет нормы крестьянских повинностей, предоставляя назначить их на основании инвентарей, которые, как известно, в этих губерниях составлялись исклю-

чительно по показаниям самих помещиков¹³. Это была великая победа, одержанная в то время польским дворянством, и такое постановление, вместе с применением к тем губерниям общего правила о выборе мировых посредников из местных дворян (значит, из поляков), было причиною, что население того края, как известно, почти не ощутило перемены от акта 19 февраля и только почувствовало его действительность после допущения, сделанного 1 марта 1863 года. Множество местных корреспонденций и известий доказывают нам необходимость распространения этой последней меры и на три юго-западные губернии, где отношения почти те же, и нельзя не надеяться, что это ожидание скоро осуществится.

Таким образом, акт 19 февраля был, собственно говоря, менее всего чувствителен для западных губерний и для интересов тамошнего польского дворянства, — и в этом опять мы можем продолжать нашу параллель с Америкой. Избрание Линкольна не имело, собственно, никакого угрожающего для противной партии значения. Напротив того, все заявления нового правительства свидетельствовали об уважении его к существующим правам рабовладельцев. Сколько новый президент, в первых своих манифестах и распоряжениях, употреблял усилий, чтобы успокоить интересы плантаторов, с какою предупредительностью и уступчивостью он обращался к ним! Но ничто не помогло. Южная аристократия поняла, что ее царству предстоит неминуемый конец, коль скоро правительственная власть, искусственно поддерживавшая ее интересы, ускользнула из ее рук. Она поняла, что самое имя Линкольна было знаменем принципа свободы и что этот основной принцип страны, раз признанный всенародно в лице избранного правителя, подкапает и рано или поздно низвергнет противоречащую ему домашнюю институцию. Пан или пропал, — и южане схватились за оружие, чтобы вырваться из государственного союза, уже переставшего гарантировать им вечное обладание рабами, чтобы завоевать себе мечом, с полною самостоятельностью, полное осуществление своих общественных стремлений. Также и акт 19 февраля, как мы сказали, не затрагивал непо-

средственно положения польской шляхты в западном крае, но акт 19 февраля был знаменем освобождения русского народа; выводя русских людей из зависимости от польского пана, он вместе с тем должен был неминуемо вывести русскую народность в западном крае из-под власти польского меньшинства и восстановить там нарушенное некогда самою Россиею, во имя крепостного права, основное начало ее бытия — господство русской народности в стране, обитаемой русским народом. Акт 19 февраля подкапывал основы, на которых держалось здание полонизма в западной Руси, и рано или поздно оно должно было рухнуть. Пан или пропал, — и поляки схватились за оружие, чтобы вырваться из государства, переставшего гарантировать им вечное господство над чужими областями, которые вчетверо больше самой Польши, чтобы завоевать себе, с полною самостоятельностью, полное осуществление своих общественных стремлений. Мы впали бы в самую грубую ошибку, если бы думали, что движение, начавшееся 25 февраля 1861 года в Варшаве и мало-помалу разросшееся в настоящее восстание, имело главною, первоначальною целью Царство Польское и что западная Русь была включена потом в программу, как предмет второстепенный. Напротив того: отвоевать западную Русь — вот что составляло с самого начала главную, существенную задачу всего польского движения. Точка опоры была Варшава, но цель — Вильно и Киев. Это доказывают до очевидности самый характер первых демонстраций, траур, наложенный еще 3 марта 1861 года архиепископом Фиалковским на «все части стародавней Польши», последовавшие тотчас затем демонстрации на берегу Немана, знаменитый Городельский съезд и бесчисленные заявления, о которых излишне было бы напоминать. Да наконец, если бы первоначальная программа поляков была не та, которая мало-помалу развилась перед нами во всей ее широте, если бы первоначально имелось в виду приобретение какой-нибудь либеральной конституции для Польши, то неужели вожди движения выбрали бы для первых враждебных против России выходов те самые дни, когда вся Россия вступала в новую эру освобождения, и захотели бы сделать русскому

правительству затруднения в ту самую минуту, когда всякое затруднение могло только отклонить его от либеральных начал? Впрочем, последние события так ясно определили шляхетский характер польского движения, так ярко обрисовали цель его — восстановить господство польской народности над областями прежнего польского государства, что уже не может быть серьезно речи о либеральных намерениях поляков относительно белорусского, малорусского и литовского племени. Золотые грамоты, всякий это видит, были пухом, затеянным, чтобы посеять раздор в русском народе, и нельзя найти достаточных слов негодования против людей, которые терпеливо сносили военную диктатуру прежних лет, которые оставались спокойными и при восстании их братьев в Галиции (в 1846 г.) и при восстании в Познани (в 1848 г.), которые не шевельнулись во время гнета, — и вдруг поднимаются против России и русского «деспотизма» в то самое время, почти в тот самый день, когда Россию оглашает давно ожидаемая весть о народной свободе. 19 февраля — манифест, снимающий цепи с русского народа: 25 февраля — первая демонстрация в Варшаве со знаменами старых провинций, принадлежавших Польше по праву господства шляхты над русским народом, этого совпадения история не забудет. Такие совпадения не бывают случайно, и нет тяжелее укора польскому делу как это совпадение.

Впрочем, и американские сепаратисты точно так же, как поляки, пишут свободу на своем знамени. Прочтите любой их манифест, и если бы не было несколько слов, указывающих на местность, вы могли бы подумать, что это какая-нибудь польская прокламация. Ведь и сепаратисты, защищая свою домашнюю институцию, провозглашают, что они идут на смерть за «священное дело свободы» против «невыносимого деспотизма» грубых *янки*, как поляки, защищая свою «домашнюю институцию» (владычество их шляхетской народности над русскою), уверяют мир, что подняли меч за свободу против невыносимого деспотизма варварских *москалей*. И те, и другие действительно сражаются за свободу, — но только для себя, с тем, чтобы другие были их слуги и рабы. И те, и другие сое-

диняют изумительный героизм в отдельных личностях (плод аристократического воспитания целых поколений) с мерзостью употребляемых в дело лжи, клеветы и террора (последствие нравственной несостоятельности), наконец, чтобы аналогия была совершенно полная, и те, и другие возбуждают к себе одинаково сочувствие Западной Европы.

Что же касается до выражения этого сочувствия материальным содействием, то тут все зависит, очевидно, от степени уважения, внушаемого Европе обеими сторонами, в которых идет междоусобная борьба. Если бы варварских москвитов боялись, как боятся грубых янки, которые шутить не любят и с флотом которых шутить нельзя; если бы мы глядели Европе так же смело в глаза, как глядят северные штаты, то, конечно, дело ограничилось бы и в отношении к нам газетной войною и демонстрациями не опаснее той, которую произвел в английском парламенте г. Робак в пользу добродетельных и милых его сердцу плантаторов. Но, во всяком случае, как американские сепаратисты, так и поляки в сочувствии Западной Европы тотчас видели готовность на вооруженную помощь и одинаково на нее рассчитывали.

Восстание южан, опирающихся на правильную армию и на огромные военные средства, переданные им изменнически прежним правительством Буканана (правильнее — Бьюкена-на. — *Прим. ред.*)¹⁴, грозит, по-видимому, величайшею опасностью американской республике. Восстание поляков не располагает теми силами и теми средствами, хотя и оно составляешь немаловажную опасность для России, как предлога к иностранному вмешательству. Но и то и другое восстание имело одинаковое, неизмеримое в своих благотворных последствиях, действие: постепенно, невольно, силою вещей, оно привело, и в той и в другой стране, к необходимости опереться прямо, искренно, безусловно на основной принцип государства и положить конец внутреннему противоречию, в которое оно себя поставило прежними уступками в пользу личных интересов одного класса. Кто мог ожидать, при первых враждебных демонстрациях сепаратистов и при тогдашней деликатности пре-

зидента Линкольна, что через два года сделано будет то, о чем прежде и помышлять никто не смел, — объявлено будет разом прекращение рабства? Что полки африканских рабов будут призваны в ряды белого свободного войска? И кто мог ожидать при первых демонстрациях в Варшаве и Вильне и при тогдашней уступчивости русского правительства, что через два года сделано будет то, на что прежде никто из нас и не смел надеяться, что восстановлено будет не только гражданское, но и политическое значение русской народности в Западнорусском крае? Что Западнорусский народ будет призван Россией к охранению его родного края, которого столько лет он не мог считать своим? Такова сила событий. И в России, и в Америке пришлось поставить основной принцип государственного бытия выше прав и интересов одного класса, пришлось сказать, как Древний Рим: *sao lus Rei Publicae lex suprema esto*,¹⁵ и с этим как бы вдруг исчезло заклятие, под которым восемьдесят лет держал обе страны страх пред тем, что называлось «нарушением наследованных прав и интересов собственности». Внутреннее противоречие, губившее Америку вопросом рабства, губившее нас польским вопросом, кончено, и если мы платим теперь за грехи нашего прошедшего, то мы вместе с тем знаем, что выстрадаем от них полное очищение. Разве мы не платим, в настоящее время, за вину тех поколений, которые, презрев русскую народность в западной Руси, оставили ее под ногами польской шляхты и тем, питая притязания поляков на возвращение «забранного края», сделали установление каких бы то ни было нормальных отношений между Россией и Польшей также невозможными как квадратура круга? Источник польского вопроса находится в западных губерниях, в господстве там польского шляхетского меньшинства над русскою народностью, и только когда этого господства не станет и надежда его возратить пройдет, только тогда, говорим мы, но не прежде, польский вопрос перестанет быть неразрешимым.

Сами поляки, к нашему счастью, помогают такому исходу. Если бы они ограничились восстанием в тех краях, где польская народность представляет действительную силу, и

оставались спокойными там, где один поляк приходится на 10 или на 100 человек русских и где все его значение основывалось на русской дворянской грамоте да на мертвенности туземного народа, — то дело едва ли пришло бы так скоро к развязке. Мы сами, конечно, не вздумали бы, в таком случае, затронуть господство польского шляхетства в западных губерниях, и все осталось бы по-старому. Но невозможно было, чтобы поляки в западной Руси остались спокойными, когда дело шло именно об их правах на западную Русь, — и вот, из-за того, чтобы «засвидетельствовать фактом перед лицом всего мира, что Витебск, и Могилев, и Минск, и Киев, и Волынь, и Подолия — это все Польша», эти люди сами приняли на себя труд приготовить дело для России. Мы, на наших глазах, видели и видим, как встрепенулся, как вдруг ожил политически и сознал себя народ западнорусский. Остается только открыть дорогу его материальному и нравственному развитию.

В корреспонденциях из Киева, помещавшихся в Аугсбургской Всеобщей Газете, мы встретили одно весьма меткое и дельное замечание. «Прежняя система правления в этих областях, — пишет корреспондент, — была беспощадно строга к отдельным личностям из поляков, навлекших на себя нерасположение власти; но она ничего не делала против полонизма, как принципа, против народности польской, как господствующей стихии в Западном крае». Нечего и говорить, что это истекало из признания, в то время, неприкосновенности крепостного права; нечего и говорить, как эта система была ложна и вредна для нас, ибо ничто так не возбуждает ненависти, как личные притеснения; мы обижали и раздражали поляков; мы надевали на них венец мучеников и в то же время предоставляли им, на деле, полный простор господства и нравственных завоеваний. Вот, между прочим, одна из существенных причин, почему они привыкли считать русских вместе и тиранами и глупцами, как показывают все их отзывы о нас, в последнее время сделавшиеся известными и русской публике.

Теперь, с тех пор, как западнорусский народ ожил сам и Россия решительно оперлась на него, о прежней системе речи

быть не может. Сам народ так громко заявил, что западная Русь есть *русская* земля, что право существования там полонизма, как принципа, падает само собою; но с того дня, как мы приняли безусловно начало русской народности в Западном крае, устраняется сама собою необходимость в излишней строгости к безвинным личностям. При крепкой системе противодействия *принципу* полонизма польское меньшинство потеряет серьезное политическое значение в крае, и эти гости в среде русского народа будут совершенно безопасны для России. Но сколько еще остается сделать, чтобы достигнуть этого результата! Подавление вооруженного восстания есть только первое и самое легкое начало дела; дело будет собственно впереди, дело возвращения русской народности в западной Руси того значения, которое ей принадлежит по праву. Дело это потребует постоянного участия всего русского общества в дружном содействии правительству. Оно потребует не столько действий *против* польского элемента, сколько действий *в пользу* русского народа. Об одном из первых, самых существенных действий этого рода мы уже говорили, именно о распространении постановлений 1 марта на Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии¹⁶. Дай Бог, чтобы эта надежда скорее осуществилась.

Вторым, не менее важным действием было бы, по нашему мнению, уравнивание крестьян государственных в западных губерниях с крестьянами, освобожденными указом 1 марта 1863 года¹⁷. Мы беспрестанно встречаем в официальных донесениях и частных корреспонденциях известие, что тамошние государственные крестьяне далеко отстают от бывших помещичьих в сознании своего народного дела и в сопротивлении полякам. Вещь понятная. Бывшие помещичьи крестьяне освобождены и пользуются собственным самоуправлением, государственные находятся в совершенной зависимости от местной администрации, чисто польской по своему составу. Предоставить государственным крестьянам западных губерний поземельный надел в полную собственность, как это сделано для помещичьих крестьян и делается теперь для удельных, дать им полное мирское самоуправление и освободить администра-

цию государственных имуществ от тех элементов, вследствие которых она до сих пор служила в Западном крае одною из главных опор полонизма — вот, как нам кажется, первая существеннейшая задача наша в этом деле.

Православное духовенство должно быть выведено из унижения, в котором его держали до сих пор, должно получить материальное обеспечение, по крайней мере, равное тому, которым пользуется католическое, и быть поставленным в совершенную независимость от помещиков и вообще в такое положение, чтобы оно могло свободно и без препятствий действовать в пользу русской народности и народного образования.

Разумеется, в таком отдалении от места нельзя писать подробную программу действий в Западном крае, да и мы не чувствуем в себе к тому никакого призвания. Не имея местных данных, мы не решимся даже в общих словах высказать положительное мнение о таком важном предмете, как, например, элементарное народное образование: как и на каком языке преподавать народу? Недавно, преимущественно в Петербурге, утверждали, что первоначальное обучение в Западном крае должно быть производимо непременно на местных наречиях, особенно там, где господствует наречие малорусское; но затем поднялись голоса местных деятелей, опровергающие этот взгляд. Таким образом, мы теперь находимся в недоумении и можем желать только, чтобы учили народ западнорусский, а как его учить, по-великорусски ли или на местных наречиях, белорусском и малорусском, может указать всего лучше сама жизнь. Вредно было бы предрешать этот вопрос регламентацией а ргіогі в ту или в другую сторону.

Что же касается Жмуди и Литвы в собственном смысле, так же как латышей Витебской губернии, то само собою разумеется, что первоначальное обучение должно быть производимо на их языках, совершенно самостоятельных. Россия, уже признав безусловно принцип народности в западнорусских губерниях, не может не быть верна ему и в крае, обитаемом ветвями литовского племени. Если бы мы стали прежде эту точку

зрения и не предоставляли польскому меньшинству владычества над литовскою народностью, то, конечно, не удалось бы ксендзам и шляхте фанатизировать Литву и Жмудь за Польшу, от которой литовская народность так долго и так много страдала. Постараемся вывести эту убитую Польшею народность из омертвения, постараемся открыть ей путь к образованию на собственном языке, к развитию своего народного самосознания, — и мы исполним одну из самых важных обязанностей России в Западном крае.

Мы ничего несправедливо не отнимаем у Польши; напротив того, самая справедливость требует, чтобы польская народность господствовала там, где живет польский народ, но не там, где его нет. Все здание польских притязаний держится в западной Руси и Литве на власти и привилегиях дворянства, с которыми соединялась до сих пор монополия образования, тем более, что там купечество и вообще средний класс состоит, как известно, из евреев. Как будто нарочно для того, чтобы эта монополия образования была как можно больше обеспечена полякам, существовало в том крае учреждение *дворянских училищ*, закрывающее всем недворянам, значит всей массе русского и литовского туземного населения, возможность идти далее элементарного обучения. Теперь материальная власть над народом отнята у польского дворянства. Отнимите у него монополию образования, открыв всем классам населения равный доступ во все училища, низшие, средние и высшие и, на первых порах, оказывая содействие русским и литвинам, которые хотели бы учиться; отнимите у гимназий в западной Руси тот исключительно польский характер, который они имеют теперь, как видно по известиям, сообщаемым в местных корреспонденциях; дайте литовскому языку в гимназиях и других училищах собственно литовского края по крайней мере то место, какое вы даете польскому; объясняйте литвинам законы по-литовски, а не по-польски, как делается теперь, отстраните те обветшалые и, со времени крестьянской реформы, уже ненужные привилегии, по которым шляхтич, т. е. поляк, стоит выше нешляхтича, т. е. русского и литвина;

старайтесь поставить ожидаемые новые судебные и земские учреждения так, чтобы честное русское и литовское население имело в них голос соответствующий его действительному значению, — словом, следуйте неуклонно, на каждом шагу, во всех подробностях, принципу народности, не давайте ни в чем преимущества меньшинству над большинством, чужому над туземным, аристократическому над народным: этого требует самая строгая справедливость, самое строгое беспристрастие, — и это разом положит конец неестественному господству польских стихий в крае, не принадлежащем польской народности. И если бы некоторые тамошние поляки продолжали предъявлять притязания вроде тех, которые руководили подольским дворянством в его известном адресе, не преследуйте их судом и казнями: ибо закон не может запретить поляку желать жить в Польше, а просто приглашайте таких господ переселиться в Польшу, коль скоро они не хотят быть гражданами в русской среде. Но таких притязаний уже не будет. Хотя *Journal des Débats* и рассказывает нам, что «смоленские инсургенты сделали диверсию и с успехом, как видно, сразились с русскими на Московской дороге»¹⁸; хотя при объявлении в наших газетах призыва к оружию четырех полков малороссийских казаков поляки сейчас разгласили по Европе, что это «конные отряды» инсургентов формируются и спешат к ним на помощь из Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний, — однако, действительно и серьезно, польские притязания не идут, как видно по всему, далее границ 1772 года; поляки оставляют нам и Смоленск, и Чернигов, и Полтаву, и Харьков, несмотря на то, что и там живет немалое их число и что Польша имеет точно такое же историческое право на эти страны, как на Киев, на Минск и на Вильно. Дело в том, что в Смоленске и Малороссии на левом берегу Днепра народность польская уже стала в положение иностранной стихии среди господствующей народности туземцев. Коль скоро туземной народности, русской и литовской, возвращено будет в Киеве, Минске и Вильне, в Гродне, Могилеве и Житомире такое же фактическое значение, какое

туземная русская народность имеет в Чернигове, Полтаве и Смоленске, польская стихия станет там, по самой силе вещей, в такое же точно положение; все притязания, которые теперь усложняют наши отношения к Польше, падут сами собою, и Польша сделается действительно тем, чем она должна быть, землю польского народа. Тогда поляки займут в славянском мире свое природное место, место наряду со всеми другими славянскими племенами, соответствующее их числительности и действительному значению, их географическому положению и народному характеру. Тогда не будет польского вопроса и о Польше будет речь в одном общем славянском вопросе. Отдельному польскому вопросу будет конец и не будет никаких поводов к борьбе между Россией и Польшей. Тогда, имея дело с Польшею, как с действительною землею польского народа, нам не трудно будет установить правильные к ней отношения. Как ни разрешатся тогда эти отношения, возвратим ли мы Польшу ей самой, или она соединится с Россией общим политическим устройством, или Польша получит особое представительство, как Финляндия, все эти разрешения будут возможны, ибо тогда не останется того бедственного противоречия, которое теперь не позволяет России ни разойтись с поляками, ни сойтись с ними.

Когда же это будет? Это зависит, главным образом или, вернее сказать, единственно, от деятельности русского народа, русского общества и русского правительства в Западном крае России. Россия счастлива тем, что она может, что она обязана, для собственного своего блага, опираться безусловно и повсеместно на то начало, которое всем человечеством признается справедливым и которое более и более торжествует повсюду, — на начало народности. Это же начало народности есть единственная, природная, необходимая точка опоры наша в отношении к полякам. *In hoc signo vinces*: и чем искреннее и крепче мы будем держаться его, тем вернее и скорее достигнем победы. Только в начале народности может Россия искать разрешения польскому вопросу.

СПб. 30 июля 1803

III

Положение и задача России в Царстве Польском. — Параллель между русским и польским народами. — Народ-пан и народ-мужик. — Будущность Польши по «Книге польского народа и польского пилигримства». — «Конституция повстанцев». — События 1861—1863 гг. — Научились ли чему поляки? — Возможно ли существование Польши как государства? — Вера поляков в воскресение старой Польши: весна и осень 1812 г. — Пан Тадеуш. — Прежние и нынешние бойцы за Польшу. — Лелевель и его сравнение Польши с Испанией. — Польский народ, польское панство и обывательство. — Что может действительно возродить Польшу?

Тяжелая судьба историческая поставила друг подле друга в славянском мире и связала неотвратимым антагонизмом два племени, диаметрально противоположных общественным строем, началами веры и просвещения, направлением мысли и ходом развития. Одно меньше и слабее и вся его сила в высших классах; это народ аристократический, полный сознания своего превосходства, честолюбивый и властолюбивый, завоевательный в душе. Другой народ, огромный и сильный, силен особенно низшими слоями: народ смиренный, народ плебейский по преимуществу. По характеру это народ далеко не властолюбивый и вовсе не завоевательный, но тот естественный закон, по которому большая масса притягивает к себе мелкие единицы, повел русский народ к расширению своих пределов и подчинил его власти многие племена. Ровно два века протекло с того времени, как Польша, в апогее своего завоевательного и аристократического духа, высылала экспедицию для покорения Московского государства, громаднейшую частную¹⁹ экспедицию завоевателей, какая когда-либо снаряжалась, — и эта самая Польша поступила под русскую власть, с которой не может сжиться вот уже пятьдесят лет.

И никогда, быть может, антагонизм их не ощущался болезненнее, чем теперь. Мечта о примирении, делающая честь русскому благодушию, но не русской прозорливости (особенно в такое время, когда предстоявшее освобождение крестьян грозило полякам падением их господства над западной Россией и когда должно было ожидать от них не взаимной уступчивости, а удвоенных усилий, чтобы предотвратить это падение), мечта о примирении дала, как всем известно, организовать огромному, едва ли не беспрецедентному в истории заговору; а затем нам приходится теперь, беспощадную строгостью военной диктатуры, восстанавливать нашу власть, которую мы выпустили было из рук, благодаря оплошности одних, предательству других, ложному взгляду третьих. Никто не сомневался, что такая реакция должна была наступить, что Россия, если не хотела отказаться от своего значения, как государства, если не хотела погубить себя в глазах собственного народа и остальных держав, не могла снести такого позорного срамления, чтобы у нее отняли, не столько силою, сколько ловкостью целую страну. Никто не сомневался, что, военная диктатура делается, на время, единственным возможным порядком вещей в Польше. И военная диктатура²⁰ там водворена; она делает свое дело; враждебная нам организация уже потрясена и прорвана не в одном месте, и можно ожидать, что при некотором благоразумии и последовательности наших действий, она скоро рухнет окончательно; можно надеяться, что скоро мятеж утихнет совсем и в Польше скоро не будет опять никакой другой власти, кроме русской. Но что представляло и чем представится опять Царство Польское под русскую власть? Прежде всего, мы тут видим народ малый и слабый, подчиненный большому и сильному: зрелище не новое и не единственное в человечестве, факт столь обыкновенный во всех почти государствах нашей образованной Европы (не говоря уже о других странах света), что наблюдатель будет скорбеть о нем, но скажет, что это так бывает в роде человеческого. Однако всмотримся в дело глубже и мы увидим, что тут не все так обыкновенно, не все так в порядке

вещей. Малый и слабый народ подвластен большому и сильному. Но этот малый и слабый народ заключает в себе непомерно многочисленный высший класс, с аристократическим духом, с притязаниями на звание и права людей благородных и образованных, — и ему приходится повиноваться России, стоящей пред поляком не иначе, как в образе мужика и солдата. Покоренный имеет о себе, о своем народе, такое бесконечно высокое мнение, что, пожалуй, он в этом не уступит и французу, а над ним поставлен, в качестве повелителя, человек, всякий день и при всяком случае готовый признать, что он невежа и дикарь, что он был бы крайне благодарен даже за последнее местечко в образованной компании европейских народов. Словом, аристократ и завоеватель в душе попал под власть смиренного и равнодушного к своему завоеванию плебея, и того именно плебея, которого этот злосчастный аристократ считал себя некогда призванным взять под свое начало и оболванить по-своему. — Вот в чем, как мне кажется, главная причина трудности и ненормальности нашего положения в Польше, а не в простом материальном факте владычества над чужим народом. Пруссия и Австрия владеют преспокойно не малыми частями польской земли, и никто не находит этого неестественным; даже поляки сами несравненно хладнокровнее относятся к несправедливости прусского и австрийского владычества над ними, нежели русского, несмотря на то, что положение их народности, как известно, во сто раз хуже в Познани и Галиции, чем в Царстве Польском. Дело в том, что немец в глазах поляка далеко не то, что москаль; это такой же господин, как поляк, а не плебей, господин другой породы, а не младший, недавно казавшийся бесталанным и ничтожным, брат в родной семье. Так и в частной жизни: самолюбивый человек охотнее подчинится чужому, в котором видит признаки власти, чем тому из братьев, которого привык считать за несовершеннолетнего и малоумного и которым в былое время распоряжался.

Не стану разбирать здесь происхождение этих отношений, тем более, что говорил уже об этом в другой статье;

не буду также рассуждать о том, каким образом в будущем более или менее отдаленном может изгладиться эта презрительная вражда поляков к русским, когда Россия, внутренним самобытным развитием своим, представит нравственное, так сказать, оправдание своего владычества, теперь являющегося полякам лишь случайным перевесом материальной силы. Оставляю в стороне все эти отвлеченные вопросы и говорю только о голом факте современной жизни, а существования этого факта не будет отрицать, я уверен, ни один беспристрастный наблюдатель, вникавший в отношения поляков к русскому владычеству в Царстве Польском. Наше владычество несомненно полякам в Царстве Польском, и оно кажется им несносным не потому главное, что они подчинены чужой власти: в Познани и Галиции поляки гораздо легче мирятся с чужою властью, а там присутствие ее чувствуется несравненно сильнее, чем в Царстве Польском, там вся администрация в руках немецких чиновников, официальный язык немецкий и проч. Несомненно полякам наше владычество и не потому также, что мы иноверцы; над познанскими поляками властвуют протестанты и позволяют себе иногда такие действия, которых испугалась бы наша православная церковь. Также и не потому, чтобы мы тиранствовали и действовали варварами в Царстве Польском, кажется наша власть несомненною. Ведь, сколько бы ни кричали в европейской печати про наше тиранство и варварство, в сущности поляки очень хорошо знают, что русские люди вовсе не жестокосердые, а скорее мягкосердечные до простоватости люди. Существенная, я должен повторить, причина, почему русское владычество кажется полякам невыносимым, та, что тут плебей властвует над аристократом, что пан или человек, считающий себя годным быть паном, чувствует себя подчиненным народу мужиков и солдат; существенная причина та, что мы остались тем, чем были, по выражению Хомякова, в старину все славянские племена, — плебейами человечества, а поляки, пропитавшиеся духом западноевропейского аристократизма, должны теперь вступить в подчиненное к нам отношение.

Что же тут делать? Как быть с Польшею? Та главная, коренная причина, почему наша власть полякам столь тягостна, не такая, чтобы ее можно было устранить; она заключается в самом характере обоих народов: и не дай Бог, чтобы с *нашей стороны* терялся этот характер. А нельзя же, однако, не обращать внимания на это постоянное, тайное или явное, противодействие поляков русскому владычеству. В настоящее время мы можем, конечно, успокоиться убеждением в необходимости диктатуры и должны надеяться, что эта успокоительная для нашего ума и немудреная система утешит самым простым способом Царство Польское. Но вместе с тем мы задаем себе вопрос: «А потом что?» On s'appuie sur des baionnettes, on ne s'y assoit pas²¹, сказал кто-то из великих людей. И этот вопрос: «потом что?» — кажется нам весьма серьезным. Он не принадлежит к теоретическим мечтаниям о будущем, а имеет и прямой практический смысл. Военная диктатура есть власть политическая, а не только полицейская. Вооружившись военной диктатурой, мы не станем только исправлять полицейские обязанности в Царстве Польском; мы не будем ограничивать все наши заботы настоящим днем, чтобы нынче все было смирно и в порядке, ибо в этом случае мы были бы там не более, как полицией. Мы стоим там в качестве политической власти, мы будем смотреть там дальше настоящего дня, мы и во время военной диктатуры поставим себе какую-нибудь определенную политическую цель, потому что диктатура не может длиться долго, потому что перед ней должно стоять неотступное: «А потом что?» Можем ли мы чем-нибудь упрочить за собою Царство Польское, или у нас нет в нем другой будущности, как вечно держаться там силою или убираться из Польши?

Если, в самом деле, нам ничем нельзя упрочить за собою Царство Польское, если нам не останется другого выбора, как вечно держать Польшу силою или покинуть ее, то, конечно, всякий русский, любящий свое отечество, желал бы только видеть приближение минуты, когда это последнее могло бы быть исполнено. Мы понимаем, что теперь,

после нападения поляков на наши войска, после угроз Европы, выступить из Польши было бы срамом, и об этом речи быть не может в настоящее время. Но мы стали бы ждать с нетерпением от будущего, чтобы политические обстоятельства сложились благоприятным образом и чтобы мы могли, непринужденно и с честью, оставить страну, которая нас не терпит и уверяет, что никогда не примирится с нашею властью. Гораздо лучше пожертвовать областью, которая России не приносит никакой выгоды, чем иметь постоянного домашнего неприятеля и слыть в целом мире тиранами. Насильственное обладание Польшею ставит Россию в тягостное внутреннее противоречие с самой собою, с ее характером славянской державы, с ее призванием представительницы и заступницы славянского племени. С каким же восхищением мы приветствовали бы свое избавление от этого губительного противоречия, с каким удовольствием стряхнули бы с себя бремя насильственного владычества над польскою землею. С какой справедливой гордостью мы глянули бы в глаза всем нашим клеветникам в Европе, как мы почувствовали бы себя свободнее в нашей политике!

И не только в смысле политическом, мысль эта, покуда ее рассматриваешь теоретически, оказывается самым лучшим для России выходом из бесчисленных затруднений, поставляемых ей Царством Польским. За мысль эту говорит и высшая справедливость, не допускающая, чтобы один народ налагал цепи на другой. На почве безусловной правды казалось бы несомненным, что должно, при первой возможности, возвратить Царству Польскому его самостоятельность.

Но беда в том, что против требований безусловной теоретической правды вооружаются две силы, перед которыми всегда уступит то, что мы считаем безусловною правдою: сила политических условий и сила исторического развития. Политические условия — это сфера, в которой властвует *князь мира сего*; здесь нет места идеалу безусловной правды. Как только зайдет речь о практическом исполнении благородного помысла, исполнение это тотчас улетает от нас в та-

кую даль будущего, что благородный <помысл> обращается в ничто. А в свою очередь, перед нами является неумолимый, логический закон исторического развития, равнодушный к стонам и проклятиям живых людей, потому что ему надобно вымещать на отдаленном потомстве грехи или ошибки давно минувших поколений.

Прежде всего, поставим вопрос о русском владычестве в Царстве Польском на почву политических условий. В этом отношении мы наткнемся на обстоятельство самого неидеального свойства, но которого нельзя обойти без внимания. Русская власть пустила корни в Царстве Польском, корни, правда, самые грубые, совершенно вещественные, но которых нам не легко бы было вырвать. У нас там первостепенные крепости. Как быть с Новогеоргиевском, с Ивангородом, с Замосцем? Употребить громадные усилия, чтобы взорвать на воздух или скрыть до основания работы, стоившие России не одну сотню миллионов? Или передать в чужие руки укрепления, которые, в случае какой-нибудь войны в средней Европе, сделались бы для нас преградою, быть может, неодолимою, или, по крайней мере, достаточною, чтобы задержать наши войска на целую кампанию? Не мне, конечно, рассуждать о специальном военном деле, но простой здравый смысл указывает, что пока европейским народам нужно будет брать в расчет возможность войны и принимать меры для своего ограждения, России придется держать Царство Польское для своей собственной безопасности в военном отношении.

Но оставим в стороне вопрос о крепостях. Англия решилась же отдать грекам Ионические острова, жертвуя великолепною крепостью Корфу. Зато политические условия были в пользу отдачи Ионических островов грекам и не только уравновешивали, но вознаграждали с лихвою ущерб по военной части. Уступка Ионических островов не угрожает Англии ни малейшею опасностью, а в то же время дает ей огромное влияние на Грецию: собственно, Англия не отдает Ионических островов, а посредством Ионических островов притягивает к себе Грецию. Политические условия Царства Польского

прямо противоположны всему этому. Поляки властолюбивы и притязательны, по самому понятию, которое они имеют о себе, как представителей высшей цивилизации и единоспасающей религии, и по тому самому их властолюбие и их притязания обращены не на запад Европы, откуда они заимствовали эту цивилизацию и эту религию, а на русский восток: ибо там они видят мужицкое варварство и схизму и там считают себя призванными распространять господство своей цивилизации и своей единоспасающей церкви. Выпустить Царство Польское из наших рук значило бы открыть себя немедленному и непременно вторжению всего, что в Царстве Польском способно носить оружие; и нет ни малейшего сомнения, что первым делом самостоятельной Польши было бы избрать в Европе таких союзников, призвать к себе такого государя (какого-нибудь Наполеонида, если будет еще иметься такой, или тому подобную личность), с которыми можно было бы удобным образом напасть на Россию. Конечно, обладание Царством Польским требует от нас много войска и стоит нам больших денег. Но не понадобится ли еще больше войска и еще больших денег, как скоро мы выйдем из Царства Польского? Нам придется во всем нашем Западном крае стоять постоянно на стороже, ждать ежечасно неприятельского вторжения. Настоящие события дают нам чувствовать, как тягостно и обременительно для страны быть в пассивном ожидании нападения, не имея возможности предупредить удара. И в этом-то положении, в которое мы теперь *временно* поставлены напряженными отношениями к западным державам, Россия находилась бы *постоянно*, имея под боком независимую Польшу с польскою армиею, — пока, я должен повторить, как говорил в предыдущей статье, не прекратятся притязания поляков владеть западною частью русской земли.

Таким образом, мысль освободить Царство Польское от России, мысль столь благородная, столь привлекательная, мысль неопровержимая в теории, разбивается о действительность, как только мы ее поставим в виде современного политического вопроса для России. Нельзя же, чтобы Россия, в

увлечении благородным бескорыстием, думала о возможности избавить Польшу от ненавистной для нее русской власти, не дав себе предварительно отчета о том, что из этого может или должно выйти. Не только в настоящее, самое тягостное для нас, время возбужденных против нас польских страстей мы не можем оставить Царство Польское уже из-за того, чтобы не показаться трусами, не уронить себя пред целым светом; не только теперь, когда на нас нападают и нам грозят, мы должны держать Царство Польское и говорить: «Приходите, отнимите, если можете»; нет, но и в будущем, мы могли бы решиться на такой шаг разве тогда, когда знали бы, что в средней Европе не будет больше войны и что поляки, отказавшись от своих вековых притязаний, не придут отвоевывать у нас Литву и Украину: условия, которые отдалают исполнение мысли нашей в такие века, которые, по греческому выражению, «еще покоятся в лоне богов».

Или, чтобы скорее настало то счастливое время, когда нам можно будет избавиться от Царства Польского и избавить его от нас, не положить ли разом конец польским притязаниям на западную Русь — изгнанием оттуда всех поляков в Царство? После этого, конечно, не было бы для нас опасности нашествия из Царства Польского, потому что не стало бы для такого нашествия никаких надежд на опору в крае и на успех. История представляет нам подобный случай. Аналогия полнейшая. Испания возвратила себе области, составляющие ее природную часть, но которые долго принадлежали враждебному ей, иноверному племени, некогда стремившемуся завоевать ее всю. Там, в этих новоприобретенных Испанией областях, поблизости своей старой родины, чужое, иноверное племя водворилось большими массами и составляло, так сказать, *интеллигенцию* края. Не снесла этого ненормального положения нетерпеливая Испания, не хотела употребить нравственные силы, силы своего духа, чтобы превозмочь враждебное ей настроение мавров, быть может, мечтавших о восстановлении прежнего своего владычества над Севильей и Гренадой, быть может, сносившихся с своими родичами в Мавритании. Она просто взяла и

выгнала их всех, сотнями тысяч, в Африку. С этого события историки привыкли считать падение Испании, и, кажется, не напрасно. Не в том дело, что страна потеряла в маврах большое количество рабочих и умственных сил; главное дело в том, что это было признанием внутренней несостоятельности испанского духа, сознанием его в бессилии одолеть враждебное настроение и чуждые стихии пришельцев, очутившихся гражданами Кастильского государства. Захотим ли мы подражать печальному примеру Испании?

Узел между Россией и Польшей сплетен так тесно историей, что его не разрубишь. Это борьба двух противоположных начал в одном мире; тут не скажешь той и другой стороне: «Ступай себе домой и сиди смирно, меня не трогай; а я тебя трогать не буду». По крайней мере, одна сторона на это не согласится, да и не могла бы исполнить обещание, даже если бы согласилась. Говорят часто, — и эти слова будут приведены мною ниже вторично из уст поляка, — говорят часто, что поляки ничего не забыли и ничему не выучились. Это правда, хотя причина тому не в природном характере польской нации, а в тех идеях и обстоятельствах, среди которых воспитывается польский характер из поколения в поколение. Но такие идеи и обстоятельства не скоро теряют свою силу. Не скоро убедятся поляки, что их предназначенная отчизна — малая земля польского народа, а не тот обширный край, где они могут господствовать во имя своего аристократического превосходства и преимущества своего образования. Они, люди цивилизованные, носители западноевропейского и католического знамени, не скоро убедятся в несостоятельности своего призвания в славянском мире. Они верят себе, они верят в свое знамя, а неудачи и бедствия не убивают веры. Их вера возвышает их до мечтаний, где теряется всякое чувство человеческой действительности, и низводит их до правил, в которых теряется всякое чувство человеческой нравственности. В их среде не только религия, как замечают неоднократно, обратилась в средство политическое, но, что еще важнее, политическая идея обратилась в религию. Прочитаем следующие строки: «И умучили

народ польский, и положили во гроб; и короли вскричали: мы убили и похоронили свободу. Вскричали же они неразумно: ибо, совершая последнее убийство, они исполнили меру своих беззаконий, и кончилась их сила в то время, когда они наиболее ликовали. Ибо народ польский не умер: тело его лежит во гробе, а душа его сошла с земли, то есть из общественной жизни, в бездну, то есть в домашнюю жизнь племен, терпящих неволю в крае и за границей, дабы видеть их страдание. А в третий день душа вернется в тело, и народ польский воскреснет и освободит все племена Европы из неволи. И прошли уже два дня; один день зашел с первым взятием Варшавы, а другой день зашел со вторым взятием Варшавы; а третий день взойдет, но не зайдет. И как по воскресении Христа престали на целой земле кровавые жертвоприношения, так с воскресением народа польского престанут в христианстве войны». Есть целая такая книга, из которой это лишь малый отрывок. Это ни более ни менее, как целое дополнительное Евангелие, но Евангелие, которое учит не вере в Бога, а вере в будущность Польши, не нравственной правде, а тому, как вести себя польским «пилигримам», рассеянным «среди чужеземцев, как апостолы среди язычников» (*księgi Narodu Polskiego I Pielgrzymstwa Polskiego*, гл. XVIII). И эту книгу писал не какой-нибудь безвестный чужак, а величайший гений Польши, Мицкевич; и писал он ее не тогда, когда его ум был на закате, а в 1833 году, в пору всей силы его таланта, в ту самую пору, когда он с такою изумительною верностью живописал все стороны польского шляхетства в великолепной эпосе о пане Тадеуше. Такое явление, как эта «книга Польского народа и Польского пилигримства», переносит нас в совершенно непонятный для нас, живущих на земле, заоблачный мир, где политическая мечта получает силу и власть религии²². Теперь присоедините к этому другой полюс того же явления — религию, обращаемую в политическое орудие, уроки иезуитской теории о добре и зле, о нравственном долге²³; все эти уроки с такою полнотою объясняются нынешним их применением на практике, что я могу избавить читателя от печального их ис-

числения. Сложите же все эти стихии: предание о господстве над русскими землями во имя аристократического принципа; чувство цивилизованного европейца в противоположность соседнему варварству русского, чувство исповедника религии, «вне которой нет спасения», в противоположность соседней «схизме»; патриотическую страсть, возведенную до высоты веры, не признающей уже условий действительного мира и, в то же время отравленной понятиями, отрицающими законы мира нравственного, — сложите в одно все эти стихии, которые мы добыли анализом, но которые проникают друг друга в политической жизни поляков и обуславливают ее характер; сложите все эти стихии и подумайте: способна ли такая среда к какой бы то ни было мирной политической сделке с Россией? Никакие уступки полякам тут ничего не сделают. Пример перед глазами. Мало ли им было уступлено в течение 1861 и 1862 годов? Быстрота, с какою эти уступки следовали одна за другою, не доказывали ли, что Россия вовсе не имела желания торговаться с поляками, что она охотно дала бы им все возможное? И не было ли притом видно, что за этими уступками должны были следовать еще другие? Каким же образом поляки не захотели, по крайней мере, дожидаться конца всех этих уступок, посмотреть на их практические результаты и затем, пожалуй, если бы они показались недостаточными и неудовлетворительными, схватиться за оружие? Неужели мы в праве оскорбить польскую нацию, объясняя себе этот, по видимому, столь противный здравому рассудку, образ действия какою-то врожденною чертой польского характера, как подумал бы, вероятно, наш простой народ и как не прочь сознаться иной рассудительный поляк? Что эта оскорбительная для польского национального характера мысль существует и между самими поляками, в доказательство тому приведу следующие строки, написанные одним из них о настоящем состоянии. «Наша обязанность была, — говорит он (после льгот, данных Царству Польскому), — поддерживать правительство всеми нашими силами, чтобы не принудить его раздавить нас. Таким образом, мы могли бы сложиться в народ (*nous former*

en nation), дать созреть нашим мыслям, выучиться подчинять наши чувства условиям рассудка и ожидать, приготовленные этим, всего от силы вещей, никогда не забывая, что мы поляки и что наш долг оставаться таковыми. Увы! Мы ничего не забыли и ничему также не научились. Я вижу это не с нынешнего дня, и потому легко было предвидеть, два года тому назад, события, теперь совершающиеся. Всякий раз, когда перед нами будут открыты два пути, один путь — рассудка и терпения, другой — безумия, всегда мы будем бросаться стремглав на этот последний путь»²⁴.

Но нет, я не разделяю этого мнения, и думаю, что вернее признать тут не какую-нибудь врожденную черту характера, а действие той исторической силы, которая поставила все начала польской жизни в такой непримиримый антагонизм с народными стихиями России. Сама Россия, очевидно, не имеет никакой народной антипатии к полякам; она не желала бы ничего лучшего, как оставить их в покое в их земле; в случае, если бы возможна была мирная политическая сделка, не она стала бы вызывать польскую нацию на бой. Но есть на свете нечто такое, что вызывает враждебные страсти независимо от всякой прямой обиды. Это растущая сила нового организма, входящего в мир. Нечего нам ласкать себя надеждою, что мы, какими бы то ни было подвигами великодушия, укротим враждебное против нас настроение Польши. Ибо ненависть поляков к России проистекает не только из того или другого нашего действия: самое существование России в Европе для них соблазн и оскорбление. Желание выбросить Россию за Урал — непустая похвальба; в этом высказывается внутреннее чувство, что Россия для них лишняя; Россия разрушает, простым фактом своего бытия, все, что было бы их призванием в мире, — призвание просветителей и владык всего славянства.

С какой бы стороны ни рассматривали мы польский вопрос, мы видим очевидную невозможность сделки, которою Россия могла бы развязаться с поляками. Выше я рассуждал уже об этом предмете с точки зрения наших западных губер-

ний и старался показать, что присутствие польской аристократической стихии в Западном крае и приистекающие отсюда притязания поляков на Литву и Украину не позволяют нам ни мирно расстаться с Польшею, ни поставить себя в нормальное положение к полякам. Здесь я рассматриваю дело непосредственно в отношении к самой Польше, к так называемому Царству Польскому и прихожу к тому же выводу. Мы должны сказать себе откровенно, что между русским и польским началом не может быть, по крайней мере, в настоящее время, искусственной сделки. Мы должны сказать себе, что борьба составляет тут для нас историческую, неизбежную необходимость, точно так же, как это говорят себе поляки и бросаются в нее, как безумные, при первой открывающейся им возможности. Это будет с нашей стороны и разумнее и честнее, чем льстить себя обманчивыми надеждами на мирную сделку и потом вдруг подвергаться такому разочарованию, такой горькой необходимости в насильственных мерах, как это случилось с нами теперь. Мы принуждены владеть Царством Польским и, в то же время, нельзя предвидеть возможности примирить поляков с нашею властью. Уступками этого достигнуть нельзя; а строгостью и карами власть не примиряет с собою народа. Что же тут делать?

Мы призваны в Польше к борьбе, я сказал и повторяю опять. Но какая это борьба? Неужели она должна состоять в насилии против лиц, коль скоро эти лица не станут сами прибегать против нас к средствам насилия? Неужели наша борьба в Польше должна заключаться в подавлении страны? Это была бы не борьба, а тирания. Это было бы позором для России. Борьба истекает из требований исторического развития, а тирания имеет единственную цель — остановить историческое развитие.

Историческое развитие польской нации некогда распространило ее владычество в русских землях и водворило в них аристократические элементы, образовавшиеся в польской жизни. Историческое развитие русского народа разделяет теперь прежнее дело Польши в русских землях; оно распространило владычество России и на коренную польскую землю.

Историческая жизнь Польши оказалась несостоятельною: в этом не может быть ни малейшего сомнения. Мы присутствуем теперь не при возрождении исторической жизни Польши, а при разложении ее старого организма.

Нет страны в Европе, где внутреннее разложение и падение явилось бы в такой страшной, осязательной наготе, как в старой Польше XVIII века. Дело в том, что тут разлагался и падал не цельный народ, — народы не так легко умирают, — а класс людей, поглотивший в себя всю историческую жизнь польского народа, сосредоточивший в себе все польское государство. Множество примеров доказывают, что чем уже и исключительнее та общественная среда, в которой заключается историческая деятельность государства, тем быстрее совершается процесс его исторической жизни, тем быстрее оно возрастает и доходит до своего апогея и тем скорее полное развитие сил сменяется упадком и разложением.

Таким образом, и государство польское, возникшее в одно и то же время с Россией, успело совершить полный круг своего развития, когда Россия едва кончила период своего сложения, и умерло своею смертью в исходе XVIII века. Что бы ни говорили о насильственности разделов, об этом *assassinat d'une nation*²⁵, несомненно то, что польское государство отжило свой век и что его могли разнять на куски именно потому, что это был труп, а не живой организм. Если бы какими-нибудь судьбами удалось восстановить Польшу как государство, то разве она в состоянии была бы развиваться? Польская нация, насколько она действовала в истории и выражалась в государственной жизни Польши, т. е. польское шляхетское общество или так называемое *обывательство*, заключавшее в себе весь государственный организм Польши, — польская нация имела в славянском мире весьма определенное значение, весьма определенный путь развития. Это было общество и государство, по преимуществу представлявшее собою, в славянском мире, западноевропейский католицизм и западноевропейское рыцарство. Идеи эти составляли дух польского государства, оно их воплощало в себе: они имели свою бле-

стящую эпоху в Польше XVI века, и польское общество и государство тогда расцвело; и мало-помалу обличились они в своей односторонности и, наконец, дошли ad absurdum²⁶ в явлениях XVIII века, в иезуитизме и шляхетском праве liberum veto. По мере падения этих идей, разлагалось польское общество и государство: вследствие такого разложения государство погибло; но общество оставалось. Смерть государства не могла быть смертью для такой массы людей, которая составляла польское *обывательство*. Смерть государства не могла также убить те начала, те идеи, какие в нем воплощались, хотя она и свидетельствовала явным образом об их несостоятельности. Но массы людей бывают глухи к отвлеченному свидетельству истории, и в них упрямо держатся выработанные прежнюю жизнью понятия и стремления, особенно когда эти понятия и стремления являются в виде несомненной веры в истину и сопряжены с надеждами на возврат прежнего господства и величия. Смерть польского государства даже как бы оживила дух старой Польши. Это совершенно в порядке вещей; это один из признаков благородства природы человеческой. Когда общее дело было проиграно, оно стало находить в отдельных личностях слугителей, посвящавших себя ему со всею энергией и самозабвением, к каким бывает способен человек, жертвующий собою за безнадежное, но горячо любимое предприятие. Так бывало при всяком погибавшем государстве, во всяком осужденном историей общественном организме. Польское же государство в особенности могло выставить громадную массу таких личностей вследствие непомерного развития в нем класса людей с воинственными и рыцарскими наклонностями, класса, заключавшего в себе всю деятельную силу этого государства и вдруг, с его падением, терявшего и вольность, которою он так гордился, и бесчисленные выгоды, какие доставляло ему исключительное пользование вольностью.

И вот мы видим дух старой Польши, переживающим падение старого польского государства в шляхетском классе польского народа. Мы видим его, как он борется с силой истории, вечно ею разочаруемый и никогда не теряющий надежды.

Дух старой Польши принимает, как я заметил выше, характер религиозного убеждения. Политическая мысль о восстановлении старой Польши возводится на степень веры в чудесное ее воскресение. Этот дух старой Польши, сделавшийся верою в ее воскресенье, ведет поляков в южную оконечность Европы служить деспотизму иностранного завоевателя против народа, защищающего свою свободу; он ведет их на беспримерный подвиг бесполезного героизма, — когда они штурмуют уланскою конницею, во славу французского императора, укрепленные испанскими пушками высоты Сомо-Сиерры. И ожидаемое поляками историческое чудо, — одну минуту, казалось назначенным к осуществлению. Это было весною 1812 года. Вечным памятником тогдашних надежд польских останется *пан Тадеуш*. Как воспета Мицкевичем весна 1812 года! Надежды этой весны разбиты; но вы чувствуете, что вера не исчезла и нет в поэте разочарования и скорби над разбитыми надеждами своей нации, есть только воспоминание тогдашнего восторга: «О весна! кто тебя видел в то время в нашей стране, памятная весна войны, весна урожая! О весна, кто тебя видел, как ты была цветуща хлебом и травами и блестяща людьми, обильная событиями, чреватая надеждами. Я тебя вижу донныне, прекрасное сновидение! Рожденный в неволе, повитый в оковах, я только одну такую весну имел в жизни!» Но весна 1812 года сменилась осенью 1812 года, песнь восторженной надежды в поляках сменилась русскою песнью одержанного торжества. Пришлось полякам мириться с действительностью, которую, впрочем, император Александр I сделал для них такою, что она, после всего случившегося в 1812 году, могла казаться им осуществленною мечтою. Но вера в воскресение старой Польши не могла мириться ни с какой действительностью, даже с тою, в которой самые дорогие интересы русского народа жертвовались польским идеям. Дух старой Польши проявился вновь в восстании 1830 года; ему повинуются поляки, когда они в 1849 году избирают знамя мадьяр против славянских народов, ему повинуются они и в настоящее время. Но вместе с тем, весь этот период посмерт-

ного, так сказать, существования старой Польши, в верхних слоях польской нации, ознаменован постепенным внутренним падением; это есть посмертное разложение старой Польши. Сравните плеяду польских патриотов начала нынешнего столетия с теперешними их преемниками: те же мысли их одушевляют, цель осталась та же, но какое нравственное падение! Не присутствуем ли мы при полном внутреннем разложении всего того, что составляло жизнь старой Польши: при полном нравственном разложении старого польского католицизма, проповедывающего теперь обман и убийство, при окончательном извращении всех рыцарских понятий старого, когда-то во многом столь благородного, польского шляхетства, теперь ниспавшего до последней глубины человеческой фальши?

Знаменитый Лелевель²⁷, еще в 1820 году, написал историческую параллель Польши с Испанией и этим сравнением выказал, мне кажется, глубокое понимание обеих стран. Действительно, они не только обнаруживают замечательное сходство и почти одновременность в своем возвышении, процветании и падении, но и жили одними и теми же идеями. Обе страны одинаково посвятили себя всем стремлениям католицизма; обе одинаково прониклись духом рыцарства, и это рыцарство породило одинаковые явления. Как испанский гранд представляет подобие старо-польского магната, так и в *хидалго*, оборванном и босоногом, но чувствующем себя ровнею гранду и каким-то высшим существом в сравнении с прочим народом, и добродушно верующем в свое особое призвание быть благодетелем рода человеческого, узнаем мы родного брата польскому шляхтичу. Лойола и <Дон Кихот>, это могли бы быть типы Польши, как и Испании: только в Испании осталось довольно силы народного самосознания, чтобы осмелеть <Дон Кихота>, а Польша до сих пор лишь умела окружать своего шляхтича ореолом поэзии.

Испания пала, утратила свои владения, а все-таки продолжает жить как отдельное, хотя второстепенное государство. Если бы Польша была в таком же изолированном по природе положении, как Испания, которая может оставаться в

своих естественных границах, никого не трогая, то так могло бы быть и с Польшею. Но, кроме разницы между островным положением Испании и средиземным положением Польши, есть еще другое, огромное различие. Лойола и <Дон Кихот> были родные дети Испании; они не только родились от ее крови, но в них воплотился весь ее народный дух. А в Польше иезуит и шляхтич — пасынки, занявшие место родных сыновей. Они поляки, но ведут свой род не от поляков; в них живет дух чужой, задавивший, если не убивший окончательно, коренной народный дух Польши, как славянской страны. Испанское государство может продолжать существовать в качестве самостоятельного организма среди романской Европы, ибо этот организм вырос и развился естественно на своей исторической почве. Столь же естественно перерождается он теперь, после своего распада, обновляясь под влиянием нового положения Европы, прилаживаясь к условиям века и слагаясь, вероятно, в какую-нибудь новую формацию. Другое дело в мире славянском. Тут организм, воплотивший в себе дух иезуитизма и рыцарства, не обновится под влиянием века, не приладится к условиям новой, окружающей его жизни; из него не выйдет новой органической формации. Это слишком ясно доказывают все стремления польского общества, обращенные безусловно к восстановлению Польши 1772 года, не понимающие России иначе, как понимали ее поляки при самозванцах, и которые знать не хотят ничего, что могло произойти с того времени. Мы имеем тут дело с организмом разложившимся и уже неспособным к новому развитию. Развитие в Польше может выйти только из совершенно новой стихии. Если есть в Польше еще такая новая стихия жизни, то это, очевидно, простой народ, не принимавший никакого участия ни в процветании, ни в падении старой Польши. В противном же случае, ежели бы простой народ польский не представлял элементов для новой жизни для нового развития в Польше, то пришлось бы отказаться от всякой надежды на будущность польской нации и предвидеть тогда, как неизбежный результат дальнейшего хода истории — замену польского народа но-

вым племенем, т. е. предвидеть для целой польской земли то, что уже совершилось и совершается в западной ее половине, в Силезии, западной Пруссии и большей части старой земли Великопольской. Но если возможно избежать этого исхода и суждено простонародной среде дать новые ростки для обновления Польши, то это будет именно только под властью России и благодаря этой власти. Вот в чем я вижу историческое требование, обуславливающее русскую власть в Польше, и причину, которая может оправдать там существование нашей власти не с одной лишь точки зрения безопасности и интересов России, а по отношению к самой Польше. Одна Россия в силах охранить слабое еще в своем самосознании, еще совершенно пассивное простонародье польское от безусловного господства старых преданий и понятий, воплощенных в *обывательском* классе. Дайте независимость Польше, и все, что может выйти нового из среды простонародья, будет заглушено и никогда не проявится; из-под старого, разлагающегося трупа никогда не взойдут новые ростки. Несостоятельная шляхта ничего не сделает, чтобы оживить простой народ, и сама истощится и погибнет, а бессознательное простонародье не устоит под наплывом немецкой колонизации, движущейся вперед со всею силою, придаваемою ей духовным единством образованного класса и рабочих сословий. Доказательства перед глазами, и мы должны сказать без обиняков: без России Польша никогда не обновится.

Поясню свою мысль. Дело в том, что в Польше существуют собственно два народа: один, живший историческою жизнью, приобретший огромные владения и потом потерявший их, народ, — весь погруженный в предания прошлого и представляющий очевидные признаки разлагающегося организма. Другой народ, отделяемый от первого не только общественным, но и бытовым характером, не знает про бывшее величие шляхетской республики; вся старая жизнь Польши прошла над ним, не коснувшись его духа, не внушив ему участия к политической судьбе своего отечества, в котором он ожил несколько лишь тогда, когда оно перестало быть самостоя-

тельным государством. Это не два отдельных класса в одном народе; нет, польский крестьянин, пашущий землю, и поляк, отрешившийся от простоты земледельческого быта, принадлежат к двум особым мирам, к двум отдельным политическим сферам. Всякий поляк не крестьянин есть уже шляхтич по праву. Ремесленник, мастеровой, торговец²⁸, писарь, адвокат, чиновник, помещик, наконец священник, одним словом, всякий человек, стоящий за порогом простого крестьянского быта, стоит уже, вместе с тем, в кругу идей и притязаний, наследованных от прежней Речи Посполитой; он *пан* и титулуется *паном*; в Польше единственно крестьянин, *хлоп*, не есть *пан*, но тот же крестьянин, поступив в лакеи или в мастеровые, уже тем самым, что он перестал быть крестьянином, получает право на титул *пана*, переходит на ту сторону польской нации, зерно которой составляет шляхта. Нельзя терять из виду этого состояния польского народа, нельзя судить о нем по тому, что мы находим в России. Мы справедливо скорбим о раздвоенности нашего общества с народом. Но, жалуясь на это раздвоение, уясняя себе все более и более неисчислимый вред, отсюда проистекающий, мы чувствуем, что это у нас болезнь, случайно привившаяся к организму нашей страны, болезнь, от которой мы вылечимся. В Польше эта раздвоенность такова, что она уже сделалась, так сказать, существенною, органическою принадлежностью польской нации; она сроднилась с польскими понятиями так, что поляк ее уже не чувствует и не замечает, и она поражает только иностранца, как нечто ненормальное. Поляк толкует о польском *народе* со всею искренностью убеждения, что он ведет речь о действительном *народе* польском; а между тем, он понимает именно все то, что *не есть народ* в собственном смысле слова, он понимает только совокупность личностей, выделившихся из народной массы, совокупность мещан, шляхты, духовенства и всего прочего, кроме крестьянского простонародья. Поляк произносит слово *обыватель*, и вы, согласно прямому значению этого слова, думаете, что он говорит о всяком вообще *жителе*, обитающем в стране, а между тем, он понимает опять-таки горожанина, духовного,

шляхтича и всякого другого, за исключением крестьянского простонародья. Эти-то классы *обывателей* составляют единственную действующую в Польше стихию; в них исключительно сосредоточиваются те начала, те идеи, те притязания, которые ставят нас в такое невыносимое и, по-видимому, безвыходное положение в Царстве Польском. Народная масса тут вовсе не причастна.

Легко подтвердить бесчисленными свидетельствами из всей польской литературы эту совершенную отдельность польского общества или, правильнее сказать, *обывательства* от крестьянской массы польского народа, этот особенный взгляд, по которому понятие о польском *народе* сосредоточивается единственно в совокупности личностей, не принадлежащих к крестьянскому населению. Легко проследить в истории Польши, как образовалось это раздвоение, как крестьянское население с течением времени устранялось все более и более от участия в жизни и судьбах польского государства и как государство это сделалось исключительною принадлежностью шляхты и примыкающих к ней классов, горожан и духовенства, или того, что в польском языке стало называться *польским народом, жителями* (обывателями) *края*. Такова несомненная причина всегдашнего безучастия польского крестьянства к патриотическим стремлениям *обывательства*; этим также объясняется, почему поляки, т. е. собственно польские *обыватели*, не понимают и не могут понять той, для нашего взгляда столь простой истины, что Польша есть земля, где народ польский, а не вся та страна, где они, обыватели, некогда господствовали: ибо народ для них не в народе, а в одних *обывательских* классах. Впрочем, я не стану входить в подробное рассмотрение **всех этих любопытных явлений**, потому что это заняло бы у читателя слишком много времени. Но укажу на один факт из живой действительности, по которому люди, знакомые с Польшею, вероятно, согласятся с справедливостью того, что сказано выше о раздвоенности между польским крестьянством и остальными классами польской нации. Мы знаем, что везде, во всех странах мира, религиоз-

ная исключительность и нетерпимость в отношении к иноверцам несравненно сильнее в простом сельском народе, нежели в городских жителях; мы знаем, что простой сельский народ равным образом отличается от городских классов большею любовью к своему родному, что он менее охотно свыкается с иностранцами, и если иностранцы приходят в край завоевателями, то им гораздо легче приучить к своему владычеству городское население, чем массы поселян. В самом деле, сельский народ, по своему быту, по всей своей обстановке, должен хранить крепче все предания веры, все понятия и инстинкты народности. Естественно, что он, в своих набожных чувствах, смотрит с неприязнью на иноверца; естественно, что он, в своей крепкой привязанности к своему родному, не может быть равнодушен к иностранному владычеству, тогда как, напротив того, в городском люде и вообще в верхних слоях общества открыт широкий доступ религиозному индифферентизму и патриотическое настроение легче поддается соблазну личных расчетов и интересов собственности, выгодам мира и спокойного производства промыслов и торговли. Все это явления, проистекающие из природы вещей и подтверждаемые историею всех веков и стран. В Польше наоборот: самым ярким фанатизмом против схизматиков, самую упорную ненавистью к москалям, самым упорным сопротивлением иностранной власти отличается городской люд и верхний слой общества; а в сельском народе русские не встречают ни такого отвращения к ним, как к иноверцам и иностранцам, ни таких чувств негодования против московского владычества. Отчего же это происходит? Отчего Польша должна составить исключение из общего исторического закона? Дело ясное и не подлежащее сомнению. Сельский народ в Польше чужд тех преданий и понятий, выработанных католицизмом и шляхетством, которые составляют историческое достояние городского люда, ксендзов и шляхты, вообще всех *обывателей* и которые именно ставят поляков в антагонизм с Россией. Не будь этого раздвоения между сельским народом и *обывательством* в Польше, то какое религиозное и патриотическое одушевление должно бы

было соответствовать в народной массе тому, что представляет нам городской люд и верхние классы общества в Польше! В народной массе был бы такой разгар фанатизма и ненависти к нашему владычеству, против нас должна бы была подняться такая буря, что мы не продержались бы в Польше и двух недель. Но мы там держимся, и держимся легко, когда только сами не нагоняем на себя страха; ибо буря против нас бушует лишь на поверхности, а масса спокойна и к нам или равнодушна, или даже сочувственна, смотря по тому, как нам угодно поступать с нею.

Нельзя не заметить и того характеристического факта, что крайний предел фанатизма против москалей является в ремесленниках, мастеровых, фабричных и вообще низших классах городского населения. Люди эти стоят, очевидно, по своему образованию, почти на одной ступени с крестьянством; многие из них, вероятно, родились и воспитались в крестьянской среде, имеют отцов и братьев между хлопами. Но в то время, как ни один *хлоп*, сколько мы знаем, не жертвовал собою для *<отчизны>*, ей жертвуют собою поминутно ремесленники и мастеровые, с радостью принимая от ксендза благословение на подвиг — зарезать москаля и идти на виселицу во имя отечества. Мастеровые, ремесленники и фабричные, а не хлопы, составляют, как по всему видно, главный материал, которым располагают шляхта и ксендзы, ведущие против нас войну, их *chair à canon*²⁹. Вещь понятная. Хотя фабричные и ремесленники родные братья земледельцам, но расстояние между ними огромное: они уже не хлопы, а напротив, отделились от хлопов и получили право признавать себя *обывателями* и *панами*. Это новобранцы, прозелиты нового для них мира, мира исторических преданий и патриотических стремлений старой шляхетской Речи Посполитой. Кто же может быть склоннее к фанатизму и исступлению всякого рода, чем подобные прозелиты? Вот в этом-то я и нахожу самую ужасную сторону положения Польши, что масса, составляющая материальную основу и сущность, так сказать, нации, не имеет и не может найти себе никакого сознательного выражения; что каждая личность, коль

скоро она выделяется из народной среды, уже не принадлежит ей, а иному, чуждому, живущему в прошедшем мире. Вот почему только посторонняя сила может вывести польскую народную массу из забвения и призвать ее к участию в общественной и политической деятельности. В польской же среде сельский народ никогда, положительно никогда, не получил бы самостоятельного голоса, никогда не вышел бы из пассивной роли. В других странах, где высшие аристократические классы также отчуждались от народа, народ находит, по крайней мере, в своем сельском духовенстве верные органы и центры, около которых может группироваться пробуждающаяся в нем сознательная общественная деятельность: так в нашем Западном крае, так в русской или восточной части Галиции, и разных славянских землях Австрии и Турции. В Польше и этого нет. Подобно тому, как католическая церковь была одним из двух главных факторов исторической жизни старой Польши (другим фактором была идея рыцарства), так точно и теперь католический священник есть неизменный собрат шляхтича. Отношения в Польше таковы, что крестьянская масса, предоставленная самой себе, не в состоянии проникнуть в общественную жизнь, в историческую деятельность Польши. И только по безмолвным фактам узнаем мы, что польская крестьянская масса сама по себе чужда общественным идеям и стремлениям, выражаемым во имя целой польской нации исключительно *обывательскими* классами, чужда *обывательскому* патриотизму и ненависти к Москве, *обывательским* притязаниям на восстановление старой Польши. Если бы кто не доверял еще примеру Царства Польского, то пусть он взглянет на западную Галицию, населенную чистым польским племенем. Положим, что там восстание простого народа против панов в 1846 году может быть объяснено влиянием существовавшего тогда в Галиции крепостного права и подстрекательствами Австрийских властей. Но с 1848 года крепостное право уничтожено. Что же мы видим в настоящее время? Галицийские паны и шляхта с горожанами собирают экспедиции на помощь восставшим в Царстве Польском. Экспедиции эти направляются против русских; их

цель — восстановление старой Польши. Казалось бы, эти экспедиции ничем не нарушают интересов польского простонародья в Галиции; напротив, оно, если бы и не хотело рисковать деятельным в них участием, то, по крайней мере, должно бы было, по-видимому, желать им успеха; ведь это простонародье — все же люди польского племени и языка, а дело, о котором идет речь, польское дело. Между тем мы знаем из газет, как усердно польские крестьяне в Галиции противодействуют экспедициям, идущим избавлять Польшу от «московского наезда». Поминутно они задерживают повстанцев и выдают их австрийским властям, заставляя этих последних оказывать, таким образом, России большее содействие, нежели они, быть может, того хотели бы сами. Мало того, в конце минувшего лета (1863 г.) крестьяне польских деревень под самым Краковом, т. е. в самом сердце старой Польши, вдруг поднялись и устроили настоящую травлю на повстанцев: вследствие чего и не удалась в то время какая-то экспедиция, собиравшаяся перейти нашу границу в окрестностях Кракова, а в свою очередь, крестьяне этих деревень, отправившись на другой день в Краков на рынок, подверглись там побоям со стороны горожан, сочувствующих, как следует, восстанию. Этот факт был описан, с горькими нареканиями на крестьян, в газетах, самых преданных польскому делу. Наконец, из газет известно также, что в западной Галиции, вследствие движения тамошней шляхты против России, проявились в среде польского крестьянства симптомы расположения, угрожавшего жизни и безопасности шляхетского сословия, так что австрийское правительство должно было принять против этого предупредительные меры. Конечно, нельзя предполагать в польском простонародье Галиции какое-нибудь желание сделать пользу России. Зато тем более ярко рисуется в этих фактах не только несочувствие, но положительная антипатия польского простонародья к одушевляющей все польское *обывательство* идее восстановления старого польского государства. Подобное фактическое свидетельство полного раздвоения между польским простонародьем и *обывательскими* классами кажется убедительнее всяких доводов.

При таких отношениях между польским простонародьем и обывательскими классами наша власть в Царстве Польском едва ли может считаться случайностью или простым грубым фактом материальной победы, одержанной одним племенем над другим. Кажется, что наша власть в Польше имеет свое непосредственное историческое призвание в отношении к развитию самой польской жизни. Пособить польскому крестьянству, вывести его из апатии, дать ему голос в стране — вот, по видимому, прямая задача наша в Царстве Польском. Я думаю, что мы должны смотреть на крестьянский вопрос в Польше не только с эгоистической точки зрения наших собственных, русских интересов, не только как на средство приобрести в Польше точку опоры против партии противников; мы должны видеть в нем и историческую задачу России в отношении к самой Польше, к интересам ее будущности, к ее собственным пользам. Если правда, что старый исторически организм Польши с ее шляхетскими идеями и стремлениями сделался несостоятельным и находится в разложении (а в этом, кажется, нет никакого сомнения); если правда, что бессознательная масса польского крестьянства не в силах, сама по себе, высвободиться из-под влияния этого разлагающегося организма для обновления польской жизни (а и это кажется верным), — то в таком случае история привела нас в Польшу не даром. Русская власть может сделать для польского крестьянства то, чего никогда не сделало бы польское *обывательство* и чего польское крестьянство никогда не достигло бы само по себе. Я вовсе не обвиняю польских помещиков в эгоистическом желании мешать улучшению участи зависящих от них крестьян; напротив, я знаю, что есть в числе их люди, одушевленные самым искренним сожалением об исторической несправедливости Польши к ее крестьянству, самым пламенным желанием загладить эту вину. Но все, что поляки могли бы сделать в этом смысле, делалось бы в духе старого польского шляхетства, по направлению, указанному знаменитою конституцией 3 мая, которая недаром признается поляками прототипом их либерализма к простому народу. Конституция 3 мая 1791 года, как

известно, хотела искупить грехи старой Польши относительно народа — открытием широкого доступа низшим классам в шляхетское сословие, постепенным *ушляхетнением* всего польского народа. Иначе быть не может с той точки зрения, которая в польском шляхетстве полагает идеал совершенства и высшую цель своего народа; и это стремление ввести простой народ в шляхетскую сферу проглядывает, со времени неудавшейся Конституции 3 мая 1791 года, во всех идеях польских либералов относительно будущей роли простого польского народа, даже в самом крайнем представителе польских демагогов, в Мерославском³⁰. Но, признавая даже такие стремления в известных личностях вполне бескорыстными и отдавая в этом случае справедливость их благородству, мы должны сказать, что они окончательно убили бы будущность польского народа: это разрушило бы всякую самобытность в польском крестьянстве, уничтожило бы в Польше возможные зародыши новой исторической жизни. Шляхетская стихия почерпнула бы, конечно, новые силы, поглотив в себе массу крестьян, но таким образом продолжалась бы только агония старого разлагающегося организма. Для обновления нужно не то, чтобы крестьянство вступило в общественную сферу *обывательских* классов, а напротив, чтобы крестьянство могло получить самостоятельное развитие, самостоятельное влияние на польскую жизнь. Вот почему мы вправе приветствовать с особенною радостью предположение об устранении всех теперешних *войтов гмин* (сельских старшин), которые, как и следовало ожидать, принадлежат к шляхетскому сословию, и о замене их выборными. Но этого мало. При теперешнем состоянии польской жизни всякая личность, выделяющаяся из среды крестьянства, подчиняется тотчас, как я уже заметил выше, духу шляхетства, метит в *обыватели*, и таким образом не было бы ничего удивительного, если бы новые войты гмин, хотя выбранные крестьянами из их собственной среды, через несколько времени явились с характером и стремлениями настоящих *обывателей*. Равным образом, материальное обеспечение крестьян, наделение их землею, составляющее,

разумеется, первое и необходимейшее действие русской власти в Царстве Польском, *conditio sine qua non*³¹ какого бы то ни было обновления в польской жизни, — одно, само по себе, еще недостаточно. Необходимо, чтобы вместе с тем упрочена была и внутренняя крепость крестьянского быта, чтобы предупрежден был для отдельных личностей соблазн перехода в сферу *обывательства*. Для этого представляется только одно средство: поставить крестьянские *общины* в Польше на такую высоту, дать им такую самостоятельность и такие права, чтобы каждый член крестьянской общины дорожил тем, что он принадлежит ей, чтобы не выгодно было оставлять общину для изолированного положения городского пролетария, хотя бы с ними соединялся титул *пана* и *обывателя*. Разумеется, об экономической общине в Польше и думать нечего, но есть, кажется, все задатки для общины административной и политической. Не так еще давно многие писатели твердили у нас, что и экономическая община создана в России правительственной властью. Теперь приходится желать, чтобы правительственная власть создала общину в Польше. Конечно, лучше бы было, если бы это могло совершиться само собою, внутренним развитием жизни, а не правительственной властью. Но что делать, когда польская жизнь, сама по себе, не только не в состоянии создать крестьянскую общину, а напротив, может лишь разрушать, все более и более, существующие еще в стране зачатки ее. При таком положении нужно вмешательство посторонней силы, и эту-то постороннюю силу составляет в Польше русская правительственная власть. Ее призвание в Польше, по моему мнению, — поднять крестьянство, дать ему независимость материальную наделением землею не только хозяев, но всех, без исключения, земледельцев (батраков и т. д.), и открыть крестьянству самостоятельное участие в общественной жизни страны посредством крепкой организации крестьянских общин. Главная трудность в этом отношении будет состоять, конечно, не столько в постановлении законодательством того, что нужно для такого дела, сколько в исполнении его на месте, во всех селах и деревнях Царства

Польского. Надежных исполнителей в польском чиновничестве мы, очевидно, не найдем: все оно принадлежит к шляхетскому классу, и смотрело бы на дело именно с той точки зрения, с которой мы обязаны сдвинуть Польшу; а некоторые могли бы даже преднамеренно вредить нашим мерам и исказить их в исполнении. По-видимому, не осталось бы другого средства, как обратиться к поверочным комиссиям, действующим в западных губерниях, и направить лучшие из них в Царство Польское, коль скоро он исполнят свое поручение в пределах России.

Но уничтожим ли мы тем, что может быть сделано для польского крестьянства, противодействие польской шляхты, горожан и духовенства, нашему владычеству? Разрешим ли мы то, что называется польским вопросом? Нисколько. Если польским вопросом называется антагонизм против России высших слоев польской нации, или польского обывательства, польской интеллигенции, то этот вопрос разрешен быть не может: ибо он истекает из принципов непримиримых, из требований, которые никогда не будут удовлетворены. Этот вопрос не будет разрешен; но время его упразднит, и от нас собственно зависит, чтобы это случилось скоро или не скоро. Польский вопрос будет упразднен, когда, с одной стороны, польская народность утратит господство, не только материальное, но и нравственное, над народностью русскою и литовскою в нашем Западном крае и когда, с другой стороны, устойчивая сила крестьянских общин в Царстве Польском переработает своим влиянием старые идеи польского обывательства.

А до тех пор, это нам надобно сказать себе наперед, власть наша над Польшею не перестанет носить на себе характер насилия. Серьезного, действительного примирения с польским обывательством, пока оно не утратит надежд на возвращение западнорусских земель и пока не переродится под влиянием крестьянских общин, быть не может. Но и в отношении к обывательству мы можем сделать одно великое дело. Я говорю о просвещении. Как мы погрешили перед польским крестьянством, не воспользовавшись 30-летним миром, чтобы сделать

для него то, что приходится делать теперь, среди неустройства и борьбы, так точно погрели мы и перед всеми прочими классами польского общества, закрывая или затрудняя им доступ к высшему образованию. В ослеплении своем мы думали, что поляк малообразованный есть враг менее опасный, чем просвещенный поляк. Давно ли восстановлен в Варшаве университет? А сколько времени в самой столице Царства не было даже высших классов гимназического курса? Давно ли считали нужным заменять в Польше основательность классического образования поверхностностью кое-каких реальных и технических сведений? Мы не понимали, что именно враг опасных для нас польских идей и стремлений есть наука и просвещение, что эти идеи и стремления, будучи основаны на религиозном фанатизме и исторической неправде или ошибке, принуждены либо игнорировать выводы науки, либо исказить их. Недаром замечательнейший философ польский, Трентовский, явился вместе с тем самым горьким обличителем бывшей Речи Посполитой и ее отношений к русскому народу. Недаром людям, которые, как Лукашевич, вздумают серьезно и с ученым беспристрастием разрабатывать какие-нибудь исторические вопросы, касающиеся Польши, хотя бы вопросы эти относились к XVI веку, приходится печатно защищаться пред своими соотечественниками от самых странных обвинений. И с другой стороны, недаром те, которым захочется подкреплять какими-нибудь учеными доводами польские притязания, вынуждены писать явную фальшь, вроде, например, сочинений известного Духинского³², где автор рассчитывает единственно на невежество публики. Впрочем, настоящие события в Польше доказывают с достаточною ясностью, что самые злые противники наши между поляками люди или полуобразованные, или вовсе невежественные. С поляком основательно и серьезно образованным мы можем еще столкнуться; полуобразованный или вовсе невежественный обыватель будет всегда игрушкой людей, которые захотят фанатизировать его религиозную и патриотическую ненависть к москалям. Всякое правительство, коль скоро оно берет в свои руки общественное образование,

с тем вместе принимает на себя обязательство содействовать ему всеми своими силами: это для него долг совести перед народом. Но в Польше это для нас даже более, чем долг совести; наша прямая политическая задача для нашей собственной пользы — развивать в этой стране всеми средствами серьезное, основательное научное образование. Прежняя система имела в этом отношении, между прочими, очень важный, по моему мнению, недостаток. Мы опасались скопления юношей в Варшаве и отправляли их в русские университеты; туда же обращали мы поляков, уроженцев западных губерний, не допуская им ехать учиться в Польшу. Конечно, при слабом управлении и при дурной полиции значительное число молодежи в столице Царства Польского может подать повод к неприятным для нас демонстрациям и т. п.; но мне кажется, что от нас зависит предупреждать их, и впрочем, всякие приключения такого рода совершенные пустяки в сравнении с положительным вредом, происходящим от искусственного удаления польской учащейся молодежи из центра страны. Пусть поляки отправляются добровольно слушать лекции в наших университетах; чем больше будет таких охотников, тем лучше. Но когда мы насильно заставляем поляка учиться в Москве или Петербурге и мешаем ему ехать в Варшаву, то мы тем самым внушаем ему недоверие к преподаваемой у нас науке. Он не может не сказать себе: «Должно быть, в науке, как ее преподают в Петербурге и Москве, кроются какие-нибудь правительственные расчеты: иначе зачем заставлять меня учиться непременно там, а не у себя дома?» Вот почему русское университетское преподавание получает так мало влияния на поляков и оказывается вообще так мало способным внушать им серьезную любовь к науке. Прибавим еще другую вредную сторону этой системы. Поляк, уроженец Литвы или Украины, желал бы ехать в польский университет; мы ему велим отправляться в русский. Неужели он от этого обрусееет, неужели его польский патриотизм ослабнет? Напротив: он является в Москву или Петербург в некотором смысле изгнанником, а в изгнании, как известно, растут мечты, которые на родной почве разбиваются

о живую действительность. Замечают, что лучшее средство излечить поляка из западных губерний от мечтательных идей о великой, идеальной Польше — послать его в малую действительную Польшу, т. е. в Царство Польское, а мы, вместо того, отправляем его еще дальше от родной его почвы, в русскую среду, где, окруженный чужими, он должен еще более сосредоточиться в исключительности своих национальных идей.

Я указал те два предмета, которые составляют, как мне кажется, существеннейшую задачу нашу в Царстве Польском. Наша обязанность там — и для нашей собственной пользы, и для блага польской нации — доставить самостоятельность польскому крестьянству и употребить все усилия для распространения в Польше серьезного научного образования. Эти вопросы несравненно важнее всяких вопросов о политическом устройстве Царства. Никакое политическое устройство, никакая система управления не может удовлетворить поляков; польский вопрос, как я сказал, неразрешим никакими политическими мерами, польский вопрос может быть только упразднен, и упразднить его могут только социальные средства.

СПб. 4 декабря 1863

ЛИТВА И ЖМУДЬ

Историческая связь литовского племени с русским народом. — Отношение литовского племени к славянскому. — Численность литовцев. — Кого надо разуметь под именем литвинов? — Язык литовский. — Верования и предания литвинов. — Важность изучения литовского языка и народности. — Причины отчуждения Литвы от России. — Литовское племя в Пруссии. — Труды немцев и поляков для литовского народа. — Литва под властью России. — Литература литовская. — Задача России относительно религиозного и умственного развития литовского народа.

Со времени последнего польского восстания 1863 — 1864 годов, в наших газетах и журналах довольно часто попадаются слова: жмудь, жмудяки, литовские крестьяне и т. п. Едва ли приходилось когда-либо русской публике слышать столько об этом бедном, одиноком, загадочном племени, судьба которого так давно связана с судьбами русской земли. Но обратим ли мы действительно серьезное внимание на литовское племя? Или оно, на минуту выведенное перед нами на сцену польским восстанием, снова скроется в прежней своей неизвестности, заслоненное от наших глаз польским шляхетством и российским чиновничеством?

Да, судьба литовского племени издавна связана с судьбами русской земли. Она связана со времени Ярослава, когда Литва платила русским князьям дань вениками и лыками; она связана так тесно, что история земли русской не может быть

рассказана без истории Литвы. И, наконец, уже семьдесят лет огромное большинство литовского племени состоит непосредственно под русским управлением. Племя это, в своих двух ветвях, литве в тесном смысле и жмуди, составляет, как известно, всю туземную массу населения Ковенской губернии и трех северо-западных уездов Виленской, Троцкого, Виленского и Свенцянского, распространяясь и на часть уездов Лидского и Ошмянского. Численность этого литовского и жмудского населения представляет цифру довольно почтенную: 1 367 000, по данным, приводимым в атласе г. Батюшкова. Да сверх того, литовское племя, в числе 185 000 душ¹, занимает два уезда Августовской губернии, Мариампольский и Кальварийский, т. е. северную оконечность Царства Польского². Таким образом, под властью России состоит более полутора миллиона литвинов и жмуди, или *девять десятых* всего литовского народа; только одна десятая (около 150 000) принадлежит Пруссии. Если кого должно озабочивать положение литовского племени, если кому нужно с ним познакомиться и привязать его к себе, так это России. Эти полтора миллиона людей особого племени, своебытного, имеющего свой язык, свои обычаи, свой оригинальный тип и характер, живут у нас не где-нибудь за горами или в безвестных тундрах; они тут на виду перед нами, на большой дороге нашей в Западную Европу, на берегу важнейшего для нас моря, между Русью и Польшею, пятьсот лет тяжущимися о том — чья должна быть эта Литва, неспособная жить отдельно от Руси или Польши и, однако, давшая некогда перевес одной из них над другою. Но независимо от практического значения вопроса, Литва, с ее своеобразным народонаселением, с ее замечательным языком, должна сама по себе привлечь на себя внимание русских. В самом деле, литовское племя представляет столько любопытно-го, столько важного для многих отраслей науки, что равнодушные к нему было бы непростительно, даже с точки зрения теоретического знания: интерес науки идет тут рука об руку с интересом общественным и политическим. Но мы, довольные тем, что о литовском племени писали немцы, мы брали о нем,

когда было необходимо, кое-какие сведения из немецких книг; а если хотели предпринять что-нибудь сами для обогащения науки новыми данными, то скорее отправлялись изучать самоедов и бурят, чем литву: можно бы подумать, что у нас установилось, с голоса Западной Европы, верование, будто наше особливое, исключительное призвание в науке — знакомить мир с племенами отдаленного севера и центра Азии, малодоступными западным исследователям. Так, мы идем работать для науки на север и восток (Боже сохрани от мысли умалить значение и важность этих трудов!); а что на запад от нас, к тому мы как будто боимся прикоснуться, словно пугаясь мысли зайти в чужое поле. Небольшие статьи гг. Микуцкого и Юшкевича, двух природных литвинов, о литовском языке, вот все, чем ограничилась пока деятельность нашей науки по этой части. Статьи прекрасные, и мы охотнее всякого другого готовы ценить их; но, к сожалению, эти статьи у нас едва ли не единственные в своем роде.

Чтобы не утомлять наших читателей, мы здесь только в самых кратких словах, и единственно для людей, незнакомых с предметом, укажем на важность литовского народа в чисто научном отношении. Но прежде всего, для избежания всяких недоразумений, согласимся в выражениях. Мы просим заметить, что во всей этой статье речь идет о Литве, литовском крае, литовском народе *единственно* в тесном или собственном, т. е. *этнографическом* смысле. В общежитии мы часто называем Литвою край более обширный, получивший это наименование вследствие исторических обстоятельств; литовскими губерниями мы называем, по исторической памяти, но совершенно неправильно в смысле этнографическом, кроме губерний Виленской и Ковенской, также Гродненскую и Минскую и придаем жителям этих двух последних губерний, белорусам и даже полякам, название литовцев или литвинов, которое должно принадлежать собственно только жителям Виленской, Ковенской и Августовской губерний (также как и части Восточной Пруссии), составляющим особую своеобразную литовскую народность, говорящим на своем особом литовском языке. Именно

только этот народ разумеем мы здесь под именем литвинов, только его имеем мы в виду. Мы устраним латышей, которые, хотя по происхождению и языку находятся в близком родстве с литвою, однако составляют отдельный от нее народ. Но, с другой стороны, когда мы говорим о Литве, литовском народе и языке, то разумеем вместе и жмудь (или нижних литвинов), и так называемых верхних литвинов, которым по преимуществу присваивается, в народном употреблении, имя литвинов (летувей). Жмудяки и эти верхние литвины или литвины по преимуществу, отличаясь друг от друга лишь некоторыми оттенками, составляют один народ³. Для пояснения этого примером можно сказать, что литва и латыши, образуя два родственных, но отдельных народа, относятся друг к другу как в славянской семье русские и поляки или русские и болгары; а верхние литвины (калненай) и жмудь (жемайчей) составляют один народный организм, так же, как великорусы и белорусы или как великополяне и мазуры.

Итак, прежде чем обратиться к практической стороне дела, мы хотели сказать несколько слов о значении литовского племени относительно науки. Между науками, создавшимися в новейшее время, с поразительною быстротою развивается и приводит к результатам все более и более обильным, сравнительная лингвистика, которую сопровождает другая, еще младшая наука, сравнительная мифология. Они составляют как бы геологию и палеонтологию человечества. Точно также, как геология и палеонтология открыли бесконечную историю земного шара, предшествовавшую роду людскому, так сравнительная лингвистика и мифология воскрешают перед нами человечество в века, предшествовавшие всем его писанным памятникам, его быт, его верования, постепенное разветвление его на племена. Для нас наиболее любопытна, и до сих пор преимущественно разработана, часть этой новозданной науки, раскрывающая доисторическую жизнь нашего арийского поколения, того поколения, к которому принадлежим мы все, европейцы⁴. Благодаря сравнительной лингвистике и мифологии мы теперь проникаем в древнюю азиатскую родину нашу,

где предки греков, албанцев, италийцев, кельтов, немцев, литовцев, славян составляли один народ с предками индусов и персов; мы восстанавливаем древний общий язык, древний пастушеский, но уже не совсем чуждый земледелия, быт этого арийского народа, когда он еще совмещал в себе многочисленные семьи, которые, расселившись в Европе и части Азии, стали во главе человечества и все более и более овладевают пространством земного шара. А между всеми арийскими племенами Европы, племя литовское оказывается, судя по языку, наиболее близким к своему первоначальному доисторическому типу. Нынешняя речь литовского крестьянина во многом более первообразна, чем язык древнейшего памятника Европы, чем язык Гомера. Она значительно оскудела, но менее всех изменилась в коренных звуках и формах: это обломок старины доисторической между молодыми поколениями языков, подобно тому, как среди тех же литовских лесов уцелел, в зубре, единственный представитель доисторического царства европейских животных. Зато каким чувством благоговения немецкие ученые относятся к языку этого бедного, темного, забитого народа! Для нас же, и вообще для всего славянского ученого мира, литовский язык особенно важен еще потому, что он стоит в ближайшей связи с славянской речью. Было время, когда славянское племя составляло с литовским одно целое в Европе, уже после того, как это общее славяно-литовское племя отделилось от германского, греческого, иранского и т. д. Но затем, когда эта восточноевропейская или славяно-литовская ветвь арийского поколения распалась на два особых племени, славянское и литовское, то славяне стали развивать свой язык по новым началам, им исключительно свойственным, а литовский остался гораздо более при старине. Без литовского языка научное исследование славянского невозможно, немислимо, и одна из главнейших причин тех ошибок, в которые впадали некоторые наши ученые, рассуждавшие о законах и свойствах славянской речи, состоит именно в том, что они не брали в соображение фактов, представляемых языком литовским. Но, независимо от языка, какой неоцененный клад должен пред-

ставлять литовский народ в своих верованиях и преданиях! Вспомним только, что литовский народ последний между арийскими племенами Европы принял христианство; вспомним, что еще в начале XVII века польский писатель Ласицкий говорил о поклонении жмудяков разным языческим богам как о факте ему современном. Вспомним, как развита была у литвинов в язычестве религиозная стихия, и мы вправе будем заключить а priori, что ни один народ в Европе не может быть богаче остатками древних дохристианских верований. То небольшое, что собрано по этой части современными польскими авторами, вполне подтверждает эту мысль, приведу только один пример. По свидетельству польского писателя⁵, литовское простонародье имеет о происхождении разных птиц, например, кукушки, соловья, ласточки, аиста и др., мифические предания, точь-в-точь соответствующие метаморфозам в языческих сказаниях Греции; оно, подобно древним эллинам и римлянам, кладет судьбу каждого человека в руки Парк, которые прядут его жизнь, с тою только разницею, что вместо трех Парк литвин признает семь «властительных богинь» (девос валдитоес). Одна прядет нити жизни человеческой, другая их снует, третья тклет из них полотно, четвертая, злая прелестница, вкрадчивыми словами и песнями сбивает сестер, чтобы портить им работу, а пятая оберегает ткань от ее коварства; шестая рассекает ткань жизни, и, наконец, седьмая, вымыв отрезанную ткань, подает ее чистою верховному Богу. Как не пожелать, чтобы эти сокровища литовских сказаний и поверий собирались, пока их не унесут с собою в гроб отживающие поколения, чтобы они записывались с тою полнотою и совестливою тщательностью, каких требует дело науки. Наконец, нельзя не быть уверенным, что и самый быт литовского простонародья в разных своих отличительных чертах хранит много такого, что принадлежит отдаленнейшей древности арийского племени и заслуживает самого подробного изучения. В настоящее время настает крайний срок для подобных трудов. Быт литовского простонародья вступает в период совершенного переворота; крестьянская реформа выводит его из вековой неподвижности; с новою, лучшею долею,

открывающеюся литовским крестьянам, с новым духом свободы и новыми потребностями и заботами житейскими будут приходиться в забвение стародавние понятия и обычаи. То, что не будет теперь замечено, записано, сохранено для науки, то скоро погибнет для нее невозвратно. В настоящее время множество русских приведены в самое близкое, ежедневное соприкосновение с литовским простонародьем: мы говорим о русских членах мировых учреждений в литовском крае, о русских чиновниках, которыми замещается там польская администрация, о молодых офицерах, квартирующих в литовских деревнях. Неужели между ними не найдется ни одного деятеля для науки? Для этого не требуется многого. Русские, слава Богу, легко учатся чужим языкам, а к тому же литовский язык, изо всех иностранных языков (не считая, разумеется, славянских наречий), есть, бесспорно, самый легкий для русского; и конечно, многие из русских, пожив несколько времени в Литве и имея там дело с народом, без особенных усилий и, быть может, сами того не замечая, выучиваются говорить по-литовски. Нужно только, чтобы люди, сочувствующие делу науки, воспользовались сознательно теперешним случайным своим знанием литовского языка. Пусть они перестанут смотреть на это знание как на нечто неважное, а напротив, стараются развить его настолько, чтобы быть в состоянии не только разговаривать с литовским крестьянином о предметах обыденной жизни, но проникнуть в его быт, подметить его поверья, услышать и понять его песнь и сказку, узнать его космогонические представления и все это записать его подлинными словами. Нужды нет, что иное останется, быть может, неясным самому собирателю: в литовских народных песнях есть много такого старинного, что сам народ, повторяя древние слова, уже не отдает себе отчета в их значении. Ученая критика разгадает эти загадки; на месте же от русских деятелей требуется в этом отношении только одно: добросовестное собирание народных текстов (песен, сказок, преданий, рассказов и рассуждений о явлениях природы, о первых людях, о старине литовской, о старых обычаях и т. д.) в их подлинной форме, без малей-

шей предзаданной мысли, без всяких прикрас и вольностей, без всякого мудрствования, что, к несчастью, составляет один из существеннейших недостатков большей части польских сочинений, из которых теперь приходится выбирать такого рода материалы. Несколько добросовестных тружеников, которые стали бы, таким образом, во время своих досугов, заниматься собиранием остатков литовской старины, хранящихся еще в народной памяти и народной жизни, оказали бы неоцененную услугу многим ветвям науки.

Но этим мы далеко не удовлетворили бы тому, чего требует от нас литовский край. России необходимы для литовского края не только ученые исследователи, но еще более необходимы практические деятели. Их надобно готовить так, чтобы они могли являться в среду литовского народа с достаточным запасом предварительных сведений.

В наших университетах существуют кафедры много-различных языков и наречий. Охотники могут выучиться, по крайней мере, в Петербургском университете, языку калмыцкому и бурятскому. Мы ничего не говорим в осуждение языков бурятского и калмыцкого, но думаем, что литовское племя столь же важно, если не важнее, для России, чем калмыки и буряты, и что следовало бы дать русским студентам возможность учиться по-литовски. Прямая практическая польза столько же, сколько интерес науки, требуют, чтобы в наших университетах, или по крайней мере в Московском, Петербургском и Киевском, учреждены были литовские кафедры, и, казалось бы, легко пополнить этот важный недостаток.

Древнейшие связи литовского народа были с русскими; через русский мир проникли к нему первые начала гражданственности, первые лучи христианства. Литовский народ льнул, так сказать, к русскому миру. Даже в то время, когда он господствовал над обширными русскими областями, он не только не утеснял русской народности, а напротив, охотно себе ее усваивал, давал русскому языку права языка официального в своей собственной стране. Но Польша успела на несколько

столетий прервать эту древнюю связь, истекавшую из самой природы вещей, из самого положения литовского края. Распространенная Польшею между литвинами католическая религия стала между литовским народом и народом русским, распространенное Польшею в литовском крае шляхетство заслонило литовский народ от русского правительства даже тогда, когда край этот вновь вошел в состав русского государства. Таким образом, произошло это долгое отчуждение наше от литовского народа, это печальное наше к нему невнимание.

Невелика, мы знаем, та доля литовского края, которая принадлежит Пруссии. В ее владениях считается, как указано выше, не более 150 000 литвинов⁶, т. е. лишь одна десятая всего литовского народа. И надобно заметить, что там, в Пруссии, литовский элемент находится уже в состоянии вымирающей народности: литвины выучиваются немецкому языку и, мало-помалу забывая свой, сливаются с немцами. Несмотря на то, все, что европейская наука знает о литвинах и литовском языке, все, что по этой части послужило предметом ее изысканий, почерпнуто из этого литовского уголка, принадлежащего Пруссии. Мало того: почти все труды, посвященные непосредственной пользе самого литовского народа, распространению в нем грамотности и образования, литературному развитию его языка, предпринимались для этих 150 000 литвинов в Пруссии, для одной этой малой и вымирающей частицы литовского племени.

Еще в начале прошлого столетия первый король прусский, Фридрих-Вильгельм I, обратил внимание на необходимость воспользоваться литовским языком для народного образования в подвластном ему литовском крае и велел учредить в литовских селах элементарные школы, где учили детей на литовском языке, знакомя их впрочем, при его посредстве, с языком немецким. В то же время назначен был преподаватель литовского языка в Тильзитском областном училище. Вслед за тем, в 1723 году, при Кенигсбергском университете открыта была литовская *семинария*, т. е. классы для приготовления в литовском языке молодых людей, предназначавшихся к духовной и учительской деятельности между литовским народом. Эта литовская семи-

нария оказала наибольшие услуги разработке литовского языка и способствовала тому, что грамотность на литовском языке распространилась почти повсеместно между литвинами, прусскими подданными⁷. Сделаны были литовские переводы богослужебных книг протестантских; литовская библия напечатана была, в первый раз, в 1735 году⁸. В Пруссии явился литовский поэт Доналейтис; его эпическое стихотворение «Четыре времени года», напечатанное в 1818 году (уже после смерти автора), составляет, по словам знатоков, первоклассное художественное произведение и изображает с удивительною верностью всю жизнь и весь быт литовского поселянина.

Между тем другие трудились ученым образом над литовским языком. Ругиг, а потом Мильке, издали литовские словари и грамматики. Какую важность учена Германия приписывала такого рода трудам, показывает, между прочим, то, что знаменитый Кант не почел ниже своего достоинства написать предисловие к литовской грамматике (напечатанной в 1800 г.), которую составил Мильке, скромный *кантор* (некто вроде дьячка) одного сельского прихода в прусской Литве. Некоторые из читателей полюбопытствуют, может быть, узнать, какое это предисловие к литовской грамматике сочинил отец новейшей философии. Вот оно: «Что прусский литвин вполне заслуживает сохранения особенностей его характера и чистоты его языка, в школах и церквях, — так как именно язык составляет главное средство к образованию и поддержанию народного характера, — это явствует из помещенного здесь⁹ описания свойств литовского народа. Я прибавлю еще к этому описанию: что литвин более, чем соседние народы, далек от низкопоклонства, что он привык говорить со старшими тоном равенства и доверчивой откровенности; а люди, имеющие с ним дело, не принимают в дурную сторону такой фамильярности, не отрывают руки от его пожатия, потому что находят его готовым исполнить всякое справедливое требование. Литвину присуща гордость, чуждая всякого высокомерия и совершенно отличная от той, которая свойственна одной соседственной с ним нации¹⁰, коль скоро кто-нибудь в ее среде почувствует

себя знатнее других; лучше сказать, это в литвине не гордость, а чувство собственного достоинства, указывающее на мужество и вместе с тем служащее порукою в верности.

Но и независимо от пользы, какую государство может извлечь из содействия народа с таким характером, немаловажно для наук, в особенности для истории переселения народов, значение беспримесного языка племени стародавнего, ныне ограниченного тесными пределами и как бы изолированного; а потому и сохранение этого языка в его особенности имеет само по себе большую цену. Потому Бюшинг¹¹ сильно оплакивал раннюю смерть профессора Тунманна в Галле, посвятившего с чрезмерным усердием свои усилия изысканиям в этой части. Впрочем, вообще, хотя бы и нельзя было ожидать от какого-нибудь языка столько богатых данных для науки, однако для образования каждого племени в стране, какова, например, прусская Польша¹², важно пользоваться его языком в училищах и церковной проповеди, принимая за образец язык уже очищенный (как например, польский) или даже и такой, который употребляется вне пределов края¹³, и мало-помалу вводить его в употребление; ибо таким образом язык применялся бы лучше к особенностям населения и понятия становились бы просвещеннее».

Литовские деятели в Пруссии не переводились и в более близкое к нам время. Мы назовем только главных, труды которых занимают видное место в науке: таковы Реза, Куршат и Нессельман. Последний издал в 1851 году обширный словарь литовского языка. Наконец, даже *австрийское* правительство на свой счет отправило в Литву одного из первых европейских ученых в области лингвистики, профессора Шлейхера. Г. Шлейхер совершил это путешествие в 1852 году К сожалению, он не мог, или не счел удобным посетить литовский край в русской державе, и ограничил свои изыскания прусским уголком Литвы. Но и так плодом ученой поездки г. Шлейхера явилась подробная литовская грамматика и литовская хрестоматия, заключающая в себе выбор произведений литовского народного творчества, песен, пословиц, загадок и сказок.

И грамматика и хрестоматия составлены с ясностью взгляда и отчетливостью, свидетельствующими, что это дело исполнил первоклассный ученый. Немногие народы, даже несравненно более значительные, чем литовский, в состоянии представить о законах своего языка или относительно памятников народной словесности издание, которое могло бы поспорить достоинствами с тем, что имеет теперь народ литовский благодаря труду г. Шлейхера: и мы должны повторить еще раз, что этим, насколько дело касалось материальных средств исполнения, литовский народ обязан *австрийскому* правительству.

Все, до сих пор исчисленное нами, сделано, как мы сказали, немцами или природными литвинами в немецкой среде, для той *десятой доли* литовского народа, которая принадлежит Пруссии. К сожалению, литвины в Русской империи и в Царстве Польском почти не могут пользоваться теми умственными богатствами, который предлагаются их соплеменникам за границу (мы не говорим, разумеется, о грамматиках и словарях, которые издаются для немногих, и то более для иностранцев, чем для туземцев; мы говорим о книгах для народного чтения, для религиозного и умственного образования простого народа). Литвин в Пруссии протестант; в России и в Царстве Польском он (за немногими исключениями) католик. Литвин в Пруссии пишет немецкими буквами; в России и Царстве Польском латинскими (по польской методе правописания). Вследствие того, книги, по которым учатся и образуются литвины в Пруссии, остаются мертвою, а часто и отверженною, еретическою, грамотою для литвинов по сю сторону границы. Для них нужны особые труды.

То немногое, что сделано в их пользу, принадлежит полякам или туземцам с польским образованием.

Как ни была старая Польша по существу своих общественных начал исключительна в отношении ко всем подчинившимся ей народностям; как ни враждебно было католическое духовенство развитию народного образования и народной жизни, но надобно отдать справедливость и старой Польше, и ее духовенству, что они не оставляли вовсе без внимания ум-

ственные и духовные потребности бедного литовского просто-народья. Хотя мы знаем, что иезуиты в своих школах подвергали литовских мальчиков наказанию за простое употребление народного языка в разговоре¹⁴; однако мы встречаем и отрадные отступления от этой системы. Во многих случаях католическое духовенство учило простой народ в Литве сопровождать молитвами и песнями на родном языке непонятное ему богослужение; оно снабжало его, хотя и скудно, литовскими книгами религиозно-нравственного содержания. Такие издания появились уже в XVI столетии. В конце XVI века каноник Даукша¹⁵, в XVII веке иезуит Ширвид¹⁶ (издавший, между прочим, польско-латинско-литовский словарь) дали языку своего родного племени начала литературной обработки.

Когда литовский край перешел под власть России, то она не нарушила в нем прежнего порядка вещей. Вся духовная и умственная в нем деятельность продолжала, по-прежнему, исходить от образованных по-польски литвинов и преимущественно от католического духовенства. Первое место принадлежит, бесспорно, двум католическим епископам жмуди: князю Иосифу Гедройцу, скончавшемуся в 1838 году, и Матвею Волончевскому, ныне управляющему Жмудской католической епархией. Князь Гедройц, предпочитая пользу народа правилу своей церкви, не желающей делать Священное писание доступным мирянам, перевел и издал по-литовски (в 1816 г.) Новый Завет, посвятив это издание императору Александру I. Его преемник, епископ Волончевский (бывший тогда ректором Ворненской семинарии) не захотел ограничить литовского языка единственно сферою религиозного наставления народа. Он написал по-литовски обширное описание Жмудской епархии, историческое и статистическое (напечатано в двух томах, в Вильне, в 1848 г.). Впрочем, это не была первая попытка в таком роде. Литвины в России имели уже на своем языке светские сочинения. Достаточно поименовать басни Станевича (он же собирал народные песни), стихотворения Пашкевича (который, между прочим, перевел по-литовски *Виргилиеву Энеиду*: труд, кажется, ненапечатанный), песни Дроздовского, или по-

литовски Страделиса; переводы с польского Рупейки и Незабитовского; ученое сочинение Лаукиса о быте древних литвинов. О нескольких других мы не упоминаем.

Итак, литовский народ в России имеет на своем языке не только разные книги для религиозного и нравственного наставления, у него есть и небольшая литература.

Литовский народ в России исповедует католическую веру и находился с XV века под влиянием польской цивилизации; весьма естественно, что католическое духовенство и люди, образовавшиеся в духе польской цивилизации, принимали и принимают деятельное участие в трудах для религиозного и умственного развития литовского народа. Между ними являлись личности, одушевленные в этой деятельности искреннею и прямою любовью к литовскому народу, и мы можем только жалеть, что таких людей не было больше: потому что в общей сложности и за исключением этих отдельных личностей католическое духовенство и люди, образованные в духе польской цивилизации, были все-таки направляемы в своей деятельности между литовским народом посторонними побуждениями; деятельность эта не всегда исходила, — как в протестантской части Литвы, принадлежащей Пруссии, — из непосредственного желания удовлетворить умственным и нравственным потребностям литовского народа, и часто даже клонилась прямо к тому, чтобы упрочить над ним господство польских стихий.

Тем более обязаны мы подумать о том, чтобы образовательная и просветительная деятельность в литовском крае не оставалась монополией католического духовенства и поляков или деятелей, принадлежащих к польской цивилизации. Пусть они делают, сколько могут, для умственного и нравственного развития литовского народа: но эта работа не должна быть предоставлена им исключительно. Каждая страница, которую католический ксендз или мирянин, поляк или литвин с польским образованием, пишет для литовского народа, носит на себе печать католических и польских взглядов и убеждений: это в природе вещей, им нельзя и ставить этого в упрек. Но хорошо ли, что литовский народ может слышать только

одни католические и польские голоса? Хорошо ли со стороны русских, что они не заговорят с ним, не потрудятся и со своей стороны на его пользу? Как не пожелать, чтобы те православные священники, которые живут посреди литовского народа, которые имеют в числе своих прихожан людей, говорящих политовски, вспомнили предание своей церкви, заповедующей преподавать всем племенам слово Божие на их родном языке, и перевели православные богослужебные книги на литовский язык, чтобы они дали своей пастве в руки православный катехизис на литовском языке? В одной Ковенской губернии, населенной сплошь литвинами и жмудью, существуют, как видно из статистических сведений, 15 православных церквей и 2 православных монастыря; в литовских уездах Виленской губернии, Свенцяном, Троцком и Виленском, не считая г. Вильно, 17 православных церквей. Нельзя отговариваться тем, что большая часть тамошних православных великорусы и белорусы, в разные времена водворившиеся между литвинами; согласно исчислениям, помещенным в атласе Западного края по вероисповеданиям, оказывается, что между православными в Виленской и Ковенской губерниях 28 606 человек суть кровные литвины и жмудяки. Кроме того, можно предполагать, что и из русских многие, попавши в массу литовского народа, могли уже слиться с литвинами в языке и быте, но главное, эти кровные литвины и жмудяки православного исповедания, хотя бы их и было не более 28 606 человек, не должны же оставаться без внимания к их духовным нуждам; а для них славянская книга и славянское богослужение должны быть также мало понятны, как латинский breviар и латинская месса. Таким образом, в состоянии ли они будут противостоять римской пропаганде среди окружающего их католического населения, когда они в латинской церкви могут слышать, если не обедню, то по крайней мере гимны и проповеди в звуках родного языка? У нас для самоедов и бурят и для скольких инородческих племен переводятся книги, совершается богослужение на их языке: тем более следовало бы вспомнить про единоверцев наших литовского племени, про этот литовский народ, который

некогда был уже почти приобретен для православной церкви, про народ, давший древней Руси одного из славнейших ее святых и героев, спасителя Пскова?

Но и в светском отношении мы до сих пор слишком мало сделали, не говоря уже о том, чтобы приобрести нравственное влияние на литовский народ, а просто для того, чтобы ознакомиться с ним. Это было, конечно, естественным последствием прежнего порядка вещей во всем нашем Западном крае и, разумеется, в том числе и в литовской и жмудской стране; это было естественным последствием принципа крепостного права. Смотря на край с дворянской точки зрения, с точки зрения крепостного права, мы видели в литве только панов, т. е. частью природных поляков, частью туземцев, образованных в польском духе и которые, как в официальной жизни, так и при всяком постороннем человеке, признают себя за поляков и берегут свою литовскую народность для домашнего обихода, т. е. для сношений с крестьянами и немногие также для литературных досугов. Таким образом, мы находились в отношении к литовской народности *dans un cercle vicieux*¹⁷: крепостное право заставляло нас считать Литву за польский край; а считая Литву за польский край, мы и не ощущали нужды обращать внимание на литовскую народность, заниматься литовским языком и тем самым лишали себя средств освободиться от влияния польских взглядов и притязаний на Литву. Вследствие этого, мы даже не успели запастись самыми необходимыми, элементарными пособиями для непосредственного знакомства и сношений с литовским народом. Нет по-русски никакого сочинения о современном литовском народе, нет даже учебника литовского языка, нет даже русско-литовского словаря. Русский человек, приехавший в Литву, чиновник ли, учитель, военный или просто частный деятель, пожелал бы, например, узнать что-нибудь о литвинах, выучиться говорить с ними: он должен для этого сперва изучить польский язык, и тогда, через посредство польских изданий, может, пожалуй, приступить к ознакомлению с литвинами и их языком. Что удивительного, если до сих пор многие русские, поставленные в это положение, останав-

ливались на полупути, т. е. выучившись по-польски, смотрели на литвинов, как на поляков, объяснялись с ними на польском языке? А иной, чего доброго, готов был обругать дураком невежественного литовского мужика, который не понимает, когда ему говорят по-польски.

Но теперь, с уничтожением крепостного права, должны исчезнуть и эти последствия, которые оно принесло с собою в наших отношениях к литовскому народу. Россия теперь подала руку всем племенам, населяющим ее Западный край. Она подаст руку и литовскому племени. Пора это сделать после тех горьких событий, которые были результатом нашего прежнего отчуждения от него по милости крепостного права. Мы видели опять, как в 1831 году целые массы жмудяков и литвинов, сражающихся против нас под польскими знаменами; и кажется, не было в польских рядах более стойких и бесстрашных бойцов. За что же дрались эти жмудяки и литвины? За восстановление ли старой Польши? Но старая Польша была им чужая, хотя они и принадлежали к ней, и конечно, ничего в старой Польше, ни ее слава, ни ее трагический конец, не трогает их сердца. Или они дрались из сочувствия к полякам? Но они терпеть не могут польскую нацию. Литвин произносит имя ленкас почти с таким же чувством, каким сопровождается это же слово в его славянской форме, лях, у западнорусского простолюдина. Или, наконец, жмудь и литва восставали против нас за свою свободу? Но нет: они видели, что защищают дело своих панов, а пан не брат, говорит литовская пословица, и конечно, не от торжества панов могли они ждать себе освобождения. Нет, они дрались за поляков просто потому, что поляки, и в особенности духовенство, имели одни к ним доступ, одни с ними сносились непосредственно, могли взывать к их религиозным чувствам и, как им нужно было, рисовать им действия и намерения москалей — схизматиков. И таким-то образом, из народа, вовсе не причастного нашей тяжбе с поляками, мы, благодаря поддержке, которую мы оказывали принципу крепостного права, сделали им союзников, а себе врагов, дали вооружить против себя тысячи храбрых людей, которые ни за что, ни про что пошли

на смерть от наших пуль, дали поднять за польское дело целую губернию, где на миллион жителей статистика считает 30 тысяч поляков. Надобно, наконец, подумать посерьезнее о том, чего ждет от нас литовский народ и что мы должны сделать для того, чтобы такого рода кровавые недоразумения между им и нами не могли повториться.

Очевидно, что одна сторона задачи нашей в Литовском крае та же самая, как и во всех прочих частях западной России: освобождение крестьянского населения от власти и влияния польских панов, устройство администрации, которая служила бы России, а не польским интересам, земские учреждения, которые служили бы действительно органами народа, а не одного польского дворянства, и т. п.: вот эта общая сторона дела, которой мы здесь не намерены касаться, как выходящей из пределов нашей темы. Другая сторона задачи — специальная, обуславливаемая инородческим характером жмудского и литовского населения, тем, что оно нам чуждо по происхождению, языку и быту. И надобно сказать, что этот специальный инородческий характер литвы и жмуди не может не отозваться там заметным образом и на общей стороне нашего дела. Он отзовется большими затруднениями для русских деятелей, нежели в краях, населенных русским и православным народом. Среди литвинов и жмуди гораздо труднее будет отрешить крестьян от подчинения, если не материального, то нравственно-го, польским панам и дать литовскому краю местную администрацию, свободную от польских стихий и польских влияний: тут нам во многом помешает непонимание народного языка; помешает во многом и религия, дающая католическому духовенству в литовском крае такие сильные средства пропаганды, в интересах Польши. Еще труднее будет ввести в земские учреждения чисто народный, литовский элемент, так чтобы он стал к нам лицом к лицу, без польского посредничества. Все это может быть достигнуто только тогда, когда мы сами ознакомимся коротко с литовским народом и откроем литвинам пути к образованию самостоятельному, такие пути, которые не стали бы вести литвина, подымающегося выше простона-

родной массы, сквозь школу враждебных нам требований и предрассудков польской цивилизации. Мало того, что в некоторых университетах должны быть, как мы говорили выше, открыты кафедры литовского языка и что Россия должна всячески стараться иметь людей, способных сблизиться с литовским народом, не прибегая к драгоманам; необходимо, чтобы и литовский народ выставил деятелей, которые станут смотреть на дело прямо, с точки зрения практической пользы своего народа, а не под углом старых преданий Речи Посполитой. Мы не помышляем о сепаратизме, а напротив, безусловно его отвергаем. Но именно для того, чтобы в литовском народе не могло быть сепаратизма, первое и самое существенное условие — развитие в нем самосознания. Ибо литовская народность так мала и так вдавлена между тремя народностями — русскою, польскою и немецкою, что о самостоятельности она и помышлять не может; но в то же время литовское племя одно из самых упорных и своей историей доказало, до какой степени оно дорожит своим языком и своим бытом. Польская пропаганда пользовалась доселе его неразвитостью, отсутствием в нем национального сознания; только вследствие неразвитости литовского народа, отсутствия в нем национального сознания она могла воспламенять литвинов польскими идеями, вооружать их за польское дело. Сепаратизм в литовском крае может опираться только на господство польских стихий, на бездействие туземного народного элемента. Противодействовать сепаратизму в этой стране мы можем только развитием туземного народного элемента, который один будет в силах освободить литовский край от нравственного господства польских стихий. Надобно, чтобы литвин мог быть человеком образованным, не делаясь поляком; надобно, чтобы литовский народ, оставленный польским владычеством в невежестве и оцепенении, снова, как в старину, получал от русского мира и через его посредство доступ к просвещению, точно также, как он от России получает теперь материальную свободу и обеспечение. Мы делали в Литве уступку польскому элементу, учреждая в прежнее время классы польского языка в гимназиях и других

казенных училищах Виленского учебного округа. Если можно было делать в Литве подобную уступку языку незначительно по числу, пришлого и часто враждебного нам меньшинства, то не странно ли теперь отказывать в том же самом языке туземного населения? Разве мы в самом деле хотим считать литовскую народность за часть народности польской? Если мы долго будем считать ее такою, то, пожалуй, дождемся и того, что она в самом деле станет польскою. Тяжело вспомнить, что в течение многих лет литвин в Виленской и Ковенской губерниях, вступавший в наши училища, должен был учиться по-польски, а языку своего народа он не только не мог учиться, а поставлен был в необходимость позабыть его, если знание это не поддерживалось в нем посторонними, случайными обстоятельствами. Если такой порядок должен там остаться, то нечего нам думать о поддержке нашего дела в Литве народными силами, о противодействии польской пропаганде и польским притязаниям народными элементами! Напротив, мы сами продолжали бы оказывать этой пропаганде и этим притязаниям все зависящее от нас содействие.

Университетские кафедры литовского языка и введение его, в числе необходимых предметов преподавания, в казенные училища Виленской, Ковенской и Августовской губерний — вот, мы должны повторить, одно из лучших средств, чтобы приготовить людей, при посредстве которых литовский народ мог бы сблизиться с русскою жизнью, вступить с Россией в общественную и нравственную связь.

Само собою разумеется, что тотчас появились бы, вызванные потребностью, пособия для ознакомления с литвою и литовским языком. Мы были бы избавлены от необходимости прибегать к немецким учебникам для изучения литовского языка, к польским сочинениям для того, чтобы получить какое-нибудь понятие о литовском народе и его быте. В самом литовском племени пробудилась бы умственная деятельность с народным характером и в направлении, сочувственном России, вместо того, чтобы поглощаться, как в настоящее время, стихиями польскими и становиться орудием польской пропаганды.

Мы приходим теперь к самой важной стороне дела, предстоящего нам относительно литовской народности, именно к вопросу о том, чего требует от нас эта народность сама по себе. Тут, очевидно, самый существенный вопрос заключается в народном образовании. Мы все, конечно, желаем видеть в Западном крае возможно большее и скорейшее развитие народного образования на русском языке и в русском духе; мы желаем этого не только для пользы государственной, но столько же и для пользы самого западнорусского народа, приносившего такие жертвы, чтобы воссоздать свое единство с русскою землею. Но если легко и естественно учить народ не иначе, как по-русски в краях, населенных белорусами, наречие которых не представляет никакого существенного различия с нашим великорусским языком; если в краях, населенных малорусами, это возможно (возможно и необходимо, по мнению одних; возможно, хотя не совсем удобно, по мнению других, — но это для нас вопрос посторонний), — то в литовском крае было бы совершенно неестественно и невозможно, чтобы первоначальное преподавание в народных училищах производилось только по-русски. Ибо тут мы имеем дело не с частью русского народа, а с особым *инородческим* племенем: крестьянский мальчик в жмудском и литовском крае, призванный в школу, где прямо обратились бы к нему с русскою речью, не понимал бы ни единого слова. Очевидно, что тут языком первоначального преподавания должен быть непременно язык литовский, а русский язык — одним из предметов, которому должно учить мальчиков. Так, Пруссия, которая безусловно отвергает в первоначальном образовании все местные германские наречия, которая прямо вводит всякого немецкого мальчика, на каком бы наречии он ни говорил дома, в класс, где ему преподают на общем немецком языке, — эта же самая Пруссия в своем куске литовского края, как мы видели, установила элементарное преподавание по-литовски и, кроме того, сделала литовский язык одним из предметов обучения в Тильзитском среднем училище и в Кенигсбергском университете. Мы охотно указываем на пример Пруссии, как одной из просвещеннейших земель Европы, и потому, что она так же, как

мы, имеет дело с литовскою народностью. Для Пруссии точно так же, как и России, литовское племя — это не частная ветвь господствующего народа; это племя чужое, которое не понимает вовсе общего языка страны и в котором каждый человек должен сперва получить образование, прежде чем он выучится этому языку. Правительство прусское понимало это уже полтора столетия тому назад; оно дало литовскому племени в своих пределах образование и привязало его к своему государству самою крепкою нравственною связью.

Итак, повторим нашу мысль. Так как литовцы составляют племя совершенно отдельное, инородческое, то прямо учить народ в элементарных школах литовского края на русском языке значило бы то же самое, что не учить вовсе; наши училища стояли бы пустыми или наполнялись бы по принуждению, и литовский народ оставался бы по-прежнему темною невежественною массою в распоряжении ксендзов и польского дворянства. Необходимо во всей Ковенской, двух северных уездах Августовской (Мариампольском и Кальварийском) и трех северо-западных уездах Виленской губерний (Трокском, Виленском и Свенцянском) установить преподавание в народных училищах на языке литовском, а одним из главных предметов преподавания в этих училищах ввести русский язык, так чтобы по выходе из училища литовский мальчик вполне понимал по-русски и знал русской грамоте. Вот суждение об этом вопросе одного природного литвина, одного из лучших знатоков своей родины и своего народа: «Введение преподавания литовского языка в литовских училищах весьма важно во многих отношениях. Оно бы способствовало к скорейшему изучению русского языка, который в настоящее время истолковывается литвинам при помощи языка польского, для многих из них не более понятного, чем русский; а между тем, знание русского языка при мерах, предпринимаемых к устройству крестьян, необходимо для каждого литовца. Ныне ни один литовский крестьянин не понимает и не читает Положения о крестьянах, весьма многие из них совсем не знают даже о его существовании¹⁸ и все принимают на веру. Оно бы показало,

сколь губительно было для литовцев владычество поляков, которые в продолжение четырех столетий только и заботились об истреблении в Литве всего литовского, учреждали в ней польские школы, в которых беспощадно секли литовских детей, когда эти осмеливались заговорить между собою по-литовски, своим материнским языком; оно бы много способствовало к поселению и развитию здравых понятий в крестьянах — литовцах, которые ныне читают только молитвенники и разные церковные книжки, так называемые кантычки, исполненные средневековых понятий и суеверий».

Остается вопрос о практической исполнимости этой меры. Сколько известно, уже возникала и прежде мысль ввести в училищах литовского края преподавание на литовском языке, но против этого предположения поднялись голоса людей, утверждавших, что язык литовский, по недостатку письменной обработки, не может служить к обучению юношества, что нельзя составить руководств на наречии, которое исключительно свойственно простонародью, и т. п. Невозможно ожидать, чтобы лица, заинтересованные в неприкосновенности господства польского языка в Литве, не стали прибегать к такого рода и еще разным другим доводам против введения преподавания на народном языке; но во всем этом они, разумеется, могут рассчитывать только на наше незнание. Литовский язык имеет грамматику, научным образом разработанную одним из первых филологов Германии¹⁹, на нем в Пруссии изданы не только катехизисы и другие элементарные книги, но даже, как замечено выше, стихотворения и полный перевод библии; в России на литовском языке напечатаны даже ученые сочинения об истории и археологии края. При такой подготовке возражение, что литовский язык не способен служить к преподаванию, может быть сделано только лицами, преднамеренно искажающими истину. Нужно лишь призвать людей, знающих этот язык и сочувствующих потребностям литовского народа, — и в самом скором времени мы имели ли бы на литовском языке все нужнейшие учебники, и польский элемент в литовских училищах уступил бы литовскому и через него русскому.

Итак, вот, как нам кажется, чего требует от нас литовский край: прежде всего, чтобы мы обратили внимание на литовское племя, как на народность своеобразную и совершенно различную от польской; чтобы мы сносились с литовским народом при посредстве литовского, а не польского языка; чтобы мы открыли русским возможность учиться по-литовски и сделали из литовского языка один из обязательных предметов учения в гимназиях и других средних училищах литовского края; наконец, чтобы мы создали для литовского народа элементарные литовские училища, в которых литвин мог бы образовываться, не становясь поляком, и знакомиться непосредственно с русским языком, который ему так нужен, особенно со времени освобождения, в гражданском быту.

Все это, по-видимому, просто, и так просто, что многие не стали бы, может быть, ожидать от этих мер значительных и существенных результатов. Между тем, только этим можем мы освободить литовский народ от умственного и нравственного господства польской национальности, как мы избавляем его теперь от ее материального господства; только этим можем мы открыть литовскому народу пути к внутреннему единению с Русским миром. Конечно, подобные средства могут действовать только медленно, ибо эти средства нравственные и требуют от нас некоторого труда и большой последовательности. Но что делать, когда нам предстоит вывести целое племя из мрака и оцепенения на свет и к деятельности умственной? Иные, быть может, сомневающиеся в действительности таких средств, думали бы отделаться другим способом от труда, которого требует от нас литовское племя. Мы слышали, что они предпочли бы отделить литовский край, или, вернее сказать, зерно его, Ковенскую губернию, от соединения с западнорусскими губерниями и причислить ее к губерниям остзейским. Можно бы подумать, что в основании такой мысли лежит следующий силлогизм: остзейский край смирен, а западнорусские губернии волнуются так, если отчислить Ковенскую губернию от волнуемого края к смирному, то и она сделается смирна. Но мы спрашиваем: если такая мера будет заключаться просто в перенесении выс-

шего административного центра для Ковенской губернии из Вильны в Ригу, то переменится ли от этого хотя сколько-нибудь состояние и расположение умов населения Ковенской губернии и не будет ли это для него только некоторым административным неудобством, так как Рига дальше от него, чем Вильно? Если же думают о таком перечислении Ковенской губернии с тем, чтобы распространить на нее остзейские распоряжки, то следует обратить внимание на два важных обстоятельства.

Во-первых, в Ковенской губернии действует постановление об обязательном выкупе, по которому крестьяне признаны собственниками своего поземельного надела, а в Прибалтийском крае крестьянство подчинено разным прежним узаконениям, менее для него либеральным, а именно это крестьянское дело такое, что здесь нельзя взять назад того, что раз дано; порядок, выгодный для крестьян, не может быть безнаказанно заменен порядком более для них обременительным. Напротив, сила вещей ведет к тому, что выгоды, данные земледельческому классу в одном месте, становятся достоянием его и в другом. Таким образом, в этом, самом важном, общественном деле, не только Прибалтийский край не мог бы подчинить Ковенскую губернию существующему в нем порядку вещей, а напротив, Ковенская губерния сделалась бы, естественно, мерилom для Прибалтийского края. Друзья прибалтийских крестьян, конечно, должны сочувствовать такому результату, и если бы этот именно результат имелся тут в виду, то нечего было бы и говорить. Но в том-то и дело, что люди, предполагающие причислить Ковенскую губернию к остзейскому краю, думают об этом вовсе не из дружбы к Прибалтийским крестьянам, а напротив того, увлекаясь, как кажется, мыслью, что существующий в Остзейском крае порядок годился бы и для Ковенской губернии.

Во-вторых, Прибалтийский край управляется по немецким законам, официальный язык в нем немецкий; а в Ковенской губернии действуют русские законы, официальный язык русский. В Прибалтийском крае немецкие законы и немецкий язык имеют историческое основание, которое Россия сохраняет: но, чтобы Россия стала распространять их там, где нет

для того никакого исторического основания, чтобы Россия простым административным актом заменила русские законы и русский язык немецкими в крае, где нет ничего немецкого, — это было бы так странно, что не понимаем, как подобная мысль могла возникнуть в нашей среде.

В памятнике тысячелетию России мы поставили изображения великих людей литовского народа. Мы дали место между деятелями истекшего тысячелетия русской земли не только человеку, как Довмонт, усыновленному Россией и прославившему ее имя в самую мрачную эпоху народного унижения; мы приняли в ряд наших государственных строителей и героев Гедимина, Ольгерда, Витовта, Кейстута, этих витязей древней Литвы, которые не раз приводили в трепет русские полки и русских князей. Нами руководило верное историческое сознание; мы хотели засвидетельствовать на нашем памятнике, что прошлая жизнь литовского народа, пока он действовал самостоятельно, была частью жизни русской земли, что слава Литвы есть слава России, что Россия приняла наследство, пожала плоды исторической деятельности литовского народа. Но пусть это историческое сознание значения прошлых событий оправдается в современной действительности. Когда мы признаем прошедшее Литвы своим историческим достоянием, когда мы признаем себя наследниками деятельности Ольгерда и Витовта, то пусть права наши не остаются в архивах истории, а проявим их в действительной жизни. Если же нынешнее наше отчуждение от литовского народа должно продлиться и мы в настоящем предоставим Литву господству чужих стихий, будь эти стихии польские или немецкие, то к чему мы стали бы выставлять напоказ бывшее когда-то внутреннее единство Литвы с русской землею? Это было бы только хвастовство, и лучше бы было, в таком случае, сбросить с нашего исторического памятника, как лишние на нем, статуи Гедимина, Витовта, Ольгерда и Кейстута!

СПб. Декабрь 1863

РОССИЯ И ЕЕ ИНОРОДЧЕСКИЕ ОКРАИНЫ НА ЗАПАДЕ

Указ 20 февраля 1865 г. о введении в делопроизводство, суды и училища Финляндии финского языка наравне со шведским. — Действия Швеции и России относительно Финляндии. — Русское общество и политика России в XVIII в. и в первой четверти XIX в. — Русская политика и русское общество с 1825 по 1855 г. — Идеалы этого времени. — Восстание Польши 1830 г. и народность. — Лифляндское дело 1841 г. и православие. — Новая эпоха в жизни России. — Польский вопрос. — Финляндия. — Общий взгляд на отношения населения наших западных окраин к России. — Древняя пермь и нынешние эсты и финны. — Связь племен финского, литовского и мазурского с русским. — Бытовые начала славянского племени. — Задача России в отношении к западным инородцам.

В числе мер, принятых относительно Финляндии, нас особенно порадовала одна. Указом, ныне¹ обнародованным, в развитие Высочайшего повеления, состоявшегося еще в 1863 году, постановлены правила о постепенном введении в делопроизводство, суды и училища Великого Княжества Финляндского языка финского наравне со шведским.

Мера эта важна и благодетельна сама по себе. Еще важнее и бесконечно плодотворнее то общее начало, из которого она истекает.

Более полувека Финляндия принадлежит не Швеции, а России, и до сих пор шведский язык остается там господствующим.

щим языком, языком официальным, на котором исключительно производится административная переписка, творится суд, преподаются науки в гимназиях и университете.

Добро бы шведский язык был языком финляндского народа; но нет — он ему чужой. Это язык меньшинства: финляндского дворянства, ведущего свой род от старинных завоевателей края, да части торгового класса и нескольких колоний, когда-то водворенных на морском побережье королями шведскими. Статистики считают во всей Финляндии не более 125 000 человек, употребляющих шведский язык; а для массы населения, для остальных 1 600 000 жителей Финляндии, он непонятен, как язык иностранный.

Эти цифры показывают, что шведское правительство в то время, когда Финляндия ему принадлежала, не поцеремонилось наложить свой язык на чужое племя, ему подвластное. Оно действовало бесцеремонно, но расчетливо: ибо вместе со шведским языком оно вносило в Финляндию бесчисленные и неизмеримо важные влияния общественные и умственные. Доказательство тому у нас перед глазами. С 1809 года присоединенная к России, Финляндия, благодаря продолжающемуся в ней господству шведского языка, до сих пор центр своей общественной и умственной жизни имеет по ту сторону Ботнического залива, в Стокгольме, а не в русской столице, выстроенной на ее пороге.

Каким образом Россия, по завоевании Финляндии, могла оставить в ней господство шведского языка? Мы так привыкли к этому факту, что он нас мало поражает. Однако трудно сыскать в истории другое подобное явление. Всегда, коль скоро государство приобретало какую-нибудь область, оно старалось ослабить связь этой области со страной, которой она прежде принадлежала, и слить ее с другими своими владениями; а Россия, завоевав Финляндию, эту необходимую принадлежность своей территории, сохранила и укрепила те связи, которые правительство шведское искусственно создавало, чтобы притянуть финский край к Швеции!

Этот факт будет приводиться в будущих поколениях для характеристики русского общества в первую половину нашего

XIX века; ни в чем его тогдашнее настроение не отразилось так ярко. В продолжение всего XVIII столетия — не только при таких гениальных правителях, как Петр I и Екатерина II, но и в худшие времена бироновщины, когда раболепство перед иностранцами, казалось, достигло крайних пределов, нельзя найти подобного забвения прямых политических интересов России. Дело в том, что в XVIII веке Петровская реформа, оторвавшая русское общество от русской земли, еще не вполне пропитала его собою. Петр I надел на русское общество французские кафтаны, но под французскими кафтанами оставались русские люди. В угоду Петру они употребляли голландские слова, в угоду Бирону выражались на немецком языке, следуя моде екатерининского двора, говорили по-французски, но еще не отвыкли мыслить по-русски. Нужно было три поколения, чтобы перевоспитать русское общество по-иностранному. Четвертое поколение со времени Петровской реформы, поколение, при котором завоевана Финляндия, было уже вполне перевоспитано. Как бы ни «скоблили» русского человека той эпохи, русского зерна бы в нем не доскоблились; французскими словами он выражал и не русские мысли². Внутренняя связь его с русскою землею была вовсе порвана; интерес России не существовал для него как живое сознание человека, связанного цельною душою со своею родиной, и либо не принимался им вовсе в расчет, либо сочинялся по каким-нибудь навеянными извне теориям. Так, например, при виде великой борьбы принципов революции и легитимности на Западе, люди этого поколения, восхитившись прекрасною ролью защитников угнетенной законности, вообразили себе интерес России в защите «легитимных» начал даже в таких странах, до внутреннего устройства которых нам никакого не было дела. И бедная Россия стала хлопотать, стала заступаться, стала жертвовать деньги и людей не за действительную пользу своего народа и государства, а за «благие принципы» (*les bons principes*) в чужих странах. Ученица Запада пошла ему в служанки.

Это-то умственное состояние наших дедов отразилось и в образе их действий относительно завоеванной ими Финлян-

дии. Они видели (для этого достаточно было взглянуть на карту), они не могли не понимать всей важности Финляндии для округления и укрепления русской территории. «Постановлением Империи нашей непреложных и безопасных границ, — говорится в Манифесте 1 октября 1809 года о заключении мира между Россией и Швецией³, — измеряем Мы наипаче выгоды сего мира. Новые владения наши, с одной стороны огражденные Свеаборгом и другими крепостями, обеспеченные весьма важным для морской силы положением Аландских островов, с другой — окруженные Ботническим заливом и отделенные от соседей большими реками, Торнео и Муонио, всегда будут составлять твердую и незыблемую ограду Империи Нашей». Поэтому, пока дело шло о материальном обладании Финляндией, на нее смотрели как на необходимую принадлежность России. «Страну сию, оружием нашим покоренную, Мы *присоединяем отныне навсегда к Российской Империи*», — сказано было в Манифесте 20 марта 1808 года⁴, и то же повторено в мирном договоре со Швецией, ст. IV: «Губернии сии (Кюменегардская, Нюландская и Тавастгусская, Абовская и Биернеборгская с островами Аландскими, Саволакская и Карельская, Вазовская, Улеаборгская и часть западной Ботнии до р. Торнео) со всеми жителями, городами, портами, крепостями, селениями и островами, а равно их принадлежности, преимущества, права и выгоды, *будут отныне состоять в собственности и державном обладании Империи Российской и к ней навсегда присоединяются*».

Но когда пришлось учредить русское правление в присоединенной к России области, в ней встретили официальный шведский язык, правда искусственно навязанный населению Финляндии и поддерживаемый только немногочисленной прошлой аристократией, встретили шведские законы и порядки.

И вышло так, что эта «навсегда присоединенная к Российской Империи область» тотчас же очутилась от нее отделенною на правах особого государства, в котором продолжало господствовать все шведское, кроме только особы короля, — государства, в котором русский человек считался

по-прежнему иностранцем. И это произошло без малейшего внешнего повода, а самую силою вещей, просто, можно сказать, влиянием духа того времени.

Сделавшись не только подражателями Запада в его образованности и манерах, но и людьми Запада в душе, деды наши по тому самому должны были считать все, принадлежащее Западу, имеющим высшие права, чем русское. Им и в голову не могло прийти, чтобы область, принадлежавшая Западу, могла быть «низведена» в уровень с русскими губерниями, чтобы *благородный* шведский язык мог уступить свое место русскому, чтобы человек, происходящий от древнего шведского рыцарства, мог быть уравнен не только с простым русским человеком, но и с российским дворянином. Напротив того, при тогдашнем умственном состоянии России, казалось делом естественным распространить владычество шведского языка, шведской аристократии на русскую область. По тогдашнему миросозерцанию нашему это значило — облагодетельствовать эту область, приобщив ее к высшей цивилизации. Часть Финляндии, приобретенная Россией по договорам 1721 и 1743 годов, мало-помалу обрусела, в ней водворились многие русские помещики, многочисленные колонии русских промышленников и крестьян; масса населения оставалась финскою (т. е. карельского племени), но шведский пришлый элемент почти исчез, и наконец, в 1784 году, с учреждением Выборгского наместничества по общему губернскому положению, эта область сделалась такою же русскою, как соседняя с нею Ингерманландия. И что же? В 1796 году император Павел восстанавливает⁵ в Выборгской губернии шведские законы и учреждения и делопроизводство на шведском языке; и распоряжение это не принадлежало к числу тех минутных увлечений личной мысли, которым изобиловало законодательство Павловского царствования; напротив, тут уже высказывалось то общее направление, которое определяет исторический характер поколения, вступавшего с Павлом на сцену: ибо царствование Павла, очевидно, принадлежит по своему характеру не к Екатерининской эпохе, а, напротив, к эпохе царствования Алек-

сандра I, которую оно открывает собою. Только формы были грубее и на вид более странны: но не тот же ли принцип, не тот же ли взгляд на Россию и ее призвание представляет нам дело Мальтийского ордена и участие в Священном Союзе? Итак, повторяем, восстановление в Выборгской губернии шведского права и шведского языка нельзя причислить к тем случайным мерам, которые зависели только от личности императора Павла. Этот закон пережил его, как пережили его усилия, им сделанные, чтобы возродить в прибалтийских губерниях немецкий, в литовских и украинских губерниях — польский дух и учреждения. Невозможно объяснять эти явления, как мы часто слышим, только личным желанием перечить политике Екатерины. Ловкие люди из поляков, немцев и шведов, заинтересованные в проведении этих мер, могли воспользоваться таким желанием; но струна не зазвучала бы под их рукою, если бы окружающая русская среда ей не вторила. Намерение Александра Павловича было идти по стопам Екатерины; но при нем не только не потеряли своего действия меры, возвратившие западную Русь, Прибалтийский край, Выборгскую губернию полякам, немцам, шведам, а, напротив, утвердились и развились и в отношении к Выборгской губернии доведены были до крайнего своего результата — результата, который, как известно, грозил и западной Руси и тут остановлен был, можно сказать, накануне своего осуществления; в отношении же к Выборгской губернии он осуществился: с 1 января 1812 года эта важная область была вовсе отделена от русских земель и присоединена к новосозданному государственному телу, наименованному Великим Княжеством Финляндским.

Так действовало поколение людей Павловской и Александровской эпохи: так оно должно было действовать, потому что это было поколение людей, которых сознание перестало быть русским, хотя бы и высказывалось в них иногда, под внешним впечатлением (например, в Отечественную войну), русское чувство.

Западноевропейский идеал, долго одушевлявший одинаково и правительство императора Александра Павловича, и

русское общество той эпохи, был под конец этого царствования отвергнут правительством как опасный для него.

Печальным разочарованием кончилось тридцатилетие, в которое материальные силы русского народа раздвинули Россию на запад до Торнео и Калиша, а умственное покорство русского общества началам Запада возвратило им в самой России господство до Днепра и Ладожского озера. Западноевропейский идеал оказался чужд русскому народу, а правительство, по политической стороне этого идеала, увидело в нем себе врага. Мы вступили в новый фазис, который также обнимает время целого поколения. В это тридцатилетие (1825—1855 гг.) Петровский период русской истории завершился. Не сходя с пути, по которому она следовала с Петра, Россия перешла в направление диаметрально противоположное тому, которое она приняла под рукою великого преобразователя. Мысль преобразователя была — просветить Россию умом Европы, но в делах внешних действовать самостоятельно, в государственном интересе России. А в прошлое тридцатилетие государственный интерес России постоянно приносился в жертву пользам западных государств, и в то же время употреблялись все усилия, чтобы удалять нас от европейского ума. Петр вооружил правительство всею силою самодержавной власти, чтобы вести страну вперед; в прошлое тридцатилетие власть, наследованная от Петра, видела свое призвание в том, чтобы останавливать страну, задерживать в ней развитие. Эту параллель можно провести во всех, даже мелких подробностях. Во всем Россия того времени, сохраняя внешние формы и приемы Петровской системы, действовала в смысле, прямо противоположном духу Петра. Это была не случайность. Одностороннее направление, чтобы себя изжить, должно дойти до отрицания идеи, давшей ему бытие.

Нам еще памятно это время. То была эпоха внутренней пустоты. Западный идеал, одушевлявший людей прежнего поколения, был разбит. Некоторые старались воссоздать его; самое незаметное меньшинство решалось искать источника жизни там, где только можно было найти его, — в русском

народе и его духовных и бытовых началах; другие приходили к отрицанию идеала и западноевропейского, и русского; но огромное большинство оставалось и без идеала, и без отрицания, а правительственные лица, верные Петровской системе, считали в своей власти заменить прежний западноевропейский идеал, оказавшийся не безопасным в политическом отношении, другим — по своему усмотрению: явилась знаменитая фраза: «Православие, самодержавие и народность». Но казенный идеал, хотя бы заключал в себе самые высокие начала, не наполнит душу человека, и фраза, извне налагаемая, остается фразой.

События не замедлили показать это. Мятеж 1830 года принудил правительство низвергнуть владычество польского элемента, восстановленное прежним поколением русских людей не только в Царстве Польском, но и во всей Западной России. Какой представлялся превосходный случай, чтобы возвратить русской народности ее законные права и этим навсегда покончить с покушениями поляков на западный край Империи! Но тут «народность» встретилась с интересами крепостного права, и оказалось, что «народность» была пустое слово. Во имя дворянских прав польское меньшинство спокойно сохранило свое неограниченное владычество над многомиллионным населением русских и литвинов. А православие? И в отношении к нему готовилось испытание тогдашней России. В 1841 году населением целого края овладело единодушное, страстное желание присоединиться к православной вере. Но тут «православие» встретилось с консерваторскими опасениями и интригами нескольких немцев — и волос дыбом становится, читая, в обнародованных недавно документах⁶, как местные власти в Лифляндии, пользуясь авторитетом правительства, препятствовали принятию православия бедными латышами и эстами; изумляешься тем затруднениям и ограничениям, которые даже высшее правительство противопоставляло этому движению и которыми парализовало его действие.

Да! Если бы «православие», которое выставляли в прошлое тридцатилетие на нашем знамени, не было только сло-

вом, то Лифляндия, Эстляндия и Курляндия были бы, конечно, теперь совершенно русским краем. Но как в 1809 году мысль о превосходстве западных начал пред русскими лишило Россию действительного органического приобретения присоединенной к ней по трактату Финляндии, так отсутствие всякого внутреннего принципа лишило нас в 1841 году приобретения просившихся в семью нашу прибалтийских губерний. Петр Великий жертвовал всеми силами России, чтобы завладеть этим важнейшим для нее краем. Через несколько поколений после Петра все туземное население этого края почти поголовно умоляет приобщить его к России в том, что есть существеннейшего в народной жизни, — в вере, — и его отталкивают.

Мы назвали образ действий наших дедов в начале нынешнего столетия относительно покоренной Финляндии самым характеристическим проявлением взглядов и направления тогдашнего русского общества и правительства. Когда сделается более известным Лифляндское дело 1841 — 1846 годов, то едва ли не будут приводить его как наиболее типическое проявление русской государственной жизни в прошлое тридцатилетие.

Петровская эпоха завершилась. Кончился в жизни России тот исторический год, которого плодотворную весну нам представляет царствование Петра, которого цветом следует назвать время Екатерины, который принес плоды свои при Александре I и перешел в ледящую зиму в последнее тридцатилетие. Наступил новый исторический год. Мы видим только раннюю весну его; 19 февраля 1861 года взломало лед, но страшные глыбы его лежат повсюду, холод, слякоть сменяет по временам тепло; но мы видим и чувствуем, что весеннее солнце всходит все выше и выше, что лучи его проникают глубже и глубже. Признаки таковы, что ошибиться нельзя: это действительно начался новый период в жизни России; она начинает жить своим умом, опираться на свои народные основы, следовать своим интересам.

Дух нового времени нашего уже высказался в отношении к польскому делу. В 1815 году Россия *наградила* поль-

скую шляхту за восстание и помощь, оказанную Наполеону⁷. В 1831 году она дала ей почувствовать материальную силу карающей руки, но оставила западнорусский, польский и литовский народ в полном ее распоряжении. В 1864 году Россия сознала свое призвание: она освободила западнорусский, литовский и польский народ от чуждой и враждебной аристократии, восстановила права народа на землю, возродила в нем заглохшие зерна славянского мира и мирского самоуправления. Если бы к политическому и общественному действию русских начал на западнорусский, литовский и польский край присоединилось действие духовное, просветительная проповедь русской церкви, то польский вопрос был бы разрешен окончательно; литва и мазуры и все польское простонародье возвратились бы, не колеблясь, к народной славянской церкви, которая дала им первые начатки христианства и от которой их насильственно оторгли в латинство. Но для Церкви нашей еще не кончился Петровский период, и в духовном отношении мы ничего не могли сделать в смысле *положительном*; здесь наши действия носят еще характер прошлого тридцатилетия, они имеют значение отрицательное: римскому духовенству нанесены удары, но ничего не сделано, чтобы вывести народ из римского плена.

Финляндия не бунтовала, и потому во все прошлое тридцатилетие до нее не коснулись: ибо не было повода употребить в отношении к ней материальную силу, а ничего другого, кроме материальной силы, за Россией тогда не признавалось. Наступившая новая пора в жизни России принесла с собою сознание, что хотя Финляндия и спокойна, а порядок вещей в ней должен быть согласен потребностям финляндского народа и государственному и народному интересу России. Тот факт, что Финляндия спокойна, может только иметь влияние на выбор наиболее мягких способов для создания такого порядка вещей: но сделалось невозможным в наше время приводить этот факт как основание к тому, чтобы сохранить в Финляндии порядок, благоприятствующий аристократическому меньшинству в

ущерб финского народа и соответствующий государственным и народным интересам Швеции в ущерб России.

Закон о введении финского языка в администрацию, судопроизводство и школы Финляндии есть первый шаг в исполнении задачи, которая здесь предстоит России; он показывает, что задача признана, а это самое важное.

Любопытно прочесть подробности этого закона: с 1868 года, при назначении *новых* школьных учителей, требуется умение преподавать по-фински; с 1872 года определяемы будут только такие чиновники, которые могут вести переписку на финском языке; с 1875 года составление протоколов и других актов на финском языке делается обязательным по требованию просителей; наконец, только с 1883 года финский язык должен быть окончательно сравнен со шведским. Какая мягкость! Какая постепенность и бережность в отношении к лицам, в настоящее время занимающим должности! Не так действовали администраторы-шведы, когда Выборгская губерния была отдана им в руки: тут они в один год удалили всех русских должностных лиц, которые не могли вести делопроизводство и преподавание по-шведски.

Но мы не сетуем на такую постепенность. Мы думаем только, что закон 20 февраля 1865 года разрешил лишь одну половину дела, а другой не коснулся, предоставляя ее будущему распоряжению, которое, вероятно, не замедлит последовать.

А именно, закон этот, устанавливая права финского языка, не делает его, однако, единственным официальным языком Финляндии. И понятно: финский язык, необходимый как язык местной администрации, суда и школы, не может, по своей малоизвестности, быть *государственным* языком Великого Княжества. Так именно и говорится в законе, что финский язык должен впредь иметь официальное значение во всем, непосредственно касающемся финского населения. Но какой же язык будет государственным языком Финляндии? Неужели им останется язык шведский? Потому ли, что в Финляндии живет несколько десятков тысяч шведов? Но в ней живет и

несколько десятков тысяч русских. Потому ли, что Финляндия когда-то принадлежала Швеции? Но теперь она принадлежит России. Потому ли, что это выгодно Швеции? Но это не выгодно для России. Потому ли, наконец, что этого желает местная аристократия, воспитываемая в шведских преданиях и понятиях и которой знание столь мало распространенного языка, как шведский, обеспечивает, на все время, пока он оставаться будет официальным языком Финляндии, обладание всеми почти правительственными должностями в Великом Княжестве? Однако этого не могут желать не только русские, но и туземный финский народ, ибо доколе сохраняется за Финляндией искусственный призрак шведской национальности, до тех пор не прекратятся притязания на нее шведов, и эти притязания всегда готовы будут, при первом удобном случае, обратиться в прямое враждебное покушение; а такое покушение стоило бы России новых жертв и снова подвергло бы финский народ тяжелой участи быть предметом спора между двумя государствами.

Много нерусских земель, много неславянских племен захватила в свой круг Россия, расширяясь для достижения своих естественных границ. В этот круг вошла Финляндия; вошли губернии прибалтийские, населенные чудью (эстами) и латышами, и земля, занятая народом литовским. Все эти земли, бесконечно важные для России в отношении государственном и экономическом, так как они составляют собою всю нашу береговую линию к Западу, — эти земли имеют общую отличительную черту, определяющую их политический характер: это раздвоение между народом и высшим классом (дворянством и городским сословием), раздвоение — полное во всем, в происхождении, в языке, в быте, в исторических преданиях и сочувствиях. Везде, и в Финляндии, и в губерниях прибалтийских, и в земле литовской, простой народ принадлежит к племенам немногочисленным, по своему положению не призванным к образованию самостоятельных государств⁸. Везде, и в Финляндии, и в Литве, и в прибалтийском крае, господствующие над туземным населением высшие классы принадлежат к на-

родностям более могущественным, которые имеют (как шведы — в Финляндии и немцы — в прибалтийских губерниях) или имели и хотят иметь (как поляки в Литве) свой центр вне России. Поэтому самому высшие классы составляют там относительно России элемент центробежный, который, даже когда он питает преданность к государственной власти, не может сочувствовать росту и развитию русского народного центра, так как всякий прилив силы в этом народном центре должен увеличить его притягательное действие. Этого нельзя ставить в укор полякам, шведам и немцам, господствующим над нашими окраинами. Это необходимое последствие их положения. Национальность немецкая, польская, шведская дорога барону и бюргеру в нашем прибалтийском крае, дорога она и литовскому шляхтичу и финляндскому дворянину, и притом не только по тому природному чувству, которое заставляет человека дорожить своею народностью, но и потому, что под знаменем немецкой, польской и шведской национальности он завоевал себе господствующее, привилегированное положение в своем крае и, благодаря слабости русских начал, удерживал его даже под властью России. Если бы он под властью России перестал быть шведом, поляком, немцем и сделался русским, то разве бы он что-нибудь выиграл? Напротив, он потерял бы значительную часть своих привилегий. А мысль сделаться финном, литовцем или латышом так же мало могла прийти ему в голову, как англосаксу мысль превратиться в негра. Так продолжались дела, пока сама Россия была нерусскою в общественной и политической жизни. Понятно, что теперь, когда Россия изменилась, когда пробудившаяся народность русская начинает требовать в принадлежащих России окраинах порядка вещей, какой нужен ей, а не ее противникам, — и поляки, и немцы, и шведы взволновались. Менять старое положение, чрезвычайно выгодное, на новое, которое кажется менее выгодным, никому не хочется. Поляки, если бы дело от них зависело, соорудили бы крестовый поход всего Запада для спасения владычества польской аристократии над заднепровскою Русью и Литвою. Мы слышали недавно голос скандинавизма, требующего воз-

вращения Финляндии в лоно Скандинавии на том основании, что там живет 135 000 шведов (заметьте, на общее население почти в 2 миллиона). В настоящую минуту по Европе раздаются жалобы каких-то публицистов, которые, ликуя над избавлением германской национальности в Шлезвиге, просят от имени остзейских баронов и бюргеров заступничества за эту национальность в Лиф-, Эст- и Курляндии, дабы 180 000 немцев продолжали там властвовать над более полутора миллионами латышей, эстов, русских⁹.

Великое счастье России то, что для охранения своих завоеванных нерусских окраин ей не нужно, подобно другим государствам, прибегать к системе насилия, угнетения, разрушения народностей. Напротив, ей нужно только узнать, полюбить, оживить туземный народ. Во всех завоеванных Россией областях ее природные союзники — коренные жители края. Финны, эсты, латыши, литовцы, мазуры — все они нравственно принадлежат России, принадлежат ей не только в силу каких-нибудь случайных, преходящих обстоятельств, а по самой истории и природе вещей, потому что вне России им не было житья и нет отечества.

Взглянем на финнов и их единокровных братьев эстов (по-русски чудь). Россия есть совокупное создание племени славянского и финского. Первый факт, с которого начинается ее существование как государства — это союз славян и финнов, согласившихся поставить над собою общую верховную власть; и что в этом союзе финны не были народностью поработенною, вынужденною покориться решению славян, видно из знаменательных слов древнейшей летописи нашей: «реша *чюд*, словени и кривичи: вся земля наша велика и обильна и проч.» Племя покоренное не было бы поставлено на первом месте. И с тех пор финские племена остались неразлучно соединенными с русским народом, и, конечно, ни один добросовестный финн, как бы горячо он ни любил свою народность, не почувствует вражды к русскому народу за то, что столько финских племен приняли его язык, слились с ним совершенно. Он не поставит этого явления на одну доску с теми системами государствен-

ного и народного насилия, посредством которых древний Рим налагал свою народность на Западные земли, средневековая Германия на славянское и прусское поморье, кромвелевская и позднейшая Англия — на Ирландию. Ибо слияние финских племен с русским народом происходило без всякого внешнего принуждения, только вследствие слабости и бессвязности этих племен, оно происходило *бессознательно* со стороны самой России. Любопытен пример перми: пермскую землю обратил в христианство в XIV веке русский проповедник св. Стефан, и он изобрел письмена, примененные к наречию этой финской ветви, перевел для нее церковные книги, устроил богослужение на пермском языке. Замечательно еще, что переводил он на пермский язык церковные книги не только со славянских переводов, но многие перевел прямо с греческих текстов, свидетельствуя тем самым, что в его мысли язык пермский не был чем-то второстепенным относительно языка славянского, что он считал это финское племя предназначенным наравне с русским народом черпать просвещение непосредственно из самых его источников. Может ли добросовестный финн ставить в вину русскому народу, из среды которого вышел Стефан со своим высокочеловечным предприятием, что пермское племя, получив от России все задатки самостоятельного образования, *само предпочло*, однако, говорить по-русски, читать Евангелие вместе с русским народом на славянском языке? Что могло красноречивее засвидетельствовать внутреннее влечение финской народности к русской? И ныне в целом мире нет у эста и финна другого союзника, кроме русского народа, Россия ему не только отечество, но и убежище от завоевателей, его поработивших, только она может возвратить ему гражданские права и жизнь его народности.

Так же, как племя финское, и литовское племя в его двух, столь близких по языку ветвях, литвинах и латышах, связано с Россией не случайностью, а силою истории. С самых ранних времен образовалась эта связь литовского и латышского народа с русским. Потом, когда во время распада русской земли Литва получила самостоятельность государственную

и перевес над соседними русскими княжествами, она сама засвидетельствовала о крепости своей связи с русскою землею: ибо тотчас превратилась сама в землю почти русскую, сделала русский язык своим гражданским языком, стала принимать христианство в том виде, как его исповедовали русские люди. Брак Ягелла с Ядвигаю, введение католицизма в некрещенные еще края жмуди и литвы и распространение там польского шляхетства удалило Литву от русской земли точно так же, как немецкие завоеватели оторвали от нее латышский край. Но естественные связи и сочувствия оживают. Переход латышей в православие, их стремление переселиться в среду русского (тогда еще крепостного) народа, чтобы уйти от немецких помещиков и их мнимой свободы, могли убедить самого упорного скептика.

Наконец — и это явление самое характеристическое, — даже мазуры, хотя это племя лишь незначительными оттенками отличается от поляков и всегда входило в состав Польши, более тянутся к русскому народу, чем к полякам. Они, кроме нескольких исключительных случаев, когда их фанатизировало латинское духовенство, всегда принимали сторону русских против поляков-повстанцев. Даже в Галиции, где, как известно, русская народность содержится в черном теле, а польская пользуется почетом, мазуры стоят заодно с русскими и не хотят, чтобы их считали за поляков.

Уже не раз было говорено, что элемент общинно-народный составляет основное бытовое начало славянского племени, что на нем зиждется русская земля и что (прибавим мимоходом) отрицание, если не отсутствие, этого начала в Польше есть существенная причина той странной и болезненной роли, которую она всегда играла и играет в славянском мире. Все это истины, совершенно ясные теперь для человека мыслящего и вникающего в смысл истории и современных общественных явлений. В недавнее время сознававшиеся только немногими, ныне еще не признаваемые людьми старой рутин и новейших европейских воззрений, эти истины скоро сделаются у нас об-

щим достоянием. Тогда исчезнут те странные недоразумения, которые в настоящее время задерживают или искажают внутреннее наше развитие. Тогда также уяснятся и устроятся правильно отношения России к инородческим ее окраинам; войдет в общее сознание и получит все свое применение тот великий, неопенимый для нас факт, что и в инородческих краях, на которые государственная необходимость заставила Россию простереть свою власть, она поставлена, силою вещей, на ту же почву, на какой зиждется сама, в своей собственной, русской среде; что она и там является носителем своих природных славянских бытовых начал: везде связана с *народом*, везде призвана противодействовать угнетающей его завоевательной стихии и возрождать убитую ею народную жизнь. И эта-то внутренняя связь ограждает власть России более всяких материальных средств. В противоположность всем завоевательным государствам, Россия является народу в завоеванных ею краях не угнетательницей, а избавительницей от угнетения. Области, завоеванные Россией, принадлежат ей не только по праву завоевания, но и по священнейшему праву народного сочувствия и союза.

Но чтобы это могло осуществиться, Россия не должна ограничить свою освободительную деятельность краями, находившимися под властью бунтовавшей польской шляхты. Никто не станет оспаривать, что финны, эсты и прибалтийские латыши столько же заслуживают благ обновленной русской жизни, сколько латыши Витебской и литовцы Ковенской и Виленской губерний.

Мы теперь стараемся распространить русский язык, как язык общественной и государственной жизни, на западные губернии, не ограничиваясь теми, где туземный народ русский, но также и на Ковенскую губернию, хотя там население жмудское, — и поступаем совершенно правильно: ибо в государстве¹⁰ едином и цельном может быть только один официальный язык. Местные наречия туземцев (но, разумеется, не язык какого-нибудь пришлого меньшинства) должны служить для местных нужд в элементарной школе, в богослужении, в во-

лостном суде и т. д. Официальный же общественный и государственный язык в России может быть только язык русский. Но если это начало верно (а иначе его не следовало бы применять к Ковенской губернии), то оно так же верно в прибалтийских губерниях, в Финляндии и Царстве Польском, как оно верно в Западном крае. Нельзя же считать причиной введения русского языка в школы и администрацию Ковенской губернии то, что тамошняя польская шляхта бунтовала: иначе оказалось бы, что введение русского языка составляет меру карательную, вроде какого-нибудь процентного сбора. Нет, русский язык не есть кара; а с другой стороны, польская народность, хотя поляки и бунтовали, не есть нечто такое, на чем мы стали бы производить операции *ut in anima vili*, распространяя на ее счет русские начала, если мы не признаем этого государственною необходимостью, которой, стало быть, должны подчиниться элементы немецкий и шведский, точно так же как и польский.

Высочайшее повеление о введении в Финляндии финского языка во всем, непосредственно касающемся финского населения, как мера, составляющая первый необходимый шаг к освобождению этого края от владычества шведского элемента, свидетельствует, что разумная деятельность самосознающей себя России в отношении к ее инородческим окраинам не ограничится областями, в которых бунтовали поляки.

ДРЕВНИЙ НОВГОРОД

Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (Новгород, Псков, Вятка. Лекции, читанные в Санкт-Петербургском университете в 1860 — 1861 гг.). Соч. Н. Костомарова. В 2 т. СПб. 1863.

I

Теории г. Костомарова¹ о разделении русско-славянского племени на ветви и о литовском происхождении Руси. — Предположение г. Костомарова о малороссийском происхождении новгородцев.

«Русско-славянский народ разделяется на две ветви, различаемый, в отношении к речи, по двум разным признакам: одна переменяет *o* в *a* там, где над этим звуком нет ударения, и *h* произносит как мягкое *e*; другая сохраняет коренной звук *o* и произносит *h* как мягкое *u*. К первой принадлежать белорусы и великорусы, ко второй — малороссияне, или южнорусы, и новгородцы». Так начинается г. Костомаров свою книгу, заглавие которой приведено выше.

Стало быть, сделано открытие в науке, сравнительная лингвистика и этнография должны преобразиться. Доселе ученики Боппа, Гримма и Шафарика основывали лингвистические и этнографические выводы на целой совокупности признаков языка; если же иногда в каком-нибудь отдельном

признаке, в том или другом изменении звука, находили характеристическую особенность племени, такую особенность, которая могла бы служить данною для этнографии, то в этом отношении они отстраняли различия в произношении гласных, принимая в расчет лишь переходы согласных. Изменения гласных казались слишком неопределительными и подверженными случайности; только в согласных признавалась возможность быть типическими представителями племенных особенностей. Так, положим, в данном случае ученые доселе обратили бы внимание не столько на произношение *o* и *h*, сколько, например, на согласные *z* и *l*, и нашедши, что *z* произносится великорусами и новгородцами твердо, белорусами и малороссиянами с придыханием, что *l* у первых сохраняет свой чистый звук, а последними очень часто изменяется в звук *v*, сделали бы, пожалуй, тот вывод, что в русском народе великорусы и новгородцы составляют одну группу, а белорусы с малороссиянами другую.

Но г. Костомаров указывает науке новый метод. Отныне изменения в той или другой гласной могут быть принимаемы за средство сближать и разделять племена. Владимирец, житель Владимира на Клязьме, перестанет считать себя великорусом и признает себя потомком малороссиян, потому что он окает. А что касается до гласной *h*, то различия в ее выговоре приведут славянскую этнографию к весьма замечательным и совершенно новым выводам. Так, например, нельзя будет считать сербов, населяющих Боснию и Герцеговину, за одно племя, как полагали Шафарик и другие ученые; нет, теперь окажется, что в Боснии и Герцеговине сербские жители, в одних и тех же местностях, в одних и тех же деревнях, принадлежат к двум совершенно различным по происхождению ветвям, различаемым, по какому бы вы думали этнографическому признаку? По религии: к одной ветви относились бы сербы православного вероисповедания, к другой — сербы, тут же, вместе с ними или подле них живущие, которые, по народному выражению, веруют «в папу, а не в святого Саву», ибо в Боснии и Герцеговине сербы-католики выговаривают *h* как *и*, православные — как *e*.

Что же это такое, спросит читатель: каким образом различие в произношении буквы *ћ*, которому один из первых наших ученых придает такое важное историческое и этнографическое значение, могло совпасть у босняков и герцеговинцев с различием в вероисповедании? Дело объясняется весьма просто. Далматинское приморье произносит *ћ* как *и*, не допуская тут ни малейшего исключения; Далматинское приморье служило издавна источником просвещения для католиков Герцеговины и Боснии, оттуда они получали священников и книги; герои Далматинского приморья сделались их героями; произношение Далмации было ими принято за образцовое, тогда как на православных, с другой стороны, влияло произношение восточных частей Сербии, где *ћ* звучит как *е*, частью твердое, частью мягкое.

Читатель видит, под какими случайными и поздними историческими влияниями могло образоваться у одного и того же славянского народа, в одних и тех же местах, различное произношение *ћ*, как *е* и как *и*. Можно ли поэтому считать его первообразным этнографическим признаком, таким признаком, который делил бы искони русский народ на две особые группы? Но зачем выходить за пределы русского языка и брать примеры из чужих славянских наречий? Слава Богу, русский язык не со вчерашнего дня известен, у него есть памятники, и г. Костомаров мог бы <проверить> ими свою теорию. Система правописания была дана русским Болгарией, но те отступления от этой орфографии, те беспрестанные описки, какие попадают в древних русских памятниках, свидетельствуют об особенностях местного русского выговора в данное время. Когда мы, например, находим, что писец Остромирова Евангелия путает древнеболгарские носовые гласные с буквами *и* и *я*, то это доказывает нам положительно, что в то время и в местности, которой принадлежало наречие писца, вместо старинных носовых звуков, уже выговаривалось *и* и *я*; а если этот самый писец никогда не ошибается в употреблении *ћ*, никогда вместо *ћ* не ставит *и*, то это столь же положительно удостоверяет нас, что выговор буквы *ћ* как *и* еще не возникал между русскими

славянами в это время и в этой местности. Время известно — половина XI века; оставалось бы определить, какое именно из местных наречий русского языка отразилось своим влиянием на Остромирово Евангелие. Как оно писано для посадника новгородского, то вероятнее всего, что это было наречие Новгородское; но, зная, что, в ту эпоху центром христианского просвещения и письменности в русских землях была Южная Русь, мы можем допустить также гипотезу, что Евангелие это, хотя и назначенное для Новгорода, было происхождения южнорусского; во всяком случае, оно положительно доказывает, что в половине XI века гласная *h*, либо в Новгороде, либо в Южной Руси, не имела звука *и*. Пусть г. Костомаров проследит таким образом далее памятники нашей письменности, наши летописи, наши грамоты, и он увидит, что различное произношение *h*, частью как *и*, частью как *е*, развилось, с одной стороны, в Новгородской земле, с другой — у малороссиян в весьма позднее историческое время (едва ли ранее XIV века) и что, стало быть, основывать на этом признаке какое-то первоначальное доисторическое сродство новгородцев с малороссиянами, в противоположность другим русским ветвям, было бы полным противоречием всем законам критики. Мало того: из новгородских грамот XIII века г. Костомаров вывел бы заключение, что в то время новгородцы, точь-в-точь как великорусы, придавали гласной *h* звук *е*, ибо в них встречаются такого рода описки: *ездити, тех, всеми, коупhчь* (купец), *чhтвhртый* и т. д. О переходе *о* без ударения в *а* и говорить нечего; всякий, кто сколько-нибудь знаком с древнею письменностью нашею, может убедиться, что это свойство белорусского и одной части великорусского наречия развилось даже позднее, чем разветвление древнего своеобразного звука *h* в *и* и *е*. Как же г. Костомаров решился принять эти особенности языка, развившиеся на глазах истории в эпоху полной оседлости и государственной жизни русского народа, за свидетельство таких явлений, которые должны, по его теории, восходить к древности доисторической, к эпохе расселения славян по пространствам восточной Европы?

А к этой-то эпохе относит г. Костомаров разделение русско-славянского племени на две ветви, т. е. малороссийско-новгородскую и белорусско-великорусскую. «Это разделение, — говорит почтенный историк, — сообразно с тою двойственностью славянского поселения на русском материке, которая открывается из нашей первоначальной летописи. Одни славяне помещаются в группе пришедших с Дуная вследствие нашествия на их отечество волохов (итальянцев, римлян); другие, как например: кривичи, радимичи и вятичи, не принадлежат к этой колонии».

Признаюсь откровенно, я решительно не понимаю, какая двойственность славянского населения на русском материке открывается из первоначальной нашей летописи? Г. Костомаров имеет тут, без сомнения, в виду знаменитый рассказ Нестора о том, как «по мнозех временах (после столпотворения) сели сут словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска», и как, вследствие нашествия волохов, они разошлись оттуда по земле и образовали разные племена. В исчислении этих племен у летописца действительно не помещены кривичи, радимичи и вятичи, и вот на каком основании г. Костомаров отделяет этих, по его мнению, славянских аборигенов русского материка от всех прочих русских славян, которых он признает колониями с Дуная.

Я не только не отвергаю важности Несторова сказания, но охотно признаю его замечательнейшим свидетельством славян об их собственной древности. Но спрашивается: есть ли какая возможность брать это сказание как безусловно верный исторический текст и строить какие-нибудь выводы на том, что имя одного племени в нем помещено, а имя другого пропущено? Ведь событие, о котором говорит сказание, т. е. нашествие волохов на славян, — если эти волохи были римляне, случилось за тысячу лет и если, как думал Шафарик, под волохами надобно разуместь кельтов, — за полторы тысячи лет до времени, когда жил наш летописец. Предполагая даже самую верную историческую память в русском народе, можно ли думать, чтобы его бытописатель, 1000 или 1500 лет спустя после

события (разумеется, не укрепленного никаким письменным документом), знал достоверно, какие именно из славянских племен пришли с Дуная и какие нет? Но мы пойдем далее. Я спрашиваю: вправе ли здравая критика принять безусловно самое событие, которым г. Костомаров, как несомненную историческую истину, подкрепляет свою лингвистическую находку о двойственном делении русского народа, т. е. что славянские племена, населившие Россию, за исключением кривичей, радимичей и вятичей, были пришельцы с Дуная? Надобно заметить, что с берегов Дуная, «где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска», наш первоначальный летописец производит не только русские племена, полян, древлян, дреговичей, полочан, словен новгородских и северян, но и весь западный и южный славянский мир, мораву, чехов, хорватов, сербов и племена ляхов, как польских, так и прибалтийских. Что же? Неужели все это было так? Могла ли страна придунайская, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска, вместить такое множество племен, что когда они расселились оттуда при нашествии римлян, то заняли чуть ли не пол-Европы? Наконец, прежде чем принять за исторический факт приход всех этих славянских племен (или, положим, хоть нескольких из них) с берегов Дуная вследствие римского нашествия, самая простая логика требовала справки: были ли действительно славяне в Дунайской стране в то время, когда она сделалась добычей римлян? Ведь римляне не оставили безгласными свои исторические дела, они умели записать имена царей, с которыми воевали, народов, которых покоряли или выгоняли, городов, которые им сдавались или падали пред их силою. Неужели же славянские племена, десятки славянских племен, предполагаемых в стране, которую прославили подвиги Траяна, укрылись бы от их взоров? Между тем, все усилия славянских ученых, трудившихся над этим вопросом, не могли открыть между сотнями местных имен в древней Дакии, Паннонии, Мизии, Дардании и т. д. более трех или четырех, напоминающих славянское происхождение: эти немногие имена могут быть приняты, пожалуй, за доказательство, что в той стране были в древности

какие-нибудь отдельные селения славян: но вся масса прочих названий ручается еще вернее в том, что общее население страны, во время вторжения туда римлян, не было славянское. Но вот еще факт любопытный для суждения о теории г. Костомарова. В числе придунайских племен мы находим в древности одно, которое можно с некоторою вероятностью причислить к славянам; это единственное племя то, которое древние называют кровизи и которое именем своим напоминает кривичей. А кривичей-то, как нарочно, г. Костомаров не хочет поместить в числе славян, прибывших с Дуная.

Но мы еще не покончили со всеми историческими доказательствами этой теории. После свидетельства Несторова о колонизации с Дуная приводится еще другое свидетельство, именно свидетельство сказки, встречаемой в хронографах XVI и XVII веков о происхождении Волохова, Новгорода и т. д. Мы все знаем, что в старинных сказочных преданиях иногда заключаются важные исторические намеки; но чтобы выяснить их, выделить из массы вымыслов, нужно их подвергнуть строгому анализу, свести с положительными историческими данными и только то, что подтверждается таким сличением, получает цену в науке. А г. Костомаров просто берет сказку, выбирает из нее одни подробности, которые и признает за исторический элемент, а другие, ему не нравящиеся черты откидывает, как вымысел грамотея, писавшего сказку. При таком произволе не видно никаких причин, почему то, что г. Костомаров выдает в сказке за историю, не могло быть признано вымыслом, и наоборот. Я не стану вдаваться в разбор всего этого: когда очевидна ошибочность основных положений лингвистического и исторического, на которых г. Костомаров хотел строить мнение свое о происхождении новгородцев от малороссиян, то, само собою, и сказка теряет тот смысл, который он старался ей придать.

Далее, во 2-й главе, г. Костомаров говорит о призвании русских князей. Тут является опять на сцену теория о литовском происхождении Руси. Многих, без сомнения, удивит, каким образом, после всей бывшей у нас полемики, которая,

кажется, не оставила живой нитки в этой теории, уважаемый Россию историк опять выступает с нею в серьезном сочинении, — и все с теми же старыми, только несколько поубавленными числом аргументами. Хотя бы г. Костомаров обратил внимание на сделанное профессором Миклошичем издание Несторовой летописи. Г. Миклошич занимает в настоящее время бесспорно первое место между славянскими лингвистами, и можно справиться в таком вопросе с его трудами. Г. Миклошич, вместо того, чтобы входить в рассуждение о происхождении варягов-руси, избрал путь самый верный и убедительный: приложил к своему изданию список собственных имен, встречаемых в Несторе, кроме чисто славянских, и соответствующих имен скандинавских. Из этого длинного перечня г. Костомаров увидел бы, что варяги-русь, по крайней мере по именам своим, были скандинавы, и не стал бы ходить в Литву, чтобы там в названиях деревень, Бог весть еще как исковерканных нашим правописанием, искать объяснения несторовым Олегам, Алданам, Карлам, Шихбернам и т. д. Нет никакой надобности опровергать этимологии г. Костомарова; но я не могу не выставить одного примера. Дело идет о происхождении знаменитого в нашей древней истории имени: Рогнеда. Имя это, как известно, одно из тех, которых скандинавское происхождение самое явственное, ибо скандинавский звук был бы Ragnheidhr, и по значению своему, божественная женщина, это слово очевидно могло также удобно сделаться у скандинавов именем собственным, как у славян Божа, Божена, Божица и т. п. Но нет, г. Костомаров производит нашу Рогнеду от литовского города Рагнит. Он только позабыл справиться, есть ли самое слово Рагнит название литовское? Литовский лексикон ответил бы ему, что Рагнит есть именно не литовское, а немецкое название этого города, и что литовское название его — Рагайне: тут уже не много сходства с Рогнедой. Далее, тот же источник, литовский лексикон, указал бы, что имя Рагайне произведено совершенно правильно от слова *ragas*, которое, как и родственное славянское слово рог (например в польском языке), имеет двоякое значение: рог в собственном смысле и угол. Таким об-

разом, имя *Ragainė* значит по-литовски крепость, построенная углом или в углу, словом, то, что было бы названо по-русски Угловка. Как же отсюда производить Рогнеду?

Я не буду утомлять читателя разбором всего, что приводится г. Костомаровым в доказательство литовского происхождения варягов-руси. Упомяну только о двух доводах, которым он придает особенное значение. Это, во-первых, то, что в XVI веке приёманская страна называлась Русью, как это видно из одной приписки к житию св. Антония Сийского... «Что за нижнею частью Немана, — продолжает г. Костомаров, — название Русь принадлежит глубокой древности, указывает и название Пруссия, сокращение слова Порусия, т. е. страна, лежащая по реке Русе. Это географическое название дано земле этой славянами». Сколько в одной фразе неточного! Во-первых, нет никакого основания предполагать, что имя Пруссия было дано стране славянами, ибо этим самым именем называли ее сами туземцы, древние прусы, как известно, народ, говоривший не славянским, а литовским наречием²; во-вторых, название Пруссия никак не могло быть сокращением слова Порусия³. Это совершенно противно духу как славянского, так и литовского языка, в которых немыслим тот случай, чтобы в сложном слове предлог, отпечатлевающий на нем свое значение, как например предлог по-, мог потерять свою самостоятельность и войти в состав корня; такая этимология выдумана теми поздними грамотеями, басням которых г. Костомаров придает иногда слишком большое значение в своих исторических исследованиях; а всего любопытнее то, что, в-третьих, название прусы и Пруссия в собственном смысле не распространялось, — как оказывается при тщательном разборе текстов, — на край, прилегающий к Неману или Русе, что этот край (области Шалява и Надрава) находился вне Прусской земли и причислен к ней лишь вследствие завоевания крестоносцами⁴. Стало быть, могла ли называться по реке Русе страна, которая к этой реке не прилежала? Читатель видит, насколько выдерживают критику доказательства г. Костомарова, что «за нижнею частью Немана название

Русь принадлежим глубокой древности», хотя появляется оно только в XVI веке. Далее, «немаловажным подтверждением вероятности происхождения призванных варягов из прусско-литовского мира, — привожу слова г. Костомарова, — служит существование части Прусской улицы в Новгороде и этнографического названия ее обитателей — пруссы. В продолжение многих веков эта часть города заселена была боярскими фамилиями и сохраняла аристократический характер» и проч.⁵ Не знаю, право, что сказать против такого аргумента; меня только останавливает одно недоумение. Прусская улица является, по выражению г. Костомарова, «гнездом Новгородских вящих людей» только в XIII и преимущественно в XIV веке; а призвание варяго-русских князей относится, как известно, к IX столетию. Как же, в таком случае, не сделать и того предположения, что московские бояре при Иване Васильевиче были немцы, потому что в продолжение XVIII века и до пожара 1812 года главнейшие боярские фамилии московские имели свои дома в Немецкой слободе и Немецкая улица была самою аристократическою в городе?

Вообще нельзя не пожалеть, что г. Костомаров мало останавливается на критической поверке своих положений и что он, принявши на веру какую-нибудь теорию, которая еще может оказаться несостоятельною, налагает ее на исторические факты. Таких случаев слишком много в новой книге г. Костомарова. Всякий раз, когда, в течение истории, приходится новгородцам встретиться с южнорусами, он спешит заявить, что они узнавали в этих последних своих ближайших родичей в русской семье, в противоположность великорусам. «Отрывок племени, очень близкого к южнорусскому, а может быть и того же самого (г. Костомаров говорит о новгородцах), заброшенный в незапамятные времена на отдаленный север, должен был невольно склоняться народною симпатиею к Киеву, где новгородцы находили в обитателях сходство и в языке, и в нравах, когда, между тем, окружающие их славяне представляли в этом отношении черты более отличные» (т. I, с. 58). Далее, накануне падения Великого Новгорода, когда приехал

в Новгород князь Михаил Олелькович, г. Костомаров видит действие этнографического сродства: «Дружина его (Олельковича) состояла из киевлян, с которыми новгородцы сходились снова после стольких веков разлуки, родственные черты народности должны были поражать новгородцев и располагать к ним» (что впрочем, как видно далее из рассказа г. Костомарова, — не помешало этой дружине «наделать много неприятностей» новгородцам и при возвращении домой, после четырехмесячного пребывания между ними, «идти, по новгородской волости, как неприятели»).

Но пусть г. Костомаров налагает на характеристику событий свое произвольное предположение о малороссийском происхождении новгородцев, лишь бы он оставлял неприкосновенными слова летописей. Изменение текста в пользу теории должно вызвать наш протест. Конечно, изменение не важное, все дело в произношении нескольких букв, но и такое изменение было бы слишком печальным **précédent в ученой литературе** нашей. Вот в чем дело. Наш историк рассказывает об известной битве на Шелони. В новгородском войске пред самым сражением возникло разногласие. «Большие, — говорит г. Костомаров, — посылали меньших вперед: меньшие кричали: «Я чоловик молодой, испротерялся доспихом и конем, ступайте вы вперед, бо́льшие!» (т. I, с. 192.). Вот, значит, — в XV веке, в 1471 году, — так сказал я себе по прочтении этих слов, в XV веке новгородцы произносили уже *h*, как *и*, ибо г. Костомаров приводит тут подлинные слова, сказанные новгородцами так, как они были произнесены и записаны современником; эти слова, очевидно, вставлены из летописи и должны быть вставлены так, как они в ней находятся, иначе г. Костомаров сделал бы оговорку, стало быть, сомненья нет, в XV веке новгородец говорил *чоловик*, а не *человѣк*, *доспих*, а не *доспѣх*. Такое впечатление произвела, конечно, и на других читателей эта вставленная в текст истории речь новгородцев. Кому придет на мысль, что г. Костомаров, из пристрастия ли к малороссийскому звуку буквы *h* или по другому какому-нибудь соображению, произвольно вложит этот звук в подлинный текст приводимой

им новгородской речи? А к сожалению, это действительно так. Речь эта, как оказывается, заимствована из IV-й Новгородской летописи, под 6979 годом (Полн. собр. Р. Л. IV. С. 127—128); но там сказано: «И начаша Новгородцы вопити на больших людей, которыи приехали ратью на Шолону: «ударимся ныне», кождо глаголюще; «яз человек молодой, испротеряся конем и доспехом». От г. Костомарова зависело или привести эти слова в форме нашего теперешнего языка, или в их подлинном виде; он избрал второе: так почему же он пишет *чоловик*, когда в летописи сказано *человек*, *доспихом*, когда читается *доспехом*? Имеет ли г. Костомаров положительные и несомненные доказательства, что когда новгородец XV века писал *человек*, *доспех*, то он произносил непременно *чоловик*, *доспих*? Таких доказательств, сколько мне известно, у нас нет, и потому лучше бы было не вводить читателей в заблуждение таким произвольными изменением в летописном тексте.

Можно бы заметить в «Северно-русских народоправствах» много других подробностей, изложенных не совсем точно или без достаточной критической оценки. Но, не останавливаясь на частных замечаниях, перехожу к рассмотрению некоторых общих вопросов, представившихся мне при чтении сочинения г. Костомарова.

II

Исторический взгляд г. Костомарова на «народоправства» древнего Русского Севера. — Федеративная теория. — Действительный характер древнеславянских государств.

Нельзя не заметить, что в книге г. Костомарова весьма трудно, — а при первом чтении почти невозможно, — уловить и вполне уяснить себе его исторический взгляд на «народоправства» древнего Русского Севера. Между тем книга его есть более чем простое историческое повествование событий, чуждое какого-либо общего взгляда. Напротив того,

езде чувствуется присутствие личного воззрения автора, но только не сейчас можно дать себе отчет, в чем именно состоит это воззрение⁶.

Главная тому причина заключается, кажется, в системе изложения, принятой г. Костомаровым. Вся история «Северно-русских народоправств» разбита на рубрики; историческое изложение проводится отдельно по каждой из этих рубрик от начала до конца. Сперва идет рассказ об отношениях Новгорода к другим русским землям и к великим князьям от Рюрика до Ивана III; потом вставлена особым эпизодом Вятка; потом идет история Пскова от Рюрика до Василия Ивановича; потом, под особыми рубриками, изложены борьба Новгорода и Пскова с шведами и немцами и отношения Новгорода к инородцам. Во втором томе, все-таки под отдельными рубриками, описание городов Новгорода и Пскова; глава об их общественной жизни; глава об их торговле и наконец об их церкви. При такой системе о цельности исторического изложения и речи быть не может. Все дробится и теряет жизнь в этих рамках. Читатель, который знакомился бы с историей новгородскою только по книге г. Костомарова, прочитал бы всю политическую историю Новгорода, он увидел бы его падение под ударами «Московского самовластия», — и не догадался бы еще ни по одному слову, что этот вольный город был торговым центром северо-восточной Европы, что он стоял в тесной связи с великим торговым союзом немецкой Ганзы. А кажется, торговое развитие и связь с Ганзою должны были иметь существенное влияние и на политическую историю Новгорода, на его особые отношения к княжеской власти! Даже внутренние уособности Новгорода рассказаны отдельно от борьбы с князьями. В рассказе об этой борьбе читатель видит, что Новгород составлял особое политическое тело, пользовавшееся полным самоуправлением; но какое было устройство этого политического тела, как оно управлялось — о том узнает читатель только гораздо позднее, когда впечатление борьбы Новгорода с единодержавною Москвою отчасти изглажено рассказами о Пскове, о Вятке, о войнах с немцами и т. д.

Такой способ изложения может быть удобным в сборнике материалов; но г. Костомаров далеко не ограничивается сборником материалов; он пишет историю и проводит весьма определенный взгляд на древние «народоправства» северной Руси. Взгляд этот, правда, нигде не формулирован как окончательный вывод книги; но он проявляется постоянно, он виден во множестве подробностей; еще более уясняется он особою статьею того же историка «О значении Великого Новгорода в русской истории»⁷, статьею, служащею как бы дополнением его «Севернорусских народоправств». Взгляд этот, если я хорошо понял г. Костомарова, состоит преимущественно в следующем:

Во-первых: древний Новгород с его волостью составлял в северной Руси особую *народность*, отличную от народности великорусской или московской. При завоевании Новгорода великий князь Иван Васильевич «почти стер с земли отдельную северную народность» (т. I, с. 235) посредством великорусской или московской колонизации, т. е. посредством выселения новгородцев в восточную Русь и водворения в Новгороде и его волости московских колоний, так что, по выражению г. Костомарова, «остатки, прежней народности, в сельском классе, смешались с новою, наплывшею к ним, московскою» (т. I, с. 236).

Во-вторых: Новгород был чистым проявлением и полнейшим представителем основной идеи древнерусской жизни, идеи, которую г. Костомаров видит в «федеративном строе» земли и признает сущностью эпохи «удельно-вечевого уклада»; в Новгороде сохранялась «чистота древних славянских жизненных начал» (т. II, с. 129); он «совместил в себе то, что было достоянием всех русских земель в свое время, и представил это ясно в своей истории»⁸.

В-третьих: борьба Новгорода и Пскова с Москвою имела значение борьбы начала «свободы местной и личной» с началом «самовластия».

Первое из этих мнений (о существовании отдельной севернорусской народности) я решительно отвергаю, как несправедливое; в остальных двух положениях, к которым при-

водится взгляд г. Костомарова на древний Новгород, вижу некоторую односторонность.

О мнимой новгородской или севернорусской народности, отдельной от народности великорусской, не нужно, кажется, много распространяться. В предыдущей главе я старался показать, что доводы, которые г. Костомаров заимствует из лингвистики и древнейшей истории славян в пользу этого мнения, не могут быть приняты критикою. Обращу внимание еще только на следующие обстоятельства. Отдельная народность должна иметь отдельный язык или по крайней мере отдельное наречие. А из сравнения памятников новгородских XIV и XV века с памятниками восточнорусской письменности окажется ли, что язык тогдашней Новгородской области заключал в себе признаки особого наречия, отдельного от великорусского? Прочитайте грамоты и летописи и вы ответите отрицательно, вы найдете в новгородских памятниках, как диалектическое свойство, частое смешение букв *ц* и *ч*, вы найдете в них несколько особенных слов; однако все это и другие тому подобные признаки составляют не более, как особенности местного говора, особенности, которые необходимо должны существовать в языке племени, раскинувшегося на необъятные пространства; но такие признаки далеко не образуют особого наречия, а тем менее не выражают типа отдельной народности. Далее: предполагаемая севернорусская народность в настоящее время, очевидно, не существует отдельно от великорусской. Г. Костомаров, чтобы спасти ее существование в древности, говорит, что Иоанн III *стер ее с лица земли*. Возможно ли это? Мы знаем, что народности не так легко стираются с лица земли. Они борются целые века за свое существование и, побежденные, еще целые века хранят остатки бытия. Что же сделал великий князь Иван Васильевич? Г. Костомаров это во всей подробности рассказывает. Иван Васильевич выселил из Новгорода сперва главных вождей враждебной ему партии, потом 1000 семейств купеческих и детей боярских, потом еще 7000 семейств; позднее, в 1487 году, 50 семей лучших гостей, в 1488 году — 7000 житых

людей и наконец в 1489 году остальных житых людей новгородских; и с этим, полагает г. Костомаров, стерта была с лица земли «отдельная северная народность» (т. I, с. 235). Странная народность, которая заключалась вся в одном городе (из волостей, сколько известно, переселения не было, кроме разве нескольких бояр) и в одном высшем, зажиточном классе, в боярах и детях боярских, купцах и житых людях! Странная народность, которая исчезает при удалении нескольких тысяч семейств! Один взгляд на исторический факт и на приводимые летописцем цифры, кажется, достаточно опровергает мнение г. Костомарова о существовании отдельной севернорусской народности. Я нарочно не касался до сих пор самих цифр переселенцев: ибо даже при полной вере в их точность не может, очевидно, быть речи об истреблении Иваном Васильевичем «отдельной северной народности». Но теперь позволю себе спросить: действительно ли выселил великий князь такое множество народу из Новгорода? Цифры эти, сколько известно, не основываются ни на каких подлинных документах, а заимствованы из летописей. Сам же г. Костомаров неоднократно указывает на то, что летописцы страшно преувеличивают цифры. Правда, в этом случае он не делает такой оговорки и готов верить приводимым летописцами цифрам, вероятно, потому, что самое предположение об отдельной народности, истребленной Иваном Васильевичем, требует, чтобы цифры переселенцев были как можно больше. Но как я не могу согласиться с гипотезой г. Костомарова, то позволяю себе и в тех цифрах находить «общую замашку летописцев прибавлять», признаваемую нашим историком. Особенно подозрительными кажутся мне *семь тысяч* семейств, высланных в 1479 году, и *семь тысяч* житых людей, сосланных в 1488 году. Эти цифры напоминают мне простодушные рассказы славян-босняков о том, что тогда-то убито, либо посажено в тюрьму, либо выгнано турками 70, или 77, или 770 человек (цифра 7 должна быть непременно); а когда спросишь, действительно ли столько было по счету, то отвечают: «Кто их мог сосчитать? Мы знаем, что было очень много».

Что касается до народности, то г. Костомаров чрезмерно, по моему мнению, обособляет древний Новгород от остальной земли русской; напротив того, в отношении исторических начал, он, как мне кажется, впадает в другую крайность, слишком слабо отделяя характер исторического развития Новгорода от остальной Руси. Судя по книге г. Костомарова, Новгород был, как сказано выше, прямым преемником общерусской жизни в ее «удельно-вечевом укладе», явлением, сложившимся из начал этой жизни, без всякого постороннего влияния, тогда как против Новгорода выступила представительницею новых стихий Москва и покорила своей гражданской и политической новизне старину новгородскую.

Не стану спорить, что во всем этом есть значительная доля правды. Новгородцы имели полное право думать, что они стоят за свою старину, за старину, некогда бывшую общерусскою, что Москва им несет враждебную новизну. Но не все то, что кажется стариною по внешнему виду, заключает в себе дух старины. Мы сами это лучше всего ощущаем в нашей собственной среде. Г. Костомаров считает основным началом и нормою древнерусской жизни принцип федеративный, и в Новгороде находит он высшее развитие, самое осязательное проявление этого принципа. Согласно этому, Новгород был действительно представителем старины общерусской, ее полным историческим воплощением, идеальным типом того общественного строя, к которому влекли Древнюю Русь ее внутренние общественные начала и от которого она отклонилась вследствие новых понятий и потребностей, сложившихся в Московской области⁹. Эта мысль тесно связана с общею теориею о федерации, как основании древнерусской жизни, она логически истекает из нее; а г. Костомаров — один из главных у нас представителей федеративной теории, которую он изложил в другом историческом сочинении своем следующими словами: «И природа и обстоятельства исторические — все вело жизнь русского народа к самобытности земель, с тем, чтобы между всеми землями образовалась и поддерживалась неустанно связь; так *Русь стремилась к федерации*, и федерация была формою, в

которую она начинала облекаться; вся история Руси удельного уклада *есть постепенное развитие федеративного начала*, но вместе с тем и борьбы его с началом самодержавия»¹⁰.

Эта федеративная теория, в настоящее время довольно распространенная у нас, имеет в себе много заманчивого. Кому не было бы приятно думать, что Древняя Русь так прямо и стремилась, в своей государственной жизни, к свободе и самоуправлению и что только враждебные обстоятельства помешали ей осуществить давным-давно это стремление? Но кажется, что этот взгляд не может быть подтвержден исторической критикой.

Теория опирается на то, что условия природы и этнографические различия славянских племен, расселившихся на пространстве русского материка, вели их к образованию группы самостоятельных областей, связанных, однако, единством происхождения, веры и т. п. в одно федеративное государство. Нельзя, разумеется, отрицать влияния физических условий и этнографических оттенков на государственное устройство страны; но основывать на этих влияниях исторические теории опасно, ибо слишком часто действительность противоречит тому, чего следовало бы, по-видимому, ожидать от условий местных и племенных.

Возьмем несколько примеров из истории славянской. Прежде всего обратимся к Чехии. «Если кто посмотрит на карту Европы, — этими словами начинается прекрасная статья о Чехии, помещенная в Чешском *Научном Словаре* г. Ригера, — если кто посмотрит на карту Европы, то он увидит в ее середине, на стороне Запада, землю, окруженную венцом гор и потому очертанную самую природою и выгороженную как отдельное целое». Действительно, если есть на земном шаре страна, предназначенная к полному внутреннему единству, то это Чехия. Во-первых, она очень невелика. Во-вторых, со всех сторон ее ограждают извне цепи гор; внутри же себя она представляет или умеренные склоны, или равнину и не имеет в себе никакой естественной грани; в-третьих, все без исключения воды, ее орошающие, соединяются в одну реку, связывая

таким образом всю чешскую землю в один бассейн. Наконец, ее славянский народ не представляет никаких заметных диалектических и других оттенков; и кроме этого народа, Чехия не имела, при вступлении своем на историческое поприще и долго потом никаких других стихий населения¹¹. Что же говорит нам история? Она сперва находит славянский народ в Чехии раздробленным на несколько мелких племен, не связанных никакою общею властью. Первый признак общей власти является в VII веке, для отпора аварам; но этот зародыш государственного единства еще не принимается. Государственное единство устанавливается в чешском народе в IX веке, под давлением Германии, стремившейся завоевать чешскую землю. Молодое государство Чешское быстро возвышается, переходит в наступление. Время Болеславов (935 — 999) — это героический период юной Чехии. В 1055 году умирает последний представитель этого героического периода, Бретислав, и разделяет Чехию на уделы между своими пятью сыновьями, завещав верховную власть старшему из них. Эта маленькая страна, по всем условиям природы своей требовавшая полного единства, распалась тогда на части точно так же, как русская земля после Ярослава, и все то, в чем г. Костомаров видит федеративные начала удельно-вечевого уклада древнерусского, это все воспроизвела и Чехия в пору своего дробления на уделы и своих удельных усобиц. Это длилось там до начала XIII века. Премысл Отакар I (1197 — 1230) утвердил в Чехии снова единое государство, которое сделалось с тех пор основанием государственной жизни чешского народа¹².

Физические условия Польской земли являют совершенную противоположность Чехии. Равнина, изрезанная множеством водных путей; народ, лишенный естественных границ, ибо чужое племя, пруссо-литовское, отрезало его от большей части Балтийского берега, линия Эльбы, а вскоре и линия Одера были заняты Германией, а с юга русское племя отделяло поляков от Карпатских гор, оставляя им этот хребет, как естественную границу, на небольшом только пространстве. По-видимому, ничего во внешнем характере Польской земли

не походило на Чехию. Отчего же история ее следовала ходу, совершенно параллельному, так сказать, с чешской, опаздывая только, против последней, на одно столетие? В начале истории застаёт польский народ раздробленным на несколько племен. После темных, баснословных зачатков княжеской власти, Польша, около ста лет после Чехии, т. е. в исходе X века, получает государственное единство; существенным поводом к тому является опять-таки внешняя опасность, необходимость защиты от Германии. Сознавши впервые свое единство, молодой народ тотчас от оборонительной войны переходит в наступление, и новорожденная Польша имеет свою героическую эпоху при трех великих Болеславах: Храбром (†1025), Смелом (†1081) и Кривоустом (†1139). Умирая, последний разделил Польшу на уделы между своими четырьмя сыновьями и завещал верховную власть старшему из них. Наступил в Польше «удельно-вечевой уклад» и длился он почти двести лет, пока в лице Владислава Локотка (1305 — 1333) восстановлено было начало единой державы, которое потом мало-помалу устранило все уцелевшие от прежней эпохи уделы (последний из них, удел Мазовецкий, исчез в 1526 г.)

Если внешние условия Чехии представили нам край, по самой природе предназначенный к полному внутреннему единству, то, конечно, трудно найти страну, более удобную для федеративного устройства, чем Сербия (в обширном смысле, т. е. вся область, занятая сербским народом). Она изрезана цепями гор во всех направлениях; эти горы и рассеянные между ними равнины образуют из нее множество отдельных *кантонов*, чтобы заимствовать из Швейцарии соответствующее романское слово, которое, в славянской переделке¹³, было употребляемо и в древней Сербии. Все эти кантоны не имеют никакого общего природного центра, никакой связи между собою, кроме того, что в них живет один народ. И конечно, эти естественные условия были причиною того, что в Сербской земле государственное единство встречало наибольшие препятствия, что сербская история действительно показывает многие признаки федеративного начала. Но отчего же все-таки

главным, общим содержанием ее является единство государственное, основанное на единой державии? Отчего развитие ее в этом отношении шло параллельно с Чехией и Польшей? Как ни скудны и неопределенны известия о древней истории сербской, все-таки видно, что сербский народ, вначале раздробленный, уже в IX и X веке составлял, более или менее, одно государственное целое и что это единение вызывалось в нем опасностью со стороны Византии и болгарских царей-завоевателей. После того исторические сведения о Сербии становятся совершенно загадочными и бессвязными, и можно с достоверностью сказать только одно: именно, что в эту пору Сербия была разделена на многие уделы. Наконец, в исходе XII века, Стефан Неманя (†1200) водружает знамя единой державии; расширение и утверждение государственного единства становится с тех пор господствующею идеею сербской истории, — пока столкновение с турками, при разных внутренних причинах разложения, о которых здесь не место распространяться, не положило конца этому стремлению и политической самостоятельности сербов.

Сравним же теперь все эти данные, предлагаемые историей трех западных славянских народов, чешского, польского и сербского¹⁴, с историей народа восточнославянского, с историей Русской земли: не очевидно ли тождество в историческом ходе? Везде, и на Руси, и в Польше, и в Чехии, и в Сербии, — при самых противоположных условиях физических, при самой разнообразной обстановке, славянский народ, почти в одно время, т. е. в IX и X веке, выходит из первоначального своего племенного быта и организуется в единое государство, которое является как бы выражением пробудившегося, среди дробных племен в каждой из этих стран, сознания народного единства. Везде это объединение вызвано напором или гнетом внешних врагов: тут Германской империи, там норманнов и хазар, в другом месте болгар и Византии. Везде, и в Чехии, и в Польше, и на Руси, новое начало единства охватывает славянские племена каким-то юношеским пылом проснувшейся силы. Долго дремавшие в бессвязном дроблении и терпевшие

насилие от врагов и хищников, славянские племена увлечены упоением войны, в первый раз поднятой под общим знаменем, победы, в первый раз одержанной под общим вождем, — и освободившись от угнетателей, они бросаются сами на своих соседей. И вот, чехи, едва приняв государственное устройство, едва упрочив свою независимость, несут завоевательное оружие на берега Вислы, за Карпатские горы и к Дунаю; поляки, тоже только что создавшие у себя единство, являются с своими Болеславами то на Эльбе и Балтике, то в чешской Праге, то в русском Киеве. Русские славяне, на заре своей государственной жизни, плывут с Олегом под Цареград, ходят с Святославом к Кавказу и за Дунай. И ошибаются те из историков наших, которые приписывают это завоевательное стремление личному влиянию норманнских князей: они забывают про тождественность этих явлений с тем, что имело место в других славянских странах, где государственное единство возникло без участия норманнов, в Польше и Чехии. Если нельзя указать на такой же героический период в начале истории сербов, то, с другой стороны, мы не в праве заключать, чтобы и там не было ничего подобного: ибо все, что мы знаем о делах сербов в первую эпоху их государственной жизни, заключается в темных намеках на освобождение от византийской власти и на отчаянную борьбу с Болгарским царством.

Но непомерно быстрый рост и разлив завоевательных сил в Чехии X века, в Польше при первых трех Болеславах, в Русском государстве при Олеге, Святославе и Владимире, указывает прямо на то, что это было лишь порывом возбужденной деятельности внешней, а не плодом выработавшегося в народе, проникшего весь его организм, сознания. Порыв должен был остынуть, внешнее единство уступить место остаткам племенной розни, не вырванным еще историею из жизни славянских народов. И вот мы видим у них опять совершенно тождественные явления, почти в одно время. Государь могущественный, представитель прежнего единства, но уже слабее увлекавшийся завоевательным духом своих предшественников, — как будто в предчувствии невозмож-

ности долее поддерживать слишком скоро воздвигнутое здание единой державы, разделяет при смерти государство между своими детьми. Все равно, назывался ли этот государь Бретиславом (†1055), Болеславом Кривоустым (†1139) или Ярославом (†1054), — в Чехии, в Польше и на Руси происходит совершенно то же самое, везде открывается новая эпоха дробления на уделы. В эпохе этой г. Костомаров видит воцарение федеративного начала, лежавшего, по его мнению, в основе славянского быта; я позволяю себе считать ее временем брожения страны, вовсе не стремящейся к федерации, а напротив, к единству народному и государственному, но которая вначале не в силах выдержать этого единства, еще только внешнего, и должна выработать его вновь во всех внутренних стихиях своей жизни. Не федерацию считаю я сущностью той эпохи в истории славянских народов, а борьбу новой идеи единства и единой державы со старою племенною рознью, от которой славяне перед тем отказались только по необходимости дать отпор внешнему насилию¹⁵. По этому самому я думаю, что не татары и не византийские предания, принесенные к русским церковью, были, как полагают иные, главными виновниками выработавшегося на Руси из удельного дробления единства и единой державы, что это было созданием внутреннего стремления исторического, внутренней работы, происходившей в самом народе независимо от всяких внешних влияний. Ибо тот же самый результат, — единство народа и единой державы, — вышел из удельной эпохи и в Сербии, где не было татар, и в Чехии и в Польше, где не было византийской церкви и где мимолетный набег татарский конечно не мог иметь никакого существенного влияния, а все влияние принадлежало, напротив, Германии с ее средневековым федеративным устройством.

«Того старого Владимира нельзя же пригвоздить к горам Киевским...»¹⁶.

«Увы, увы! Болеслав, зачем ты, отец, нас покидаешь? Боже, зачем позволил ты умереть такому человеку? Зачем не ниспослал ты нам прежде смерть вместе с ним...»¹⁷.

«Встало одно солнце по всему небу, встал Яромир снова над всею землею (чешскою). Разнеслась радость по всей Праге, разносилась радость вокруг Праги, разлеталась радость по всей земле, по всей земле от радости Праги...»¹⁸.

Таких голосов донеслось до нас много из той эпохи в истории славянских народов, которую хотят признать выражением федеративной идеи. Везде идеалом народа является представитель единства и единодержавия; а древняя Сербия высказала свое убеждение еще решительнее. Ее летописцы просто вычеркнули из истории своего отечества всю эпоху дробления и начинают прямо с восстановителя единодержавия, с Немани, говоря, что все предшествовавшее не стоит воспоминания: так что мы теперь догадываемся о продолжительном в сербской истории удельном периоде только по известиям об усилиях Немани и его преемников положить конец этому порядку вещей и из нескольких отрывочных сведений у иностранных писателей.

Мне кажется, что сравнительное изучение исторического развития у разных славянских народов должно решительно опровергнуть все предположения о федеративном начале как цели, к которой стремилась древнерусская жизнь. Если, по справедливому замечанию г. Костомарова, каждая эпоха имеет свой идеал, то конечно идеал удельной эпохи был вовсе не в том, в чем видит его наш историк. Сам г. Костомаров признает, что удельно-вечевой уклад в Древней Руси не дошел до своего полного развития, не осуществил своего идеала. «Мы не видим, — говорит он, — стройной, сознательной, определенной федерации земель, не видим, чтобы каждая часть развила в себе самобытные элементы жизни; не видим также и твердых связей, соединяющих между собою земли. Нам являются одни зачатки, которые не успели еще образоваться, и были, так сказать, задавлены тяжестью противных начал; то были побегы, не успевшие дорасти до зрелого состояния, — их юношеское существо сломлено противною бурей. Что-то хотело выйти и не вышло; что-то готовилось и не доделалось!» Нет, я скажу совсем другое. Вообще, я отношусь в истории с

совершеннейшим недоверием ко всем предположениям о том, что вот то-то могло быть, а не было. Мне кажется, что Древняя Русь не осуществила федеративного идеала потому, что его в ней не было; я полагаю, что она не развила «стройной, определенной, сознательной федерации земель» потому, что она не того желала; я думаю, что в брожении удельно-вечевой эпохи зарождалась вовсе не федерация, а то, что составляло потребность, гораздо более осязательную для слагающегося народа: единство и единодержавие. Единство и единодержавие — вот, по моему мнению, тот идеал, который носила в себе удельная эпоха у всех славянских народов. Она видела осуществление этого идеала в прошедшем, в первую эпоху великих государей-завоевателей, предмете заветных воспоминаний для последующих поколений и стремилась к новому, прочному осуществлению этого идеала; и везде это стремление достигло своей цели, везде, при самых разнородных условиях, удельная эпоха у славянских народов осуществила свой идеал — в единстве государственном и единодержавии.

Само собою разумеется, что я разумею во всем этом единство и единодержавие лишь как *внешнюю форму* государственного устройства, в противоположность устройству федеративному, не думая определить внутреннего его содержания, т. е. самого характера, принятого у того или другого славянского народа его единодержавным правлением. Характер этот был произведением множества разных внутренних стихий и внешних влияний, в разбор которых здесь нечего входить. Единодержавие могло принять характер сословной конституционной монархии наподобие средневековых западноевропейских государств, как в Чехии, оно могло явиться аристократическо-республиканскою монархией, как в Польше, и смесью византийского самодержавия с боярскою аристократией, как в древней Сербии, и, как в Древней России, самодержавием с совещательным земским началом, уступившим затем место абсолютному самодержавию России петровской. Все эти виды государственного устройства славяне могли выработать в общем для всех начале единодержавия;

одного только вида они до сих пор не выказали в своей истории, — это именно *федерация*.

Я сказал слишком много; была действительно в славянском племени одна попытка федеративного устройства; но эта попытка может дослужить, кажется, самым ясным свидетельством в пользу изложенного мною мнения. Такую попытку представляют языческие племена прибалтийских славян, существовавшие до конца XII века в стране, которая ныне составляет значительную часть Пруссии и Мекленбургия. Эти славяне жили первоначально, как и все другие, раздробленными на множество мелких племен. Вследствие разных причин, о которых было бы слишком длинно распространяться, эта первоначальная племенная рознь, а вместе с нею и старая языческая религия и языческое жречество, пустили там такие глубокие корни, что сделались окончательною историческою формою жизни прибалтийских славян. И вот мы видим, что у них в XI и XII веках существовало федеративное устройство самого определенного характера. Каждое племя само по себе составляло совершенно независимое целое; несколько ближайших племен образовали вместе союз с общим центром; наконец все племена и племенные союзы в совокупности связывались в одну общую федерацию с общим верховным средоточием в священном городе Арконе на острове Рюгене. Но главою этой федерации был не государь, а жрец; нитями, связывавшими племена и племенные центры с общим средоточием федерации, были не представители народной воли или общественной власти, а представители воли и власти богов, языческие прорицалища и жрецы, толковавшие указания прорицалищ. Идея государства оставалась совершенно чужда этим погибшим славянам; и если тот или другой князь, т. е. племенной старшина, если какой-нибудь Дражко или Готшалк или Крук пытались заложить между ними государственное здание, то они рано или поздно падали под ударами убийц, мстивших за измену народному быту. Таким образом, там, где возникло в славянской среде федеративное устройство, оно именно отрицало государство, исключало возможность государственной

организации. Эти две идеи, государство и федерация, насколько свидетельствует до сих пор история, оказывались несовместимыми в славянском мире.

История всех славянских народов представляет у них самые очевидные признаки общинного и общественного самоуправления; потребность в нем жила, кажется, в славянском племени во все века его исторического бытия: дело только в том, что это местное самоуправление не имело у славян ничего общего с рассчитанною комбинациею федеративного устройства, с таким государственным порядком, в котором «каждая в отдельности земля, — как полагает г. Костомаров, — составляла бы свое целое в проявлении своей местной жизни, и все вместе были бы соединены одною и общею для всех связью». Нет, мне кажется, что славянское племя встарину понимало общинное и местное самоуправление, как прирожденную *бытовую*, а не государственную принадлежность общественной жизни, как такую принадлежность человеческого общества, которая по тому самому не подлежала никакому определению и узаконению со стороны государства; в государственной же сфере славянская старина допускала только одну идею — единство, идею, которая, как сказано, не переставала вырабатываться в славянских народах даже тогда, когда старые стихии племенной розни брали верх в их жизни. В исключительно-бытовой, чуждой государственной сфере, основе самоуправления, как оно представляется славянскою стариною, я вижу главную причину того, что самоуправление это везде так легко устранялось при установлении в крае государственной организации. Известно также, например, что в Польше и Чехии славянское общественное право, в началах своих проникнутое духом свободы, подчинясь государственной организации, мало-помалу, без всякого ощутительного перелома, получило характер самой отяготительной для народа неволи, так что народ стал всячески искать выхода из-под своего родного общественного права. Всякий, кто мог, старался тогда в Польше и Чехии выхлопотать себе у государя изъятие из славянского земства, привилегии жить под немец-

ким общественным правом, с немецким сельским или городским самоуправлением: ибо начала немецкого самоуправления лежали в государственной сфере, а не только в бытовой. Немецкое самоуправление, выработавшееся в средние века под влиянием Римского права, идей Римского муниципия, — хотя гораздо более тесное и исключительное, нежели первоначальное самоуправление у славян, — заключало зато в себе точное определение своих пределов в сфере государственного устройства: оно являлось как бы условием, договором между местною свободою и государственною властью и доставляло по этому самому гарантию местной свободе, хотя последняя и приобреталась отступлением от коренных славянских начал. Вот, по моему мнению, чем можно объяснить явление, столь странно поражающее нас в истории западных славянских народов в первые века их государственной жизни, — это всеобщее, так сказать, стремление покинуть свое славянское общественное право, как не дающее надежной гарантии против государства, — то обаянье, какое имело на эти народы немецкое общественное, сельское или городское (так наз. Магдебургское) право. Вообще идея федеративного государства кажется слишком отвлеченною и условною, требующею слишком рассчитанной соразмерности местной автономии и центральной власти, для того, чтобы можно было приписать ее такой первобытной, непосредственной, так сказать, стихии, как славянское племя в первые столетия его государственного развития. Скорее, эта идея могла принадлежать старине германской, отличавшейся большим развитием личности, большею склонностью к отвлеченным принципам. И действительно, история славянских народов представляет в этом отношении самую разительную противоположность Германии. При ослаблении империи Карла Великого племена, на которые первоначально дробился немецкий народ и которые франкский завоеватель подчинил государственному единству, снова образовали, каждое, свое самостоятельное целое. Уже никакие усилия великих Оттонов, Салиев и Гогенштауфенов не могли соединить группы саксов, франков, швабов, баварцев

иначе, как федеративною связью более или менее крепкою, смотря по личности государя; и историческая работа в этих группах шла не к единению, как в России и других славянских странах, а к большему и большему дроблению, к подразделению племенных групп на мелкие части, образуя мало-помалу то диковинное, многоэтажное, если можно так выразиться, здание федеративного государства, какое представляла «священная империя» Германская в позднейшую эпоху своего существования. При этом, вот странная черта, которой нельзя не заметить. Нынешние историки Германии также тщательно выслеживают в своей отечественной старине все признаки стремлений к полному государственному единству, также сетуют на то, что эти стремления были «задавлены тяжестью противных начал», также восклицают: «что-то хотело выйти и не вышло, готовилось здание полного государственного единства Германии и не достроилось»¹⁹, как делает г. Костомаров с противоположной точки зрения, в пользу федеративного начала на Руси. И тут и там история, очевидно, теряет нужную для науки безусловную объективность; и тут и там она приводится под влияние современной потребности, — в одной стране централизации, в другой децентрализации; и в том и в другом случае она сбивается с пути.

Законность этих современных стремлений, — в Германии к большему единству, в России к большему простору местных стихий — я сознаю не менее всякого другого, и тот поступил бы несправедливо, кто захотел бы обратить мои доводы против федеративной теории г. Костомарова в пользу того взгляда, который идеал государственной жизни ставит в какой-нибудь Франции времен Людовика XIV. Конечно, не к такому строю общественному стремилось славянское племя, когда оно напрягало все свои силы, чтобы создать себе единство и единодержавие и на Руси, и в Польше, и в Сербии, и в земле Чешской; смешивать историческое стремление славянских народов к единству и единодержавию с какою-нибудь доктриною о правительственной централизации и о французском *l'état c'est moi* — такое смешение было бы, по

моему мнению, совершенным противоречием историческим и бытовым началам этих народов.

Однако пора возвратиться к специальному вопросу о Великом Новгороде в его отношениях к остальной России, как они представлены г. Костомаровым.

III

Значение Новгорода в Древней Руси. — Параллель между Новгородом и Галичем. — Торговые города в древнеславянском мире. — Древность Великого Новгорода. — Грамота Ярославла. — Ганзеатические города и влияние их на организацию Новгорода. — Отношения Новгорода к Московскому государству. — Борьба Ивана III с Новгородом.

Г. Костомаров полагает, что Древняя Русь в эпоху удельно-вечевую слагалась в федеративную державу, которая была разрушена татарским нашествием. «Старое, еще не достроенное здание русской федеративной державы было разбито; от него остался на севере угол: то был Новгород со Псковом, своим меньшим братом».

Нельзя сомневаться в том, что этот северный угол, во время татарского владычества и до Иоанна III, хотел состоять с великим княжеством восточной Руси, где бы ни находился его центр, во Владимире ли, в Твери или в Москве, — в федеративной связи. Новгород признавал над собою верховную власть великого князя и в то же время сохранял строго свою внутреннюю независимость, которую он основывал не просто на прирожденном, бытовом праве выдать самому свои дела, а на писаных привилегиях, на договорных грамотах, определявших взаимные права и обязанности верховной власти и свободного города. Явление совершенно исключительное в Древней Руси. Для г. Костомарова оно служит признаком обнимавшего будто бы всю Древнюю Русь федеративного начала. «Новгород, по его словам, совместил в себе то, что было

достоянием всех русских земель в свое время, и представил это ясно в своей истории».

Как ни лестно было бы для нашего патриотического самодлюбия думать, что не будь этих поганых татар, мы давным-давно имели бы в нашем отечестве новый союз Амфикиононов, но я позволю себе быть совсем другого мнения о значении древнего Новгорода.

Я изложил уже главные причины, по которым не могу признать в Древней Руси стремления к федерации. По тому самому я отвергаю и заключение, что если Новгород состоял к остальным русским землям в федеративных отношениях, то он в этом выражал общерусские начала.

По моему мнению, Новгород не был, как определяет его г. Костомаров, угол недостроенного и разбитого здания русской федеративной державы, угол, в котором уцелел в отрывке первоначальный общий план строения; это был угол, пристроившийся к общерусскому зданию по другому, чужому плану, привнесенному чужими стихиями.

Г. Костомаров не обратил внимания на то, что Новгород не был единственный в таком роде особый угол в здании Древней Руси, что таких углов было два, на двух противоположных концах ее: на севере Новгород (со Псковом), на юге Галич. Галич точно так же, как Новгород, выделился мало-помалу, в продолжении удельного периода, из общей массы русских земель, обособился, выработал свою местную исключительную жизнь, и в то же время не отказывался от общения с остальной Русью: он становился в такие же федеративные отношения к юго-западной Руси, как Новгород к северо-восточной. Сравнить эти два сходных явления кажется мне необходимым для того, чтобы понять их значение и источники их происхождения.

Что составило особенность земли Галицкой, что отделило ее внутреннюю жизнь от общей русской жизни, это не подлжит, кажется, никакому сомнению.

Земля Галицкая выработала из прежней общерусской дружины княжеской независимую боярскую аристократию;

она одна в русском мире развила в себе вполне определенное и преобладающее начало аристократическое.

Источники этой особенности земли Галицкой также совершенно очевидны. Галицкая земля врезывалась углом между Польшею и Венгриєю; она находилась с ними в самом тесном общении; она беспрестанно призывала поляков и венгров в ряды своих войск, беспрестанно видела их у себя и непрошенными гостями, не раз даже повиновалась им, как своим правителям. Естественно, что и общественные стихии тогдашней Польши и Венгрии должны были сильно воздействовать на землю Галицкую. В Польше и Венгрии было в то время одно и то же преобладающее начало — аристократия, не та демократическая аристократия, какая впоследствии развилась в Польше, а аристократия магнатов, возводившая и низводившая князей, располагавшая странюю. Такой именно характер аристократии магнатов развился и в Галицком боярстве. Боярство обособило Галич от остальной земли Русской и сделалось в нем тою центробежною силою, которая сперва дала старинному единению его с южною Русью характер федеративной связи, а потом, при падении южной Руси, вовсе оторвала его от союза с русскими землями и передала во власть Венгрии и Польши.

Поставим теперь древний Новгород в параллель с Галичем.

Древний Новгород был тесно связан с Ганзеатическим союзом городов северной и западной Германии.

Это такая историческая особенность, которая не могла не иметь величайшего влияния на внутреннее развитие русской жизни в древнем Новгороде.

Вообще торговая деятельность (история служит тому доказательством) всегда запечатлевала особливую физиономию те местности, в которых она водворялась. Этот отпечаток был тем сильнее, он тем резче обособлял торговую местность, чем исключительнее деятельность эта в ней сосредоточивалась, чем менее она разделялась всем остальным населением края.

К сожалению, г. Костомаров отодвинул торговое значение Новгорода на задний план, посвятив ему особую главу почти в конце своего сочинения. Как я уже заметил, читатель,

который только по книге г. Костомарова знакомился бы с историей Новгорода, прочитал бы всю политическую его историю от Рюрика до Ивана Васильевича, историю всех его внутренних раздоров и внешних войн, — и не догадался бы даже, что Новгород был торговым центром всей почти земли Русской.

А именно с этого, как мне кажется, следовало начать для того, чтобы верно оценить значение Новгорода и его особенностей в древнерусской жизни.

В таком случае г. Костомаров, конечно, не принял бы «Государя Великого Новгорода» за выражение тех начал, которые вырабатывались всеми русскими землями, — так же точно, как он не признал бы царицу Адриатики представительницею того, «что хотело выйти и не вышло» в средневековой Италии.

По моему мнению, Венеция была даже, по внутреннему характеру своему, гораздо сроднее прочим итальянским землям, в которых почти везде был силен торговый и муниципальный дух, — нежели Новгород остальной массе русских земель.

Славянское племя вообще, и также в России, выступило на поприще истории с самым слабым развитием городской жизни, с самым слабым стремлением к ней. Во всех славянских землях мы находим первоначально *город* или *град* только в значении временного сборного места для окрестного населения на случай неприятельского нашествия, для суда, торгова, религиозных праздников и т. д., места, постоянными жителями которого были только должностные лица да военная стража. Если еще в XIX веке Россия не могла выработать в себе городской жизни, как мы ее видим у германских и романских народов, если западная *bourgeoisie* должна переводиться по-русски словом *мещанство*; если другие славянские земли принуждены были занять, так сказать, городское сословие у иностранцев (Польша и Чехия у немцев и евреев, южные славяне у греков, итальянцев и т. д.), — то можно себе представить, как чужда была городская жизнь славянам несколько сот лет тому назад.

Тем резче должны были выделяться из общей массы славянского народа те немногие пункты, в которых торговля водворилась издревле и где образовалось постоянное городское

население, производившее эту торговлю. Такими *городами* в смысле западноевропейском, а не древнеславянском, были в старину у славян в странах, связанных с Балтийском морем, древний Мекленбургский Рерик, Штетин, Волын, Гданск в землях славян прибалтийских (принадлежавших несомненно к ляшскому племени) и Новгород в земле русских славян. Древность их незапамятная. Город славян-бодричей (в нынешней Мекленбургии) Рерик²⁰ кончил свое существование уже в 808 году; а в то время его торговля была так значительна, что пошлины, которые она доставляла Дании, считались одним из важнейших доходов датской казны.

Трудно также сомневаться в глубокой древности другого торгового города славян прибалтийских, который дожил до начала XII века, именно города Волына на устье Одры. В XI веке его значение было таково, что Волын (иначе Юлин, теперь Wollin) представлялся немецкому писателю «самым большим из городов Европы»; о величии его ходили тогда в Германии баснословные рассказы. Он был центром торговли всех прибалтийских стран и Руси. Его посещали и в нем пользовались правом гражданства люди, которых немецкий писатель того времени называет греками и под которыми должно, без всякого сомнения, разуместь последователей греческой веры, т. е. русских и, конечно, по преимуществу новгородцев.

Город Штетин (Штетин), по своему положению, разделял торговую деятельность Волына. Волын, лежащий на острове, должен был вести преимущественно заморские сношения; Штетин, выстроенный близ устья Одры, но в некотором расстоянии от моря, имел ближайшую связь с окрестными племенами славянскими. Мы знаем о весьма значительном развитии штетинской торговли в начале XII века; мы знаем, что Волын признавал за Шетином старшинство пред собою.

Как ни скудны наши сведения о быте и правлении славян прибалтийских, однако мы видим, что эти торговые города с постоянным населением имели свое исключительное положение в стране. Мы знаем, например, что Штетин и Волын гораздо менее зависели от княз<я> поморян, нежели остальная страна.

В Щетине и Волыне был особый княжий двор, считавшийся неприкосновенным, но князь не был хозяином в этих городах, как он был хозяином в стране. Города имели свою полную автономию, управление сосредоточивалось в постоянном совете старшин, составленном из знатных людей и стариков²¹; решение зависело от народного веча, собиравшегося в дни, назначенные для торга²², на городской площади, кругом помоста, с которого говорили народу его старшины и особые глашатаи. Княжеская власть в этих городах была почти только номинальная, торговый город князю не повиновался, находился с главою страны в постоянном раздоре: *discordia inter Stetinenses et ducem inveterata*, говорит немецкий писатель, изображающей славянское поморье в начале XII века.

Древность Великого Новгорода едва ли может подлежать сомнению. Историческая критика должна будет, мне кажется, наконец убедиться, что начало Новгорода предшествовало многими веками заложению Русского государства, что Новгород, прежде чем сделаться столицей славянских князей, был давным-давно таким же торговым центром среди раздробленных племен нашего Севера, каким были, например, Рерик или Волын среди племен прибалтийских. Вместо того, чтобы выписывать о древности Новгорода сказку из хронографов XVI и XVII веков, г. Костомаров мог бы привести указания, имеющие несравненно большую историческую цену. В VI веке у историка готов Иорнанда мы находим два свидетельства, которые могут, с большою вероятностью, быть отнесены к Великому Новгороду. В одном месте, там, где у него идет речь о жилищах славянского племени (венетов) в двух ветвях, на которые готский историк его разделяет, словен (Sclaveni) и антов, — Иорнанд говорит, что *словене* простираются от *города Новиетунского и озера, называемого Мусианским*, до Днестра и Вислы. Какое это *Мусианское озеро*? Мы находим в скандинавских памятниках озеро Муиск, как название Ильменя; даже в приводимую г. Костомаровым сказку попало, неизвестно из какого источника, сведение об этом древнескандинавском названии Ильменя (Мойско). Как

Иорнандовы сказания о севере основывались на преданиях готских, находившихся в самом близком родстве с скандинавскими, то весьма правдоподобно, что под именем *Iacus Musianus* он разумел озеро Муиск, т. е. Ильмень; и догадка эта еще более подтвердится, когда мы сблизим название озера с названием города, сопоставляемого с ним в сказании готского историка: *Новиетун* есть не что иное, как *Новгород* в германской форме (древнее германское и в особенности скандинавское слово *tun* в смысле города сохранилось и до сих пор в живой речи у англичан: *town*). Итак, должно полагать, что в то время, когда писал Иорнанд, т. е. около 550 года, уже был Новгород у озера Ильменя; а другое свидетельство того же писателя указывает на древность еще отдаленнейшую. Иорнанд исчисляет племена, покоренные на севере готским царем Эрманариком (в первой половине IV века), и тут, между названиями, в которых, под немилосердыми искажениями от переписчиков, мы встречаем знакомые имена голядов, литвы, чуди, веси, мери, мордвы, черемисы, является имя *navego*; и мы, судя по стране, к которой относятся прочие приводимые Иориандом названия, не можем не заключить, что это *navego* есть испорченное имя нашего Великого Новгорода²³. Одно то, что имя это могло сохраниться в памяти у готов в Италии, что этот город, в их преданиях об Эрманарике, сопоставлялся с именами целых народов, покорившихся их древнему герою, — указывает на особенное значение Новгорода в самую глубокую древность; и в чем же могло состоять такое значение, как не в том, что этот город был уже тогда торговым центром Севера?

Скандинавские сказания подтверждают глубокую древность Великого Новгорода и его торговли; то же доказывают найденные в его окрестностях арабские и другие монеты. Новгород, уже задолго до призвания варяжских князей, до образования Русского государства²⁴ должен был занять исключительное положение среди земель славянских, вошедших в состав этой державы. В его торговле, в том, что он имел постоянное городское население, не свойственное славянским племенам

в тогдашнем их состоянии, я вижу источник тех особых отношений, в которые Новгород с самого начала старался поставить себя к Русской земле и к ее князьям и которые потом формулировались в знаменитой, хотя не дошедшей до нас, грамоте Ярославовой. Происхождение и постановления этой грамоты требуют еще критического исследования. Но к какому бы времени ни относилась она, какие бы ни были права, в ней определенные, несомненно то, что грамота Ярославова составляла для Новгорода *привилегию* перед другими городами и землями русскими, *изъятие* из общего земского порядка; что древнее славянское самоуправление, в тех или других отношениях, переносилось этою грамотою для Новгорода из непосредственной бытовой сферы в сферу государственных узаконений, ставилось под гарантию государственного акта, связывавшего как город, так и государственную власть взаимными обязательствами. В существе это явление совершенно сходно с теми бесчисленными изъятиями из общего земского права, какие давались в Польше и Чехии, начиная с XII века, разным городским и сельским обществам. Только там привилегия состояла прямо в перенесении на общество, изъемлемое из славянского земства, — городского или сельского права немецкого, *jus teutonicum*; здесь же изъятие из земства выработалось непосредственно из всех тех особенных условий и выгод, какие сопряжены были с положением Новгорода, как главного торгового центра всего Русского Севера. Точно также торговые города славян прибалтийских могли выработать себе привилегированное положение в стране без заимствования немецкого права, гораздо прежде, чем *jus teutonicum* перенесено было в это край.

Но с течением времени на Новгород стали действовать прямо и чужие влияния. В XII веке славянская народность на берегах Балтики начала уступать место немецкой, и в XIII веке на развалинах славянских торговых городов возникли торговые города немецкие. Сюда перешли муниципальные начала, принятые Германией от римского мира и прежде всего приложенные к делу городами рейнскими, для отпора насилию фео-

дальной аристократии. С этими рейнскими городами вступили в союз (в *ганзу*) немецкие города, основанные на Вендской земле, города, которые, по самому положению своему в стране, где туземная народность еще жила и волновалась, должны были еще более развить в себе муниципальную исключительность. Торговое общение с Новгородом перешло к этим городам от их славянских предшественников. Уже в XII столетии находим мы такие сношения, в XIII и XIV веках они достигли полного развития. Мне кажется, г. Костомаров не совсем справедливо полагает, что «вековое торговое знакомство (Новгорода с немецкими городами) не произвело нравственного единения между туземцами и гостями», что «соседство с Западом и торговые сношения с немцами не сблизили Новгорода с Европою морально» и что в Новгороде невозмутимее, чем в других странах, развивались старославянские начала. Наш историк заключает об отсутствии влияния немецких городов на Новгород из того, что немецкие купцы старались по возможности сосредоточивать в своих руках монополию торговых сношений с Западом, что они «эксплуатировали Новгород для своих целей» и «сознательно, умышленно старались не допускать новгородцев до знакомства с европейским просвещением». Мне кажется, тут смешивается внешняя сторона дела с внутреннею. Весьма понятно, что любские и прочие немецкие купцы хотели получать от новгородской торговли наибольшие по возможности денежные выгоды и всячески старались отстранить от себя конкуренцию; но как бы они ни надували и ни эксплуатировали новгородцев, разве это могло положить преграду влиянию их духа, их учреждений, их понятий? Где это видано, чтобы иностранцы не могли иметь влияния на какой-нибудь народ по той причине, что они его «эксплуатировали для своих целей», как выражается г. Костомаров? Конечно, организм современной России и развитее и крепче и, по тому самому, менее податлив на иностранное влияние, нежели мог быть организм одной русской городской общины в XII и XIII веках: но и современная Россия едва ли доказывает справедливость взгляда г. Костомарова.

Нет, именно иностранное влияние, дух Ганзы, — вот то, что, по моему мнению, обособило древний Новгород от остальной северо-восточной Руси, подобно тому, как иностранное же влияние, дух венгерского и польского магнатства, обособило землю Галицкую от Руси юго-западной.

Дух немецкой торговой Ганзы встретил в Новгороде уже подготовленную почву, он мог явиться там дальнейшим утверждением тех отношений, которые развила в Новгороде исключительность его торгового значения, — точно так же, как на Балтийском поморье немецкие ганзеатические города приняли на себя и повели далее деятельность древнеславянских Рерика, Волына, Щетина, Гданска и проч. Славянские города уже пользовались исключительным положением в стране; но эта исключительность еще не доходила до полной замкнутости городского сословия, до организации города в самостоятельное государственное тело. Полная замкнутость городского сословия, организация города в маленькое республиканское государство перенесены были на Балтийское поморье германскою стихиею, которая усвоила их себе вместе с остальным наследием римского мира.

Великий Новгород был город славянский. Нельзя было ожидать, чтобы он мог уподобиться вполне городам немецкой Ганзы. Полная сословная замкнутость немецкой *Bürgerschaft* слишком сильно противоречила славянскому характеру и быту его населения. Новгородец дорожил Ярославовой грамотой, он дорожил привилегиями, которыми пользовался, благодаря исключительному положению своего города; но он не в силах был отрешиться совершенно от земли, провести между собою и остальным народом непроходимую грань сословной корпорации. «В Новгороде, — говорит г. Костомаров, — всякий мог приходить и жить полноправно», и это точь-в-точь соответствует тому, что немецкие писатели рассказывают нам о славянских городах Балтийского поморья, о Волыне в XI, о Щетине в начале XII века.

Но муниципальные начала Запада привились к другой стороне новгородской жизни, к его государственному строю,

как вообще государственные отношения легче подчиняются внешним влияниям, чем начала общественные. Это тем скорее могло здесь случиться, что Новгород, благодаря своему исключительному торговому развитию, уже издавна стоял особняком среди Русской земли, что он издавна был город привилегированный, как мы это видим из существования древней грамоты, о значении которой было сказано выше, грамоты, носившей название Ярославовой.

Город Новгород сделался *государством*, Новгород стал именоваться государем: «Государь Великий Новгород». Город заключал договоры; город считался господином целой обширной Новгородской области и находившихся в ней пригородов; город раздавал волости в кормление принятым им на службу князьям, город набирал войско в своей области, собирал в ней подати, город действовал от ее имени, как государь действует от имени страны, которой он главою. Все эти черты я выписываю из книги г. Костомарова и теперь спрашиваю: где видано что-нибудь подобное в славянском мире, где слыхано между славянами о таком возведении города в государство? Я знаю только один пример: это Дубровник, или Рагуза. Но Рагуза была древний римский муниципий, в котором с течением времени романское население сменилось славянским, и где дух римского муниципия поддерживался влиянием Венеции и других городских республик средневековой Италии.

При таких понятиях, при таком порядке вещей, развившихся в Новгороде, можно ли, я спрашиваю опять, признавать этот город представителем старославянских начал в Древней Руси, «совместившим в себе, — как полагает г. Костомаров, — то, что было достоянием всех русских земель в свое время»?

Г. Костомаров неоднократно выставляет неопределенность и непрерывное колебание общественных отношений в Новгороде, распри между городом и волостями, которые то подчиняются городу как государю, то выходят из этого подчинения, непрестанную смуту в новгородской жизни: все это, по моему мнению, было естественным последствием и признаком внутреннего антагонизма между политическим началом Нов-

города, как города, возведенного в государство, и славянским духом земли, жившим не только в подвластном Новгороду населении, но и в самих новгородцах. Это же было главным, по моему мнению, источником постоянной борьбы старейших людей с чернью, борьбы, характеризующей новгородскую историю и в которой видно противодействие народной массы, с ее славянскими понятиями, корпоративному духу разбогатевшей торговой аристократии. В этом, наконец, я нахожу единственное объяснение тому, что Новгород с его свободой был так мало популярен в тогдашней России. Г. Костомаров признает сам, что поход Иоанна III против Новгорода «возбудил к себе симпатии в народе», что «война его была делом общерусским, делом церкви и народа». Это сильно противоречит понятиям нашего историка о Новгороде как о представителе прежних начал общерусской жизни, и г. Костомаров объясняет такое явление тем, что когда в народных понятиях всей остальной Руси единоедержавие стало нормальным порядком, то Новгород, как он был, сделался анахронизмом. Нет, старые начала жизни, когда только они действительно были общим достоянием целой страны, целого народа, — хотя бы и сделались анахронизмом, также мало могут быть уничтожены одним или двумя походами, как одним или двумя походами не уничтожается отдельная народность, что г. Костомаров считает также результатом походов Иоанна III. Нет, старые начала народной жизни не так легко истребляются; легко гибнет только чуждая прививка на народной почве, и вот отчего Великий Новгород рухнул после одной проигранной битвы, и погиб, не оставив по себе в памяти народа ни сожаления, ни следа. Вот прямая причина, почему мы теперь, по выражению г. Костомарова, напрасно стали бы искать на месте памяти о древней областной независимости и свободе.

Итак, возвращусь к исходной точке этого изложения. В общей массе древнерусских земель, во время их распада на уделы, обособились два края вследствие действовавших на них с особенною силою посторонних влияний. От юго-западной Руси обособилась земля Галицкая, влекомая к отдель-

ной жизни преобладающим развитием боярской аристократии, под действием Польши и Венгрии; от Руси северо-восточной обособился Великий Новгород, влекомый к отдельной жизни преобладающим развитием городской стихии, развитием, приготовленным издревле его торговой деятельностью и которое потом определилось под влиянием немецкой Ганзы. И Новгород, и Галич не отказывались от старинной связи с общим отечеством и отношения их к остальной Руси приняли характер федеративный. Между тем южная Русь слабела, северная крепла. Галич сперва перетянул Киев, а потом вовсе оторвался, Новгород не в силах был перетянуть Владимира и Москвы, и когда захотел оторваться, то был силою удержан.

Попытка Новгорода оторваться от России и перейти к Польше имела, как мне кажется, значение несравненно важнейшее, нежели какое представляется в книге г. Костомарова. Этот историк говорит о ней как-то слегка. В его изложении попытка Новгорода в 1470 году променять верховную власть великого князя московского на верховную власть государя польско-литовского ничуть не разнится от случаев, бывших в XIV веке, когда новгородцы приглашали к себе на княжение, вместо Рюриковичей, каких-нибудь потомков Гедимины. Г. Костомаров придает партии, призывавшей Казимира, значение патриотической партии (т. I, с. 169, 204); рассказывая о впечатлении, произведенном грамотою митрополита Филиппа, отклонявшего Новгород от перехода к польскому королю, он употребляет выражение, что «люди степенные, богатые бояре, *расчувствовались* от этих выражений»; то народное и религиозное одушевление, которое столь заметным образом сопровождало поход Иоанна III, выступает во всем этом деле как-то некстати и не совсем мирится со взглядом г. Костомарова на происходившие события. Так, например, приведя молитву Холмского перед битвою на Шелони, г. Костомаров сопровождает ее следующим размышлением: «И все прониклись мыслию, что идут против нечестивых отступников за веру и за государя, его же противники противятся Богу; все были единодушны, все послушно готовились исполнить

волю старейшего». Мне кажется, что в этих словах г. Костомаров слишком смело произносит приговор над таким предметом, который недоступен нашему историческому ведению. Кто может знать, что происходило в мыслях русских людей перед Шелонскою битвою? Почему они проникались тою идеею, которую предполагает г. Костомаров, а не другою? Или из чего можно вывести, что именно слова князя Холмского внушили им эту идею, а не были отголоском общего, уже готового настроения? Такие суждения лучше бы, по моему мнению, оставить для романа²⁵.

Все изображение этих событий получило в книге г. Костомарова не совсем верный и несколько искусственный, как мне кажется, колорит от того, что наш историк представляет дело как борьбу начала свободы с «московским самовластием». Я полагаю, что наше современное понятие о принципе свободы должно быть тут вовсе отложено в сторону; оно может только смутить прямой взгляд на дело и склонить наш суд в пользу одной стороны вопреки голосу истории.

Я думаю, что Новгород вовсе не представлял собою начала свободы в борьбе с самовластием. Он представлял собою город, признавший себя за государство, в борьбе с народом и правительством, которые понимали государство, как общее достояние всей земли. Строение этого государства было жизненным подвигом тогдашнего и следующих поколений русских людей, и я вполне верю в искренность народного одушевления, которое поддерживало Иоанна III в его предприятии против Новгорода. Я думаю, что если бы Новгород стоял действительно за такой высокий и для всех осязательный принцип, как свобода, то он отражал бы «московское самовластие» с большею стойкостью и большим самопожертвованием. Но в самом Новгороде было, вероятно, весьма много таких людей, которые не только потому, что *расчувствовались* от грамоты митрополита Филиппа, а потому, что это была общая потребность земли Русской, хотели «держаться неотступно великих русских государей». Вообще внутренняя борьба партий в предсмертную эпоху Новгорода требует еще критического разбора после

книги г. Костомарова: у него она представляется как-то неясно. Так, например, г. Костомаров говорит в одном месте, что «грамота Казимира возводила свободных людей и собственников земель до полной независимости» и что соединение с польско-литовскою короною, особенно заманчивое поэтому для новгородских бояр-землевладельцев, вместе с тем привлекало к себе и торговый класс надеждами на привилегии, которыми пользовались города в Польско-Литовской державе. Очевидно, стало быть, что переход под власть польскую был в Новгороде интересом бояр и житых людей, т. е. того класса, которым именно обуславливалось исключительное положение Новгорода в Русской земле и который поэтому подвергся выселению после взятия Новгорода Иваном Васильевичем. Этот именно класс должен был опасаться «московского самовластия» и, чтобы сохранить выгоды, сопряженные для него с правами «Государя Великого Новгорода», он мог решиться на поступок, который современники считали не только политической, но и религиозною изменою, на переход под власть латынского короля, благо латынский король обещал даже новые преимущества. Но потом вдруг, в повествовании г. Костомарова, большая часть бояр и степенных людей оказывается на стороне Москвы, и мы видим, что партия *патриотов*, т. е. Борецкие, имели между ними немного приверженцев и опирались преимущественно на черный народ, хотя черный народ, как справедливо замечает историк, менее всего мог выиграть от соединения с Литвою. Это явление загадочное и нельзя не обратить на него внимания. Я не берусь разрешить вопроса, но во всяком случае полагаю, что было бы слишком поспешно и отважно придавать наименование *патриотов* партии Борецких. Конечно, Борецкие стояли за старую независимость Великого Новгорода от власти государя московского: но что соединялось с их знаменем? Подчинение власти государя польско-литовского. А подчиниться королю польско-литовскому было для русской области в исходе XV века дело не шуточное; это было совсем не то, что, в XIV и начале XV века, признать государем Ольгерда или Витовта вместо того или другого Рюриковича.

С той поры много переменялось. Уже гласно обнаружено было настойчивое домогательство Польши отделить от литовско-русского государства всю киевскую землю и присоединить ее к себе; уже была Флорентийская уния и введение ее в русских землях сделалось уже гласно целью литовско-польского правительства. Уже в то время, по словам польского историка Морачевского²⁶, «русское вероисповедание, не поддававшееся почти вовсе влиянию Флорентийской унии, испытывало явное унижение; высшее духовенство католическое вступало в совет великого князя (литовского) и участвовало в управлении, а русское стояло наравне с простым народом: вообще, как и прежде, церковь католическая искала полного господства, а русская оказывала сильное сопротивление». В 1470 году выбор между Иваном Васильевичем и Казимиром был уже не только выбором между личностью Рюриковича и Гедиминовича, а выбором между двумя путями жизни общественной и религиозной. Русские голоса, дошедшие до нас, свидетельствуют, что современники так именно понимали дело; но г. Костомаров, увлеченный своею идеею о борьбе «начала свободы» с «Московским самовластием», как будто не подозревает, какой вопрос был поднят Борецкими, что значила для всего русского и славянского мира борьба, которою решалось, принадлежать ли Новгороду со всей его областью к русскому государству или к короне польско-литовской, какие громадные последствия связывались с тем или другим исходом этой борьбы. Если бы г. Костомаров обратил внимание на все это, то, без всякого сомнения, он взглянул бы иначе на тяжбу Ивана Васильевича с Великим Новгородом и вник бы глубже в значение той трагической катастрофы, которая ее завершила.

СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА

I

Поборники «экономической свободы» в России и сторонники рабства в Америке. — Возможность сельского и городского пролетариата в России. — Батрачество в Польше. — Что такое пролетарий? — Пролетариат в западноевропейском мире. — Что было бы последствием уничтожения сельской общины в России?

О свобода! Как злоупотребляют твоим священным именем! На одном полушарии, под солнцем тропического юга, люди во имя свободы сражаются¹ за сохранение рабства четырех миллионов негров. А в другой части света, в снегах России, раздаются голоса, которые, призывая то же имя свободы, желают создать многомиллионный сельский пролетариат, водворить здесь этот вид фактического рабства, заступивший, среди европейской цивилизации, место юридического рабства древних невольников и американских негров.

Конечно, писатели, вооружающиеся у нас против сельской общины из-за принципа экономической или всякой другой свободы, верят совершенно искренно, что они стоят за дело свободы, а не за дело рабства; они желают добра, а не зла русскому народу. Но если мы не остановимся на звуке слов «экономическая свобода» и вникнем в сущность дела, то мы увидим, что уничтожение сельской общины повело бы к фактическому обращению в рабов значительного числа наших земледельцев;

мы согласимся, что эти наши поборники «экономической свободы» могут, по справедливости, быть сравниваемы с партией Джефферсона Дэвиса², которая, конечно, вполне уверена, что лишение землевладельцев права свободно распоряжаться множеством рабочих рук — есть прямое нарушение экономической свободы, прямой деспотизм. Правда, что там, за океаном, землевладельцев лишает этого права распоряжения рабочими силами само государство вместе с значительной частью народа; поэтому-то противная партия и стремится разорвать народное единство и разрушить государство. У нас, только в западной окраине нашей, там, где землевладельческий класс принадлежит чужой национальности, была подобная попытка предупредить последствия освобождения крестьян: польская шляхта восстала с именем свободы на устах, а на деле для того, чтобы продлить порабощение подвластного ей русского и литовского народа. Но, повторяем, это было только в западной окраине, где национальность владельческого класса чужая. Там, где этот класс русский, историческое развитие так тесно сплотило его и с государством, и с народом, что, когда государство, во имя народного блага, потребовало от него, чтобы он отказался от своих прав на обязательный труд крестьян, он принес эту огромную жертву добровольно. Освобождение крепостных крестьян совершилось с беспримерным в истории успехом. Но теперь чувствуется экономическое стеснение от такого перелома. После освобождения крестьян, то, что лишает возможности безусловного распоряжения рабочими силами, есть сельская община, дающая каждому земледельцу свою домашнюю кровлю, свой клочок земли и тем самым ставящая его в положение независимого производителя, который может, если ему угодно, продать свой труд соседнему владельцу, но может также и не продать его. И вот на сельскую общину падают тяжкие удары; хотят ее разрушить, не замечая, что это было бы не торжеством экономической свободы, а началом нового экономического рабства.

Не трудно доказать два основных положения, из которых вытекает наша мысль: во-первых, что разрушение сельской об-

щины должно вести к пролетариату; и во-вторых, что пролетариат имеет в новых обществах западноевропейских значение, принадлежавшее невольничеству в древнем мире.

Представим себе, что сельская община каким-либо способом у нас уничтожена, что в России земледельческий народ состоит уж не из совокупности *миров*, владеющих общественною землею, а обращен в бессвязную массу мелких личных собственников. Из этих мелких собственников весьма многие, без сомнения, стали бы продавать свои участки, как мы это видим в Сербии, где после изгнания помещиков-турок почти вся земля перешла в собственность возделывавших ее славян-хлебопашцев и где, за неимением сельской общины, собственность эта сделалась личною или родовою. Прошло с небольшим 30 лет, и мы уже видим в Сербии значительную часть сельского народа обезземелившею, мы слышим там горькие жалобы на сельский пролетариат как на главный внутренний недуг страны. Так было бы и у нас, если бы вместо общинного землевладения, господствовала в крестьянстве мелкая личная собственность. Немногие из расчета, большее число по необдуманности, еще большее поневоле продали бы свои участки; покупатели нашлись бы и между другими поселянами и преимущественно между соседними помещиками. Много ли бы нашлось таких крестьян, которые продали бы свою землю, чтобы взяться за другое производительное дело? Часто продавали бы землю, чтобы получить деньги и прогулять их, еще чаще, чтобы расплатиться с займодавцем или уплатить недоимку. Во всяком случае, если бы община была у нас как-нибудь уничтожена или исчезла, то, конечно, лишь весьма небольшая часть земледельцев имела бы возможность приобрести самостоятельную собственность где-нибудь на стороне и с этою целью сбыла бы свою землю в родном селении; несколько больше было бы таких, которые остались бы личными собственниками своих прежних земель и отчасти увеличили бы эти участки; наибольшее число, без всякого сомнения, обратилось бы в безземельных работников или, другими словами, в сельских и городских пролетариев.

Но, возразят нам, пролетариата в России опасаться нечего, при ее огромном пространстве и редком населении. Нет, это ничего не значит. Человек, лишившийся земли и принужденный жить в рабочих, не идет заселять пустыри по той простой причине, что для этого нужен довольно значительный капитал на водворение (средства прокормить себя и семью до первого умолота, рабочий скот, орудия и проч.); такой человек, напротив, идет туда, где население уже сосредоточено, его тянет к центрам производительности, потому что тут он скорее найдет нанимателя. Это непреложный закон, действие которого заметно везде, где есть бездомные работники. Итак, если вы уничтожите общину в России, пространство ее не послужит противодействием пролетариату. Не только население не будет распределяться равномернее, а, напротив, места малонаселенные будут пустеть, а в некоторых центрах скопляться будет масса совершенно таких же пролетариев, какие составляют язву Западной Европы. Конечно, язва эта не скоро достигнет тех размеров, как например в Англии и во Франции, но не одни эти страны страдают от пролетариата. Пример тому — Царство Польское, где густота населения одинакова со многими центральными великороссийскими губерниями³. И что же мы видим? В Царстве Польском на 1 995 304 души водворенного на земле сельского населения приходится 1 339 000 душ батраков, поденщиков и других безземельных сельских пролетариев, да сверх того 176 000 пролетариев городских. Зато и сравним же благосостояние народа в Царстве Польском и в центральных губерниях России! Правда, в Царстве Польском, благодаря этой массе пролетариев, удалось некоторым большим помещикам завести у себя усовершенствованное хозяйство в фермах на манер западноевропейских. Но невелика эта выгода для страны, в сравнении с нищетою этого сельского и городского пролетариата, т. е. почти половины целого рабочего класса, с забитым состоянием всего сельского люда в Польше, с его беспомощностью, которая сделала то, что, невзирая на уничтожение там крепостного права еще в 1807 году, сельский люд в Польше оставался до реформы 19 февраля 1864 года, за-

думанной под влиянием русских понятий, в гораздо большем унижении и фактическом рабстве, чем русские крепостные крестьяне-общинники. Польша свидетельствует, кажется, самым неопровержимым образом, что пролетариат не есть исключительное свойство земель, чрезмерно населенных; что без общины он развивается и при слабом населении, не превышающем, например, населенности Московской, Тульской, Рязанской и других наших губерний; что, стало быть, обилие земель не гарантирует от пролетариата, коль скоро уничтожена единственная действительная от него гарантия — сельская община.

Но есть ли действительно пролетариат такое зло, которого нужно опасаться? Быть может, это лишь частное страдание, а благо для общества? Нет, пролетариат есть не только страдание для тех личностей, которые имеют несчастье быть пролетариями. Это общественное бедствие. В настоящее время условия человеческого общества уже настолько уяснились, что для всякого сделалось очевидною истиною, что рабство есть не только зло для самих рабов, но и для целого общества, в котором рабство существует, другими словами, что рабство есть не только индивидуальное, но и общественное бедствие. А пролетариат есть вид рабства.

Что такое пролетарий? Есть ли он вполне свободный человек? Гражданскою свободою он пользуется. Но пользуется ли он свободою экономическою? Сущность экономической свободы есть, очевидно, право располагать своим трудом по своему усмотрению или по добровольно заключенному договору. Где труд свободен, там цена труда — задельная плата, условия труда, т. е. число рабочих часов и т. п., все это должно определяться по свободному соглашению между дающим работу и исполняющим ее. Древнее невольничество было самое грубое нарушение свободы труда. В средние века невольничество исчезло, но заменилось крепостным правом, более смягченною формою рабства. Уничтожая крепостную зависимость, западноевропейский мир, вследствие отсутствия или уничтожения в нем сельской поземельной общины, в оконча-

тельном результате привел массу населения к пролетариату. Пролетарий не зависит от одного человека, как невольник или крепостной; но он раб целого класса людей, располагающих средствами давать ему труд. Цена его труда устанавливается одним этим классом; он зависит лишь от конкуренции нанимателей. Пролетарий — невольник этой цены; он не может от нее отказаться; иначе у него не будет крова и хлеба; он должен покориться или умереть; он невольник. Как невольничество было болезнью Древнего мира, так пролетариат сделался болезнью западноевропейских стран. Стачки рабочих и разные их возмущения играют здесь роль тех невольничьих восстаний, которые окровавливали Древний мир в эпоху его наибольшего экономического процветания. И кто может предвидеть, какие еще размеры примут эти *bella servilia*⁴ нового времени, по мере того как — с умножением населения и с увеличением дороговизны предметов жизненной потребности — будет увеличиваться масса пролетариев в западноевропейских странах и масса эта все более и более скопляться будет в промышленных центрах, давая таким образом неестественный перевес немногим большим городам над оскудевающим населением сел. Это явление, между прочим, особенно ясно представляется цифрами последней народной переписи во Франции. В Англии точно так же замечается возрастающее оскудение сельской жизни. Это совершенно понятно: лишенный общины, сельский люд выделяет из себя все большее и большее число пролетариев; а сельского пролетария сила вещей влечет к городу — большая часть сельского пролетариата постепенно превращается в пролетариат городской. Выхода нет, ибо западноевропейская жизнь не выработала таких начал, которые могли бы устранить пролетариат; а перестроить общество по теории, как думали социалисты, пораженные именно видом этой болезни, — перестроить общество нельзя. Теории социалистов неосуществимы; но приходится принимать некоторые паллиативные (и, разумеется, мало действенные) меры, приходится правительству вмешиваться в частные отношения между нанимателем и работником, опекуновствовать над трудом. Так, например, ан-

глийское законодательство определяет, сколько часов работы хозяин вправе требовать от фабричного. По-видимому, какое дело правительству назначать норму рабочего времени? Это предмет частной сделки. Если хозяин потребует лишнего числа рабочих часов, то фабричный, как вольный человек, оставит работу или поднимет ее цену. Но фабричный в Англии — пролетарий, а пролетарий — невольник: его согласие не участвует в установлении условий работы. Потому-то правительство английское принуждено принимать законодательные меры для защиты фабричных пролетариев от хозяев, которые иначе располагали бы их трудом по своему произволу. Известен билль 1847 года, запрещающий владельцам фабрик заставлять работать взрослых работников более 10 часов в сутки, малолетних — более 6½ часа. Такого же рода постановления сделаны в последнее время во Франции и, если мы не ошибаемся, в некоторых немецких государствах. Конечно, у нас, даже если бы и явился пролетариат, он не вдруг мог бы достигнуть таких размеров, как в этих странах; долго еще ощущался бы недостаток в рабочих, и они, более или менее, участвовали бы в установлении условий найма⁵; но это было бы все же лишь временною отсрочкою того зла, от которого уже страдают Англия и другие западные страны. Пример Англии особенно знаменателен. Бесспорно, нет в Европе правительства, менее одержимого духом регламентации, страстью вмешиваться в частные дела своих подданных, чем правительство английское. И это правительство через год после отмены знаменитых хлебных законов, после этого великого торжества экономической свободы, решается на такое явное, вопиющее нарушение этой свободы ради ограждения фабричных пролетариев — на регламентацию рабочих часов! Когда в стране существует неволя, в той ли или другой форме, то общий гражданский закон, очевидно, не может быть достаточен для охранения невольника от злоупотреблений произвола владельца (ибо невольник от него непосредственно зависим).

Закон вынужден прибегнуть к регламентации их частных отношений; он, рано или поздно, из человеколюбия вме-

шается в это дело. В мире древнего рабства явится Антонин и скажет: «Господин не вправе изнурять раба своего до смерти; за чрезмерную жестокость раб будет у него отнят». При крепостном праве закон должен будет постановить: «Владелец не вправе вынуждать больше трех дней барщины в неделю; за обременение крестьян безмерными и несносными тягостями или нетерпимой в управлении их жестокости⁶ на имение будет наложена опека». При пролетариате закон определяет: «Фабрикант или заводчик не вправе вымогать больше десяти часов работы в сутки; иначе он подвергнется взысканию». Все эти три явления вытекают из одного общего начала существования рабства в стране и соответствуют трем его фазисам. Пролетариат есть его новоевропейский фазис. Кто ведет к пролетариату — а это есть, как мы показали выше, необходимое последствие отсутствия сельской общины даже в стране мало населенной, — тот может говорить только во имя интересов тех людей, для которых важно нанимать дешево работников и иметь их в своей власти. Но употреблять слово «свобода» тут совершенно некстати; это значило бы (если позволено перенять выражение, не нам принадлежащее) говорить во имя свободы против свободы.

II

Доводы поборников уничтожения сельской общины. — Земледельческий класс в России с XVI по XIX столетие. — Судьба сельской общины в Польше, Белоруссии, Великороссии и Малороссии. — Поземельное владение в Китае и Египте. — Община у индусов. — Принцип землевладения у древних обитателей Нового Света. — Община в средневековой Германии и Франции. — Общинное и личное владение земли в России. — Круговая порука. — Препятствует ли община передвижению населения и приобретению личной собственности? — Пермские крестьяне и немецкие колонисты. — Положение 19 февраля 1861 г. о сельской общине. — Майорат в Германии и Англии

и община в России. — Волчья воля. — Община как проявление понятия русского народа о свободе.

Мы объяснили последствия, какие разрушение общины имело бы для одной части населения, то есть для тех несчастных, которые, по своей ли вине или от посторонних обстоятельств, сделались бы пролетариями. С этим могут согласиться — и все-таки продолжать спор против общины. Могут сказать, что частное зло пролетариата искупалось бы общим благосостоянием целого края, материальным и нравственным развитием всего общества. Такая мысль часто высказывается практическими людьми, и они ссылаются на наглядный пример: сравнивают состояние Англии, Франции, Германии с состоянием России. Или вопрос может быть перенесен на почву теоретическую. Могут сказать, что наша община со своими атрибутами: круговую порукою, переделом полей, неотчуждаемостью земли и так далее, противоречит непреложному, естественному закону человеческой природы, личной свободе и ответственности человека и что поэтому необходимо снять эти оковы, хотя бы общее благо — свобода — и повело к частному злу — пролетариату.

Постараемся уяснить себе, выдерживают ли эти доводы критику независимого суждения.

Начнем с возражения практиков, основывающихся на сравнении России и западных стран, их материального благосостояния, развития их цивилизации. Материальный и умственный капитал народа создается не вдруг; он копится вековым трудом поколений. При прочих равных условиях, материальный и умственный капитал народа — или другими словами, его благосостояние и степень его образованности — должны зависеть от того, сколько времени имел народ для накопления этого капитала. Проходил длинный ряд поколений, пока племя, занявшее страну, могло в ней, так сказать, водвориться, освоить ее природу своим трудом и сложиться в гражданское общество; и только после этой предварительной работы могло начаться накопление народного капитала, без

которого невозможно ни материальное, ни умственное развитие страны. Мы не знаем, пришли ли славяне, предки русского народа, в Европу в одно время с их западными собратьями или позднее. Но во всяком случае, в России, по физическим условиям страны, эта предварительная работа, предшествовавшая началу гражданской жизни, могла совершиться лишь гораздо медленнее, чем в Германии, Франции, Англии (не говорим уже о благодатных краях Южной Европы). Мы едва ли ошибемся, если скажем, что, в общих чертах, предки русского народа ко времени образования Русского государства настолько подвинулись в этой работе, насколько ее успели совершить у себя германцы во времена Арминия или жители Галлии и Британии лет за 300 или за 400 до Рождества Христова. Другими словами, если, примерно, русский народ употребил на скопление своего настоящего материального и умственного капитала 1000 лет, то, для соразмерности сравнения, нужно сказать, что для скопления своего наличного капитала немцы имели 1800 лет, французы и англичане — более 2000 лет. Но эта огромная разница еще не все. Почва западных стран, очевидно, благоприятнее нашей. Там, где в России почва богатая, земля по другим естественным свойствам могла сделаться пригодною для оседлой жизни только весьма недавно, под охраной государства уже вполне утвердившегося. В остальной части страны, именно там, где возрастал народ, почва вообще неблагоприятная, и, стало быть, при одинаковом количестве труда, он давал меньше плодов, меньше обращалось в народный капитал, нежели в Западной Европе. Климат суровый, долгие зимы: отсюда меньшее количество дней в году может быть употреблено производительно, и труд подвергается большим перерывам, которые, по справедливому замечанию Бокля, делают жителя северных стран менее склонным к постоянной и систематической работе, чем человека в умеренном климате. Пространство огромное и (считая одну только Европейскую Россию) почти *вшестеро* менее населенное, чем во Франции и в Германии, и почти *в восемь* раз менее населенное, чем в Великобритании, а густота населения, совокупляя

человеческие силы, усугубляет производительность человеческого труда и, стало быть, массу материального и нравственного капитала, им создаваемого. Мы говорим столь известные вещи, что они нам самим кажутся пошлыми; но эти пошлые истины слишком мало принимаются у нас в расчет, когда сравнивают положение России с западными странами. У нас слишком охотно приписывают нашу бедность, нашу экономическую неразвитость и все последствия этой бедности и неразвитости — вине самого народа: то каким-нибудь порокам, присваиваемым его характеру, лености, беспечности и т. п., то воображаемым недостаткам его бытовой организации, между которыми, разумеется, община выдвигается на первый план. Нет, мы беднее западных народов, мы менее развиты — по причинам внешним, непроизводительнее потому, что страна наша потребовала несравненно долгие времена, прежде нежели могла в ней зародиться гражданская жизнь; потому что те же физические условия, которые замедлили в России зарождение гражданской жизни (свойства почвы, наши зимы, наши пространства), продолжали и продолжают действовать и поныне. Сомнения нет, и в России человек все более и более будет становиться независимым от внешних невыгод, и природа будет мало-помалу терять над ним свою подавляющую власть. Но внешние невыгоды здесь так громадны, что, взвесив их и сравнив, с другой стороны, расстояние, на которое народы Запада опередили русский, мы, конечно, признаем за русским народом относительное первенство в энергии и успехе труда. И как община составляет отличительный признак русского народного труда от труда западноевропейского, то всего вероятнее будет предположить, что этим относительным первенством (которое с каждым днем должно приближаться к первенству действительному, ибо сравнение исторических эпох доказывает, что русский народ нагоняет западноевропейские), всего вероятнее, говорим мы, будет предположить, что этим первенством русский народ обязан именно общине. Вероятие делается для нас очевидно истинною, когда мы, вместо сравнения с Западною Европою, взгля-

нем на то, что представляет сама Россия. Не весь народ русский живет общинами. В западной своей части он не знает общинного быта. А на стороне этой западной полосы соединены все преимущества лучшего климата, лучшей, большею частью, почвы и более продолжительной гражданской жизни. В Центральной и Северо-Восточной России едва начиналась русская колонизация: здесь русскому народу, как он напоминает в сказке об Егории, приходилось еще одолевать «леса дремучие, где ни пройти, ни проехать», разгонять «стада волков рысучих», очищать «водою животочною» пастушеские племена, у которых «волоса, что ковыль-трава, тело на них кора еловая, гласом гласят по-звериному»; а в эпоху этой колонизации центра и северо-востока России, запад и юго-запад ее уже имел все выгоды устроенной гражданственности. Община первоначально существовала и там, но потом она исчезла, под действием тогдашних носителей идеи «экономической свободы» — польского шляхетства и Магдебургского городского права⁷. Уже в XVII веке посторонний и беспристрастный наблюдатель южный славянин — католик был поражен огромною разницею в положении земледельческого класса в западной части русской земли, подвластной тогда Польше, и в восточной Руси. «У ляхов, — говорит он, — земледельцев и посадских истязают их господа и морят безнаказанно; жида мучат их как бесы, военные поедают их с кожей и костями; а на Руси (т. е. в восточной Руси, Московской) никто их не трогает». «Милости наши к крестьянам и земледельцам (эти слова тот же Крижанич влагает в уста русского царя) всегда были изрядны. Ибо ведомо всем, что в нашем государстве много лучше крестьянам промышленно, чем в некоторых окольных державах, где боярские и военные люди крестьян безнаказанно избивают; а у нас не ведется таков обычай». «Подумай, — говорит у него в диалоге русский поляку, — подумай и рассуди, какой хороший хлеб едят, по милости Божией, во всей России, а в вашей Литве какой негодный, так что пословица говорит: Литва — соломенный хлеб»⁸. Это было писано в 1663 году; и с того времени положение земледельческого клас-

са в западнорусском крае, конечно, еще ухудшилось, и только разве с 1863 года можно считать начало улучшения. Какая же причина обеднения западнорусского народа, оскудения в нем жизни, которое наступило в XVI веке, т. е. именно в ту пору, когда народ восточной Руси только начинал проявлять свои силы, — и длилось до наших дней? Нас поражает тот факт, что высшие классы в Западном крае земли русской чужие народу по национальности и вероисповеданию, и мы обыкновенно останавливаемся на поверхности этого явления. Действительно, отчужденность польского и католического дворянства и вообще высших классов от простого народа, их презрительные и враждебные чувства к русскому мужику, их стремление пригнести его всеми средствами — составляют величайшее зло нашего Западного края. Но вспомним, что дворянство западных губерний принадлежит польской национальности лишь по собственному, так сказать, изволению, что по происхождению оно, большею частью, местное, коренное, русское, отшатнувшееся от русской народности и православной веры только в XVII и XVIII веках. Сравним с этим западнорусским, преимущественно туземным, дворянством дворянство великорусское, в состав которого, как известно, вошло такое множество всяких пришлых элементов, азиатских и европейских. В XVI веке, когда поколебалось прежнее равновесие двух половин земли русской и западная начала слабеть, а восточная постепенно усиливаться, западнорусское дворянство не только превосходило восточное образованностью, но оно, конечно, стояло в более тесной связи со своим народом, было более ему сочувственно и более заинтересовано в благосостоянии подвластного ему люда, чем все эти крещеные мурзы и всякого рода иноземные выходцы, которым раздавались поместья в Московском государстве. Но в Московском государстве сельский люд был крепок своею общиною, и само правительство не только ее берегло, но даже утверждало ее самостоятельность⁹. Крепкий круг сельской общины отражал от себя разрушительное действие чуждых русской жизни элементов и, напротив, втягивал эти элементы в русскую жизнь.

Татарские мурзы и иноземные авантюристы прирастали, так сказать, к русской земле. Каждый земледелец находил в общине ту общественную самодеятельность (участие в мирском деле) и то материальное обеспечение (право на часть в мирской земле), которые сохранили в русском крестьянстве сознание нравственной самостоятельности и чувство человеческого достоинства, когда писанный закон прямо поработал его. С другой стороны, в западной Руси в XVI веке совершенно разрушается сельская община. Правительство польское, руководимое шляхтою, само всеми силами этому помогает, так что люди, в которых еще жив старый общинный дух народный, принуждены бежать в приднепровские степи и дальше, за пороги, в «дикие поля», чтобы образовать там новые общины казацкие, с самого зарождения своего враждебные всему гражданскому устройству, принятому западною Русью. Лишенный оплота сельской общины, народ в ней все более и более слабеет под разрушительным действием чуждых стихий, и эти чуждые стихии овладевают самим русским дворянством в Западном крае. Чисто русское по происхождению, оно с каждым поколением более и более отрывается от русской земли. В земледельческом классе целые массы людей становятся безземельными батраками, пролетариями; но и те, которые удержали в своем пользовании землю, живя без внутренней общинной связи, теряют всякую самостоятельность; и те и другие становятся рабами — и рабами людей, которые, сделавшись им чуждыми по народности и по религии, могут думать, конечно, лишь о том, как бы эксплуатировать этих рабов и удерживать их в своей власти. Вот в краткой параллели судьба западнорусского народа сравнительно с восточным. Если русский народ в восточной Руси обеспечен хлебом, крепок, самостоятелен нравственно и могуч, то этим он обязан прежде всего сельской общине. Если в Западном крае русский народ обнищал, ослабел духом и впал в совершенную зависимость от высших классов, то этому прежде всего виною утрата сельской общины — и только в той части Западного края, где разрушившаяся древняя община возродилась в учрежде-

ние казачества, русский народ мог уберечься от этого материального и нравственного упадка. Но в малорусском казачестве уцелела только одна, так сказать, сторона общины: солидарность членов общества и самоуправление; исчезла ее первобытная непосредственность, которая делает великорусскую общину как бы прирожденным достоянием человека; община казацкая замкнулась, как привилегированное братство, исключавшее одну часть земледельческого населения и служившее известным, специальным целям. Не обнимая ни всего народа, ни всего быта, она вначале пыталась принять характер товарищества, основанного на условных правилах и отчасти даже (как в Запорожской Сечи) с коммунистическим направлением; вообще же развила в себе начало обособленной, личной поземельной собственности¹⁰. Все это и объясняет ее историческую судьбу. Боевая артель, казацкая община в эпоху воодушевления и борьбы придала народу огромную силу; но скоро подверглась внутреннему разладу и пала. Она спасла малорусский народ от судьбы белорусского; но не могла дать ему той энергии, которую великорусский крестьянин почерпал в своей земской общине. Малорусский быт с его казачеством и личною поземельною собственностью стал как бы на середине между великорусскою земскою общиною и безобщинным бытом западнорусским. На стороне малорусского народа были все выгоды благодатной страны и долгой свободы от крепостного права. Несмотря на все это, большая склонность к труду и промыслу оказалась на стороне того народа, который удержал земскую общину.

Нам остается теперь подвергнуть вопрос об общине разбору собственно в теоретическом смысле. Ибо как бы ни было убедительно доказано, что уничтожение общины ведет к пролетариату и что пролетариат, будучи своего рода рабством, есть великое бедствие, мы услышим возражение, что это зло необходимо в развитом человеческом обществе. Как бы ни было ясно представлено, что народ русский обладает большею энергией там, где он живет общинами, нежели в тех краях, где общинный быт не существует, мы услышим возражение, что

это так, только покуда общество неразвито; что община противоречит законам гражданского развития и потому должна или сама исчезнуть, или быть устранена. При этом нам непременно укажут на пример западноевропейских народов. Но в теоретическом суждении пример не может служить неперменным доказательством, и мы позволим себе устранить этот довод: ибо то, что представляется на западе Европы, как бы оно ни было хорошо, все же не может быть признано за окончательную норму человеческого развития. Это значило бы положить предел ходу человечества, что очевидно противоречит здравому смыслу и истории. Правда, мы находим, что у германцев, или по крайней мере у некоторых германских племен, были в старину признаки поземельной общины и передела полей, что поземельная община была известна и средневековой Франции, но что со временем все это исчезло. Однако из того, что у германцев и во Франции не развились эти начатки поземельной общины, следует ли неперменное заключение, будто поземельная община везде должна оставаться только принадлежностью первобытной эпохи? Это было бы таким же ребяческим рассуждением, как если бы в древности какой-нибудь грек, указывая на неразвившийся зародыш объединения эллинов при царе Агамемноне и на их раздробленность в эпоху процветания, стал на этом основании утверждать, что государственное единство есть для развитого народа недостижимое благо. Итак, оставляя в стороне слишком бездоказательные примеры, перейдем к теоретическому суждению.

Нам кажется, что поземельная община нисколько не противоречит началу собственности, этому краеугольному камню человеческого общества, и не имеет ничего сходного с коммунистическими тенденциями, в которых ее так часто обвиняют. Напротив того, мы думаем, что поземельная община основана на самом верном, хотя инстинктивном в народе, сознании начала собственности. Излишним было бы распространяться о существенном различии между землею и всякою другою собственностью: человек не властен над нею, он не может ее ни произвести, ни уничтожить. Таким образом, в поземельной

собственности присущи два элемента: элемент, независимый от человека (сама земля), и сила, усваивающая этот элемент человеку (труд со всеми его последствиями). На первой ступени развития народов в понятии о земле господствует исключительно первый элемент: земля считается такою же общою, не подлежащею ничьему частному присвоению, принадлежностью человека, как, например, воздух и вода. Таков должен был быть первоначальный взгляд на землю. Но затем, когда человек приложил к земле свой труд, первым его побуждением было, конечно, придать этому личному труду исключительное значение: он, естественно, терял из виду, забывал общий, независимый элемент в земле, и признавал ее таким же предметом безусловной частной (родовой или личной) собственности, как животное, которое он вскормил, жатву, которую собрал, и т. п. Мы находим, таким образом, везде в первоначальных цивилизациях непосредственный переход от идеи полного, так сказать, коммунизма земли к полному ее обращению в частную собственность. Так, например, в Китае, первоначально земля признавалась достоянием всего общества, а с укреплением монархического принципа — достоянием императора или удельного владетеля, и распределялась между землевладельцами равными участками, которые давались каждому на время, пока он был способен к работе. Земля делилась на квадратные пространства известной величины, которые разбивались на 9 участков каждое: 8 участков предоставлялись отдельным земледельцам, на собственное употребление, а из 9-го участка, посередине, одна двадцатая часть отводилась под усадьбы, а остальные обрабатывались для казны. Более этого определенного количества земли никто не мог получить; никто не мог располагать землею по своему произволу, уступать ее другому посредством продажи, заклада или единовременной отдачи другому на посев. Раздача земель работникам, отобрание у престарелых и слабых и передача другим с обязанностью прокормить этих людей, все это делалось государственною властью. Тут мы видим явную идею коммунизма земли. На этой системе полей, замечает наш почтенный синолог, у кото-

рого мы и заимствуем все эти данные¹¹, стояло, как на фундаменте, все государственное здание древнего Китая. От этого коммунизма, оказавшегося на практике весьма неудобным, Китай прямо перешел к полной частной собственности земель. В 350 году до Р. Х. реформатор Шан-ян провозгласил, что все земли составляют вечную собственность каждого, кто их занимал, собственность, которою каждый может располагать по своему произволу. Последствием этого было в Китае быстрое обезземеление огромного большинства народонаселения и сосредоточение земли в руках небольшого числа крупных собственников, у которых прочие земледельцы сделались арендаторами или рабочими. Чтобы облегчить гнет, под который таким образом попала масса народа, китайское правительство неоднократно старалось восстановить древнюю коммунистическую форму землевладения; важнейшая попытка в этом смысле сделана была в XV веке, но попытки эти, как и весьма естественно, не могли иметь успеха.

Поразительное сходство с этими фактами истории Китая представляет нам другая страна с столь же первобытною цивилизацией — Египет. По словам Геродота, царь Сезострис разделил землю в Египте между жителями, назначая каждому четвероугольные участки одинаковой величины. Это, очевидно, та же коммунистическая система, применение которой в древнейшую эпоху так подробно представляется в Китае. Геродот не передает нам сведений о переходе от этого коммунизма к полной частной собственности, но этот переход совершился, потому что в последующее за тем время земля в Египте является (как видно из свидетельства Диодора Сицилийского) частною собственностью, и притом такою, которая успела уже перейти, как в Китае, в руки крупных владельцев, членов высших каст, воинов и жрецов, и царя (как личного собственника), с обращением всего земледельческого люда в арендаторов. У древнего Израиля земля была в древнейшую, пастушескую эпоху, без всякого сомнения, нераздельным достоянием всего народа, а затем, по водворении в Палестине, народ еврейский прямо перешел к частному землевладению.

Книги закона признавали и впоследствии, что земля есть достояние Божье, а не человеческое, и, основываясь на этом принципе, постановили правила о восстановлении прежних владельцев в обладании отчужденным ими имуществом через каждые 49 лет; но, как видно из истории, правила эти оставались без практического применения. Таким образом, древнейшие цивилизации нашего Старого Света, и китайская, и египетская, и еврейская, знали только или коммунизм земли, или частную собственность.

Община, примиряющая эти два начала — независимого от человека значения земли и права, какое дает ему над нею его труд, — община была совершенно чужда понятиям этих древних народов. Первые признаки ее являются, среди древних цивилизаций Старого Света, только у того поколения, которому суждено было превзойти все остальные племена людские и подчинить себе мир силою своей мысли и энергией своих рук: первые признаки общины являются у индусов, первого из народов арийской крови, выступившего в истории. Уступая одним лишь израильтянам в глубине религиозного созерцания, индусы во всех прочих отношениях, бесспорно, представляют высшую из древних доевропейских цивилизаций. К сожалению, мы располагаем только скудными и смутными данными об индийской общине. Притом все внешние обстоятельства индийской жизни были как нельзя более неблагоприятны общинному началу: разделение между завоевателями и завоеванными, развитие каст, преобладание аристократического элемента, все это должно было подавлять общинное начало, и оно действительно оставалось постоянно бессильным и безвестным, но все же существовало издавна и сохранилось до наших дней. В древних эпопеях индийских являются сельские общины и промышленные корпорации (артели), происхождение которых должно быть отнесено к древнейшему времени, предшествовавшему образованию деспотических монархий в Индии. «Учреждения подобного рода, — справедливо замечает Дункер в своей известной истории древнего мира¹² — никогда не бывают обязаны сво-

им началом деспотизму, которому присуще стремление атомизировать народ и управлять им сверху центральной властью; поэтому такие учреждения должны были развиваться из народной жизни до начала монархического деспотизма в Индии». Известия англичан свидетельствуют, что и в настоящее время, несмотря на столько переворотов, следы поземельной общины не совсем там изгладились.

Если мы от древних цивилизаций Старого Света перейдем к древним цивилизациям Нового Света, то и тут мы найдем сперва коммунизм земель и распределение земель государством, наподобие древнего Китая: таков был принцип землевладения у древних перувианцев, и несомненно, что только испанское завоевание, разрушившее эту первобытную цивилизацию, не дало ей времени от этого коммунизма перейти естественным путем к частной собственности. Частная поземельная собственность существовала у мексиканцев, которые представляют высшую ступень развития, какой достигли американские народы. И замечательно, что у них было что-то вроде поземельной общины (т. н. калпулли), похожей, по своему зависимому положению, на общину у индусов. Она точно так же была, как видно, подавлена завоевательным характером, лежавшим в основе государственного устройства древней Мексики, господством аристократии и кастическим началом. Но эти поземельные общины, или калпулли, пользовались юридическим признанием, земли их были неприкосновенны, и их выборные старшины считались принадлежащими к благородному сословию.

В Европе история не застаёт уже древнейшего коммунизма земель, если мы не захотим придать исторического значения мифам о золотом веке, когда все было общее. Здесь древнейшею формою землевладения была полная частная собственность, сперва родовая, а потом личная, как, например, у древних греков и римлян. Поземельная община и в Европе, как в Азии и Америке, принадлежит народам, представляющим высший фазис развития. Первые признаки ее в Европе являются у германцев; но в германском быте элемент

аристократии имел такое преобладающее значение, что развитие общины было невозможно. Во Франции, после распада римской организации в средние века, земледельцы стали также соединяться в поземельные общины, в особенности на церковных землях. Поземельные общины существовали там в большом числе до революции 1789 года. Страшные злоупотребления высших классов, страшные бедствия народа сделали ему ненавистною всю прежнюю его жизнь, и он в эту революцию внезапным переворотом уничтожил или хотел уничтожить все прошлое. Поземельные общины погибли в этом крушении и заменились мелкою личною собственностью. Но в настоящее время люди, изучающие быт французских крестьян, оплакивают уничтожение поземельных общин как величайшее бедствие для земледельческого класса во Франции и мечтают о восстановлении их как единственном спасении от общественных зол, отравляющих жизнь народных масс в этой стране. Восстановление раз уничтоженных общин едва ли осуществимо на практике. Но учреждение, которое завяло в зародыше у немцев и французов, может развиваться при других исторических и бытовых условиях, и мы повторим слова, которыми г. Бонмер заканчивает свою превосходную историю французских крестьян: «Один из высших и совершеннейших умов древнего мира, Аристотель, был убежден, что рабство есть законное и необходимое общественное учреждение и что труд невозможен без рабов. В средние века лучшие мыслители были уверены, что крепостное право справедливо и нужно. Нынче думают точно так же, что дробление поземельной собственности и работа поземельными наемниками (*le salariat*) составляют идеал и последнее слово общественных учреждений... Но разве новый закон индустрии создал на земле такой привлекательный рай, что нужно раскинуть шатры и остановиться в нем без надежды? Как положение рабочего класса постоянно видоизменялось, постепенно улучшаясь, и каждое из этих улучшений обозначало собою, по справедливому замечанию Шатобриана, великое и благодетельное преобразование, так отчего же то, что не переставало идти вперед, сделалось

бы вдруг неподвижным? Отчего рабочий человек, который был поочередно рабом, крепостным и наемником, не был бы призван сделаться общинником? Кто осмелится присвоить себе голос Бога, чтобы сказать человечеству, вечно идущему вперед: «Ты дальше не пойдешь!»¹³

Бонмер прав: поземельная община должна обозначить собою высший фазис общественного развития, ибо по идее своей она наименее односторонняя. Она пытается соединить начало общего пользования землею, как природным достоянием людей, с началом полной собственности, как результатом личного труда. Так, она признает жатву и все вообще произведения, добытые трудом, безусловно личную ответственностью, будучи этим диаметрально противоположна всякому коммунистическому обществу. С другой стороны, поземельная община заключает в себе ту идею, что всякий человек, желающий жить земледельческим трудом, должен находить в той среде, к которой он принадлежит, или в своем мире, необходимую для этого труда землю, так как она, сама по себе, но подлежит <ничему исключительному усвоению>. Вне круга земель, удовлетворяющих таким образом насущной потребности земледельческого люда, вся прочая земля может обращаться в личную собственность; в этом виде личная поземельная собственность издавна велась и всегда признавалась на Руси; но народ наш не понимает, чтобы земля, нужная непосредственно для обеспечения каждого земледельца, могла быть чем-либо иным, как общественным достоянием¹⁴. Такова, как нам кажется, в отвлеченном выражении, существенная идея поземельной общины, идея, которая, бесспорно, представляет высшую ступень развития сравнительно с обществами, отождествляющими землю с предметами, которые подлежат безусловно личному усвоению. Посмотрим теперь, в какой мере бытовые приложения этой идеи соответствуют условиям общественной жизни.

Мы часто слышим, будто круговая порука, это логическое последствие общины, не совместна с началом личной ответственности; будто общинный быт, с неотчуждаемостью

общинной земли, задерживает свободное движение и распределение производительных сил и собственности; будто передел полей препятствует тщательной обработке земли; будто, наконец, общинный союз вообще ослабляет личную самостоятельность, держит человека в опеке и есть своего рода крепостное право, которое может становиться даже суровее бывшей помещичьей власти.

Вот, кажется, все аргументы, которые нам приходилось читать или слышать против русской общины. Начнем с последнего из них, самого общего и на вид самого страшного: что общинное право есть вид опеки человека над человеком, своего рода крепостное право. Позволим себе сказать без обиняков: эта фраза «община есть вид крепостного права» не более, как то, что французы называют *une mauvaise plaisanterie*. В крепостном праве, сколько известно, один человек располагал другими людьми без их участия и согласия в решении того, что до них касалось. А общинное право есть право самоуправления и самосуда, право, которое каждому члену общества дает голос в совете и решении по общему делу и которое, по существующему обычаю, не довольствуется даже большинством, имеющим в некотором смысле принудительный характер, а требует единогласия. Каждый человек подчиняется тут приговору, в котором он сам участвовал или мог участвовать, он повинется старшине, которого сам выбирал. Если это может быть сочтено ослаблением личной самостоятельности, если это может быть названо опекой и сравнено с крепостным правом, то какое страшное стеснение личности, какая тяжкая опека, какое ужасное крепостное право господствует в Северных Американских Штатах, где общие дела решаются тоже голосом всех граждан и даже простое большинство постановляет обязательное для каждого решение! Нет, оставим в стороне эту шутку <приравнивания> общины к крепостному праву.

Круговая порука противна ли закону человеческой ответственности?¹⁵ Представим себе, что община уничтожена и что каждая личность отвечает за себя в отбывании общественных тягостей. Имущие и исправные будут платить толь-

ко свою личную долю; за неимущих и неисправных никто не заплатит. Очевидно, что тотчас же увеличится значительно сумма недоимок. Но ни государство, ни земство для этого не откажутся, да и едва ли бы могли отказаться, от расходов, на которые пошли бы эти недоплаченные деньги. Представятся два средства к восполнению недостатка: либо увеличить в той или другой форме взимаемые с народа суммы и таким образом все-таки разложить недоимку на исправных плательщиков; или взыскивать с каждого неисправного плательщика подать экзекуционными мерами, т. е. разорять людей, которые иначе, может быть, скоро поправились бы, делать из них бедняков, с которых через год нечего будет взять и за которых поневоле будут платить потом имеющие что-нибудь. Тем или другим способом, везде имущим приходится нести общественную тягость за неимущих, круговая порука везде существует, да и не может не существовать, потому что человеческое общество, видно, создано не для полной отделенности каждого лица, а для того, чтобы люди помогали друг другу. Притом же та несоразмерная тягость, которую круговая порука налагает на имущих и исправных за нерадивых и бедных, вознаграждается другою несоразмерностью прямо противоположного свойства, тем, что равная, сравнительно, прибыль легче получается по мере того, чем больше достаток. И так круговая порука, в том или другом виде, говорим мы, составляет принадлежность всякого человеческого общежития. Разница только та, что там, где община существует, распределение общественных тягостей производится в кругу людей, живущих вместе и коротко знающих свои средства, и что, стало быть, оно может делаться гораздо справедливее, чем там, где оно производится исключительно в большой, отвлеченной, так сказать, сфере целого государства¹⁶. Нет, нам нечего жаловаться на общинный быт за круговую поруку и обвинять ее в том, будто она, заставляя имущих платить за неимущих, задерживает этим накопление богатств и экономическое развитие России. То, что в этом отношении мешает у нас накоплению богатств, есть явление совершенно независимое от общинного начала, порожденное разными дру-

гими историческими и государственными условиями, явление, диаметрально противоположное свойству круговой поруки, именно то, что из общей сложности налогов в России сравнительно гораздо большая часть падает на неимущих, на тех, кто еще не накопили богатства, чем на имущих, на накопивших богатство. Вспомним, какие у нас главные источники дохода: подушная, оброк с государственных крестьян, акциз с вина и соли — и мы поймем, что экономическое улучшение зависело бы у нас не от уничтожения круговой поруки в отдельных общинах крестьянского сословия, а от исправления этого неравномерного и совершенно противоположного идее круговой поруки распределения общественных тягостей между целым народом во всех его слоях.

Говорят еще, что община, ограничивая свободу движения и приобретения личной собственности земледельцами, задерживает экономическое развитие страны. Это опять-таки недоразумение: общину обвиняют в том, в чем совсем не она виновата. Препятствуют свободному передвижению населения, во-первых, стеснительная паспортная система¹⁷ и, во-вторых, те ограничения, которые закон поставил выходу из общины на время срочно-обязанного положения собственно для ограждения интересов помещиков. Облегчите паспортную систему; дайте пройти срочно-обязанному времени, и вы увидите, как быстро пойдет передвижение населения. Мир никого не станет держать против воли, потому что его прямая выгода состоит в том, чтобы члены его зарабатывали как можно больше; тоже не в его интересах препятствовать совершенному переселению семейства на другие места, ибо земля уже имеет столько ценности, что остальные общинники не без выгоды могут делить между собою опустелые участки или отдавать их новым семьям, образующимся от прибыли населения. Община не только не препятствует свободному движению рабочих сил, напротив того, она более всего ему способствует, потому что член общины, оставляя дома обеспеченную семью, может смело пускаться за заработком в дальний путь, на что не так легко отважится ни личный землевладелец, привязанный к

месту своею собственностью, ни пролетарий, которому нужно тащить с собою жену и детей. Мы имеем тому самое осязательное доказательство, между прочим, в тех толпах рабочих, на которых преимущественно держится крупное хозяйство южных губерний, они приходят не из ближайшей Малороссии, а из великорусских губерний, где существует община. Что касается до приобретения крестьянами личной поземельной собственности, то и тут сваливают на общину чужую вину. Вспомним, что только с 1861 года поземельная собственность сделалась, юридически, вполне доступною крестьянству. Прежде крестьянин должен был покупать землю или на чужое имя, причем ничто не обеспечивало его от злоупотребления его доверием, или подлежал разным стеснительным условиям, которые чрезвычайно затрудняли для него покупку земли. Могла ли при этом развиваться в земледельцах наших охота и привычка к приобретению земель в личную собственность? И достаточно ли нескольких лет, протекших с того времени, чтобы значительно изменить это расположение в народе? Тем не менее мы видим, что с тех пор, как открылась нашим крестьянам возможность покупать землю, они весьма часто пользуются этим правом и община им нисколько в том не мешает¹⁸. Что еще важнее: приобретение участков в личную собственность нимало не способствует к разрушению самого общинного союза. Закон 19 февраля, к великому счастью России, признал поземельную общину как существующий факт; но он не сделал ее сохранение обязательным. Даже видно, что закон писался под впечатлением тогдашних толков наших поборников «экономической свободы» о том, будто общинное владение землею стоит в развитии страны ниже владения личного. На это настроение мысли указывает то, что закон 19 февраля, дозволяя распадение поземельной общины, как скоро того пожелают две трети хозяев, в то же время вовсе не предвидит обратного случая, т. е. возможности замены участкового владения общинным. Итак, говорим мы, закон наш не только не упрочивает нарочно поземельной общины, а, напротив, открывает широкий простор ее распадению. Между тем пользуются

ли крестьяне этим правом? Мы беспрестанно читаем в газетах и слышим, что многие из них спешат покупать земли от соседних владельцев в личную собственность; но нигде не попадалось, по крайней мере нам, известие о том, чтобы составлялись, на основании ст. 115 местного Полож. для губерн. Великор., приговоры о замене общинного пользования наследственным, а напротив того, переход от *существующего личного* владения к общинному мы видим на деле. Этот факт, опровергающий все толки о том, будто община тягостна русскому народу и ему навязывается против его желания, — этот факт совершается на глазах наших в Пермской губернии. В многоземельных и малонаселенных уездах ее по Каме, где народ, пользуясь огромным простором лесов, продолжает расселяться новыми поселками и починками, он начинает в них дело с личной собственности. Каждый поселенец владеет расчищенным участком, как своим личным имуществом, передает его по наследству, продает или уступает другому безо всякого участия мира. Мира в этих поселках собственно еще нет, а есть так называемая *земская*, обнимающая известное пространство таких поселений, как домашняя административная единица, раскладывающая между своими членами оброки и работы, но не вмешивающаяся в их землевладение. Но когда в поселках население сгустилось, так что возникает деревня и вместо отдельных разбросанных хозяйств может составиться сельский мир, — то, в наше время, в каком-нибудь 1864 или 1865 году, *личные землевладельцы переходят к общинному пользованию землею*, они ее начинают разверстывать и переделывать между собою¹⁹.

Другой столь же замечательный и также совершенно достоверный факт представляют немецкие колонии в России, саратовско-самарские и новороссийские. Основной закон колонизации 1764 года устанавливал для немецких колоний в России *личное наследственное* пользование (по дворам или хозяйствам). Между тем все эти колонии, обходя закон, усвоили себе *общинное* владение. Саратовско-самарские колонисты-немцы точно так же, как русские крестьяне, разверстывают и переделывают между собою землю по душам, а новороссийские — по

дворам и признают за каждым родившимся в общине членом безусловное право на обеспечение землей. Если община считает для себя неудобным отвести новые участки в пределах своей земли, то она на общественный счет покупает новую землю и водворяет на ней безвозмездно прибылые души, на общинном же праве владения.

Знаменательное явление, обнаружившееся по случаю введения в Пермской губернии Положений 19 февраля, указывает нам на то, как происходило дело и при той многовековой колонизации, которою великорусское племя отвоевало у дремучего леса и у бродячих инородцев почти все пространство своих земель. И в то время, вероятно, как ныне, русский человек начинал с личной собственности в своих новых поселках и от личной собственности переходил к общине, когда населения прибывало настолько, что земля представляла уже ценность, о которой можно было спорить. Вопреки мнению наших поклонников «экономической свободы», выдающих общину за какую-то низшую, несовершеннейшую форму землевладения, свидетельство факта, совершающегося на Каме, дает нам право сказать положительно, что в русском народе личное усвоение земли есть первоначальная и низшая, община — высшая, окончательно развитая форма землевладения. Вместе с тем существование общинного землевладения западными колонистами на Волге и в Черноморском крае свидетельствует о жизненной силе русской общины, покоряющей себе даже людей столь упорных в своей индивидуальной исключительности, как германцы. Дело в том, что русская община не есть социалистическая утопия о регламентации труда и уравнивании богатства, а учреждение совершенно практическое, удовлетворяющее всем условиям, какие проистекают из природной неуравновешенности человеческих сил и человеческой удачи. Община только обеспечивает человеку свободное место на земле, место, где он может жить и прокормиться; но она не связывает его труда и не посягает на плоды этого труда. Общинный быт русского народа совершенно мирится с приобретением земли отдельными зажиточнейшими членами общин в личную собственность.

Член общины может нажить большой капитал, он может купить сотни десятин земли и остается все-таки в общине, не нарушая ее цельности.

Если бы была малейшая правда в тех обвинениях, будто бы община, подобно социалистическим учреждениям, враждебна личному производительному труду и накоплению богатства, то мы видели бы в ней непременно завистливое расположение бедного большинства против зажиточных личностей, стремление бедных унижить тех, кто побогаче, желание — под предлогом равенства — лишить их того влияния, которое богатство дает человеку. Подобный антагонизм бедных с богатыми составляет непреходящую принадлежность всякого демократического общества, коль скоро к нему примешаются социалистические идеи; тому свидетельница вся история, начиная от афинского демоса до Франции 1848 года. Можно даже сказать, что подобная социалистическая примесь, т. е. зависть и вражда бедных к богатым, не может не развиваться в демократическом обществе, когда оно не основано на общине²⁰; только община, обеспечивая за человеком собственный угол и независимый кусок хлеба, может устранить зависть к богачу, какую невольно почувствует бедняк, коль скоро он совершенно зависим от его богатства. И действительно, в наших общинах мы редко найдем признаки подобной зависти и вражды бедных к зажиточным и желание низвести богатых к общему уровню. Напротив того, если обнаруживаются в общинах явления ненормальные, то они почти всегда прямо противоположного свойства: а именно, — замечают, что большинство часто бывает чересчур податливо влиянию богатых членов общины, слишком охотно позволяет им заправлять мирскими делами. Самый характер злоупотребления доказывает до очевидности, в какой степени наша община чужда антиэкономическому духу вражды против богатства²¹. Повторяем, она только обеспечивает земледельцу необходимое для независимого труда; но она не налагает руки на плод труда.

Передел полей в том виде, как он применяется, служит ясным тому доказательством. Передел полей тесно связан с

поземельною общиною, так как она каждому члену своему дает право на пользование землею. Но как скоро личный труд придал участку земли особенную ценность, этот участок уже не идет в передел: земли под усадьбою, огороды не переделываются. Идет в передел та земля, ценность которой заключается в ее природных качествах более, чем в положенном в нее труде. На эту землю община признает одинаковое право за всеми своими членами и распределяет ее между ними. Но для этого, как известно, не всегда нужен полный передел полей, сопряженный с нарушением правильного хода хозяйства, и противники общины поступают не совсем беспристрастно, когда они указывают на передел как на безусловную принадлежность общины нарочно для того, чтобы на этом основании громить ее за вред, будто причиняемый ею земледелию. Весьма справедливо замечена была редакционными комиссиями, изготовлявшими Положение о крестьянах, необходимость в вопросе об общинном пользовании «тщательно отделять два существенно независимых друг от друга явления: разверстку земель (а с этим вместе и повинностей) между членами крестьянского общества самим обществом и земельные переделы». Такое отделение этих двух предметов основывается (мы приводим далее слова комиссии) «на том несомненном, кажется, наблюдении, что для полноты общинной жизни во все не необходимо единовременное действие обоих начал: община может существовать, и во множестве местностей действительно существует, без периодических переделов земли; последние представляются и в общинном быту лишь второстепенным явлением, одною из первых ступеней в развитии этого учреждения, формою, постепенно отпадающею по мере сгущения народонаселения, возвышения земельной ценности или приложения к почве более упорного труда»²². Восставать против общины из-за переделов или разверстки земель на том основании, будто от этого страдает земледелие, было бы слишком односторонне. Требовать прекращения переделов вмешательством власти — это был бы такой деспотизм, какого русский народ, слава Богу, давно уже не испытывал. Петр

Великий хотел было обрить русских крестьян; но и он едва ли решился бы им скомандовать, как им распоряжаться землей, которою они живут. Впрочем, уж и не предрассудок ли, что именно от переделов, а не от другого чего-либо проистекает малое усовершенствование нашего сельского хозяйства? Тут, во-первых, забывают, что рядом с подлежащею переделу или разверстке землею существуют в России огромные пространства земель, состоящих в полной личной собственности, и что сами общинники приобретают много таких земель. Стало быть, если бы была в России для крестьян выгода в таком хозяйстве, которое не допускает переделов, то земли они нашли бы вдоволь. Во-вторых, и в мирской земле плоды положенных в нее трудов не пропадают для земледельца: ибо и при существовании переделов он пользуется ею весьма долго, а при усилении обработки сама община, как уже замечено, заменяет переделы земель простою разверсткою. Наконец, вовсе не видно, чтобы перспектива передела уменьшала в крестьянах усердие к обработке общинной земли. Напротив того, коль скоро закон 19 февраля даровал нашим общинам свободу труда, они тотчас сделались главными производительницами хлеба в стране и стали производить его даже в избытке, повлекшем за собою баснословный упадок цен. Община в том размере, как ее создал русский народ, составляет в истории человечества такую новую стихию, что мы, в настоящее время, когда она в одной половине русского крестьянства только что выходит на свободу от помещичьей власти, а в другой половине еще связана стеснениями чиновничьей опеки, не можем даже приблизительно судить о том развитии, какое она может дать и материальной производительности, и нравственным силам земли русской. До сих пор русская община, можно сказать, только еще боролась за свое существование и за жизнь народа; но она далеко еще не в состоянии была развить свои практические результаты. Нам теперь видно еще только то, что могла дать община русскому народу в эпоху всяческой опеки и плена. Тут мы видим немногие, но положительные и многообещающие факты. Во-первых, видим, что при общин-

ном быте русский народ более развит, более самостоятелен, независимее от высших классов, предприимчивее и склоннее к промышленности, чем там, где он лишился общинного устройства. Во-вторых, мы узнаем, что члены общин пользуются весьма охотно предоставленным им по новому закону правом приобретать личную поземельную собственность, но что общины от этого не обнаруживают никакого стремления к распадению; и в-третьих, мы удостоверились, что общины, со времени дарования им свободы труда, тотчас же значительно увеличили массу производимого ими хлеба. К этому следует прибавить еще один, столь же положительный факт, весьма важный потому, что он эти внешние результаты общины дополняет неопровержимым свидетельством внутренней силы общинного начала в русском народе: а именно то, что общинники, отрешаясь от земли для какого-нибудь постороннего промысла, тотчас же восстанавливают в своей среде временную и подвижную общину в виде артели. Вот факты прошлого и настоящего, явления осязаемой действительности. Гадать о будущем их развитии было бы слишком смело; но во всяком случае мы имеем здесь перед собою новое общественное начало, вступающее в историю человечества. Все вообще ветви славянского племени в начале своего исторического развития жили общинным бытом, признаки которого поразили еще византийца Прокопия в VI веке, когда он писал, что славяне живут в демократии. Но никому из славянских племен, кроме великорусского, не удалось установить это общинное начало и согласовать его с требованиями государственного устройства и с развитием высших классов. В этом отношении великорусское племя может быть сравнено с англосаксонским, которое одно успело дать нормальное развитие и организацию первоначальному германскому быту и согласовать существенную его стихию, могущественную аристократию, с государственным порядком и с интересами низших классов. Любопытно видеть (позволим себе здесь маленькое отступление), как эти два племени, германское и славянское, развили у себя одно и то же начало неотчуждаемости

земли, но в диаметрально противоположном направлении, сообразно исконному настроению их духа. Майорат германский, получивший полное свое значение в Англии, есть по преимуществу учреждение единоличное, обеспечивающее немногочисленную аристократию, дающее ей ту стойкость и внутреннюю самостоятельность, которые человек почерпает во владении землею, неподлежащем никаким случайностям. Майорат, как его должны были создать начала славянской жизни и как мы видим его в России, есть по преимуществу учреждение общественное, неотчуждаемая общинная земля, обеспечивающая многочисленный класс простого народа, дающая ему ту стойкость и внутреннюю самостоятельность, которыми этот именно класс в России отличается между всеми слоями нашего народа. По своему общественному значению, русские лорды — это крестьянские общины. И пусть не останавливаются на том, что наша поземельная община есть результат внешних условий, обилия земель, которое будто бы, не вызывая потребности установить личное право на каждый участок, тем самым породило идею общинного владения. Действие этих внешних условий бесспорно; но это не отнимает значения у того общественного начала, которому эти внешние условия позволили и помогли выработаться. Можно опять-таки обратиться к Англии. Кто не видит, как много Англия в своем развитии обязана простому внешнему делу природы? Кто станет отрицать, что только на острове могло так правильно сложиться и так искусно сочетаться общественное устройство, зачатки которого, по словам Монтескье, находились уже в лесах тацитовской Германии? Так же и начала славянского общественного устройства требовали для своего развития благоприятной внешней обстановки. В Чехии и Польше первобытная община славянская не могла устоять: ее разрушил слишком ранний и сильный наплыв немецких идей. В горах и долинах земли сербской, где тесно жить, сама община сузилась в круг родовой задруги. Наконец, и в западной части России община пала, уже позднее, под разлагающим действием польских учреждений или приняла односторонний

тип казачества, как оно образовалось в Малороссии. Чтобы славянская община могла утвердиться и войти в организм развивающегося общества, для этого нужен был неизмеримый простор земель, доставшихся на долю великорусского племени, нужно было отчужденное положение этих земель, где великорусское племя в продолжение многих веков встречалось лишь с слабейшими и менее образованными инородцами, которые не могли подчинить своим влияниям или смутить его быта. При такой внешней обстановке и могла осуществиться поземельная община, зародыши которой уже заметны были в средневековой Франции и Германии и которая составляла исконное начало славянского общежития. Самородное произведение коренной внутренней стихии славянского быта и благоприятных внешних обстоятельств — русская община так же мало может быть пересажена на чужую почву, как английский общественный строй. Но она составляет уже сама по себе великий шаг в развитии человеческого общества.

Древний мир был мир невольничества. Труд рабов составлял основу его производительности. Он не признавал свободы как неотъемлемой принадлежности человека. Человек мог заложить и продать свое собственное тело, он мог сам себя отдать в рабство.

Мир западноевропейский выработал личную свободу, но лишь одну личную свободу, без вещественной основы. Он не признает земли, как неотъемлемой принадлежности человека. Труд пролетариев составляет основу его производительности. Человек, лично свободный, но лишенный всякой точки опоры, может впасть в полную экономическую неволю.

Русский мир, осуществляя исконное стремление всего славянского поколения, пытается идти выше и дальше. Он не понимает одной личной свободы человека, которая для него есть волчья воля²³, а не свобода человеческая: ему для личной свободы нужна вещественная точка опоры — земля. Он признает землю неотъемлемою принадлежностью человека. Основу его производительности составит самостоятельный труд общинников. Человек лично свободный, и вместе с тем

опирающийся, в кругу общины, на неотчуждаемую землю, не лишится своей свободы косвенным путем экономической зависимости; русский мир, как и мир западноевропейский, перетерпел крепостное право; но после крепостного права, он не может узнать экономической неволи безземельного рабочего населения. Понятие о свободе, вносимое русским народом в развитие человечества, выше и шире того, которое выработано было до сих пор другими народами: ибо оно к праву быть свободным прибавляет действительную возможность пользоваться этим правом; свободе личной, праву отвлеченному, оно стремится дать вещественную основу.

СПб. Март 1865

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ И ЕЕ НАРОДНЫЕ РАПСОДЫ

Мне давно хотелось побывать на нашем Севере, чтобы составить себе понятие о его населении, которое до сих пор живет в эпохе первобытной борьбы с невзгодами враждебной природы. В особенности манило меня в Олонецкую губернию желание послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников¹. Сам Пав<ел> Ник<олаевич> поощрял меня к поездке в этот край, подав надежду, что она может быть не бесполезна и после его работ; он с величайшею обязательностью сообщил мне практические советы, извлеченные из опыта десятилетнего пребывания в Олонецкой губернии. Имея перед собою два свободных месяца нынешним летом, я расположил свою поездку так, чтобы посетить местности, которые были мне указаны г. Рыбниковым как пребывание лучших «сказителей», именно: Сенную Губу и Кижы на южной оконечности Заонежского полуострова, Толвуй на его северной стороне, Пудожское побережье на северо-восточном берегу Онежского озера, Кенозеро в северо-восточном углу Пудожского и так называемую Мошенскую сторону в северо-восточном углу Каргопольского уезда. Кроме того, предварительно переезда в Сенную Губу я из Петрозаводска заглянул в Горский погост и Мелую Губу; потом из Толвуя переехал в Повенец и оттуда сделал экскурсию через Масельгу на Выгозеро и в Данилов; а на Кенозеро поехал не прямым путем из Пудожа, а через Сумозеро и Волдозеро. Эту длинную дорогу зигзагами, начатую из Петрозаводска 30 июня, я окончил в Вельске 27 августа.

Я изложу с некоторою подробностью результаты моей поездки по отношению к предмету, который меня занимал специально, именно — народной эпической поэзии; но как Олонецкая губерния, и особенно северо-восточная ее часть, вообще мало известна, то предположу этим специальным замечаниям несколько слов, чтобы сказать общее впечатление, какое этот край произвел на меня. Общее впечатление — и тяжелое, и вместе отрадное. Отрадно видеть северно-русского крестьянина этой местности (других не знаю, и о них не говорю), отрадно видеть его *самого по себе*; тяжело видеть обстановку, в которую он поставлен природою, еще тяжелее — ту, в которой держит его масса сложившихся и наслоившихся недоразумений. Народа добрее, честнее и более одаренного природным умом и житейским смыслом я не видывал; он поражает путешественника, столько же своим радушием и гостеприимством, сколько отсутствием корысти. Самый бедный крестьянин, у которого хлеба недостает на пропитание, и тот принимает плату за оказанное одолжение, иногда сопряженное с тяжелым трудом и потерю времени, как нечто такое, чего он не ждал и не требует. Он садится в лодку гребцом, работает веслом часов 15 кряду, не теряя до конца хорошего расположения духа и своей прирожденной шутиivosti. Приученный большинством местного чиновничества к крайне бесцеремонному (чтобы выразиться помягче) обращению, он относится к этому с изумительным добродушием и не обнаруживает ни тени недоверия и неприязни к нашему брату, человеку привилегированного класса, хотя ему доводится иметь дело только с самыми непривлекательными его экземплярами. При первом признаке человеческого с ним обхождения он, так сказать, расцветает, делается дружественным и готов оказать вам всякую услугу, но между тем никогда не впадает в тот тяжелый тон грубой, бестактной фамильярности, от которого не всегда может удержаться простолюдин на Западе, когда с ним захочет сблизиться человек из более образованного слоя общества. Что касается материальной обстановки северно-русского крестьянина и его экономиче-

ского быта, то для суждения о том потребовались бы совсем другие исследования, чем те, каким я посвятил свое время в эту поездку. Ограничусь только самыми общими замечаниями. Материальная обстановка северно-русского крестьянина несколько сносна у Онежского озера, потому что тут он располагает обширным водоемом, который находится в прямой связи с Петербургским портом; но дальше к северу и востоку вы видите только лес, лес и болото и опять лес; озера, разбросанные в этом крае, служат только для сообщения между деревнями, их окружающими. Климат такой, что здесь природа отказывает в том, без чего нам трудно себе представить жизнь русского человека; у него нет ни капусты, ни гречи, ни огурцов, ни луку; овес, разными способами приготавливаемый, составляет существеннейшую часть пищи. Отсутствует и другая принадлежность русского народа — телега. Телега не может пройти по тамошним болотистым дорогам. Она появляется только 35 верст южнее Кенозера, в Ошевенской волости, с которой начинается более сухая и плодородная часть Каргопольского уезда. Севернее, около Кенозера, Водлозера, Выгозера и по Заонежью, возят, что нужно, и летом на санях (дровнях) или же на волоках, т. е. оглоблях, которые передними концами прикреплены к хомуту, а задними волочатся по земле; к ним приделана поперечная доска, к которой привязывается кладь. Когда же нужно ехать человеку, он отправляется верхом там, где не может пользоваться водяным сообщением. Для своза хлеба с ближайших к деревням полей есть кое-где двухколесные таратайки с неуклюже сколоченными, скорее многоугольными, чем круглыми, деревянными без железных шин колесами, таратайки, перед которыми здешние чухонские кажутся усовершенствованным экипажем.

Легко вообразить, но трудно передать словами, какого тяжелого труда требует от человека эта северная природа. Главные и единственно прибыльные работы — распаханние «нив», т. е. полян, расчищаемых из-под лесу и через три года забрасываемых, и рыбная ловля в осеннее время — сопряжены с невероятными физическими усилиями. Но, чтобы

существовать, крестьянин должен соединять с этим и всевозможные другие заработки: потому никто не ограничивается одним хлебопашеством и рыболовством; кто занимается в свободное время каким-нибудь деревенским ремеслом, кто идет в извоз к Белому морю зимою, а летом в бурлаки на канал, кто «полёсует», т. е. стреляет и ловит дичь, и т. д. Женщины и девушки принуждены работать столько же, сколько мужчины. Крестьянин этих мест рад и доволен, если совокупными усилиями семьи он, по тамошнему выражению, «огорюет» как-нибудь подати и не умрет с голоду. Это — народ-труженик в полном смысле слова.

И что особенно грустно, это слышать единогласно и повсеместно и видеть несомненные признаки, что тамошний народ беднеет, что положение его ухудшилось в последнее время против прежнего. Это — благодаря нашей братье бюрократам. Кому-то из них пришло в голову, что интерес казны требует охранения лесов нашего Севера от крестьян, которые распахивают в них свои «нивы». Подсечное хозяйство было сочтено за неправильное, хищническое, варварское; забыли только, что без него там жить нельзя; что только свежая лесная земля дает в этом климате урожай, окупающий труд; что распахиваются только такие места, на которых растет мелкий березовый и ольховый лес, никуда не годный, а ценного лесу не трогают, по той простой причине, что земля, на которой растут сосна и лиственница, под посев не годится; что, наконец, полянки, которые крестьяне в силах распахать, составляют самую микроскопическую величину в бесконечности тамошних «суземков» — поросших лесом безлюдных пространств, разделяющих поселения на нашем Севере. Нет, казенный интерес превыше всего, а казенный интерес требует, мол, охранения лесов! И вот крестьянские расчистки были обставлены такими стеснениями, что, при добросовестном и «неусыпном» исполнении на месте предписаний, население целых волостей вдруг лишалось главного средства пропитания, и крестьяне благословляли судьбу там, где исполнитель позволял себя усыплять.

Это — одно из проявлений бюрократической опеки на нашем Севере. Но есть проявление более общее и также неотрадное, хотя оно не так ощутительно в материальном отношении. Известно, что все крестьяне северных уездов Олонецкой губернии принадлежат к разряду крестьян государственных. Какие были их внутренние распорядки в прежние времена — не знаю; но, со времени учреждения министерства государственных имуществ, они попали под непосредственную чиновничью опеку. Хоть им предоставлялись все формы выборного общественного самоуправления, но в сущности вся власть передана была в руки окружного начальника, и выборные головы и расправы стали только исполнителями его приказаний. Это до такой степени отучило тамошних крестьян от серьезного отношения к своему общественному управлению, что и в настоящее время, когда опека снята, они слишком недоверчиво смотрят на данные им права, считают мирового посредника таким же начальником, каким был окружной, и неохотно идут на общественные должности, видя в них одни только хлопоты и ответственность. По всей вероятности, пройдет целое поколение, пока изгладится этот мертвящий след прежней чиновничьей опеки.

Но где следы бюрократических «мероприятий» производят потрясающее впечатление, это — в северной части Повенецкого уезда, около Выгозера! Едва ли есть страна, где жизнь горчее для человека: ибо земля почти отказывает ему в вознаграждении за ее обработку, хлеб то и дело вымерзает, рыбы немного и не такая, которая годилась бы для вывоза, сплавлять лес некуда, звериный промысел недостаточен, чтобы кормить население, слишком для этого густое. Словом, здесь нужно бесконечное, безысходное труженичество, чтобы только прокормиться. Какое же остается утешение человеку при такой жизни? Одно-единственное — религия, и действительно: народ здесь отличается особенною набожностью. Но что же? Вы приезжаете в село, и среди опрятных, красивых его изб вас поражает вид какой-то печальной развалины. Проходя мимо, крестьяне, вас провожающие, благоговейно снимают шапки

и крестятся. «Что это такое за развалина?» — «Да это была наша часовня, а лет двадцать тому назад пришел из Питера приказ, да приезжал из губернии чиновник, вывез наши обрза, запечатал часовню, снял с нее крест и запретил нам до нее дотронуться. Так она и стоит вот уж двадцать лет и скоро совсем развалится». — «А где же теперь бывает у вас богослужение?» — «Да нигде, батюшко, потому нам всякое «оказательство» запрещено». Другой крестьянин — православный — поясняет, что в этом селе живут все раскольники и начальство строго смотрит, чтобы не было у них богослужения. И это не в одном месте, а то же самое почти в каждом селе: везде разваливающиеся часовни, запечатанные по распоряжениям из Петербурга; кладбища с заколоченными воротами, в которые строго воспрещено входить, дабы кто-нибудь из раскольников не отважился служить заупокойную службу по родителям; везде это доброе, приветливое, кроткое население тружеников выгозеров лишено утешения религии! И всего курьезнее, что это делается не из какого-нибудь фанатизма к православию, а просто так, по канцелярской рутине.

Со мной ехал русский простолюдин, петербургский житель. Когда мы проехали первые раскольничьи селения, он вдруг сделал мне такой наивный вопрос: «Скажите, отчего это у нас в Петербурге позволяют и католикам и лютеранам иметь свои церкви на Невском проспекте и позволяют жидам и мусульманам служить по своей вере, а здесь так стесняют наших русских мужичков в их вере? Ведь они, как мы, веруют в господу Иисуса Христа, а не то что жида, которые Христа проклинают; у них те же святые и те же молитвы, как у нас, а не то что у лютеран и католиков, а их так стесняют, что даже покойника не дают отпеть и в самый большой праздник не позволяют служить!»

Признаюсь, я не нашел ответа. Нашел ли бы что отвечать кто-либо из моих благосклонных читателей?

Ограничиваюсь этими общими впечатлениями и перехожу к тому, что меня преимущественно занимало в Олонецком крае, именно — к остаткам народной эпической поэзии.

Побывавши в Олонецкой губернии, особенно в северной и восточной ее частях, легко уяснить себе причины, по которым могла сохраниться здесь в народной памяти эпическая поэзия, давно исчезнувшая в других местах России. Этих причин две, и необходимо было их совместное действие; эти причины — *свобода* и *глушь*.

Народ здесь оставался всегда свободным от крепостного рабства. Ощущая себя свободным человеком, русский крестьянин Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемым в старинных рапсодиях. Напротив того, что могло бы остаться сродного в типе эпического богатыря человеку, чувствовавшему себя рабом?

В то же время свободный крестьянин Заонежья жил в глуши, которая охраняла его от влияний, разлагающих и убивающих первобытную эпическую поэзию: к нему не проникали ни солдатский постой, ни фабричная промышленность, ни новая мода; его едва коснулась и грамотность, так что даже в настоящее время грамотный человек между крестьянами этого края есть весьма редкое исключение. Таким образом, здесь могли удержаться в полной силе стихии, составляющие необходимое условие для сохранения эпической поэзии: верность старине и вера в чудесное. Верность старине такова, что она препятствует даже таким нововведениям, которых польза очевидна и которые приняты во всей России. Так, например, сено косят не косами, а горбушами, не только там, где это может быть удобно, т. е. между деревьями и по кочкам, а на самых гладких и хороших лугах, хотя косьба горбушами требует вдвое больше напряжения и времени. Из крестьян более развитые сами признают это, но говорят, что ничего не поделаешь: «наши деды и отцы косили горбушею», это довод, против которого заонежский крестьянин не принимает возражения. Тот же отцовский и дедовский обычай поддерживает изнурительное для лошади употребление дровней летом даже в таких местах, где можно бы пользоваться телегою. Как было при отцах и дедах, так должно оставаться и теперь: понятно, какое это благоприятное условие для сохранения древних преданий и былин. В то же

время вся совокупность условий, в которых живет этот народ, устраняет от него все, что могло бы ослабить в нем наивность дедовских верований. Без веры в чудесное невозможно, чтобы продолжала жить природною, непосредственною жизнью эпическая поэзия. Когда человек усомнится, чтобы богатырь мог носить палицу в сорок пуд или один положить на месте целое войско, — эпическая поэзия в нем убита. А множество признаков убедили меня, что северно-русский крестьянин, поющий былины, и огромное большинство тех, которые его слушают, — безусловно верят в истину чудес, какие в былине изображаются. Мне очень памятен переезд с Сумозера на Водлозеро; меня сопровождал известный уже г. Рыбникову сказитель Андрей Сорокин и от скуки затянул длинную былину про сорок калик с каликою. Между ним и мною ехал хозяин лошади, которая шла подо мною, и он, никогда не слышав этой былины, постоянно сопровождал ее своими замечаниями. «Ах она мерзкая баба», — повторил он несколько раз, слушая, как княгиня Опраксия соблазняла каличьего атамана сотворить с нею грех. «Эка, брат, беда пришла!» — воскликнул он, когда у атамана в подсумке оказалась положенная туда мстительною княгинею чаша княженецкая и атаману пришлось самому осудить себя на жестокою казнь:

А не рушайте вы заповеди великойей,
А как вы секите мне ноги резвыи,
А й рубите-тко руки бельи,
А й со лба-то копайте очи ясныи,
А й тяните-ко язык мне-ка со темени,
А й копайте как по грудям во матушку сыру-землю.

«Вот чудесно, право!» — было его заключение, когда певец пропел о том, как приходил Микола Можайский:

А ему вложил да ноги резвыи,
А вложил да руки бельи,
А положил ему да очи ясныи,

Положил язык во темя ведь,
А й положил как здыханье во белую грудь.

Словом, мой провожатый слушал всю эту былину с такою же верою в действительность того, что в ней рассказывается, как если бы дело шло о событии вчерашнего дня, правда, необыкновенном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном. То же самое наблюдение мне пришлось делать много раз. Иногда сам певец былины, когда заставишь петь ее с расстановкою, необходимою для записыванья, вставляет между стихами свои комментарии, и комментарии эти свидетельствуют, что он вполне живет мыслию в том мире, который воспевает. Так, например, Никифор Прохоров сопровождал события, описываемые им в былине о Михайле Потыке, такими замечаниями: «каково, братцы, три месяца прожить в земле!», или «вишь поганая змея, выдумала еще хитрить», или «вот, подумаешь, бабьи уловки каковы» и т. д. Когда со стороны какого-нибудь из грамотеев заявляется сомнение, действительно ли все было так, как поется в былине, рапсод объясняет дело весьма просто: «в старину-де люди были во все не такие, как теперь». Только от двух сказителей я слышал выражение некоторого неверия; и тот и другой не только грамотные, но и начетчики, один перешедший из раскола в единоверие, другой недавно «остароверившийся». И тот и другой говорили мне, что им трудно верится, будто богатыри действительно имели такую силу, какая им приписывается в былинах, будто, например, Илья Муромец мог побить сразу 40 тысяч разбойников, но что они поют так, потому что так слышали от отца. Но эти скептики составляют самые редкие исключения.

Огромное большинство живет еще вполне под господством эпического мирозерцания. Потому неудивительно, что в некоторых местах этого края эпическая поэзия и теперь ключом бьет.

Я никак не ожидал найти в этом отношении такой богатой жатвы. Имея в виду, что сборник г. Рыбникова был

плодом многолетнего пребывания в крае, я, располагавший только двумя месяцами, вовсе не рассчитывал вначале на возможность его сколько-нибудь существенно дополнить, а хотел только удовлетворить личное любопытство знакомством с несколькими сказителями. Между тем счастливый случай скоро заставил меня из туриста превратиться в собирателя. В Петрозаводске указали мне слепого старика-крестьянина, приехавшего туда для закупок. Он сначала неохотно сознался, что знает кое-какие «старины», но как собирался ехать домой в ту же сторону, куда лежал путь и мне, то согласился сесть в мою лодку. Дорогой я упросил его сказать свои старины, и старик Иев Еремеев запел превосходную былинку про превращения Добрыни под магическим действием нашей русской Цирцеи, Маринки:

Она стала-то Добрынюшку обвертывати:
Обвернула-то Добрыню да сорокою,
Обвернула-то Добрыню да вороною,
Обвернула-то Добрыню да свиньею,
Обвернула-то Добрынюшку гнедым туром:
Рожки у тура да в золоти,
Ножки у тура да в серебри,
Шерсть на туру да рыжа бархату.

Мне не приходилось читать столь полного и архаического пересказа этой былины, и впечатление, под которым я находился, усилилось еще более, когда я тут же, из разговора Иева Еремеева с другими крестьянами узнал, что он — завзятый раскольник.

Между тем, руководствуясь сборником г. Рыбникова и объяснением его², я был уверен, что у раскольников нельзя найти никаких остатков народного эпоса, и думал, что посещение мест, где преобладает старообрядчество, было бы для меня потерей времени. Явно языческая былина, пропетая человеком, известным своими раскольничьими убеждениями, совершенно меняла эти предположения, отчасти даже самый

план путешествия. Я стал подозревать (а потом вполне убедился), что г. Рыбников не мог найти ничего у старообрядцев по своему личному положению, как член местной губернской администрации, но что в действительности былины поются и раскольниками. Вместо того чтобы избегать мест, населенных староверами, я решился побывать в самом центре этого населения, на Выгозере. Программа на случай встречи с старообрядцами была у меня готовая: обходиться с ними вежливо, не употреблять выражений, оскорбительных для их религиозного чувства, не вызывать религиозных споров, а когда пойдет речь о религии, относиться к их верованиям с тем тоном уважения, которым принято в образованном обществе говорить с иноверцем об его религиозных убеждениях. Программа, кажется, не хитрая, но, сколько мне удалось заметить, она была там до некоторой степени новостью. Не знаю, приписать ли моей программе, что предвещения, мною слышанные, будто я встречу со стороны раскольников самый грубый прием и что они мне ничего не сообщат, нигде не сбывались. Разумеется, я не делал никаких щекотливых расспросов; но былины они везде охотно сказывали и позволяли записывать. В одном случае нельзя было даже ожидать такого доверия. Мне было известно имя одного крестьянина в Каргопольском уезде как отличного сказителя. Приехав в ту местность, где он живет, я хотел послать нарочного, чтобы пригласить его к себе. «Это совершенно бесполезно, — отвечал мне хозяин дома, где я остановился, — деньги, которые вы заплатите гонцу (а нужно было ехать верст за 40 по очень дурной дороге верхом), пропадут даром. Этот человек недавно только, всего года три тому, оstarоверился (т. е. перешел из православия в раскол) и боится попасть за это под ответ; он ни за что не поедет к вам». Тем не менее я настоял на посылке гонца, который на другой день вернулся с весьма неопределенным ответом, «что, мол, подумает, что ему нездоровится» и проч. «Ну, я так и знал, — говорит мой хозяин. — Нет, он не приедет». — «А ежели я к нему поеду, то скажет ли он свои былины?» — «Конечно, скажет, гостю ведь отказать нельзя». Я уже стал собираться в дорогу, как прискакал

сам «остароверившийся» сказитель, который действительно своими былинами оправдал желание его послушать. Потом я узнал, что он по дороге заезжал к какой-то наставнице, которая тамошним раскольникам «за попу служит», и что она ему решила ехать сказывать старины.

Очень помогла мне в собирании былин и другая, тоже совершенно случайная встреча при самом начале моей поездки.

Еще на пароходе, везшем меня из Петербурга, найдя себе местечко на носовой палубе, я разговорился тут с некоторыми крестьянами из Заонежья, расспросил их о сказителях, которые мне известны были по книге г. Рыбникова, и узнал между прочим, что об одном из этих сказителей, Абраме Евтихиеве, можно получить сведения в самом Петрозаводске, потому что там живет его сын. Старик оказался в гостях у сына, и уже в самый день моего приезда я имел удовольствие услышать его прекрасные былины. Мы с ним сошлись так, что он охотно согласился сопровождать меня по всему Заонежью и до самого Каргополя и был мне весьма полезен. Будучи по ремеслу крестьянским портным, он всю осень и зиму ходит по деревням Заонежья, останавливаясь там, где нужна его работа. Таким образом, у него есть знакомые во всех углах этого края, и благодаря ему легко устранялось недоверие, с каким крестьяне обыкновенно смотрят на приезжего из Петербурга. Я старался останавливаться в таких селениях, где можно было рассчитывать наверно услышать былины; а пока я их там записывал, Абрам Евтихийев, бывало, пойдет по окрестности, иногда далеко, верст за 40 и даже за 50, «доставать сказителей», как он выражался; удостоверенные им, что они будут вознаграждены, крестьяне шли очень охотно сообщать свои былины; потом слух о вознаграждении приводил и таких, про которых мы не знали. Случалось так, что иным приходилось ждать очереди по два и по три дня, между тем как я записывал былины до полного физического утомления. Таким образом в короткое время двух месяцев удалось найти 70 человек, мужчин и женщин, знающих былины. Я должен прибавить, что в этом числе 16 человек³ известны были частью лично, частью через посред-

ство других г. Рыбникову, что за сим 5 человек⁴, от которых у него записаны былины, с того времени умерли, и что, наконец, 7 человек, упоминаемых в его сборнике, либо остались в стороне от моего пути, либо случайно не были мною отысканы. При знакомстве с певцами и певицами былин я старался обращать внимание на личные обстоятельства каждого, чтобы уяснить себе влияние личности сказителя на характер самых рапсодий; в составляемом мною сборнике читатели найдут биографические сведения о каждом сказителе и сказительнице. Здесь позволю себе привести некоторые общие замечания, основанные на знакомстве с этими 70 личностями.

Прежде всего необходимо иметь в виду, что былины сохранились только в среде крестьян; я упомяну ниже об единственном встреченном мною исключении, которое, впрочем, имеет совершенно случайный характер. Мне указывали на какого-то пономаря, а в другом месте на дьячка, которые будто бы знают «старины»; обнадеживали, что услышу «старины» от одного из так называемых «обельных вотчинников» в Чолмужах. Но оказалось, что пономарь рассказывает только какие-то сказки, что дьячок есть повествователь анекдотов, а обельный вотчинник в Чолмужах знает наизусть жалованную грамоту царя Михаила Федоровича его предку.

Во-вторых: почти все наши рапсоды неграмотные. Я встретил только пятерых грамотных между 70 певцами и певицами былин (Василий Акимов, Андрей Сарафанов, Иван Касьянов в Кижском крае, Иван Кропачев на Кенозере и Николай Швецов на Моше).

В-третьих: былины поются православными и староверами совершенно одинаково, без малейшего признака изменения их у последних под влиянием их религиозных идей.

В-четвертых: пение былин не развилось на нашем Севере в профессию, как было в древней Греции, в средние века на Западе и как мы видим в Малороссии, а остается делом домашнего досуга людей, которым память и голос позволяют усваивать себе «старины». Профессиональный характер имеет пение духовных стихов, составляющее источник дохода для

нищих «калик» на ярмарках и в храмовые праздники: но калики почти не знают народных былин. Я встретил только одного такого певца по профессии (Ивана Фепопова, известного уже по сборнику г. Рыбникова под именем слепого Ивана), который соединяет с пением духовных стихов знание былин; но на последние он смотрит как на нечто второстепенное и постороннее для его профессии. Но зато почти все крестьяне и крестьянки, которые поют былины, сверх того знают и духовные стихи, особенно про Алексея — человека божия, Егория-храброго, Анику-воина, царя Соломона и Голубиную Книгу. Я полагаю, что эти стихи ими выше ценятся и чаще поются, чем народные былины.

Между сказителями, мною встреченными, только у одного можно было отчасти заметить, что он придает некоторым образом практическую цену знанию былин и считает себя как бы певцом былин по профессии; это известный по сборнику г. Рыбникова Кузьма Романов. Когда я приехал в его соседство и послал пригласить его, то он отказался было идти, потому-де, что недавно перед этим какой-то барин заставил его пропеть несколько былин и дал ему за это всего 10 коп. Подобного меркантильного взгляда я решительно ни у кого другого из певцов былин не встречал; напротив, они обыкновенно удивлялись, что я платил деньги за былины, и один из замечательнейших сказителей, молодой парень на Выгозере, получив за то, что пропел мне несколько былин, больше, чем сколько мог бы в то же время заработать в поле, стал потом объявлять во всеуслышание, что отныне не будет пропускать мимо ушей ни одной былины, а все станет заучивать, потому что теперь-де видит, что и это знание имеет свою цену. Что же касается до Кузьмы Романова, то его взгляд на пение былин как на свою профессию образовался, как кажется, только в недавнее время, благодаря пользе, которую оно ему принесло: слепой и беспомощный старик, он, по милости г. Рыбникова, принявшего в нем участие, стал получать пожизненное пособие (по 6 руб. в год), а затем удостоился даже приглашения пропеть былины пред покойным цесаревичем, во время приез-

да его высочества в Олонецкую губернию: факт, который поднял Романова как певца былин неизмеримо высоко во мнении местных жителей и его собственном.

Читатель видит, что обстоятельства сложились совершенно исключительно, чтобы придать пению былин для Романова практическое значение; но, повторяю, этот случай единственный.

Затем весьма замечательно, что знание былин составляет как бы преимущество наиболее исправной части крестьянского населения. Исключения (кроме весьма немногих лиц, которых я застал случайно разоренными пожаром либо продолжительными горячками) составляют только одни слепые (Кузьма Романов, Иван Фепонов, Семен Корнилов и Петр Прохоров), которые поставлены своим физическим недостатком в беспомощное положение; но, впрочем, и между слепыми сказителями я нашел человека, именно вышеупомянутого Иева Еремеева, который, оставшись в детстве слепым и нищим сиротою, благодаря изумительной энергии и способностям, сам, своими трудами, создал себе порядочное хозяйство. Лучшие певцы былин известны в то же время как хорошие и, относительно, зажиточные домохозяева: я назову Рябинина и Касьянова в Кижках, Андрея Тимофеева в Толвуи, Абрама Евтихиева и Петра Калинина на Пудожской Горе, Никифора Прохорова в Купецком, Потапа Антонова в Шале, Сорокина на Сумозере, Никитина, Федора Захарова и Алексея Висарионова на Выгозере, Ивана Захарова, лучшего сказителя и первого богача на Водлозере, Ивана Сивцова Поро́мского, первого сказителя и одного из зажиточнейших крестьян на Кенозере, кенозерских же сказителей Петра Воинова и Михаила Иванова, Николая Швецова на Моше и др. По-видимому, былины укладываются только в таких головах, которые соединяют природный ум и память с порядочностью, необходимою и для практического успеха в жизни. Сколько раз мне говорили, что в такой-то деревне я найду такого-то нищего или такого-то кабацкого заседателя, который сумеет спеть разные «истории»: но нищие по профессии, как сказано выше, знали только духовные стихи,

а пропившиеся в кабаке мудрецы являлись с запасом песен, более или менее разгульных, и анекдотов, более или менее остроумных, но ни один решительно не был эпическим рапсодом. Из крестьян, от которых можно услышать былины, многие вовсе не пьют вина; известного же как пьяницу я между ними ни одного не встретил.

Расспрашивая этих крестьян про обстоятельства их жизни, я мог вывести заключение, что сохранению былин особенно благоприятствовали некоторые мастерства. Так, когда читатель будет просматривать сведения о сказителях, со слов которых мною записаны былины, он заметит, что многие из них, и именно те, которые больше других упомянули, либо сами занимаются портняжным, или сапожным ремеслом, или изготовлением рыболовных снастей, либо заимствовали былины от лиц, занимавшихся этими мастерствами. Сами крестьяне не раз объясняли мне, что, сидя долгие часы на месте за однообразною работою шитья или плетенья сетей, приходит охота петь «старины», и они тогда легко усваиваются; напротив того, «крестьянство» (т. е. земледелие) и другие тяжелые работы не только не оставляют к тому времени, но заглушают в памяти даже то, что прежде помнилось и певалось. Впрочем, читатель должен иметь в виду, что мастерства, о которых я говорю, отнюдь не составляют исключительного занятия кого-либо из певцов былин; каждый из них в то же время земледелец и летом работает по своему крестьянскому хозяйству. Разница только та, что иные в свободное зимнее время занимаются мастерством, благоприятствующим сохранению эпических песен, тогда как занятия других, например, звериный промысел, лесные работы, извозничество и т. п., не оставляют досуга для рапсодий.

Прежде, чем закончу эти общие замечания о наших народных рапсодах и перейду к более частным, остановлюсь на двух фактах, которые указывает г. Рыбников. Во-первых, у него говорится, что «у женщин есть свои бабьи старины, которые поются ими с особенною любовью, а мужчинами не так-то охотно»; во-вторых, он представляет эпическую поэзию

как нечто вымирающее. «У большинства сказителей, — говорит он, — вряд ли найдутся наследники, и через двадцать-тридцать лет, по смерти лучших представителей нынешнего поколения певцов, былины и в Олонецкой губернии удержатся в памяти у очень немногих из сельского населения». Это вполне справедливо относительно той местности, с которою г. Рыбников лично ознакомился, именно побережья Онежского озера; здесь действительно эпическая поэзия близка к вымиранию, былины поются преимущественно стариками, и этим старикам-сказителям, точно, не видно преемников в молодом поколении; здесь действительно женщины редко знают другие былины, кроме как про Ставра, Ивана Годиновича и Чурилу Пленковича, которые, кажется, их интересуют тем, что в этих былинах главные действующие лица — женщины же. Но совершенно другое дело дальше к северу и востоку, на Выгозере, на Водлозере, на Кенозере. Там былевая поэзия живет столько же в старшем, сколько в молодом поколении; там незаметно также никакой разницы между предметами, о которых поют мужчины и женщины. В этом отношении особенно замечательно Кенозеро. Побережья этого озера, в которое со всех сторон вдаются коленами мысы и «наволоки», так что, несмотря на его значительную величину, озеро имеет в каждой точке вид залива либо пролива, — побережья Кенозера составляют как бы отдельный, довольно хлебородный, усеянный деревнями оазис среди громадного пустыря болот и лесов, и в этом оазисе цветет в настоящее время эпическая поэзия. Крестьяне и крестьянки, поющие былины, насчитываются здесь десятками; поют былины старый и малый; вы здесь услышите один и тот же вариант от пяти-шести человек, мужчин и женщин, которые живут в разных деревнях; в то же время вы встретите трех братьев, которые живут в одном доме и из которых каждый знает свои особые былины; вы встретите семейство, в котором и муж и жена — охотники петь былины и поют разные. Женщины здесь воспевают тех же богатырей, как и мужчины, специальный же «бабий» богатырь Прионежья, Ставер, которого хитрая жена вырывает от

князя Владимира, вовсе не известен кенозеркам. На Кенозере мне сказали, что знает былины и супруга местного иерея, бывшего благочинного, о. Георгиевского. Это меня крайне удивило, потому что дотоле не встречалось ни малейшего признака, чтобы былины пелись вне крестьянской сферы, и первая моя мысль была, не принадлежит ли певица былин, о которой мне сказали, по происхождению сама к этой сфере. Но оказалось, что нет. Г-жа Георгиевская — дочь бывшего прежде на Кенозере священника, родилась и воспитывалась в отцовском доме «на погосте» и в нем же осталась жить и замужем. Обязательно позволив мне записать с ее голоса те былины, которые остались у нее в памяти (а прежде она знала их больше, пока заботы хозяйства и воспитания детей не поглотили всего ее досуга), почтенная г-жа Георгиевская рассказала, что ее отец, отличавшийся крайнею суровостью, строжайше запрещал своим дочерям пение святочных, плясовых и т. п. песен, которые составляют обыкновенную забаву молодых девушек, так как он эти песни почитал греховными: что же было делать, чтобы разгонять скуку? И вот дочери строгого иерея заучили и принялись распевать былины, которые они слышали от старика-крестьянина, каждую зиму работавшего в их доме как портной.

Другой факт не менее замечателен. Я записывал былины со слов крестьянки Матрены Меньшиковой, записал былинку про Илью Муромца, как он пришел в Киев каликою и стал поить «голей кабацких», записал вариант редкой и единственно на Кенозере слышанной мною былины про Щелкана Дудентьевича, как вдруг Меньшикова, сказав, что знает еще хорошую старинку, запела:

Были юные Ово и девушка Мара,
Двое с трех лет выростали,
Одною водицей умывались... —

словом, пропела с начала до конца всю предлинную сербскую песню про Иову и Мару в переводе Щербины. «От кого, —

спрашиваю, — ты этой старинке научилась?» — «Да от стариков наших слыхала, отец и другие старики певали». Этот ответ показывал, что певица уже не отличала Иовы и Мары от других «старин», которые она заимствовала от родителей; потом из разговора с нею я узнал, что муж у нее грамотный и сын, тоже выучившийся грамоте, бывал в Петербурге. Таким образом нетрудно было догадаться, что к ним в дом попал экземпляр щербиновской «Пчелы» и что муж или сын прочитал вслух при Матрене перевод Иовы и Мары. Но знаменателен факт усвоения этой поэмы безграмотною кенозерскою крестьянкою, несмотря на чуждый русскому уху склад стиха, на непонятные слова, которыми поэма пересыпана. Несмотря на все это, она в состоянии была пропеть всю сербскую поэму так же плавно и без запинки, как какую-нибудь родную былин⁵. Она применяла сербский стих к нашему эпическому складу, протягивая хорейское его окончание, так что оно занимало темп дактиля, она преисправно произносила слова «тамбура», «горная вила», «родимая майка» и проч. Не показывают ли эти факты, что там, на Кенозере, воздух, так сказать, еще пропитан духом эпической поэзии, что эта поэзия там не только не вымирает, а даже еще ищет себе новых предметов? То же самое можно сказать и про Водлозеро, где только начинают прививаться былины. Из семи человек, которых мне там указали как знатоков былин, только один заимствовал их от отца; все прочие выучились былинам на чужой стороне, а если у себя дома, то от заезжих людей. Особенно характеристичен следующий случай. Крестьянин деревни Чуялы на Водлозере, Матвей Нигозёркин пропел очень складно былины про Дюка Степановича и про неудавшуюся свадьбу Алеши Поповича на Добрыниной жене; пропел, наконец, начало былины про три поездки Ильи Муромца. Когда я, по обыкновению, стал его расспрашивать, откуда он знает эти былины, Нигозёркин рассказал, что он им научился не далее как *в прошлом году* (а надо заметить, что это человек уже не молодой, ему за 40 лет); что до того времени он никогда не певал былин, но прошлою осенью заехал к нему переночевать какой-то старичок-крестьянин из-за Кенозера.

У него в избе сидело тогда человек полдесяток, они и стали просить старичка рассказать или спеть им что-нибудь. Старик пропел им былину про Дюка Степановича, и она Нигозёркину так понравилась, что он просил своего гостя ее спеть другой, а потом еще и третий раз. Так он ее и «понял». Старик на другой день уехал, но на возвратном пути опять остановился переночевать у Нигозёркина, который тогда выучил от него былину про Добрыню и Алешу; былины же про Илью Муромца не удалось запомнить всей, а только начало.

Так-то усваивается эпическая поэзия на Водлозере. Не знаю, не стоит ли явившаяся вдруг в водлозерах охота к былинам в связи с переходом в их быте: они, прежде жившие земледелием, вдруг, вследствие усердия начальства, воспретившего делать расчистки в окружающих лесах, принуждены были помирять с голоду и, чтобы не совсем помереть, принялись плести какие-то усовершенствованные сети и вылавливать рыбу из Водлозера: а плетение сетей, как мы видели, есть занятие, особенно благоприятствующее былевой поэзии.

Как бы то ни было, нет никакого сомнения, что на Кенозере и Водлозере наш народный эпос еще совершенно живуч и может там долго-долго продержаться, если только в эту глушь не проникнут промышленное движение и школа. Сравнительно с Водлозером и Кенозером берега Онежского озера, соединенного водным путем с Петербургом, суть места, гораздо более открытые влияниям, убивающим эпическую поэзию в народе, и потому неудивительно, что здесь она уже представляет признаки вымирания. К числу этих признаков я отношу и замеченное г. Рыбниковым явление, что у женщин есть как бы особые любимые былины. Пример Кенозера показывает, что это не есть явление общее. В самом Прионежском крае любимые былины женщин про Ставра, про Ивана Годиновича, про Чурилу поются также мужчинами; но зато редкая из женщин знает былины более, так сказать, серьезные, как то: про Илью Муромца, про Садко, про Вольгу и т. д. Мне кажется, что и здесь один и тот же круг былин был некогда, как на Кенозере, общим достоянием и мужчин и женщин; по мере же утраты

вкуса к эпической поэзии, последние перестали петь все то, что не представляло для них особенного интереса, и таким образом сохранили в памяти только пикантные былины про Ставра, Чурилушку, Хотёнку Блудова и т. п.

Когда слушаешь наших народных рапсодов, — прежде всего дивишься тому, до какой степени все они, все без исключения, верно выдерживают характеры действующих в былинах лиц. Рапсоды эти далеко не равны по достоинствам: они представляют целую градацию от истинных мастеров, одаренных несомненным художественным чувством, до безобразных пачкунов, так что собрание былин, с их слов записанных, можно сравнить с картинною галереєю, в которой однообразный ряд сюжетов повторялся бы в нескольких десятках копий, начиная от прекраснейших рисунков и кончая отвратительным мараньем. Но каков бы ни был рисунок, самый изящный или карикатурный, облик каждой физиономии в этой галерее везде сохраняет свои типические черты. Ни разу князь Владимир не выступит из роли благодушного, но не всегда справедливого правителя, который сам лично совершенно бессилён; ни разу Илья Муромец не изменит типу спокойной, уверенной в себе, скромной, чуждой всякой аффектации и хвастовства, но требующей себе уважения силы; везде Добрыня явится олицетворением вежливости и изящного благородства, Алеша Попович — нахальства и подлости, Чурила — франтовства и женолюбия, везде Михайло Пóтык будет разгульным, увлекающимся всякими страстями удальцом, Ставер — глупым мужем умнейшей и преданной женщины, Василий Игнатьевич — пьяницей, отрезвляющимся в минуту беды и который тогда становится героем, Дюк Степанович — хвастливым рыцарем, который пользуется преимуществами высшей цивилизации и т. д.; словом сказать, типичность лиц в нашем эпосе выработана до такой степени, что каждый из этих типов стал неизменным общенародным достоянием. Севернорусскому крестьянину, сохраняющему в памяти эпические сказания, очевидно присущи не только какие-нибудь общие неопределенные представления о его героях, но живые очертания их характеров; иначе

наши былины, в которых мы так часто встречаем искажения и крайнюю путаницу в обстоятельствах описываемых действий, искажали и путали бы и характеры действующих лиц; а этого-то никогда не бывает. Потому кажется, что в сохранении и преемственной передаче былин, кроме механического действия памяти, должно участвовать какое-то коллективное, если можно так выразиться, поэтическое чутье в народе. Но засим главнейшее участие принадлежит памяти. В самом деле, нужна громадная сила памяти для того, чтобы заучить и петь без запинки поэмы, которые длятся иногда по два и по три часа. Это одна из причин, что эпическая поэзия должна исчезать с развитием грамотности и промышленного духа в народе: эпическим песням нужна свободная память, они могут вместиться только в голову, не загроможденную книжным учением, не занятую расчетами житейской борьбы. Память есть единственная сила, которая сознательно для самих певцов действует в усвоении и воспроизведении их рапсодий; участия личного творчества никто из них не подозревает, хотя оно существует несомненно. Из разговора с любым сказителем вы сейчас увидите, что он вполне чужд сочинительства: он старается петь именно так, как пел его отец, дед или учитель; если он чего-нибудь не упомянул, то либо пропускает, либо рассказывает словами; но как бы подробно он ни знал содержания какого-нибудь эпизода или целой былины, он, раз забывши как она поется, никогда не решится восстановить ее стихами, хотя при однообразии эпического склада это, казалось бы, весьма легко. Я был свидетелем смешного фиаско, которое потерпел один водлозерский нищий, слепой Анисим, поющий по профессии духовные стихи: ему захотелось заработать у меня денег, и, когда я ему сказал, что духовных стихов мне не нужно, а нужны былины, он, видно надеясь на себя, прехладнокровно начал петь про Илью Муромца; но пел он чепуху и нескладицу невообразимую. Так, например, он пел:

И говорит-то Илья Муромец сын Иванович
Своему-то родителю батюшку и матушки,

Говорит-то ён им таково слово:
— А й ты родитель мой батюшка и матушка,
Дай прощеньицо благословеньицо
Во чистое поле ехати и поляковать
И биться и ратиться
За церкви соборныи, за весь тот мир православный,
За верушку да кровь отечество,
За царя да за земного правителя,
Всероссийского да содержателя,
За все воинство и христолюбимое!

Потом он сознался, что былин не певал, а знал про Илью рассказ только словами. Другой крестьянин, Андрей Сорокин, говорил мне, что, будучи еще с малолетства охотником до былин, он иногда пытался распевать голосом, в виде былины, ту или другую сказку, но что это ему никогда не удавалось. Впрочем, самая эта попытка показывает в Сорокине склонность к личному сочинительству, которая не могла не отозваться и на его былинах. И действительно: ни в ком не было видно такого, можно сказать, бесцеремонного отношения к тексту былин. Однажды, записывая былину, которую я уже прежде слышал от Сорокина, я заметил ему в одном месте, что он прежде пел этот эпизод иначе: «Ах, это все равно, — отвечал Сорокин, — я могу спеть так или иначе, как вам будет угодно!» Ничего подобного мне ни от кого другого из сказителей не приходилось слышать, и я приписываю склонности к сочинительству в Сорокине особый характер, которым отличаются его былины, их бесконечную амплификацию, делающую их так скучными⁶.

Сорокин составляет единственное в своем роде явление. Все прочие сказители всегда утверждали, что то, что рассказывается словами, никоим образом не может быть пето стихом; когда я замечал им, что они пропустили что-нибудь или спели нескладно, то иные старались «выпомнить» лучше это место, но никому в голову не приходило сгладить пропуск или нескладицу собственным измышлением. Обыкновенно же, хотя

бы указана была в былине явная нелепица, сказитель отвечал: «так поется», а про что раз сказано, что «так поется», то свято; тут, значит, рассуждать нечего. Когда попадалось в былине какое-нибудь непонятное слово и я спрашивал объяснения, то получал его только в таком случае, когда слово принадлежало к употребительным местным провинциализмам: если же слово не было в употреблении, то был всегда один ответ: «так поется» или: «так певали старики, а что значит, мы не знаем». Не раз сказитель, пропев про князя Владимира какой-нибудь стих, весьма к нему непочтительный, просил за это не взыскать, «потому-де мы сами знаем, что нехорошо так говорить про святого, да что делать? так певали отцы, и мы так от них научились». Только благодаря тому, что каждый сказитель считает себя обязанным петь былинку так, как сам ее слышал, а его слушатели вполне довольствуются тем, что «так поется» и объяснений никаких не требуют, — только благодаря этому и могла удержаться в былинах такая масса древних, ставших непонятными народу слов и оборотов; только благодаря этому могли удержаться бытовые черты другой эпохи, не имеющие ничего общего с тем, что окружает крестьянина, подробности вооружения, которого он никогда не видал, картины природы, ему совершенно чуждой. Нужно побывать на нашем Севере, чтобы вполне понять, как велика твердость предания, обнаруживаемая в народе его былинами. Мы, жители менее северных широт, не находим ничего особенно для нас необычного в природе, изображаемой нашим богатырским эпосом, в этих «сырых дубах», в этой «ковыль-траве», в этом «раздолье чистом поле», которые составляют обстановку каждой сцены в наших былинах. Мы не замечаем, что сохранение этой обстановки приднепровской природы в былинах Заонежья есть такое же чудо народной памяти, как, например, сохранение образа «гнедого тура», давно исчезнувшего, или облика богатыря с шоломом на голове, с колчаном за спиной, в кольчуге и с «палицей боевою». Видал ли крестьянин Заонежья дуб? Дуб ему знаком столько же, сколько нам с вами, читатель, какая-нибудь банана. Знает ли он, что это такое «ковыль-трава»? Он

не имеет о ней ни малейшего понятия. Видал ли он хоть раз на своем веку «раздолье чистое поле»? Нет, поле как раздолье, на котором можно проскакать, есть представление для него совершенно чуждое: ибо поля, какие он видит, суть маленькие, по большей части усеянные камнем или пнями клочки пашни либо сенокосу, окруженные лесом; если же виднеется кое-где чистое гладкое место, то это не раздолье для скакуна, это — трясина, куда не отважится ступить ни лошадь, ни человек. А крестьянин этого края продолжает петь про раздолье чистое поле, как будто бы он жил на Украине!

Но само собою разумеется, что, кроме завещанного преданием, севернорусская былина носит в себе и местные, и личные стихи. Когда сказитель поет, что добрый конь богатырский

«Мхи болота перескакивал,
Мелкие озера промеж ног пушал»,

то он рисует картину, которая составила на месте. Таких черт можно найти немало. Нельзя не заметить той особой обстоятельности, с которою в былинах наших изображается седлание коня и снаряжение корабля: эти картины, конечно, не принадлежат к числу тех, которые привнесены на Севере в состав наших былин; но если именно седланье коня и снаряжение корабля излагается в них пространнее и с большей так сказать любовью, чем другие действия, — то это могло произойти оттого, что из всех действий, приписываемых богатырям, именно седланье коня и снаряжение корабля особенно близко знакомы северно-русскому крестьянину. Когда ему нужно отправиться в путь, приходится либо оседлать себе лошадь, либо снарядить парусную лодку. Я думаю, что влиянию местной жизни следует приписать и то, что в Онежском крае сохранился, рядом с богатырем-мужиною, образ богатыря-женщины, или *поляницы*. Это представление до такой степени стало чуждо нам, что, при издании в Москве первого тома сборника Рыбникова там даже ученые не поняли, что такое

поляница, как показывает примечание издателей к этому слову (с. 27): «*паленица, поленица, поляница*: удалая голова, что рыскает по полю ради подвигов»⁷. Между тем в северной части Олонецкой губернии на Выгозере, на Водлозере, на Повенецком и Пудожском побережье каждый крестьянин вам скажет положительно, что в старину богатырские подвиги совершали одинаково и мужчины, и женщины и что как мужчины назывались *богатырями*, так женщины *поляницами*. Это я слышал десятки раз. («Поляница» — это значит женщина-богатырыца, говорил водлозер Суханов.) «Что такое поляница?» — спросил я между прочим у <другого> водлозерского певца Нигозёркина, думая поставить его в тупик, так как он только недавно и случайно выучился кое-каким былинам. «А вот видите, — отвечал он, — досюль (т. е. в прежнее время) и женщины воевали, ходили на войну, как и мужчины, это поляницы значит по-нашему, по-деревенски».

Не стану делать гипотез о том, имеет ли предание о женщинах-богатырях в нашем эпосе связь с женщинами-воительницами, о которых говорят писатели древности у племен, обитавших в Черноморских краях, или с воинственными девами чешских легенд, но как бы образ женщины-богатыря ни сложился, сохранению его в живом представлении народа способствовали, несомненно, бытовые условия в северной части Олонецкой губернии. Здесь от женщины требуется не только равная доля физического труда, но требуется та же неустрашимость и отвага, что от мужчины. Здесь женщина в бурю должна уметь грести и править лодкою, в осеннюю непогоду тянуть «кереводы» и невода, в зимние метели отправляться в извоз к Белому морю. Олицетворяя в богатыре мужскую силу и отвагу, крестьянин этих мест не мог отделять его от такого же героического типа женщины; потому так ясно и сохранилось здесь понятие о *полянице*, которое в других краях России потеряло свою определенность. Так, даже в Кижях и на Кенозере в ответ на вопрос о том, что такое поляница, скажут либо, что это то же самое, что богатырь, либо что поляницами назывались воители пониже степеню, чем богатыри, либо, на-

конец, ответят просто: «Так поется — поляница, а что такое, не знаем». Впрочем, и там лучшие певцы (например, Рябинин) употребляют название «поляница» — хотя, кажется, бессознательно, по старой памяти — собственно тогда, когда речь идет о женщинах-воительницах⁸.

Кроме местных влияний, в былине участвует личная стихия, вносимая в нее каждым певцом; участие это чрезвычайно велико, гораздо больше, чем можно бы предполагать, послушав уверенья самих сказителей, что они поют именно так, как переняли от стариков. На Кенозере я встретил двух весьма замечательных сказителей, которые заимствовали былины от одного и того же учителя: это — Иван Сивцев, по прозванию Поромской, который выучился петь былины от своего отца, и Петр Воинов, ученик того же старика Поромского, у которого он жил в работниках. Если сличить былины, с их слов записанные, то сейчас заметишь, что они весьма сходны по содержанию, но значительно рознятся в подробностях изложения и оборотах речи. Такое же различие представляют былины кенозерского же певца Андрея Гусева и те же былины, как их поет его сын Харлам Гусев.

Можно сказать, что в каждой былине есть две составные части: места *типические*, по большей части описательного содержания, либо заключающие в себе речи, влагаемые в уста героев, и места *переходные*, которые соединяют между собою типические места и в которых рассказывается ход действия. Первые из них сказитель знает наизусть и поет совершенно одинаково, сколько бы раз он ни повторял былинку; переходные места, должно быть, не заучиваются наизусть, а в памяти хранится только общий остов, так что всякий раз, как сказитель поет былинку, он ее тут же сочиняет, то прибавляя, то сокращая, то меняя порядок стихов и самые выражения. В устах лучших сказителей, которые поют часто и выработали себе, так сказать, постоянный текст, эти отступления составляют, конечно, весьма незначительные варианты; но возьмите сказителя с менее сильной памятью или давно отвыкшего от своих былин и заставьте его пропеть два раза кряду одну и ту же

былину — вы удивитесь, какую услышите большую разницу в его тексте, кроме типических мест.

Эти типические места у каждого сказителя имеют свои особенности, и каждый сказитель употребляет одно и то же типическое место всякий раз, когда представляется к тому подходящий смысл, а иногда даже некстати, прицепляясь к тому или другому слову. Оттого все былины, какие поет один и тот же сказитель, представляют много сходных и тождественных мест, хотя бы не имели ничего общего между собой по содержанию.

Таким образом, типические места, о которых я говорю, всего более отражают на себе личность сказителя. Каждый из них выбирает себе из массы готовых эпических картин запас, более или менее значительный, смотря по силе своей памяти, и, затвердив их, этим запасом одинаково пользуется во всех своих былинах. У двух сказителей, Ивана Фепонова и Потапа Антонова, богатыри отличаются особенной набожностью, они то и дело молятся богу; а из этих сказителей Фепонов, как упомянуто выше, калика, т. е. певец духовных стихов по профессии, — Антонов же, хотя простой крестьянин-земледелец, но выучился былинам тоже от калики по профессии, ныне умершего. Таким образом, набожный склад духовных стихов отразился у них и в былинах.

Изложенные здесь наблюдения представлялись мне сами собою, пока я слушал наших сказителей и записывал их рапсодии. Я тогда же пришел к убеждению, что собранные былины должны быть, при издании, расположены не по предметам, а *по сказителям*. Конечно, эта система имеет большие неудобства, и я первый готов признать, что окончательное, полное издание наших эпических песен, точно так же, как необходимое в литературе нашей очищенное издание избранных былин, следует сделать по предметам, с систематическим подбором вариантов. Но для полного издания еще не наступило время; издание же хрестоматии не есть моя цель. Я считаю эпические песни, сохранившиеся в народе нашем, настолько ценными для науки, что они заслуживают все издания; при издании же

сырого материала, каким представляется собрание записанных мною былин, система расположения их по рапсодам имеет то преимущество, что при ней может легко уясниться важный вопрос об отношениях личного творчества и предания в составе былин. С этой точки зрения получает цену многое, что иначе казалось бы не заслуживающим никакого внимания. Так, например, читатель встретит в моем сборнике два ужасно плохих варианта известной былины про отъезд Добрыни Никитича и неудачное сватовство Алеши Поповича на его жене. В одном из этих пересказов всего подробнее описываются и выставляются ребром заботы Владимира о том, чтобы прислуга не впускала никого постороннего на брачный пир Алешин, и переговоры Добрыни со служителями о том, чтобы ему дозволили войти: словом, центр действия перенесен в переднюю. В другом пересказе Владимир, чтобы понудить Добрынину жену выйти за Алешу Поповича, издает указ удалить из Киева «всех вдов и жен беспашпортных» и грозит Настасье этим законом. Что́ может быть безобразнее того и другого пересказа? Между тем первый из них характеристичен по отношению к личности самого певца: это — молодой человек, который ходил бурлаком на Канал, на заработанные деньги кутил в Петербурге на Сенной, прокутившись, поступил в услужение к какому-то купцу и недавно только воротился к себе в деревню и сел там на крестьянство. Из всех певцов былин, мне встретившихся, этот больше всех вращался в лакейской сфере, и героями былины вышли у него лакеи. Пересказ же, где говорится о беспашпортных вдовах, свидетельствует о том, как запечатлевается в былинах след событий, поражавших народ. Этот вариант, который я слышал единственно на Водлозере, включает в себе воспоминание того, что в пятидесятых годах нынешнего столетия разогнали из раскольничьих скитов в Данилове и на Лексе (т. е. за несколько десятков верст от Водлозера) всех вдов и девиц, проживавших там без паспортов.

Каждая былина вмещает в себя и наследие предков, и личный вклад певца; но, сверх того, она носит на себе и отпечаток местности. Сколько мне показалось, певцы былин из

Олонецкой губернии должны быть разделены, по местности, на две большие группы, из которых каждая имеет, затем, свои подразделения. Эти две большие группы можно бы пишущему в Петербурге назвать *прионежскою* (или — если угодно употребить старинное слово — *обонежскою*) и *заонежскою*, потому что первая обнимает местности, прилегающие к Онегу, а вторая — края, которые лежат к северу и востоку от Онега; но второе название произвело бы путаницу, так как слово Заонежье употребляется народом в смысле, диаметрально противоположном тому, который мы бы ему теперь придали. Заонежьем русские (когда колонизация этого края шла с востока на запад) называли тот большой полуостров, который вдаётся в Онежское озеро по сию сторону главного его бассейна. Итак, нам приходится искать другого названия: я назову эту группу, в противоположность прионежской, группой *северо-восточною*, так как она обнимает окрестности Выгозера, Водлозера, Кенозера и Моши.

Группа *прионежская* характеризуется пространностью былин, *северо-восточная* группа — относительно их сжатостью. Эти два типических признака являются как в построении самых рапсодий, так и в складе стиха. В Прионежье былины отличаются качеством, которое еще Гораций приписывал эпическим песнопениям, — длиннотою: *dic age longum*, *Calliope*, *melos*. В Прионежье слышатся былины в тысячу стихов и более и заметна склонность сказителей к длинному стиху (7-, 8-, 9-стопному) со множеством вставочных частиц. На северо-востоке, напротив того, преобладает стих короткий, 5-, 6-стопный; вставочные частицы употребляются умереннее: повторения, которые так удлиняют былины в устах прионежских певцов, здесь вводятся гораздо реже; ход рассказа живее и менее обставлен подробностями, так что редкая былина достигает и 300 — 400 стихов. Само собою разумеется, что и на Прионежье некоторые былины бывают короткие, а у выгозерских и кенозерских сказителей попадаются такие, которые изобилуют длиннотами; но я говорю об общем, преобладающем типе, а в этом, как мне кажется, различие весьма явственно.

Перехожу к подразделениям обеих групп и начинаю с прионежской. Когда я был на том полуострове, который слышит Заонежьем, то слышал, что народ делит его по какому-то старинному преданию на три части: Киж, Толвуй и Шуньгу. Имя *Киж* обнимает юго-западную часть Заонежья, т. е. погосты Сенногубский, Кижский, Великогубский, Яндомозерский, Космозерский; Толвуй есть общее название для восточной полосы Заонежья, т. е. погостов Типеницкого, Кузарандского, Выгозерского, Толвуйского, Фоймогубского; наконец, Шуньгою называется северо-западный угол Заонежья. Про последний край ничего не могу сказать, потому что в нем не был, а слышал, что там едва ли можно встретить былины; но я был удивлен тем, что хотя между Кижам и Толвуйей нет ни природной, ни административной, а есть только какая-то воображаемая по преданию граница, манера у певцов былин в том и другом крае совершенно особенная. В то же время толвуйская манера совершенно сходна с тою, которая замечается на противоположном, северо-восточном берегу Онежского озера, в Повенецком уезде до самого перевала на Масельге. Потому думаю, что можно прионежских рапсодов разделить на две, так сказать, школы — кижскую и толвуй-повенецкую. Что это заключение не совсем произвольное, могу подтвердить свидетельством самих крестьян. В Пудожгорском погосте, в деревне Горке, стоят рядом, бок о бок, избы двух замечательных сказителей: Абрама Евтихьева (Бутылки), о котором я упоминал выше, и Петра Лукина Калинина. Первый сопровождал меня из Петрозаводска, ко второму мы приехали в гости на Пудожскую Гору. Когда Калинин пропел длинную былинку о Добрынюшке, хозяин и гребцы моей лодки, привыкшие слышать Абрама, все тотчас заметили: «Как странно, два такие близкие соседа, а сказывают былины совершенно разнo!» Абрам Евтихийев тотчас объяснил нам это: «Петр Лукич, — говорил он, — понял былины от своего отца, а я от своего; батюшка же мой не тутошний, он родом из Киж, с Космозера, и переселился со мною на Пудожскую Гору, когда мне уже было лет 20; оттого я и пою былины как кижане, а не как здешние».

В чем же состоит различие этих двух школ? В чертах весьма мелких, но которые дают, так сказать, тон всей рапсодии, а именно в тех беспрерывно повторяющихся вставочных частицах, которые служат как бы подпорками нашего эпического стиха, подобно гомерическим частицам <ἀσα, αὔ, λέ, δῆ> и проч.

В Кижях такими частицами — кроме общеупотребительных *да, а, и, ли* — служат обыкновенно: *как, ведь* и *де*; у толвуйских сказителей вы никогда не услышите ни *как*, ни *ведь*, ни *де* в смысле простой вставки; они опирают стих на частицы *нынь* или *нунь, же, было* и *есть* или *е*: это последнее (*есть* или, сокращенно, *е*) большею частью употребляется при глаголах прошедшего времени, так что оно является как бы остатком старинной формы образования прошедшего, но как смысл этого приставочного «есть» или «е» уже потерян, то сказители нередко пользуются им просто для стиха.

От школы повенецко-толвуйской, так же как от кижской, однако менее от первой, чем от последней, отличаются по складу былины, которые я слышал на восточной стороне Онега, ближе к городу Пудожу. Но в этой местности нашлось только четверо сказителей, из которых у каждого есть весьма заметные особенности. Это объясняется различием источников их былин. Только у одного из них, Сорокина, они местного происхождения; другой, Иван Фепонов, выучился былинам на Онеге-реке; к третьему, Потапу Антонову, они перешли из Вытегорского уезда; наконец, Никифором Прохоровым поются былины, занесенные тоже из какого-то дальнего места (его отец выучился им, когда служил в пастухах у помещика, стало быть, во всяком случае не близко от родины Прохорова, потому что там нет вовсе помещичьих имений). Итак, этих четверых сказителей можно соединить по местности в группу, но нельзя назвать одною школою. Что касается до *северо-восточной* группы, то я не подметил там различия собственно в складе былин между отдельными местностями. Во всех местностях этой группы, на Выгозере, Водлозере, Кенозере, манера сказителей одна и та же — те же короткие стихи, та же краткость

в рассказе, та же относительная умеренность в употреблении вставочных частиц. Тем не менее считаю нужным разделить северо-восточную группу географически на выгозерскую, водлозерскую и кенозерскую, потому что между этими местностями есть различие — не в складе былин, а в их сюжетах. На Выгозере воспеваются те же герои, что и в Прионежье: общеизвестные Илья Муромец, Добрыня, Чурило и т. д., и сверх того Дунай Иванович, Ставер Гоудинович, Дюк Степанович, Садко — купец богатый; на Кенозере же про четырех последних вовсе не поют, про Дуная и Ставра там даже не слыхивали; напротив того, сказания про Илью Муромца и Чурилу здесь многочисленнее, особенно — песни об Илье Муромце имеют у кенозерских сказителей такое преобладающее значение, какого не видно в Прионежье; сверх того, на Кенозере поются некоторые былины, вовсе неизвестные в других местах, например о Щелкане. Группа водлозерская не имеет никакой определенной физиономии, потому что, как замечено выше, там эпическая поэзия только начинает водворяться, заносимая с разных сторон. Наконец, в последней из местностей, которые я решился причислить к северо-восточной группе, — на Моше, слишком мало остатков эпической поэзии, чтобы можно было судить о ее характере. Былины там, по большей части, перешли в прозаические рассказы в виде сказок, и на Моше остался только один замечательный певец былин (Швецов). Его былины довольно заметно отличаются от кенозерских, и как Мошенский край по природным условиям всего ближе связан с Шенкурским уездом Архангельской губернии, то можно бы предположить, что и в отношении к былевой поэзии он составляет часть шенкурской группы; но об этой последней я не имею никаких сведений, почерпнутых из личного наблюдения.

Между прочим следует заметить, что кенозерские и мошенские былины отличаются от всех прочих по наречию. На всем Прионежье, так же как на Выгозере и на Водлозере, господствует севернорусское наречие, в котором *о* произносится всегда чисто, без перехода в *а*, и родительный падеж прилагательных на *аго*, *ого* выговаривается так, как мы его пишем; при

этом замечается еще свойственная новгородцам склонность буквы *ђ* к звуку *и* и буквы *џ* к звуку *ч*, но случаи, в которых вместо *ђ* слышится чистое *и*, вместо *џ* — чистое *ч*, редки и непостоянны, обыкновенно же является средний звук, который трудно передать. Так, например, очень редко скажут: *белый свит, молодець*, обыкновенно же выходит не то *билый свит, молодець*, не то *белый свет, молодец*, а что-то среднее.

С Водлозера на Кенозеро едешь верст 90 или 100 болотистыми реками по совершенно безлюдному «суземку», на середине которого волок в 5 верст и деревушка. Этот волок есть водораздел между водами балтийского и беломорского бассейнов. Переехав водораздел, замечаешь тотчас и некоторую перемену в наречии: *џ* произносится чисто, *ђ* уже весьма редко принимает оттенок звука *и*, впервые слышится переход *з* в *в* в родительном падеже, особенно в мелких словах *тово, сево, нево* и т. п.

Тот же самый говор слышен и на Моше; далее по пути от Моши к Вельску переезжаешь другой большой болотистый пустырь, отделяющий воды, которые текут в Онегу-реку, от притоков Северной Двины. С этим водоразделом опять-таки соединено изменение в наречии: ослабевает *оканье*, окончание *аго* чаще переходит в *аво*, произношение *ђ* как *и* совсем исчезает, и любопытно, что с переменою в наречии совпадает и другая, экономическая. До этого водораздела вся экономическая жизнь народа тяготеет исключительно к Петербургу и Архангельску, с Москвою нет ни малейшей связи (кроме редких богатых торговцев, бывающих на Нижегородской ярмарке); за болотистым волоком, отделяющим Мошенский край от Пуйского, Москва является главным, наиболее знакомым народу экономическим центром, Петербург отходит на второй план.

Я удалился от нити своего изложения. Мне остается к замечаниям о складе наших былин прибавить несколько наблюдений насчет их размера. К этим наблюдениям меня привела с первого же дня встреча с Абрамом Евтихиевым, с которым, как сказано, я познакомился при самом приезде в Петрозаводск. Он стал мне петь свои былины, уже известные мне по

изданию г. Рыбникова, и, следя за ними по печатному тексту, я был поражен разницею — не в содержании рассказа, а в стихе. В печатном тексте стихотворное строение выражается только дактилическим окончанием стиха, внутри же стиха никакого размера нет; когда же пел Абрам Евтихийев, то у него явно слышался не только музыкальный каданс напева, но и тоническое стопосложение стиха. Я решился записать былинку вновь; сказитель вызвался сказать мне ее «пословесно», без напева, и говорил, что он уже привык пословесно передавать свои былины тем, которые прежде их у него «списывали». Я начал списывать былинку о Михайле Пóтыке; размер исчез, выходила рубленая проза вроде той, какую эта былина напечатана была в «Олонецких Ведомостях»⁹ и потом перешла в сборник г. Рыбникова (т. I, № 38). Я попытался было переправить эту рубленую прозу в стих, заставив сказителя вторично пропеть ее, но это оказалось неисполнимым, потому что, как объяснено выше, сказители каждый раз меняют несколько изложение былины, переставляют слова и частицы, то прибавляют, то опускают какой-нибудь стих, то употребляют другие выражения. Прислушавшись несколько дней к первым встреченным сказителям и напрасно пробившись с ними, чтобы записать былинку совершенно верно, с соблюдением размера, каким она поется, я попробовал приучить своего спутника рапсода *петь* (а не пересказывать только словами) былинку с такою расстановкою между каждым стихом, чтобы можно было записывать. Это было легко растолковать Абраму Евтихийеву, и я решился записать вновь его былины. Напев поддерживал стихотворный размер, который при передаче сказителем былины словами тотчас исчезает от пропуска вставочных частиц и слияния двух стихов в один, и былина вышла на бумаге такою, как она действительно была пропета. Тот же прием употреблял я впоследствии со всеми другими сказителями, и он мне удавался почти всегда. Только в редких случаях (они будут мною всякий раз обозначаемы) мои старания были тщетны. Так, чересчур ветхий и почти глухой старик Кузьма Романов и замечательная, впрочем, сказительница Домна Сурикова никак не могли

приладиться к песенной передаче былины. Когда они начинали сказывать ее нараспев, то не в состоянии были остановиться, чтобы не пропеть вдруг целую тираду, которую мог бы записать разве стенограф; когда же я их останавливал и просил повторить то же потише, то впадали в прозаический пересказ, в котором стихосложение исчезало.

Записав с возможною внимательностью к стихотворному размеру былины 70 сказителей и сказительниц, позволю себе сделать некоторые общие выводы. Сказителей в этом отношении можно распределить на три группы:

1. Сказители, которые точно соблюдают в каждой былине правильный размер;
2. Сказители, которые соблюдают размер, но не всегда правильный; и
3. Сказители, которые вовсе не соблюдают размера.

Что правильное тоническое стопосложение составляет коренное, нормальное свойство русской народной былины; что неправильность в стихотворном размере есть признак порчи, а совершенное отсутствие размера — дальнейшая степень такой порчи, это не требует доказательств для каждого, кто либо послушает наших сказителей, либо потрудится прочесть былины, записанные с их напева. Он найдет правильный тонический стих у тех именно сказителей, у которых былины и по содержанию самые складные, самые полные, самые архаические; он заметит, что рапсоды, которые допускают неправильности в стопосложении, — все-таки обыкновенно поют правильным стихом повторяющиеся типические места, т. е. то, в чем всего более сохраняется древний склад речи; он увидит, что совершенно разрушенный стих имеет спутником разрушение и в содержании, и во внутреннем складе былин.

Какой же размер нашего народного эпического стиха? Не один, а несколько.

Г. Рыбников заметил, что у Рябина «один и тот же быстрый голос очень весел в Ставре, в Пóтыке как-то заунывнее, а в Вольге и Микулушке выходит торжественным». Г. Рыбников разумеет здесь собственно напев, но за напевом скрывается его

основа — размер стиха. В Ставре у Рябина хорей с дактилем, в Пóтыке — чистый хорей, в Вольге и Микуле — анапест. Эти три размера вмещают в себя весь наш народный эпос, за исключением некоторых более поздних его произведений.

Преобладающий размер, который я назову *обыкновенным эпическим размером*, есть чистый хорей с дактилическим окончанием.

Число стоп неопределенно, так что стих является *растяжимым*. Растяжимость при правильном тоническом размере составляет отличительное свойство русского эпического стиха. Но при этом следует иметь в виду, что у хороших певцов растяжимость стиха бывает весьма умеренная. Решительное преобладание принадлежит стиху 5- и 6-стопному, который затем может расширяться до 7 и суживаться до 4 стоп; стихи же длиннее или короче того допускаются лишь разве как самая редкая аномалия. Чрезмерно длинного стиха (более 8 стоп) вы никогда не услышите от сказителя, если только он не принадлежит к числу тех, у которых размер стиха совсем разрушен. Встречая такие длинные стихи в печатных изданиях былин, мы должны их объяснять тем, что сказители, когда передают былинку словами, без напева, часто сливают два и даже три стиха в один. Можно также заметить, что в некоторых былинах преобладает тип стиха более короткого, так что наибольшая часть стихов — 4- и 5-стопные, в других преобладают длинные, 6-стопные с примесью 7-стопных. Так, Калинин пел былины про Илью Муромца стихом, по преимуществу 4- и 5-стопным, про Добрыню Никитича — 6- и 7-стопным. Любопытно было бы сравнить русский эпический стих с таким же стихом у других народов: какие бы это сравнение дало результаты? Со стихом южнославянским, силлабическим и нерастяжимым (т. е. без тонического склада и с неперменным соблюдением одинакового числа слогов), у нас нет ничего общего, кроме того, что каждый стих, и русский и южнославянский, должен представлять какой-нибудь более или менее цельный смысл, какую-нибудь фразу или отдельный член фразы, не допуская ни в коем случае так называемого enjambement, столь

любимого, напротив, в стихе древнегреческого, германского и скандинавского эпоса.

Впрочем, не стану удаляться от своего предмета и потому возвращаюсь к размерам олонецких сказителей. Вот пример стиха, который я назвал обыкновенным эпическим. (Читатель найдет пример эпического стиха в комментарии¹⁰. — *Прим. ред.*)

Этим размером лучшие сказители, как то: Рябинин, Еремеев, Калинин, — вам пропоют былину в тысячу слишком стихов, не сбиваясь в стопосложении. Если у них в сотне стихов найдется один какой-нибудь неправильный, то это, конечно, так же мало значит, как то, что и старик Гомер, бывало, «засыпая», скажет плохой гекзаметр. Но большинство наших сказителей позволяют себе в хореическом стихе две вольности, которые, впрочем, мало заметны при пении былины: именно, в начале стиха они изредка допускают приставку или недостачу одного слога, так что хорей превращается в ямб, а в середине иногда вместо хорей употребляют дактиль; но как при этом два кратких слога дактиля сливаются в произношении, то хореический каданс от того не теряется. Привожу пример такой былины, записанной со слов Абрама Евтихиева:

*Добрынюшке-то матушка говаривала,
Да й Микитичу-то матушка наказывала:
— Ты не езд-ко далече во чисто́ полё
На тую́ горú да сорочинскую,
Не топчи-ко младых змиёнышёв,
Ты не выручай-ко полонов да русьских,
Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки;
Но Пучай-река очинь свирипая,
Но середняя-то струйка как огонь сечёт.
А Добрыня своёй матушки не слушался,
Как он едет далече во чисто́ полё,
А на́ тую на горú сорочинскую,
Потоптал он младых змиенышев,
А й повыручал он полонов да русьских.*

Богатырско его сердце распотелоси,
 Роспотелось сердце нажаделоси,
 Он приправил своего добра коня,
 Он добра коня да ко Пучай-реки.
 Он слезал Добрыня со добра коня,
 Он снимал Добрыня платье цветное,
 Да он *забрел за струечку* за первую,
 Да он *забрел за струечку* за среднюю,
 И сам говорил да таково слово:
 — Мне *Добрынюшки* матушка говаривала,
 Мне *Микитичу* маменька наказывала,
 Что не езд-ко далече во чисто поле
 На тую горю на сорочинскую,
 Не топчи-ко младых змиеньшов,
 А не *выручай* полонов да русьских
И не куплись, Добрыня, во Пучай-реки,
 Но Пучай-река очинь свирипая,
 А середняя-та струйка как огонь сечёт;
 А Пучай-река она кротна-смирна,
 Она будто лужа-то дождевая.
 Не успел Добрыня словца молвити, —
 Ветра нет — да тучу наднесло,
 Тучи нет — да быдто дождь дождит,
 А й дождя-то нет, да только гром громит,
 Гром громит да свищет молния.
 А как лётит змиищо Горынчищо
 О тыёх двенадцати о хоботах.
 А Добрыня той змеи да приужахнется.
 Говорит змея ему проклятая:
 — Ты теперича, Добрыня, во моих руках;
 Захочу тебя, Добрыню, теперь потоплю,
 Захочу тебя, Добрыню, теперь съем-сождру,
 Захочу тебя, Добрыню, в хобота возьму,
 В хобота возьму Добрыню, во нору снесу.
Припадает змея как ко быстрой реки,
 А Добрынюшка-то плавать он горазд ведь был,

Он нырнёт на бѣрежок на тамошной,
Он нырнёт на бѣрежок на здешний...

Таким образом, на 52 стиха оказывается 42 совершенно правильных хореических, в 4 стихах хорей превращен в ямб, в 6 стихах есть дактилические стопы вместо хорей¹¹. Можно сказать, что такой, несколько тронутый порчею, хорей в настоящее время преобладает у олонецких сказителей, за исключением немногих наилучших, которые умеют выдерживать размер стиха совершенно, и с другой стороны тех, как Щеголёнок, Сорокин, Сарафанов, которые вовсе утратили размер в стихе.

Второй размер в былинах можно назвать *игривым* как по его тону, так и по тому, что этим размером сложены былины менее серьезные по содержанию, а именно про Соловья Будимирова, Чурилу Пленковича, Ставра, иногда про Дуная Ивановича, а также про нашествие Батыя на Киев, событие, которому народный эпос придал шуточный колорит. Размер этот отличается тем, что хореические стопы перемешаны с дактилическими, которые притом не скрадываются, как в чисто эпическом размере, а выговариваются весьма явственно. Надобно заметить, что никогда былина не складывается целиком из таких стихов, — что было бы чересчур утомительно для слуха, — а они перемешиваются с чистыми хореическими стихами. Для примера привожу начало пропетой Рябининым былины о Дунае Ивановиче:

Владимир князь стольно-киевской
Заводил он почестен пир-пированьицо
А й на всех-то на князей на бо́яров
Да й на русьских могучих богатырей,
На всех славных поляниц на удалых.
А сидят-то молодцы на честном пиру,
Все-то сидят пьяны-веселы.
Владимир князь по горенки похаживал,
Пословечно государь выговаривал:

— Все есть добры молодцы поженены,
Красны девушки заму́ж даны,
Столько я один хожу холост не же́неной.
То вы знаете ль мне, братцы, супротивничку,
Чтобы личушком она да й супроти́в меня
Очушки у ней бы ясных соболей,
Бровушки у ней бы черных соболей,
А походочкой она бы лани белою,
Белою лани напольскою,
Напольской лани златорогия,
А чтобы было бы мне с ким жить да быть, век коротати,
А ще вам, молодцам, было б то кому поклоняться.
Все бога́тыри за столиком умолкнули,
Все молодци да приутихнули
За столом-та сидят, загулялися...

Пусть читатель сравнит это место с началом былины того же певца о Добрыне и Василье Казимирове. Там Рябинин пел:

Заводил почестей пир да й пированьицо.

Здесь:

Заводил он почестен пир пированьицо.

Там:

На всех сильних русьских могучих на бога́тырей

А й на славных поляниц на удалых.

Здесь:

Да й на русьских могучих бога́тырей

На всех славных поляниц на удалых.

Таким образом, один и тот же стих, смотря по характеру былины, складывается то хорейским, то дактилическим размером. Любопытно притом, что в конце былин про Дуная и про Чурилу, когда игривый их тон уступает место трагической развязке, дактилические стихи исчезают и размер переходит в чистый хорей.

У некоторых сказителей мы находим особенный вариант дактилического размера, состоящий в том, что последняя сто-

па удлиняется и стих кончается не дактилем, а четырех- или пятисложною стопою с небольшим повышением голоса на последнем слоге. Это придает еще большую легкость размеру; но такие стихи никогда не допускаются иначе, как вперемежку с обыкновенными:

Зговóрит млад Соловей Гудíмирови́ч:
— Сходенку выкидывай сере́бряную,
Другу выкидывай подзолóченную,
Третью выкидывай исповóлжанюу.
Берите подарки умильнии,
Куниц вы лисиц да заморских.
Брали ёны во белы́е руки,
Матушку камочку узорчатую,
И сам берет гуселка ярóвчатый,
И сам идет по сходенки золóченный,
Матушка идет по сере́бряный,
Вся его дружина по исповóлжанный
Приходят оны ко Влади́миру на двор.
Приходит в палату грановитую,
А поклоны-то ведёт по-учёному,
Крест кладет по-писа́ному,
На все три ведь на четыре он на стóроны,
Тому ли Владимиру в особину.
Подают ему подарочки хорошие,
Матушка камочку узорчаткую
Молодой княгини Опраксии.
Взимает княгиня на белыи руки,
А взимает княгиня дивуется:
Да не дóрога камочка заморская,
А й дороги узоры заморский.
<Стал его Владимир выведывати:
Стал его Владимир выведывати:>
— Ты скажись, молодец, с коёй земли,
Как мóлодца именём зовут?

Третий размер, *анапестический*, отличается тем, что вся тяжесть стиха падает на последнюю стопу, в которой произносятся два ударения, одно самое резкое, на последнем слоге, другое на третьем или на четвертом слоге с конца, а у одного сказителя (Висарионова) слышалось иногда два ударения на двух последних слогах рядом, и при этом на последнем более протяжное, так что стих выходит какой-то особенно медленный и грузный. Анапестический размер соответствует тому, что г. Рыбников называет «торжественным» напевом, и встречается в весьма немногих былинах, а именно о Вольге, Микуле и Кольване. Тем же размером пелась, вероятно, и былина о детстве Ильи Муромца, но единственный сказитель, сохранивший эту былину, Щеголёнок, принадлежит к числу тех, которые отвыкли от соблюдения размера, и только отдельные стихи напоминали у него анапестический склад. Былины о Вольге и Микуле Селянине принадлежат к тем, которые меньше всех интересуют народ и мало поются даже теми, которые их еще помнят. Потому и размер, о котором я говорю, является везде более или менее разрушенным во внутреннем строении стиха. Вот примеры:

Жил Святослав девяносто лет,
 Жил Святослав и преставился;
 Оставалось от него чадо милое,
 Младый Вольга Святославгович.
 Стал Вольга он ростеть матереть,
 Похотелось Вольги-то много мудрости:
 Щукой рыбою ходить Вольги во синиих морях,
 Птицей соколом летать Вольги под оболока,
 Волком и рыскать во чистых полях.
 Уходили-то все рыбушки в глубокие моря,
 Улетали все птички за оболоки,
 Убегали-то все звери за темны леса.
 Стал Вольга он ростеть матереть
 И собирал соби дружинушку хоробрую,

Тридцать молодцов без единого,
Сам еще Вольга во тридцатых...

(Рябинин)

Или:

Во чистом поле съезжалоси
Три сильных могучих богатыря
По имени первой Колыван-богатырь,
Другой Муромлян богатырь,
Третий Самсон богатырь.
Про между собою речи говорили,
Который из нас будет больший брат?
Говорит Самсон богатырь:
— Кабы был столоб в земли,
Кабы было кольцо в столбу
Я бы землю всю во круг повернул.
Говорит Муромлян богатырь:
— Я бы такожде повернул.
Говорит Колыван богаты
— Я такожде мог повернуть.
Господь всевышния творец
За ихнее похваление
Дал им привидение:
Куда у их было нарчено в путь ехать,
Лежит на пороги сумка,
В таковой сумке сложен весь земный груз.
Выскакиват со своего со добраго коня
Самсон богатырь,
Хватает таковую сумку,
Сумка с места не ворохнется
Выходит Муромлян богатырь
Со своего со добраго коня,
Хватает таковую сумку,
По коленам в землю усел,

Сумка с места не ворохнётся,
Выходит Кольван богатырь
Со своего со добраго коня,
Хватает такую сумку
По грудям в землю сёл,
Сумка с места не ворохнётся.
С небес им глас прогласило:
— Сильнии могучий богатыри!
Отстаньте прочь от такой сумки
Весь земный груз в сумку сложен.
Впредки не похваляйтесь
Всёю землею владети,
Наблюдайте своё доброё,
Ездите по Русь,
Делайте защиту,
Сохраняйте Русью от неприятеля,
А хвастать по пустому не знайте.

(Алексей Висарионов)

Эти три размера: обыкновенный хореический, хореический с дактилем и анапестический, как я сказал, вмещают в себе весь наш народный эпос; я разумею цикл былин, которые составляют главное содержание эпических сказаний нашего Севера, так называемые киевские и новгородские былины и разные рапсодии, тоже называемые в народе былинами, в которых описываются события, так сказать безыменные (например, про братьев-разбойников, про горе, про ревнивого мужа и т. д.). Но этим не ограничилось развитие великорусского эпоса, и в других его произведениях являются и другие размеры. Укажу на те, которые мне случилось встретить занесенными в Олонецкую губернию.

Во-первых, есть тип, сходный со вторым из приведенных размеров (хорей с дактилем), но отличающийся тем, что стихи состоят из меньшего числа стоп, 3 или 4 вместо обыкновенного 5-, 6- и 7-стопного стиха. Таким размером поются: былина

про Щелкана Дудентьевича и какая-то шутливая былина про князя Ромодановского и его большого быка.

А на стуле на бархате,
На золотом на ремёнчатом
Сидел тут царь Возвяг,
Возвяг сын Таврольевич,
Ён де суды рассу́живал
Все дела приговаривал
И князьев бояр пожаловал
Селами, поместьями,
Городам с пригородками.
И Хому дарил Токмою¹²
И Ерёму Новым-городом.
И Щелканушка дома не случилось,
И уехал Щелканушко
Ён во землю жидовскую,
Ён для чёртова правёжу,
Ради дани и выходу.
Ён-де с поля по колосу брал,
С улицы по курицы,
С мужика по пяти рублей,
У кого-де пяти рублей нет
У того он жену берет,
У кого как жены-то нет
И того самогò берет.
Как у Щелкана не выробишься,
Со двора вон не вырядишься.
Как приехал Щелканушко
Из земли из жидовские
Ко царю на широкий двор:
— Токо токо¹³ ты, царь Возвяг,
Царь Возвяг сын Таврольевич,
И ты суды рассуживал,
Все дела приговаривал,
Всех князьев бояр жаловал

И селами и поместьями,
Городам с пригородками,
И Хому дарил Токмою
И Ерёму Новым-городом:
Подари-тко Щелканушка,
Ты любимаго зятюшка,
Меня Тверию городом,
Меня Тверию славною,
Меня Тверию богатою,
Двумя братцами родными
И князьём благоверными,
И Борисом Борисовичем
И Митрием Борисовичем.
Говорит ему царь Возвяг:
— Ты любимое зятюшко,
Щелкан сын Дудентьевич!
Заколи-ка чада милаго,
Своего сына любимаго,
Ты Гордея Щелкановича,
Нацеди-ко ты чашу руды
Токо чашу серебряную,
Выпей ту чашу руды,
Стоючись перед Звягой-царём,
Перед Звягой Таврольевичем.
Токо взявши Щелканушко
Заколел чада милаго,
Своего сына любимаго,
И Гордея Щелкановича,
Нацедил же ён чашу руды,
Токо чашу серебряную
Выпил ту чашу руды,
Стоючись перед Звягой-царём,
Перед Звягой Таврольевичем.
Подарил его царь Возвяг
Ёго Тверию городом,
Ёго Тверию славною,

Ёго Тверью богатою,
 Двумя братцами рѳдными
 И князьѳм благоверными,
 И Борисом Борисовичем
 И Митрием Борисовичем.
 И поехал Щелканушко
 И заехал Щелканушко
 К родной сестры проститися, і
 Токо к Марье Дудентьевной:
 — Ты прощай, моя рѳдна сестра
 Токо Марья Дудентьевна!
 — Ты прощай же, мой рѳдной брат,
 Уж по рѳду рѳдной брат,
 По прозванью окаянной брат!
 И кабы ти уехати
 И назад не приехати
 Кабы ти самому на ножи остыть
 И на сабли на вострые!
 И уехал Щелканушко
 Еще сам головой вершил.

(Матрена Меньшикова)

Во-вторых, существуют былины, ясно принадлежащие XVII веку, которые сложены тем самым размером, как записанные для Ричарда Джемса песни времен Самозванцев. Это — 5- и 6-стопный хорей (изредка по неправильности переходящий в ямб или дактиль) с хореическим же, а не дактилическим окончанием. Произведения, этим стихом сложенные, уже не суть собственно былины, а скорее должны быть названы историческими песнями. В них отсутствует героический характер. Когда же певец XVII века облакал события, хотя бы близкой ему эпохи, блеском чудесного, то он пел о них эпическим размером былин киевского и новгородского цикла. Сравните былины, в которых героем является Никита Романович со всеми атрибутами эпического богатыря, и исторические песни, записанные

для Ричарда Джемса в 1619 году, или нижеследующую былинку о царе Алексее Михайловиче, и вы увидите, что разница в размере совпадает с различием в самом тоне и так сказать освещении поэтического рассказа:

Посреде́ ли было московского царства,
Сере́ди́ было российского государства,
Как у света у Архангела Михаила,
У Ивана у великого в соборе,
Зазвонили во большой во колокол,
Всех князей-бояр к обедне созывали,
Там служили святыи молебн.
Выходил на́ша надежда государь-царь
Алексей сударь Михайлович московской,
Становился государь на ро́вно место,
На все стороны он поклонился.
Что ни золота труба да вострубила,
Не серебряная полочка звенела,
Зговорила на́ша надежда государь-царь
Алексей сударь Михайлович московский:
— Ай же вы князья-бояра,
Пособите государю дума думать,
Дума думать государю, не продумать,
А отдать ли мне то город Смоленец...

(Иван Касьянов)

Тем же самым размером сложена и весьма распространенная былина о птицах и зверях:

А й отчего же зима да зачаласе,
А й красное лето состоялось?
Зачалася зима да от мороза,
А й красно лето от солнца,
А й богатая осень от лета.
И по тыя-то осени богатой

Вылетала малая птица,
 А й малая птица певица.
 Садилась в зелену садочку.
 А на тое на дерево калино,
 Ай начала пети жупёти,
 Всякими она-то ясака́ми.
 А й услышали русьския птичи,
 Собиралися стады́ оны стадами,
 Прилетали к зелену садочку,
 А й садились птичи рядами,
 В одно сторону да головами,
 А начали пети, жупети,
 Заморскую птицу пытати:
 — Ай малая птица певица!
 Скажи божью правду, не утайсе
 Кто у вас за морем бо́льший,
 Кто за Дунаечким ме́ньший?..

(Иван Фенонов)

Наконец, я должен упомянуть и о третьем разряде былин, которые тоже слышатся на нашем Севере, хотя они очевидно занесены туда случайно, — о былинах поволожских или козацких. Нужно их послушать на месте и в большом числе, чтобы судить об их складе и размере. Сколько я мог заметить, они составляют переход от эпических к лирическим песням; это — единственные былины, которые поются с переливами голоса, с перехватом посреди стиха, с повторением слогов и слов, например:

Как сбирались казаки | — на кру́т бережок,
 Ах доньски гребеньски | — запорожский,
 Запорожски казаки | — и все были яйцкии.
 Ах атаман был у дон | — ских у ка́заков
 Ой из тихаго Дону Ермак | — был Тимофеевич,
 А есаул был у дон | — ских у казаков

Ах со Двины Оста |— фей Лаврентьевич.
 Как садились казаки |— на легки стругжи,
 Ай на легки стругжи |— сели на мелки павозки,
 Как грянули размахну |— ли вниз по Волги реки...

Или:

Как во славном было го |роди во Ва́стракани
 Проявился там дети |нушка незнаём человек
 Как незнаемой дети |нушка неведомой откуль.
 Баско шепетно по Ва |стракани погуливает.
 Уж он штапам офице |рушкам не кланяется,
 Востраканскому губерна |тору чело́м ему не бьёт.
 А сапоженки на нож |ках шелком та́ченый,
 Черна шляпа на кудрях | и перща́тки на руках,
 А й свой тот вишневой кафтан | на однём плечи таскал
 И как персидской кушачек | во белых руках держал.
 Как увидел молодца, губерна́тор скрычал
 — Вы сходите приведи |те уда́лаго молодца!
 Еще стал то губерна |тор его спрашивати:
 — А ты скажись, скажись-ко, дети | нушка незнаём человек,
 Из тиху Дону казак | аль каза́чей сын,
 Аль ты с нашего крепкого го |рода из Ва́стракани?
 Как проговорит дети |нушка незнаем человек:
 — Из тиху-то я Дону не казак | не казачей сын,
 Я не с вашего крепкого го |рода, а из Вастракани
 Я со Камы-то со реки | Сеньки Ра́зина сын.
 Посулился мой-то ба |тюшко завтра в го́сти к вам бы́ть,
 Вы уме́йте-тко моего ба |тюшка корми́ть его пои́ть
 Вы корми́ть его пои́ть | и честно жа́ловати...

Или, наконец:

Ой ростужится расплачется | наш прусско́й — наш
 прусско́й — наш прусско́й король,
 А й сидючись то на укра |сушки ой на крутой — горы,

А он глядел смотрел на свою укре | пушку на Берлин —
на Берлин — город,
И на свою укрепушку | на Берлин да на Берлин —
на Берлин — город:
— Ты ли то укрепа | моя ты укре — укре — пушка,
Ты мой Берлин | мой Берлин — мой Берлин — город!
А ты кому-то моя укре | пушка — доставала
достава — ласе?
Доставаласе да достава | ласе моя укре — укре — пушка
Ой царю белому | ой царю — ой царю — белому
А как другому же генера | лушку Краснощо —
Краснощо — кову...

(Иван Захаров)

Впрочем, в Олонецкой губернии все эти последние разряды песен составляют весьма редкое исключение в массе былин, сложенных то чистым хореем с дактилическим окончанием, то хореем, смешанным с дактилем. Прислушиваясь к этим былинам, записывая их с голоса сказителей, я вынес полное убеждение, что тоническое стопосложение в русском стихе не есть изобретение Ломоносова, а есть изобретение самого русского народа, его коренное достояние. Если Ломоносов, под влиянием немецких образцов, применил тоническое стихосложение к нашей художественной поэзии, то руководился ли он собственно подражанием немцам? Нет, как он сам писал, первым и главнейшим его основанием было то, что «российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству»; и когда Ломоносов с таким верным чутьем с первого же раза угадал в стихе природное языка нашего свойство, то кто знает, не слышался ли ему отзвук народных былин, конечно знакомых его уху: ибо и до сих пор помнят на Выгозере, что былины перешли туда с Поморья? Надобно припомнить и то, что Ломоносов в своей «версификации» отводит почетное место так называемым им «тригласным» рифмам, т. е. дактилическим; а дактиль

на конце стиха — этого, конечно, он не мог найти в своих немецких образцах.

Да извинит меня читатель за это отступление от своего намерения держаться исключительно круга фактических наблюдений и замечаний, не вдаваясь в область личных догадок и толкований. У нас до сих пор, к сожалению, толкование народного эпоса чересчур опережало и перевешивало его собиранье. Надеюсь, что меня не обвинят в этой области, если я в заключение моей длинной статьи представлю и с своей стороны маленькую догадку о происхождении одного из богатырей наших былин — Святогора. Всякий, конечно, чувствует, что это имя искусственное, навеянное сказанием о том, что Святогор, как поется во всех о нем былинах, жил на каких-то *Святых-горах*, всякий чувствует, что за этим именем скрывается что-либо другое. И вот один из лучших сказителей, слепой Иван Фепонов, пропел в былине о нашествии Батыги на Киев:

А по греху ли то тогда да учинилосе,
А й богатырей во Киеве не случилосе:
Святополк богатырь на Святых на горах,
А й молодой Добрыня во чистом поли,
А Алешка Попович в богомольной стороны,
А Самсон да Илья у синя у моря.

В этом месте другие сказители поют: «Святогор богатырь на Святых на горах». Я думал сперва, что ослышался или что Фепонов ошибся, и заставил его потому раз пять повторить эти самые стихи; но он все твердил свое: «*Святополк* богатырь на Святых на горах» — и уверил меня при этом, что так, мол, поется. Мне сперва показалось это имя Святополка странным, а теперь думаю, что оно имеет значение. Вспомним, что Святогор есть единственный богатырь, дружествен-

ный русским, но нерусский, богатырь, который «не ездил на Святую Русь», а к которому, напротив, русские богатыри ездят на поклонение как к старшему и сильнейшему; вспомним, что он живет на горах, вспомним его таинственное исчезновение, — все эти черты получают смысл только в применении к Святополку великоморавскому, этому древнейшему представителю славянской силы, этому легендарному герою, который уже в рассказе Космы Пражского укрывается в горы и там кончается таинственной смертью.

Пусть читатель судит о степени вероятности этой гипотезы. Если же она подтвердится, то личность Святогора будет весьма важна как звено, связывающее наш народный эпос с древностью других славян.

КОММЕНТАРИИ

При жизни сочинения А. Ф. Гильфердинга издавались достаточно часто в виде статей в славянофильских журналах и отдельными брошюрами. Так, были изданы отдельными книжками сочинения:

История балтийских славян. СПб., 1855

Босния, Герцеговина и Старая Сербия. СПб., 1859

А. С. Хомяков. (Некролог.) СПб., 1860

Историческое право хорватского народа. М., 1860

Борьба славян с немцами на Балтийском поморье в средние века. М., 1861

Константин Сергеевич Аксаков. СПб., 1861

Несколько замечаний о взгляде западных славян на Россию. М., 1862

Очерк истории Чехии. СПб., 1862

Остатки славян на южном берегу Балтийского моря. СПб., 1862

За что борются русские с поляками? СПб., 1863

В чем искать решение польскому вопросу. СПб., 1863

Гус. Его отношение к православной церкви. СПб., 1871

Общеславянская азбука с приложением образцов славянских наречий. СПб., 1871

В 1868—1874 гг. вышло собрание сочинений А. Ф. Гильфердинга в 4-х томах. После смерти А. Ф. Гильфердинга публиковалось лишь собрание онежских былин. Первое

издание вышло в 1873 г., но, поскольку автор уже не мог контролировать издание, в нем содержалось большое количество опечаток и ошибок. В 1896 г. вышло 2-е издание онежских былин. В 1938—1941 гг. была предпринята попытка нового издания былин, но начавшаяся война не позволила осуществиться этим планам.

В советское время на волне патриотического подъема, вызванного Победой в Великой Отечественной войне, в 1949 г. были переизданы его «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года». (Т. 1—3. М.—Л., 1949)

Политические произведения А. Ф. Гильфердинга после его смерти не издавались.

В предлагаемый читателю сборник вошли основные статьи А. Ф. Гильфердинга, созданные им начиная с 1860 г. и до кончины, не публиковавшие более столетия.

Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с современными нормами. Однако написания прописных и строчных букв следуют традициям православного издания.

ПРЕДИСЛОВИЕ

¹ Русская Старина, 1882 г. Кн. II. С. 390.

² Багдасарян В. Э. Панславизм // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В. В. Журавлев. М., 2005. С. 381.

³ Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. М., 1867. С. 44.

⁴ Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. М., 1867. С. 44.

⁵ Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. 2-е изд. Пг. 1916. С. 110.

⁶ Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. М., 1959. Т. 12. С. 199.

⁷ Штур Л. Славянство и мир будущего. Письма славянам с берегов Дуная. СПб. 1909. С. 11 — 12.

⁸ Там же.

⁹ Отсюда гнев (*лат.*).

Славянские народы Австрии и Турции

Впервые опубликовано в журнале «Народное Чтение» в 1860 г. Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. СПб. 1868. С. 1—15.

Статья посвящена положению зарубежного славянства в определенный исторический момент — 1860 год стал переломным годом в жизни славянских народов и русского панславистского движения. В ней А. Ф. Гильфердинг в блестящей литературной форме сформулировал ряд принципов, которым остался верен всю жизнь и которые не потеряли актуальности для современного читателя, как не потеряло значения и высказанное Гильфердингом мнение о губительности западных политических институтов для славянских народов.

Следует отметить, что в то время насчитывалось лишь 9 славянских народов. Боснийские мусульмане считались профессиональной группой сербов, македонцы — территориальной группой болгар, а украинцы и белорусы сами себя считали (в полном согласии с этнографической наукой) частью единой русской нации. Кроме того, фактически отмеченные как отдельные народы, словаки сливались с чехами, а хорваты — с сербами. Неудивительно, что многие этнографы второй половины XIX века считали, что в самом ближайшем времени появятся нации «югославов» и «чехословаков». К сожалению, за последние полтора века врагам России и славянства удалось еще более расколоть славян, создав новоявленные «государства» и не допустив дальнейшего слияния западнославянских народов.

¹ Настоящий краткий очерк написан в 1860 г. для выходявшего в то время журнала «Народное Чтение». Перепечатывая его, мы не изменяем ни тона статьи, соответствовавшего общему характеру этого журнала, ни тех отзывов, которые в настоящее время могут показаться несогласными с действительностью, а именно того, что в статье было сказано относительно поляков. Мысль о возможности сближения поляков с нашим народом во

имя общего славянского начала казалась естественной в 1860 г.; в настоящем, 1868 г., она, конечно, должна считаться утопией, неприменимой среди современных обстоятельств. Но кто знает, не перейдет ли эта мысль когда-нибудь снова из сферы непрактичных утопий в область осуществимых надежд, особенно если *в настоящее время* мы будем твердо стоять на нашей народной почве, пока противники России в славянском мире, убедившись в бесплезности борьбы с нею и в невозможности выманить у нее уступки, придут сами к ней навстречу.

² Под именем русского народа мы разумеем как великорусов, так и белорусов и малорусов, точно так же, как под именем чехов мы разумеем и чехов (в собственном смысле, т. е. жителей Богемии), и моравцев; под именем поляков — и великополяков и малополяков.

³ Румелией до Балканской войны 1912—1913 гг. называли владения турок в Европе, в частности Южную Болгарию. (*Прим. ред.*)

⁴ Георгий Черный (Карагеоргий) — предводитель восстания сербов в 1804 г. против турок. Возглавил родившееся в ходе восстания Сербское княжество. Убит в 1817 г. Стал родоначальником династии Карагеоргиевичей, правившей в 1842—1858 и в 1903—1941 гг. (*Прим. ред.*)

⁵ Милош Обренович (1780—1860) — руководитель сербского восстания против турок в 1815 г. Был князем Сербии в 1815—1839 и 1858—1860 гг. Основанная им династия Обреновичей правила до 1903 года. (*Прим. ред.*)

⁶ Здесь перечислены виднейшие чешские «будители» народа, то есть деятели культуры, филологи и историки, способствовавшие национальному возрождению почти было онемеченных чехов. Деятельность «будителей» оказала влияние и на просветителей других славянских народов. Среди наиболее значительных «будителей»: Йозеф Юнгман (1773—1847), филолог и историк, Павел Шафарик (1795—1861), Франтишек Палацкий (1798—1876), историк и политический деятель. (*Прим. ред.*)

⁷ Здесь указаны видные словацкие деятели: Ян Колар (1793—1852) — лютеранский священник, поэт и философ, выступал за создание единого чехословацкого языка.

Штур Людевит (1815—1856) — словацкий просветитель, идеолог и руководитель национального движения, разработал литературные нормы словацкого языка, оставаясь при этом сторонником введения русского языка как общеславянского. (Прим. ред.)

⁸ Елачич Йосип (1801—1859) — австрийский полководец, хорват, герой войны с венгерскими мятежниками в 1848—1849 г. Отменил в Хорватии крепостное право. (Прим. ред.)

⁹ Перед Итальянской войной 1859 г.

Венгрия и славяне

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С.113—150.

Венгрия не случайно привлекла внимание А. Ф. Гильфердинга. В силу своего географического положения Венгрия разделила южных и западных славян. В описываемое время Венгрия занимала границы, значительно отличающиеся от современных. В состав Венгерского королевства, ставшего частью монархии Габсбургов, тогда входили Словакия, Хорватия, сербская область Воеводина и Трансильвания, включавшая земли половины нынешней Румынии. Сами венгры составляли лишь около половины (7 из 17 миллионов) жителей королевства. Современная Венгрия занимает лишь треть территории прежнего королевства.

В описываемое время венгры активно, и не без успеха, стремились мадьяризовать подвластных славян. Так, еще в Средневековье мадьяризовалась практически вся аристократия Хорватии и других славянских земель. Род хорватских правителей (банов) Зринских, прославившихся в XVI—XVII веках борьбой с турками, вошел в историю как род венгерских графов Зриньи. Когда в 1849 г. погиб в бою против русских войск национальный венгерский поэт Шандор Петефи, еще был жив его отец, простой словак Петрович. Как раз после 1860 г. мадьяризация приняла в Венгрии характер массовых гонений на всех немадьяр. Доходило до запрещения говорить на славянских

языках в школах и на улицах, фамилии переделывались на венгерский манер. Результатом была ответная реакция славян, приведшая в 1918 г. к распаду Венгерского королевства в границах «короны Святого Стефана»

Исторический и этнографический очерк А. Ф. Гильфердинга позволяет понять причины венгерской славянофобии, венгерского национального характера и особенностей политики страны, упорно поддерживавшей господство над славянскими землями. В 1867 г., то есть уже после публикации данной статьи А. Ф. Гильфердинга, Венгрия стала частью дуалистической Австро-Венгерской империи, в которой имела свое правительство, армию и все атрибуты государственности. Только три министерства — обороны, иностранных дел, почт и телеграфа, — были общеимперскими. Венгерское правительство проводило политику жестокой мадьяризации славянского и румынского населения. Понятно, что в 1918 г., после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, населенные нацменьшинствами земли Венгерского королевства предпочли отделиться. В годы Второй мировой войны именно реваншистская политика толкнула венгров на союз с Гитлером. После второго поражения Венгрия стала частью «социалистического лагеря», но по-прежнему отличалась прозападными настроениями.

Говоря об этой статье А. Ф. Гильфердинга, обратим внимание на взвешенные и корректные суждения автора, весьма уважительно оценивавшего венгров как нацию.

¹ Повествование XV в., с предшествующим описанием Венгрии, ее гения и миссии. Исторические этюды Шарля-Луи Шассена. 2-е изд. Париж, 1859 (*фр.*).

² Писано в 1859 г.

³ Янош Хуняди (1407—1456) — венгерский полководец, прославившийся победами над турками, национальный герой Венгрии. (*Прим. ред.*)

⁴ Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг. (*Прим. ред.*)

⁵ Этого мало: в настоящее время, когда австрийское правительство развязало мадьярам руки и дало полную

волю их стремлениям, эта мысль сделалась, как известно, общей темой, единодушно провозглашаемой всеми органами мадьярской печати, всеми мадьярскими ораторами и политическими вождями.

⁶ Мухач (или Мохач) — место в Южной Венгрии, где в 1526 г. венгерское войско под командованием короля Лайоша II было разгромлено турками, при этом погиб и король, и цвет венгерского рыцарства. Битва при Мухаче считается началом установления турецкого господства над значительной частью Венгрии. (*Прим. ред*)

⁷ Надобно помнить, что в эпоху, в которую определилось последующее развитие западных славян, средства сообщения мыслей были ничтожны и производились от народа к народу почти исключительно непосредственным соприкосновением.

⁸ В этом очерке я не упомянул о двух небольших народах, принадлежащих этнографически к группе юго-западных славян, но которых местные условия подчинили другим влияниям. Это словенцы и хорваты, которые примкнули к западному миру: северные словенцы к Германии, южные словенцы и хорваты к Италии; наконец, северные хорваты, испытывая на себе и немецкое, и итальянское влияние, в государственной жизни примкнули к Венгрии и заимствовали многое у мадьяр. Внутренней самостоятельности эти народы не имели, и еще менее других западных славян пользовались политической независимостью.

⁹ Вот что он говорит об этом (*Dejiny národu českého I, 225*): «Вторжение мадьярского народа и водворение его в Венгрии принадлежит к числу важнейших событий всемирной истории; никогда судьба не поразила славянского мира ударом, который отзывался тяжелее на целые века. В девятом столетии славяне расширили поселения свои от границ Голштинии до Пелопоннеса, и хотя они, вследствие старинной своей разрозненности, разделены были между собою многообразно, однако повсюду выказывали они себя храбрыми, восприимчивыми и деятельными. В середине обширной полосы, занятой ими, начинало, под рукою Ростислава и Святополка, образовываться зерно, успешное развитие которого обещало в будущем прекрасный цвет просвещения христианского и вместе народного; расположение,

которым оно пользовалось и от Рима, и от Цареграда, ручалось за бесконечный, можно сказать, успех его развития. К этому зерну примкнули бы со временем, по внутреннему и внешнему побуждению, все племена славянские; от него они получили бы, вместе с христианством, если не новые политические учреждения, то, по крайней мере, образованность новоевропейскую и притом народную, умственную и промышленную деятельность, единство языка, письмен и литературы. Как на Западе, под влиянием Рима, возникла монархия Франкская, точно так же возникла бы на Востоке, не без влияния Византии, великая держава Славянская, и Восточная Европа получила бы тысячу лет тому назад другой вообще строй, нежели как то случилось. Но тем, что мадьяры, ворвавшись в самое сердце возникающего организма, истребили это сердце, уничтожены были навсегда все такого рода надежды. Члены великого тела, еще не успевшие срастись, распались снова, ибо чужая стихия насильно внедрилась между ними. Стоя одиноко, не зная никаких общих целей, каждый член с тех пор заботился единственно о себе самом, тратил свои силы в ничтожных стычках с соседями и никогда уже не был в состоянии твердо противостоять иноземцам, соединенным крепкою сосредоточенностью, основанною на общих их выгодах. Эта разрозненность, это раздробление славян, их продолжительное пребывание в язычестве и, наконец, особенность их местоположения, подвергавшего их необходимости в продолжение многих столетий отражать от Европы налеты диких азиатских орд, — все это объясняет нам, почему некоторые ветви славянские, как то: бодричи, велеты и полабские сербы, мало-помалу совершенно погибли, а остальная часть славянского племени, несмотря на свою восприимчивость и природную способность, тем не менее отстала не на одно столетие от народов западных, пользовавшихся большим спокойствием».

¹⁰ Эти строки выдадут, быть может, повод обвинить нас в фатализме. Трудно не сделаться в некотором смысле фаталистом при размышлении о ходе истории. Но это не такой фатализм, который уничтожает личную и народную деятельность и ответственность. Всякий человек и всякий народ окружены враждебными стихиями. Если эти стихии восторжествуют и че-

ловек или народ погибнет, то — по собственному бессилию, по собственной вине. Так было и в том случае, который мы здесь рассматривали. Если мадьяры вломились в сердце западного славянства и раздробили эти племена, то виноваты были сами славяне: внутренним раздором и отсутствием взаимной поддержки они приготовили победу врагу, который, пока не возникли у них раздоры, тщетно пытался к ним ворваться.

¹¹ Предводители азиатских орд, вторгавшихся в Европу. Атила (ум. в 453 г.) — предводитель гуннов, Баян — хан аваров, Аль-Арслан и Мелик — вожди турок-сельджуков, Чингисхан — монгольский завоеватель, Тамерлан (Тимур) — среднеазиатский завоеватель. (*Прим. ред.*)

¹² Арпад (ум. в 907 г.) — вождь венгерских племен, переселившихся в 896 г. на земли славянской области Паннония современной Венгрии. Родоначальник династии Арпадов, царствовавших в Венгрии до 1301 г. (*Прим. ред.*)

¹³ В наше время принято написание имени как Жольт (907—947) — венгерский князь, сын и преемник Арпада. (*Прим. ред.*)

¹⁴ За исключением юго-западной границы, где летописец хотел, как кажется, узаконить авторитетом древности современные ему притязания Венгрии.

¹⁵ Со времени св. Стефана звание свободных людей, но не дворян, стали получать также горожане (бюргеры), жители привилегированных «свободных королевских» городов, по большей части переселенцы из Германии; им даны были также политические права.

¹⁶ Святой Стефан (Иштван) — первый король и креститель Венгрии, правил в 1000—1038 гг., канонизирован церковью, память 16 августа. (*Прим. ред.*)

¹⁷ См. об этом статью: «Уния Венгерских Русинов» («Русск. Беседа», 1858, IV). Там же приведены вкратце свидетельства о распространении православной веры между мадьярами в древнее время.

¹⁸ Леопольд I (1658—1705) — австрийский император, при котором Венгрия была отвоевана у турок. Проводил также жестокое преследование протестантов. (*Прим. ред.*)

¹⁹ Бочкаи Иштван (1557—1606), венгерский политический деятель, руководитель антигабсбургского движения 1604—1606 гг., которое закончилось признанием династией Габсбургов свободы вероисповедания для протестантов. (*Прим. ред.*)

²⁰ Текели (Текей) Имре (1657—1705) — граф, предводитель восстания против Габсбургов в 1678—1685 гг. Его жена была матерью Дьердя Ракоци. (*Прим. ред.*)

²¹ Ракоци Дьердь (Георгий) (1676—1735) — предводитель восстания венгров против Габсбургов в 1703—1711 гг. (*Прим. ред.*)

²² Колонич Леопольд (ум. в 1707 г.) — кардинал, правитель Венгрии в 1690-х гг., прославился преследованиями протестантов. Караффа — неаполитанский род, давший целый ряд деятелей католицизма, в том числе великого инквизитора и папу Павла IV, о котором, вероятно, и идет речь. (*Прим. ред.*)

²³ Современные события показывают, как мало искренности было во всех этих мадьярских уверениях и обещаниях.

²⁴ Увы! Эти сведения не только оказались верными, но, когда Австрия дала мадьярам волю и власть, они и с сербами, и хорватами стали поступать так, как прежде поступали с бесправными словаками.

Чем поддерживается православная вера у южных славян?

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 183—210.

В данной статье Гильфердинг рассматривает парадоксальные факты из истории православия южных славян, например, что именно за века турецкого ига православие окончательно стала основой сербской национальной идентичности.

¹ Даже простой народ в славянских областях Турции, как видно из разговора со всяким тамошним простолюдином, до-

рожит смыслом богослужения: он не возвысился еще до той степени, на какой стоят некоторые (к счастью, весьма редкие) образованные лица у нас, предпочитающие обедню на чужом языке обедне славянской, потому что непонятные звуки, по их мнению, более располагают к благоговению.

² Кажется, в недавнее время предпринято в Константинополе издание некоторых церковных книг на славянском языке; но я не слышал еще, чтобы оно переменяло положение дела в этом отношении, да притом и не могло переменить его, по своей новости и скудости средств.

³ Вот извлеченные из официального адрес-календаря австрийского (*Hof-und Staatshandbuch des Kaiserthumes Oesterreich. Funfter Theil. 1859*) сведения о гимназиях в землях, где живут преимущественно православные сербы: 1) в Сербской Воеводине и Банахе: гимназия в Темешваре, все преподаватели — члены ордена пиаристов; в Бечкереке — то же; в Сobotке (*Maria-Theresiopoli*) — францисканцы; в Бае — половина преподавателей католические духовные; православная гимназия в Новом Саде имеет только низшие классы и лишена права выдавать официальные аттестаты; 2) в Хорватии и Славонии: в Горнем Карловце (*Carlstadt*), где сосредоточено православное население этого края, гимназия исключительно в руках францисканцев, в других хорватских гимназиях, в городах по преимуществу католических, в Загребе, Осеке, Реке, Пожеге и Вараждине, допущены были и светские преподаватели; 3) в Далмации — только в Сплете, где нет вовсе православных, гимназия светская, а в местах, где живут православные, в Дубровнике, Сине и Задре — в первом городе гимназия исключительно иезуитская, во втором францисканская, в третьем в руках мирского духовенства католического; 4) в руках того же духовенства находится преподавание в Сенье (*Zengg*), в хорватской военной границе, где значительная часть населения православные сербы.

⁴ Никакая полемика для защиты православного учения против римско-католического в ней не допускается.

⁵ Иногда бывают и случаи похищения христианских детей мусульманами, и в особенности мусульманками.

⁶ В Боснии и Герцеговине издревле живет весьма многочисленное римско-католическое население.

⁷ Хомяков А.С. *Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales*. Paris. 1853. С. 18.

⁸ Манес, Магомет.

⁹ Косма, пресвитер болгарский, говорит о богомилах: «Кланяются, затворшеся в хизех своих, четырежды днем, четырежды ноцию и вся пятеро врата отверсты имуще, яже повеленна суть затворити; кланяющесе глаголют: Отче наш иже еси на небесех». В таком виде молитва Господня, соединенная с восьмикратным обязательным и притом не общественным поклонением потеряла у богомилов характер христианской свободы и низведена на степень талисманического обряда: сходство с пятикратным домашним поклонением мусульманина совершенное.

¹⁰ Подробности о вероисповедных отношениях в Боснии и Герцеговине читатель найдет в изданном мною сборнике: «Босния, Герцеговина и Старая Сербия». СПб. 1859 (XIII книга Записок Русского Географического Общества).

¹¹ Северная и средняя Герцеговина, где мусульманство и католицизм почти так же сильны, как в Боснии, до сих пор отличаются этнографически от южной, исключительно православной части этой области: жители первой называются умяками (умяци, т. е. хумяци, жители Холмского края или древнего Захолмия: по сербскому произношению, *хум*, *ум* есть то же, что *холм*), жители второй именуются по преимуществу сербьяками или сербами, хотя, впрочем, православные по всей Герцеговине, так же как в Боснии, усвоили себе имя сербов.

¹² Таково происхождение многочисленных мусульман в Лесковецком пашалыке, на западном краю Болгарии, в этом стратегическом ключе Центральной Турции, как называет его Буэ (см. *Recueil d'Itinéraires de la Turquie d'Europe*. I, 81).

¹³ Древнейшие свидетельства об этом я привел в своей «Истории Сербов и Болгар...». В XIII и XIV столетиях этот прилив еще более усилился ногайскими татарами, которые на короткое время покорили Болгарию. Достоверно известно, что многочисленные мусульмане в Добрудже и прилегающих к ней местах Болгарии суть потомки татарских орд.

¹⁴ По недостатку данных не знаю, к какому из этих источников отнести так называемых *ломаков*, болгар-мусульман, которые живут, в числе около 50 000, в епархии филиппопольской и соседних местах Македонии.

¹⁵ Я старался подробно разобрать отношения славяноязычников к христианству в своей «Истории Балтийских Славян».

¹⁶ Именно: Которское, *Palachiensis* (?), *Свачское*, *Скадрское*, *Дривостское*, *Пилотское* (Пулати в Северной Албании), *Сербское*, *Боснийское*, *Требиньское*. См. буллу папы Александра II к Петру Антиварийскому, 1062 г., у Фарлата (т. VII, изд. Колети) и Яффе, *Regesta Pontificum Roman.*

¹⁷ Это важное обстоятельство утверждается, как неоспоримая истина, тем, что в Болгарии туземцы-католики (впрочем, весьма немногочисленные) именуются *павликианами*: павликиане были, как известно, последователи дуалистической ереси, от которой богомилы вели свое начало. Император Цимисхий переселил собственных павликиан из Малой Азии во фракийскую Болгарию (в окрестности Филиппополя): там-то преимущественно и находятся теперь павликиане-католики.

¹⁸ Начало христианской проповеди у сербов относится к VII веку, как я заметил, окончательное торжество христианская вера получила там в конце IX века, а св. Савва родился в 1169 г., скончался в 1237-м.

¹⁹ Г. Майков в своей «Истории сербского языка» объясняет всю деятельность Немани стремлением к единодержавию. Разумеется, он стремился к единодержавию и действительно создал его у сербов; но кто из его предшественников не стремился к тому же? Успех Немани, сравнительно с неуспехом всех прежних сербских князей в создании единодержавия, может объясниться только опорой, которую он нашел в народе по принятии православного исповедания.

²⁰ Нет никакого сомнения, что аристократический дух лежит и корне протестантства. Отрешая веру от предания и начала единства церкви и подчиняя ее личному толкованию, протестантство, собственно, делает веру принадлежностью класса

людей богословски образованных и лишает народ того, что, по протестантским понятиям, есть вера в истинном ее смысле. Этот характер протестантства прекрасно изображен в приведенной уже брошюре А. С. Хомякова: *Quelques mots par un chrétien orthodoxe etc. Paris, 1853. Замечательно, что в тех странах, где протестантство не пришлось по характеру народа, как то во Франции и в Польше, оно сделалось, однако, на время исповеданием аристократии.*

²¹ См. об этом подробности в книге: «Босния, Герцеговина и Старая Сербия». С. 128 et passim.

Дух народа сербского

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 225—233.

Гильфердинг хорошо знал и любил Сербию. Думается, не потеряли значения и поныне его суждения о сербах, изложенные в критическом очерке при рассмотрении взглядов сербского мыслителя Милоша Светича, известного под псевдонимом Иован Хаджич (1799—1869).

¹ Зета — юго-восточная часть Черногории с прилегающим краем у Скатурского озера.

² Срем — историческая область Сербии, лежащая между реками Дунай и Сава. С XV в. находилась под властью венгерских королей, а затем австрийских императоров. При этом сремские сербы пользовались полной территориальной автономией и свободой в своих религиозных вопросах, были освобождены от налогов, но были обязаны служить венграм и Габсбургам в армии. С 1918 г. Срем в составе Сербского государства. (*Прим. ред.*)

³ Но не везде: в некоторых краях Герцеговины, прилегающих к Черногории, жители пользуются полным самоуправлением, признавая только верховную власть Турции. (*А. Г.*)

⁴ Эта мысль была выставлена нами в «Письмах об истории сербов и болгар».

Славянские народности и польская партия в Австрии

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 251—265.

Статья посвящена противодействию польской пропаганде в славянских землях. Готовясь к мятежу с целью воссоздания Речи Посполитой в границах 1772 г. (а то и восточнее!), польские агитаторы стремились использовать в своих интересах панславистские настроения славянских народов Австрийской монархии. Также Гильфердинг указал на печальные случаи внутренних конфликтов среди австрийских славян.

¹ Писано в 1861 г.

² Франкфуртский парламент — созванное в период революции 1848—1849 г. общегерманское законодательное собрание, пытавшееся разработать конституцию объединенной Германии, в состав которой планировалось включение славянских земель Австрийской империи. (*Прим. ред.*)

³ Известны, между прочим, меры, которые приняты были в то время губернатором Галиции поляком графом Голуховским для уничтожения между русскими галичанами употребления русских и церковно-славянских письмен и замены их латинскими: эта попытка была общим делом польской шляхты и австрийской бюрократии в Галиции.

⁴ Т. е. всеобщей, великой Немецкой империи, к которой думают присоединиться австрийские немцы-либералы в случае, если бы они принуждены были отказаться от Венгрии.

⁵ Так было в 1861 г., когда писана настоящая статья. Неудача польского восстания к 1863—1864 г. охладила образ действий мадьяр и поляков в отношении к австрийским и турецким славянам в 1866—1867 г., совершенно разорвав эту дружбу к ним чехов.

⁶ Нельзя поверить, что есть люди, которые, не смущаясь, произносят такую ложь; но все это действительно находится в печатных сочинениях поляков; а поляки все-таки хоть что-

нибудь должны знать про русский народ и язык, про русскую историю, про Шафарика и Карамзина: извинить у них подобные вещи невежеством невозможно, как мы извинили бы их, пожалуй, если бы они написаны были китайскими или бразильскими публицистами.

Взгляд западных славян на Россию

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 265—278.

Невежество западных славян во всем, что касалось России, было и остается едва ли самой сложной проблемой внутриславянских отношений. Увы, прошло полтора века после написания этой статьи, но эта проблема не решена.

¹ Под этим именем я в настоящей статье разумею только западных славян *австрийских*, т. е. преимущественно чехов, моравцев и словаков, хотя многое, что здесь говорится, может быть применено и к австрийским южным славянам-католикам, хорватам и словенцам. Поляки, в смысле этнографическом принадлежащие к группе *западных* славян, здесь не имеются в виду, потому что взгляд их на Россию имеет другие источники и другой характер и требовал бы объяснений иного рода.

² Южные славяне (за исключением словенцев) в этом отличаются от западных. У православных сербов во всех их краях, и в княжестве Сербии, и в Боснии, и в Герцеговине, и в Черногории, и в Австрийской Военной границе и других австрийских владениях, сохранились самобытные общественные начала, как то семейная — отчасти родовая — община с нераздельным в круге каждой поземельным владением и (там, где не мешают внешние условия) совещательное отношение народа к власти, не ограниченной формально, при отсутствии всякого аристократического начала. Хорваты-католики удержали отчасти семейную общину (так назыв. *задругу*), хотя, впрочем, усвоили себе мадьярское аристократическое начало и другие стороны западноевропейского общественного устройства. Что касается до общественных

начал, существующих в народе болгарском, то я, по недостатку положительных сведений, ничего не могу сказать об этом.

³ Поездка славянских депутатов на этнографическую выставку в Москву в 1867 г. была первым шагом к лучшему ознакомлению западных славян с Россией. Только с этого времени их взгляд на Россию, охарактеризованный в настоящей статье, начинает (но только начинает) становиться менее односторонним и поверхностным.

⁴ Так, например, существенно важная для самих западных славян по своим выводам статья К. С. Аксакова «О древнем быте славян вообще и русских в особенности» не могла найти, несмотря на все мои старания, между западными славянами переводчика; это один случай из многих.

⁵ Гакстаузен Август (1792—1866) — немецкий путешественник, экономист, социолог. Его труды по устройству жизни русской крестьянской и аграрного строя, навеянные поездкой по России, оказали большое влияние на русскую общественную мысль. (*Прим. ред.*)

⁶ Так было в 1861 и 1862 гг. и продолжалось до 1864 г.

⁷ Делаем ныне (в 1868 г.) ту же оговорку, какая помещена на с. 268.

Письмо к г. Ригеру в Прагу о русско-польских делах

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 279—290.

Польская пропаганда особенно активизировалась в период восстания 1863 г. Под ее влияние попали многие славянские деятели, обычно настроенные вполне пророссийски. В своем письме к Франтишеку Ригеру (1818—1903), одному из лидеров партии «старочехов», издателю Чешской энциклопедии, А. Ф. Гильфердинг объективно изложил суть русско-польского конфликта.

¹ Письмо это было писано в апреле 1863 г., в самый разгар польского восстания.

² Приказ, призыв (*фр.*) (буквально: «слово порядка»).

³ Следует выслушать и другую сторону (*лат.*).

⁴ Ответ д-ра Ригера в виде письма в редакцию газеты «Народные Листы» см. в газете «День». 1863, № 28.

Польский вопрос

Впервые опубликовано тремя отдельными брошюрами (см. примечание 1 к данной статье).

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 291—360.

В этих статьях А. Ф. Гильфердинг не только описывает перипетии польского мятежа 1863 г., но и справедливо и объективно оценивает специфику русско-польских отношений, многие черты которых сохраняются и до нашего времени. Особенно А. Ф. Гильфердинг подчеркнул то обстоятельство, что польское восстание вовсе не направлено на восстановление свободы Польши, а носит захватнический в отношении Западной Руси характер. Напомним некоторые исторические особенности польского кризиса 1863 г.

С начала воцарения Александра II в Польше начались либеральные реформы. Царство получило широкую автономию, включая собственное правительство под руководством маркиза А. Велепольского, амнистированного участника мятежа 1830—1831 г. Однако это не устраивало польское шляхетство, требовавшего распространения польской власти на белорусские, литовские и украинские земли. С 25 февраля 1861 г. в Варшаве начались манифестации под польскими знаменами и гербами всех провинций прежней Польши. В отношении русских, проживающих в Польше, установилась атмосфера морального террора. Общеимперские власти в Польше фактически самоустранились от управления краем. В самом начале 1863 г. 300 польских помещиков Подольской губернии направили императору Всеподданнейший адрес, в котором, при всех верноподданнических словесных оборотах, призывали установить польскую администрацию над правобережной Украиной.

9 (22) января 1863 г началось восстание в Польше и Северо-Западном крае (так назывались Белоруссия и Литва). Этот мятеж поставил Российскую империю на грань распада. Дело заключалось вовсе не в мощи мятежа (ведь общее количество инсургентов не превышало 20 тыс., поляки не взяли ни одного города и не имели ни одной военной победы в прямом боевом столкновении). Главной особенностью польского восстания была почти всеобщая поддержка мятежников русским «передовым» обществом. Революционные радикалы оказывали полякам прямую помощь, в том числе личным участием в боях против соотечественников (как погибший в бою А. Потемня), пытались поднять восстание в Поволжье (казанский заговор). А. И. Герцен на страницах «Колокола» открыто поддерживал польские требования. М. А. Бакунин пытался отправить к берегам Курляндии корабль с оружием для мятежников. Уже 19 февраля в Москве и Петербурге появились прокламации с призывом к солдатам поддержать польских мятежников, повернув оружие против офицеров.

Фактически солидаризировались с поляками и русские либералы. В петербургских ресторанах поднимали тосты за успехи «польских братьев», либеральная пресса рассуждала об исторической несправедливости в отношении Польши и необходимости вслед за освобождением крестьян – освобождения польского народа.

Либеральные шатания испытывал и наместник в Царстве Польском Великий Князь Константин Николаевич. В Польше и западных губерниях уже шли бои, но не было введено чрезвычайное положение, войска не были приведены в боевую готовность, националистические польские газеты выходили совершенно легально, полиция не имела права проводить обыски в костелах, хотя именно в них находились типографии, склады оружия и пр. Из соображений гуманности немедленно освобождались несовершеннолетние пленные повстанцы.

Сами мятежники при этом не испытывали никаких сентиментальных чувств. Нападения проводились на спящих в казармах солдат, офицеров приглашали в гости к местным помещикам и вероломно убивали. Погибли многие гражданские русские,

проживавшие на охваченных мятежом территориях. Для XIX столетия, когда еще сохранились традиции рыцарственного отношения к противнику, такие вещи, особенно от поляков, имеющих репутацию аристократического народа, были внове.

Наконец, польский мятеж вызвал международный кризис. Уже 17 апреля 1863 г. Англия, Франция, Австрия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания, Османская империя и папа римский предъявили России дипломатическую ноту, более похожую на ультиматум, с требованием изменить политику в «польском вопросе». Западные страны предлагали решить судьбу Польши (подразумевая ее в границах Речи Посполитой 1772 г.) на международном конгрессе под своим руководством. В противном случае западные страны угрожали войной.

Активизировалась подрывная деятельность на рубежах Российской империи. Летом на Черноморском побережье Кавказа, где еще продолжалась война с черкесами, с парохода «Чезапик» высадился вооруженный отряд («легион») польских эмигрантов под командованием французских офицеров во главе с полковником Пржевлотским. Задачей легионеров было открыть «второй фронт» против России на Кавказе. При этом сами поляки были лишь пушечным мясом, а организаторами высадки легиона были западные страны. Так, непосредственно организацией посылки «Чезапика» занимался капитан французской армии Маньян. Одновременно отряд полковника З. Ф. Милковского, сформированный из польских эмигрантов в Турции, попытался пробиться из Румынии на юг России. Правда, румынские власти разоружили отряд, не дав пройти ему к границам России.

Хотя легионеры Пржевлотского были быстро перебиты, но высадки новых легионов продолжались. Это было весьма опасно, учитывая, что после Крымской войны Россия не имела военного флота на Черном море. Одновременно британский флот начал крейсировать возле российских берегов на Тихом океане. Начались набеги кокандцев и подданных других среднеазиатских ханств на российские владения на территории нынешнего Казахстана. Казалось, повторяется ситуация 1854 г., когда Рос-

сия в одиночку противостояла всей Европе на несравненно более худших, чем тогда, геополитических позициях.

Однако самая главная проблема, вызванная мятежом, заключалась в том, что инсургенты сражались не за свободу польского народа, а за восстановления Речи Посполитой с границами, далеко выходящими за этнографические границы польской народности. На картах, отпечатанных поляками на Западе, была изображена Польша «от моря до моря» с такими «польскими» городами, как Киев, Рига, Смоленск, Одесса, и пр. Требование «исторических границ» прежней Речи Посполитой было присуще совершенно всем польским повстанческим организациям. Еще до восстания, 11 сентября 1862 г., вскоре после покушения на наместника в Польше Великого Князя Константина Николаевича, в ответ на Манифест наместника к населению Польши, открывавшегося словами «Поляки! Верьте мне, как я верю вам!», он получил послание от графа А. Замойского, одного из влиятельнейших польских деятелей. Выразив дежурную радость по поводу спасения жизни наместника, Замойский писал: «Мы можем поддерживать правительство, только когда оно будет польским и когда все провинции, составляющие наше отечество, будут соединены вместе, получают конституцию и либеральные учреждения. Если мы любим отечество, то любим его в границах, начертанных Богом и освященных историей». Весной 1863 г. под влиянием первых успехов, не столько военных, сколько дипломатических, мятежники перестали стесняться. В апреле сначала последовал Универсал подпольного правительства Польши о свободе совести, но уже две недели спустя последовала прокламация о восстановлении униатской церкви и о том, что для православных «наступила минута расплаты за их преступления».

В такой накаленной атмосфере, когда к пропольским настроениям «передового» общества добавился паралич власти, вызванный неспособностью Великого Князя Константина Николаевича управлять Польшей и страхом официального Петербурга перед коалицией европейских государств (что и привело к поразительной апатии в применении военной силы в Польше), консерваторы показали свою самостоятельность и государственное мышление.

Первым с открытым забралом против мятежников и слабости официального Петербурга выступил известный журналист, редактор газеты «Московские Ведомости» Михаил Катков. С первых же дней мятежа, когда русские газеты ограничивались перепечаткой официальной хроники, М. Н. Катков выступил с требованием решительного подавления мятежа. Он сразу нанес удар по самому главному, но и самому уязвимому лозунгу польской пропаганды — лозунгу борьбы за независимость Польши. «Польское восстание вовсе не народное восстание; восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за свободу, а борьба за власть», — писал он.

Польские претензии распространялись на Литву, Белоруссию и Правобережную Украину, которые поляки называли «забранным краем» (хотя там поляки составляли привилегированное меньшинство) и без владения которым польское государство в случае восстановления не имело в тех условиях никакого будущего.

Силу претензиям поляков на западные губернии России придавало то обстоятельство, что значительная часть тогдашнего русского общества, вне зависимости от своих политических взглядов, совершенно не знала ни истории, ни этнографии этого края. Петербургская и московская интеллигенция не знала, что это были земли прежней Речи Посполитой и что здесь властвует богатое и влиятельное польское дворянство. Местное православное крестьянство было угнетено и забито, как нигде в империи и голоса своего не имело. О масштабах панской эксплуатации белорусских крестьян лучше всего говорят данные статистики. Так, в Витебской и Могилевской губерниях в 1804—1849 г. смертность превышала рождаемость.

Впрочем, даже образованные люди многое не знали, ведь в учебнике географии Арсеньева, по которому учились несколько поколений гимназистов, Белоруссия и Правобережная Украина назывались польскими губерниями, а их жители — поляками. До 1840 г. языком делопроизводства в местных канцеляриях был польский, да и после официального введения здесь русского языка из-за нехватки кадров вплоть до 1863 г. позиции польского языка как административного оказывались незыблемыми.

До 1840 г. в Западном крае действовал местный свод законов (Литовский статут), но и после его отмены и распространения на Белоруссию, Литву и Правобережную Украину общеимперского законодательства традиции местного управления сохранялись. Не случайно многие путешественники из Петербурга или русской глубинки чувствовали себя в Белоруссии и на правом берегу Днепра как за рубежом.

Наконец, что придавало польским претензиям особую силу, так это то обстоятельство, что чуть ли не все выдающиеся деятели польской политики и культуры родились именно в Западном крае. Т. Костюшко, А. Мицкевич, Ц. К. Норвид, В. Сырокомля, С. Монюшко, М. Огинский и др. родились далеко за пределами этнографической Польши и были литвинами (ополяченными белорусами и литовцами). Именно в Западном крае находились земельные владения значительной части польской аристократии. Родовые «гнезда» Потоцких, Чарторыйских, Сангушко, Тышкевичей, Ржевусских, Радзивиллов и прочих магнатов, игравших огромную роль в польском движении и при этом тесно связанных с российской и европейской аристократией, также находились восточнее Буга.

По этой причине не приходится удивляться обилию исторических материалов на страницах русской патристической печати в кризисный 1863 г. В значительной мере патриотам удалось добиться успеха. Впоследствии известный либерал, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского, А. Н. Пыпин признавал: «Само русское общество только с восстания 1863 г. вспомнило, что это край русский». Следует заметить, что открыто полемизировать с поляками было сложно из-за проблем с собственной российской цензурой. Именно этим отчасти объясняется обилие материалов о прошлом русско-польских отношений, об истории, этнографии и преобладающем вероисповедании в Западном крае. Попытки прямой полемики с польскими претензиями решительно пресекались.

Однако русские патристически настроенные авторы не сдавались. Еще летом 1862 г., за полгода до восстания, в газете «День» ее редактор И. Аксаков сделал очень удачный ход, поместив на страницах газеты статью поляка Грабовского о праве

Польши на Белоруссию и Украину. Надменный тон поляка произвел отрезвляющее впечатление на многих русских людей, первоначально сочувствовавших мятежникам. Единственным, кто не оценил мастерства И. Аксакова, были официальные власти, и Аксакову пришлось долго и унижительно извиняться за статью Грабовского. После начала боевых действий в Польше и Северо-Западном крае цензура стала особенно беспощадна.

Жертвой цензуры стал и журнал братьев Достоевских «Время». В апрельском номере журнала Н. Н. Страхов поместил под псевдонимом «Русский» первую часть статьи «Рокковой вопрос», в которой были перечислены все требования польской стороны. Это вызвало гнев М. Н. Каткова. Сотрудник «Московских Ведомостей» К. А. Петерсон поместил статью, в которой назвал «Время» «орудием польской интриги» и потребовал закрыть журнал. В результате «Время» действительно было закрыто. Напрасно Н. Н. Страхов доказывал, что он поместил польские требования в первой части своей статьи только для того, что бы опровергнуть их во второй (подобный полемический прием Н. Н. Страхов действительно широко применял, что делало его непобедимым спорщиком). Цензура была неумолима. 1 июня «Время» было закрыто. Через два месяца в «Русском Вестнике» была помещена статья самого М. Н. Каткова, в которой разбиралась статья Н. Н. Страхова, фактически срывавшая все обвинения К. А. Петерсона. Но это не воскресило журнал Достоевских.

Особое внимание уделяли русские патриоты опровержению польской демагогии об освободительном характере своей борьбы. В Западном крае помещичий характер мятежа был наиболее очевиден. Еще перед отменой крепостного права именно польское дворянство Литвы и Белоруссии занимало наиболее непримиримые позиции в крестьянском вопросе. В условиях получения крестьянами, пусть даже и за выкуп, части шляхетских земель, а также при распространении на Западный край всеобщих учреждений, местное польское привилегированное меньшинство теряло экономическую власть в крае. Политической же власти оно не имело уже с падения Речи Посполитой. В этих условиях польское дворянство могло только

силой оружия, воссоздав Польшу, сохранить свое прежнее господство в крае. Катков не постеснялся нанести удар ниже пояса, напомнив, что большинство шляхетских имений заложено в опеку и только восстановление Польши способно обеспечить польскому помещицкому классу господство в Белоруссии.

Реформа 1861 г. в западных губерниях саботировалась польским дворянством. В Литве и Белоруссии сохранялся оброк и все другие повинности, все мировые посредники были из числа местных помещиков. Впрочем, в ряде мест Белоруссии местные крестьяне только от русских солдат узнали, что крепостного права уже нет целых два года! Гильфердинг с полным основанием уподобил польский мятеж восстанию американского рабовладельческого юга, проходившего в это же время в США.

Однако все же главным для патриотической прессы были не исторические изыски, а актуальные проблемы. В частности, М. Н. Катков обращал внимание на пассивность Великого Князя Константина Николаевича в условиях восстания. Весной 1863 г. М. Н. Катков прямо обвинил брата царя в измене! Это было неслыханной дерзостью — никто до этого не мог обвинять в чем-либо особу императорской фамилии! Однако двусмысленная политика наместника в Польше действительно только провоцировала мятеж, и в этих условиях М. Н. Катков не побоялся выступить против брата императора, зная, что в любой момент он может угодить под арест. Всего лишь несколько месяцев назад был арестован Н. Г. Чернышевский. Хотя его обвинили в изготовлении революционных прокламаций, поводом для ареста редактора «Современника» послужили его пропущенные цензурой статьи. Катков вполне мог отправиться в Сибирь вслед за Чернышевским. Но М. Н. Катков сумел свести свою кампанию против Великого Князя к кампании в рамках верноподданейших адресов, посланий и воззваний. В результате Каткову удалось добиться успеха — наместник уехал за границу «на лечение», а командующим в Северо-Западном крае с диктаторскими полномочиями, по предложению Каткова, был назначен генерал М. Н. Муравьев.

Среди множества русских генералов Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866) выделялся своим прошлым — в моло-

дости он участвовал в Отечественной войне 1812 г. и был членом декабристских организаций. Впрочем, главным было не декабристское прошлое генерала (хотя это тоже было умелым пропагандистским шагом Каткова), а его опыт руководства землями края. М. Н. Муравьев предлагал царю уничтожить униатскую церковь и вернуть белорусов в православие, ликвидировать польские учебные заведения в крае, начиная с Виленского университета, и выдвинуть на руководящие посты местных православных белорусов. В период восстания 1830—1831 гг., когда Муравьев был могилевским губернатором, он отчасти реализовал эту программу в вверенной ему губернии.

Три десятилетия спустя М. Н. Катков предложил сделать М. Н. Муравьева диктатором известного ему края. Под давлением общественного мнения, умело направляемым М. Н. Катковым, Александр II назначил М. Н. Муравьева наместником Северо-Западного края, включающего в себя 7 губерний (Могилевскую, Витебскую, Минскую, Виленскую, Ковенскую, Августовскую, Гродненскую). В момент назначения М. Н. Муравьева восстание было на подъеме, отношения с западными державами были обострены до предела. Не случайно, императрица Мария Александровна сказала М. Н. Муравьеву при отъезде в Вильну: «Хотя бы Литву, по крайней мере, мы могли бы сохранить». Собственно Польшу в Петербурге считали уже потерянной. Однако М. Н. Муравьев оказался на высоте положения.

Действовал Муравьев решительно и жестко. 1 мая 1863 г. он был назначен генерал-губернатором, 26 мая прибыл в Вильну в качестве наместника, а уже 8 августа принял депутацию виленского шляхетства с изъявлением покаяния и покорности. К весне 1864 г. восстание было окончательно подавлено. Муравьев при усмирении мятежа применял весьма решительные меры. По приговорам военно-полевых судов 127 мятежников были публично повешены, сосланы на каторжные работы — 972 человека, на поселение в Сибирь — 1427 человек, отданы в солдаты — 345, в арестантские роты — 864, высланы во внутренние губернии — 4096 человек и еще 1260 человек уволены с должности административным порядком, в боях было убито около 10 тыс. мятежников. Кроме того, причастных к мятежу, но

помилованных и освобожденных было 9229 человек. (Впрочем, и поныне существует миф о сотнях тысяч казненных и сосланных поляков.) Усмирение мятежа далось малой кровью: погибло 826 солдат и 348 умерло от ран, болезней или пропало без вести. Погибло также несколько тысяч полицейских, сельских стражников, чиновников, гражданского населения.

Однако Муравьев не только воевал и вешал. Он прибыл в Литву и Белоруссию с определенной программой. Своей задачей генерал-губернатор ставил полную интеграцию края в состав империи. Главным препятствием этого было польское помещичье землевладение. Учитывая, что городское население края состояло в основном из евреев и поляков, единственной опорой русской власти в крае могло быть только белорусское крестьянство.

Следовательно, для полной русификации края требовались поистине революционные меры по искоренению местного дворянства и предоставление политических и социальных прав только что освобожденному крестьянству. Парадоксально, что проводить в жизнь эту политику стал М. Н. Муравьев, имевший репутацию противника освобождения крепостных в 1861 г. Впрочем, это было не только личной инициативой генерал-губернатора. К этому же призывал и А. Ф. Гильфердинг.

М. Н. Муравьев обложил десятипроцентным налогом с доходов шляхетские имения и собственность католической церкви. Помимо этого, дворянство должно было оплачивать содержание сельской стражи. (Можно представить себе ярость панов, оплачивающих стражу из числа своих бывших крепостных!)

Одновременно Муравьев ликвидировал в крае временно-обязанное состояние. Мировыми посредниками назначались православные. Наделы для крестьян были увеличены. Крестьяне Гродненской губернии получили земли на 12 % больше, чем было определено в уставных грамотах, в Виленской — на 16%, Ковенской — на 19%. Выкупные платежи были понижены: в Гродненской губернии — с 2 р. 15 коп. до 67 коп. за десятину, в Виленской — с 2 р. 11 коп. до 74 коп., в Ковенской — с 2 р. 25 коп. до 1 р. 49 коп.. В целом в результате реформ М. Н. Муравьева в Белоруссии наделы крестьян были увеличены на 24%, а подати

были уменьшены на 64,5%. Для усиления русского элемента в крае М. Н. Муравьев ассигновал 5 млн. рублей на приобретение крестьянами секвестрированных панских земель.

О характере реформ Муравьева можно узнать уже по указам, которые выпускал генерал-губернатор. Так, 19 февраля 1864 г. был издан указ «Об экономической независимости крестьян и юридическом равноправии их с помещиками», 10 декабря 1865 г. К. П. Кауфман, преемник М. Н. Муравьева на посту генерал-губернатора, продолжавший полностью его курс, издал красноречивый указ «Об ограничении прав польских землевладельцев». Помимо этого, М. Н. Муравьев издал циркуляр для чиновников «О предоставлении губернским и уездным по крестьянским делам учреждениям принимать к разбирательству жалобы крестьян на отнятия у них помещиками инвентарных земель».

В результате такой политики Муравьева в Литве и Белоруссии действительно произошли серьезные социальные изменения. С весны 1863-го по октябрь 1867 г. в качестве новых землевладельцев в Северо-Западном крае было водворено 10 тыс. семей отставных нижних чинов, землю получили около 20 тыс. семей бывших арендаторов и бобылей, и только 37 семей дворян приобрели в губерниях края новые имения. В последнем случае, видимо, сказалось недоверие Муравьева к возможности помещичьей колонизации, благо печальный пример подобной политики, проводившейся после 1831 г., был перед глазами.

М. Н. Муравьев развернул также строительство русских школ. Уже к 1 января 1864 г. в крае были открыты 389 школ, а в Молодечно — учительская семинария. Эти меры подорвали монополию католической церкви и польского дворянства на просвещение в крае, делавшую его недоступным для белорусов.

Ликвидируя польское помещичье землевладение в Белоруссии, М. Н. Муравьев всячески подчеркивал тот факт, что подавляющее большинство польской аристократии происходило из числа перешедших в католичество еще в XVI—XVIII вв. русских князей прежнего Великого Княжества Литовского. Сотрудник М. Н. Муравьева, известный историк Ксенофонт Говорский в «Вестнике Западного Края» публиковал генеалогические табли-

цы, из которых можно было установить, что практически у каждого панского рода в Белоруссии предки были не только православными, но и нередко архиереями православной церкви.

Русские патриоты вообще подчеркивали, что мятежная шляхта состоит из наследственных предателей, предки которых предали веру и язык, а их наследники теперь предали царя, которому присягнули на верность. На этом основании консерваторы требовали принять самые строгие меры против польского дворянства.

Аналогичные антидворянские меры принимались по усмирению мятежа в Царстве Польском. Более того, поскольку здесь не было русского населения, основную ставку власти сделали на польское крестьянство. Одним из виднейших деятелей Великих реформ, руководившим всеми подготовительными работами, положенными в основу акта 19 февраля 1861 г., был Николай Милютин. Его ближайшим помощником, возглавившим администрацию в Польше и начавшим проводить в жизнь программу широких демократических преобразований, — А. Ф. Гильфердинг.

Свои предложения Н. Милютин высказал царю во время аудиенции 31 августа 1863 г. Получив одобрение, Н. Милютин прибыл в Польшу в должности статс-секретаря Его Императорского Величества для особых возложенных поручений в Царстве Польском. Среди помощников Н. Милютина, кроме Гильфердинга, были также известные славянофилы Ю. Ф. Самарин и князь В. А. Черкасский, непосредственно крестьянской реформой занимался крупный юрист Яков Соловьев, в дальнейшем ставший сенатором.

19 февраля 1864 г. вышел Указ об устройстве крестьянского быта в Царстве Польском. В основе реформы были такие революционные изменения, как переход в собственность крестьян всей земли, которой они фактически владеют (это означало ликвидацию прав собственности шляхты на те крестьянские земли, которые юридически считались шляхетскими, но обрабатывались крестьянами). Вместо множества феодальных платежей для крестьян вводился лишь один фиксируемый поземельный налог, равный 2/3 прежнего чинша. Примерно 200 тыс.

семей безземельных крестьян получили землю за счет конфискованных у мятежной шляхты и католической церкви владений. Весьма важным пунктом аграрной реформы было разрешение перехода крестьянской земли лишь к крестьянам. Данная мера должна была воспрепятствовать скупке земель евреями.

Среди других реформ в Польше можно назвать меры против католической церкви. Были проведены массовые конфискации земель у замешанных в мятеже монастырей, ограничена власть епископов над ксендзами, которые теперь могли найти управу на свое священноначалие. Был также пересмотрен учебный устав, подготовлена судебная реформа.

Таким образом, в Польше реформы носили еще более выраженный социальный характер, чем в Северо-Западном крае.

Подобные реформы могут показаться недостаточно радикальными с позиций сегодняшнего дня. Однако исторически со времен якобинских аграрных преобразований в период Великой Французской революции и до преобразований в западных губерниях Российской империи в Европе не было более решительных социальных реформ в сельском хозяйстве.

Совершенно новым в российской политике была ставка на социальные низы в бунтующих губерниях. Правящие верхи империи всегда боялись «пугачевщины» во всех проявлениях. Не случайно в начале польского мятежа, когда крестьяне подняли бунты против мятежных панов, царские власти принялись было усмирять верноподданных бунтарей. Так, в Радомской губернии Польши крестьяне поднялись против мятежников, но их усмирили с помощью военной силы по приказу наместника Константина Николаевича. Когда в Звенигородском уезде Киевской губернии крестьяне отказались работать на помещиков, примкнувших к мятежникам, то против них были посланы войска.

Как видим, реакция официальных властей было первоначально вполне традиционной. Однако под влиянием публицистов национального направления М. Н. Муравьев не только не стал подвергать репрессиям «бунты против бунтовщиков», но и фактически одобрил их. В результате вместе с правительственными войсками против поляков стали действовать и крестьянские отряды. Во многих местах крестьяне «по-пугачевски»

расправлялись с помещиками. Так, в Витебской губернии крестьяне разгромили имение помещиц Шумович, Водзяницкой, графа Молля и др.

Подобные меры вызывали ярость у русских крепостников, испытывающих чувство классовой солидарности с польским шляхетством. Один из лидеров аристократических конституционалистов граф В. П. Орлов-Давыдов мрачно сетовал: «Общая развязка делами и в Польше, и в России — разорение дворянства, в Польше бунтующего, в России смиренного... Дело в том, что наше правительство ведет войну не столько с Польшей, сколько с дворянством, равно польским и русским».

Несмотря на оппозицию радикалов и крепостников, русские патриоты приветствовали разгром поляков. Не случайно в консервативных кругах сложился настоящий культ личности Муравьева. Поэт А. Фет посвятил Муравьеву стихотворение «Нетленностью божественной одеты...», А. Майков создал стихи «Каткову», «Западная Русь», «Что может миру дать Восток» и др. Когда Муравьев приехал весной 1864 г. в Петербург, то восторженная толпа несла его на руках из железнодорожного вагона до экипажа.

Зато сильное поражение потерпел в 1863 г. русский радикализм. Откровенно антинациональная позиция в «польском вопросе» дорого обошлась Герцену. За 1863 г. тираж «Колокола» упал с 2500 до 500 экземпляров. Больше никогда «Колокол» не имел такого влияния, как в начале 60-х гг.

Хотя правительство во время польского кризиса и действовало под влиянием патриотов, взгляды реформаторов типа М. Н. Муравьева и Н. А. Милютина не стали официальной программой. Это особенно проявилось в дальнейшей судьбе социальных реформ в Северо-Западном крае и Польше.

Давление аристократов, сохранившееся влияние поляков при дворе привели к тому, что программа реформ и в Северо-Западном крае, и в Польше не была полностью выполнена. Как только прошел страх перед общероссийской революцией и войной с европейскими странами, в официальном Петербурге сразу начали менять курс. М. Н. Муравьев получил титул графа Виленского и был в мае 1865 г. уволен в отставку. Сменив-

ший его на посту генерал-губернатора К. П. Кауфман продолжал политику своего предшественника, но и он через год был отправлен завоевывать Туркестан. Новый генерал-губернатор Северо-Западного края А. Л. Потапов ликвидировал почти всю «систему Муравьева». Пытавшийся проводить прежний курс виленский губернатор, знаменитый мореплаватель контр-адмирал Шестаков, был уволен в отставку. Также был смещен с должности попечитель виленского учебного округа Батюшков, пытавшийся продолжать русификацию Северо-Западного края. В июне 1867 г. последовала амнистия для большинства бывших повстанцев. Польские помещики даже стали получать назад конфискованные за участие в мятеже земли. Польское помещичье землевладение сохранилось в Белоруссии до 1917 г., а в Западной Белоруссии — до 1939 г.

Российские крепостники не скрывали ликования. Газета «Весть» после смерти Муравьева в посвященном ему некрологе не удержалась от бестактных и оскорбительных высказываний в адрес покойного графа Виленского. Не случайно вскоре после этого редактора «Вести» Скарятин освистали в Смоленске на обеде в честь открытия железной дороги Витебск — Рославль. Смоленская губерния, граничившая с Северо-Западным краем, на территорию которой также претендовали польские мятежники, отличалась сильными консервативными и патриотическими взглядами местного общества. Даже смоленские «дикие помещики» не разделяли пропольские воззрения в общем-то близких им крепостников «Вести». Впрочем, поддержка «Вестью» польских помещичьих интересов объяснялась не только дворянской солидарностью. В 1869 г., когда полемика «Московских Ведомостей» с крепостниками продолжалась с прежним жаром, М. Н. Катков указал на подтверждаемые официальными источниками факты субсидирования «Вести» польскими помещиками. С протестом против новой политики в Белоруссии выступил вождь славянофилов И. С. Аксаков в газете «Москва». В результате «Москва» была закрыта, а И. С. Аксаков на полтора десятилетия оказался отлучен от публицистики. Вот в каких условиях приходилось действовать национально мыслящим русским людям при отстаивании русских интересов!

Статьи А. Ф. Гильфердинга были примером национальной журналистики, которую отличала не только страсть литератора, но и несомненный дар публициста, совмещающего научность и доступность. Думается, что, учитывая полную неосведомленность русских людей нашего времени в обстоятельствах «домашнего старого спора славян», его статьи по «польскому вопросу» будут интересны и поучительны для современного читателя.

¹ Под этим заглавием здесь перепечатываются три статьи, написанные мною во время последнего польского восстания и помещенные в «Русском Инвалиде», откуда их заимствовала и газета «День». Первая статья, писанная в апреле 1863 г., была озаглавлена: «За что борются русские с поляками». Вторая, относящаяся к июлю того же года, имела заглавием: «В чем искать разрешения польскому вопросу». Третья — «Положение и задача России в Царстве Польском» — писана в декабре 1863 г. Статьи эти носят на себе отпечаток той тревожной поры, в которую они вышли в свет, и мы не сглаживаем с них этого исторического колорита: мы оставляем их в том виде, в каком они явились в разгар борьбы с поляками, хотя многое, что в то время казалось сомнительным, с тех пор окончательно уяснилось, и многое осуществилось, о чем в 1863 г. едва дерзали мечтать.

² Впоследствии редакция «Вестника» перенесена была в Вильну.

³ *Ходачковою* называлась бедная, носившая лапти шляхта, в польских землях, особенно в Великой Польше и Мазовии.

⁴ Bolesław Chrobry. <С. 11>.

⁵ Там же. С. 176.

⁶ Это вполне доказано польским историком г. Шайнохою в его превосходной книге «Jadwiga i Jagiełło».

⁷ Histoire de la Lithuanie et de la Ruthénie jusqu'à leur union définitive avec la Pologne conclue à Lublin en 1569, par Joachim Lelewel, traduit par E. Rykaczewski, avec les notes du traducteur. Paris et Leipzig. 1861. Introd. pag. V et VI.

⁸ Jadwiga i Jagiełło. 2-е изд. С. X.

⁹ Rzut oka na rozwój polityczny i społeczny w Królestwie Polskim od roku 1831 do naszych czasów. Лейпциг, 1862. Брошюра эта приписывалась маркизу Велепольскому.

¹⁰ *Оппозиция его величества* (а не его величеству), в противоположность *правительству его величества*: известные термины английской конституционной жизни.

¹¹ Запутано (*лат.*).

¹² Некоторые из этих лиц, и притом влиятельнейшие между ними, принимали, как потом оказалось, прямое и деятельное участие в революционном движении 1861—1863 гг.

¹³ Правда, что местное положение устанавливало регулирование этих повинностей впоследствии особыми поверочными комиссиями. Но, принимая в соображение, что при обыкновенном ходе дел комиссии эти могли бы состоять почти исключительно из местных дворян и чиновников, т. е. преимущественно поляков, легко усмотреть, что за польским дворянством оставалась выгода не только в отсрочке приведения в действие фактического освобождения крестьян, но и в некоторой гарантии, что все это дело до известной степени останется в его руках.

¹⁴ Бьюкенен, Джеймс — 15-й президент США (1857—1861), симпатизировавший рабовладельцам Юга, в преддверии гражданской войны разместил в южных штатах большие запасы вооружения, которые и стали основным арсеналом мятежников войне. (*Прим. ред.*)

¹⁵ Благо государства — да будет высшим законом (*лат.*).

¹⁶ Прекращение обязательных отношений крестьян к помещикам в означенных трех губерниях совершилось, как известно, Указом 30 июля 1863 г.; а Указом 2 ноября того же года эта мера распространена на Могилевскую губернию и белорусские уезды Витебской губернии.

¹⁷ Подобная мера принята Указом 10 мая 1867 г.

¹⁸ *Journal des Débats* от 15 июля 1863 г.: Les insurgés de Smoienskont fait une diversion et livré avec success, à ce qu'il parait, un combat aux Russes sur la route de Moscou.

¹⁹ Известно, что попытка поляков завоевать Московское государство в начале XVII столетия была первоначально частным

предприятием некоторых магнатов и шляхты и что Польша, как государство, была лишь мало-помалу втянута в это дело.

²⁰ Речь идет об особом порядке управления Царством Польским и Западным краем, установленном весной 1863 г. М. Н. Муравьев в Северо-Западном крае и фельдмаршал граф Ф. Ф. Берг, наместник Царства Польского, имели данные им императором диктаторские полномочия, благодаря которым, не обращая внимания на мнения либеральствующих петербургских бюрократов и «свободной прессы», они смогли провести необходимые реформы, способствующие полной интеграции западной части прежней Речи Посполитой с Российской империей. (Прим. ред.)

²¹ Можно опираться на штык, но нельзя на нем сидеть (фр.) — фраза, приписываемая Талейрану, министру иностранных дел Франции при Наполеоне. (Прим. ред.)

²² Зная Мицкевича как поэта, мы вообще слишком мало обращаем внимание на него как на мыслителя. Между тем он является полным представителем и провозвестником всех тех идей, которые движут поляками и воплощаются в их действиях. Приведу один характеристический пример. В статье по поводу заседания общества русских земель для празднования годовщины бывшего в 1831 г. восстания в Литве, Волыни, Подолии и Украине, статье, написанной 5 апреля 1833 г., под заглавием «О конституции повстанцев», — Мицкевич опровергает мысль, появлявшуюся в польской эмиграции, определить заранее ту форму правления, ту конституцию, которую должна получить Польша, освобожденная от русской власти. Вся конституция польских повстанцев должна состоять, по словам Мицкевича, в следующих немногих статьях, которые я перевожу из его статьи буквально: «Ст. 1. Москаля, служащего Николаю, убивать, ловить, преследовать как можно дальше. Ст. 2. Между повстанцами и Николаем нет никаких условий, договоров, конвенций, перемирий, сношений и т. п. Ст. 3. Каждого *шпега* (шпиона), каждого русского чиновника, угнетавшего поляков, каждого поляка, уличенного в том, что он сторонник России, ловить, судить, казнить. Ст. 4. Революционная власть принадлежит тому, кто ее возьмет. Она более или менее об-

ширна, смотря по многочисленности отдела, ей подчиненного, талантам и счастью вождя. Власть эта остается до тех пор, пока ей повинуются. Ст. 5. Власть, водворившись в городе или местечке, становится законодательною; схватив преступника, превращается в судебную; а если состоит из малого числа повстанцев, сама выполняет свои приговоры. Ст. 6. Подати собираются из добровольных приношений. Кроме того, власть забирает все, что нужно во время войны». (Полн. собр. соч. Мицкевича, парижск. изд. 1860. Т. VI, с. 159). Стоит вместо имени Императора Николая поставить имя Императора Александра II, вместо 1833 г. поставить 1863 г., и в этой, начертанной Мицкевичем «конституции повстанцев», мы будем иметь во всей точности кодекс современного польского восстания.

²³ Можно бы было, опять-таки у Мицкевича, всеобъемлющего представителя польских идей, найти выражение этой наиболее грустной стороны современного полонизма. Вспомним характеристическую сцену в «пане Тадеуше» (книга X), когда после победы, одержанной шляхтою над москалями, пан-судья спрашивает у своего ключника про участь майора (поляка, состоявшего на русской службе), который попался в плен в этом деле и отдан был на попечение ключнику. «Ключник оглянулся кругом, погладил лысину, махнул небрежно рукою, как бы давая знать, что он все устроил»... «Requiescat in pace» (вечный покой), — сказал подкоморий. «Видно, был в этом перст Божий, — прибавил судья, — но я в этой крови невинен, я ничего не знал о том». Тут ксендз (бернардинский монах, заправлявший целым восстанием, раненный в этой стычке с русскими и умирающий), — «ксендз привстал с подушек и сидел насупившись; наконец сказал, взглянув быстро на ключника: «Великий грех убить безоружного пленника! Христос запрещает мстить даже врагу! Ой ключник, ты дашь тяжкий ответ пред Богом. Есть одна *рестрикция* (одно ограничение); если это сделано не из глупого чувства мести, а *pro publico bono* (т. е. для общего блага)». Ключник кивал головою и вытянутой рукою, и, моргая, повторял: 'Pro publico bono!'».

²⁴ Заимствую эти строки из любопытного, но, к сожалению, оставшегося не напечатанным, письма одного поляка из Варша-

вы, по поводу и отчасти в опровержение моей первой статьи о польском вопросе.

²⁵ Убийство нации (*фр.*).

²⁶ До абсурда (*лат.*).

²⁷ Лелевель Иоахим (1786—1861) — польский историк, в период мятежа 1830—1831 гг. был председателем т. н. Патриотического общества, член Верменного правительства. В эмиграции возглавлял организацию «Молодая Польша», связанную с аналогичными «молодыми» европейскими организациями, связанными с масонскими кругами. (*Прим. ред.*)

²⁸ Я не говорю, разумеется, о евреях, а имею в виду собственно поляков.

²⁹ Пушечное мясо (*фр.*).

³⁰ Вот подлинные его слова из печатного его сочинения: «Уничтожьте мысленно невежество и нищету земледельческих масс, и они без потрясения и без удивления сольются с рыцарским сословием (*avec l'ordre équestre*), т. е. со шляхтою; тогда обе составные части польского общества приведутся к одной... По мере того как уменьшаться будет невежество и нищета земледельческих масс, круг рыцарского сословия будет расширяться» и проч. и проч. (*De la nationalité polonaise dans l'équilibre européen, par le général Louis Mieroslawski. Paris. 1856. С. 374, 375*). Вся книга написана в этом смысле; везде шляхетское сословие ставится идеалом демократии и зерном будущей демократической Польши.

³¹ Непременное условие (*лат.*).

³² Духинский Франциск (1817—1880 гг.) — польский «ученый», происходивший из семьи ополяченных малороссов. После поражения мятежа 1831 г. эмигрировал. Был профессором польской школы в Париже и хранителем музея в Швейцарии. Прославился своими псевдонаучными трудами. Основная мысль их заключалась в том, что поляки и «русские» (то есть украинцы) являются арийским народом, а москали — туранским, состоящим из смеси финнов и монголов. «Русь» — это исконная Польша, «русский» (то есть украинский) язык есть диалект польского, а Московия — варварская страна, представляющая угрозу европейской культуры. Только восста-

новленная Польша сможет стать барьером московскому варварству. Естественной границей Европы (и Польши как ее восточного форпоста) могут быть Днепр, Западная Двина. Духинский проповедовал крестовый поход Европы против России, ссылаясь на непримиримый характер европейского арийского и азиатского туранского русского миров. При всей своей антинаучности расистская теория Ф. Духинского получила распространение на Западе, причем некоторые элементы его теории существуют в западной, польской и особенно украинской общественной мысли до сих пор. Разумеется, ту мысль Духинского, что малороссы «самой природой» обречены всегда подчиняться полякам, современные самостийники умалчивают. (*Прим. ред.*)

Литва и жмудь

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 362—385.

Думается, данная статья сохраняет не только чисто историческое значение. Сам А. Ф. Гильфердинг, будучи высокопоставленным чиновником, от которого зависело очень многое в Литве, сделал невероятно многое для того, чтобы литовцы как нация вообще сохранились. В самом деле, хотя современные литовцы и любят говорить о своей «многовековой государственности» и о своей стране, которая доходила до Черного моря, но реальная история была не такой оптимической, и в первой половине XIX столетия большинство литовцев почти полностью ассимирировались поляками. Практически все дворянство, католическое духовенство и почти все городское население полностью ополячилось. Только в глухих деревнях на болотах еще сохранялся литовский язык. Впрочем, правильнее сказать, что сохранялся местный говор, относившийся к балтийской группе индоевропейских языков. Фактически никакого литовского языка, если понимать под ним определенное единство словарного состава и развитые литературные нормы, до 60-х гг. XIX века просто не существовало.

Это напоминание может вызывать удивление у русских людей, которые помнят со школьной скамьи скудные строчки из учебника истории, в которых говорится о том, как западные русские земли были присоединены к некоей Литве, а потом в этих же землях вдруг оказались украинцы и белорусы. Действительность была менее интересной. Великое княжество Литовское, существовавшее с начала XIV века до 1569 г., было русским государством, которым правила династия Гедиминовичей. Сами литовцы вовсе не были правящим народом, и в целом территория собственно Литвы была дальней окраиной государства. Нынешние литовцы, страдающие всеми комплексами маленьких наций, вдохновляют себя воспоминаниями о своем великом прошлом, скромно умалчивая о том, что к Великому княжеству Литовскому их предки имеют такие же отношения, как корсиканцы к наполеоновской Франции. Действительно, все подданные Гедиминовичей называли себя литвинами или литвой, если же надо было подчеркнуть свою этническую особенность, то православные славяне называли себя русскими, а язычники (а затем католики) из балтских племен назывались жмудью (от названия самого крупного из литовских племен жемайтов). Современным литовцам, считающим себя цивилизованными европейцами, очень неприятно напоминание, что в белорусском и польском фольклоре существует масса юмористических рассказов о жмуди, напоминающих современные анекдоты про чукчу, а само слово «жмудь» означает у белорусов дикаря или примитивного, ограниченного человека. Когда после отмены крепостного права многие белорусы стали переселяться в Сибирь, то они по привычке стали называть жмудью сибирских аборигенов. Когда в начале XX века некоторое количество белорусов переселилось в Южную Америку, то они и индейцев стали называть жмудью. Кстати, хулиганов, пьяниц и драчунов белорусы называют «гед-вигой», а то и просто «литвой».

Показательно, что государственным языком Литвы были сначала русский, а после объединения с Польшей в 1569 г. — польский. В самой Литве существовало множество местных диалектов и говоров, не имевших письменной фиксации. Уже после деятельности Гильфердинга, на рубеже XIX—XX веков,

собиравший в Литве диалектологический материал выдающийся русский лингвист Ф. Ф. Фортунатов отмечал, что в Литве через каждые 10—15 верст говорят по-своему. Впрочем, даже и сейчас литовский язык имеет два диалекта, каждый из которых имеет по три наречия. Подобное явление присуще всем языкам, долгое время не имевших ни своей письменности, ни литературы.

Полтора века тому назад не существовало никакой литовской нации. Обычно предков нынешних литовцев делили на литву (именно так, с маленькой буквы), под которой понималось все католическое население Виленской губернии, в том числе и принявшие католицизм белорусы, и на жмудь (жемайты), населявшую территорию Ковенской губернии.

Хотя, начиная с XVI века, как отмечал А. Ф. Гильфердинг, время от времени появлялись отдельные книги на литовском языке, написанные латинским алфавитом польского образа (что совершенно не соответствовало фонетике литовских говоров), фактически никакого литературного языка у литовцев не было. И это несмотря на то, что в Восточной Пруссии издавали качественные грамматики литовского языка (точнее, его восточнопруссских диалектов). Во многом это объяснялось тем, что немцы выпускали литовские книги на немецком латинском алфавите, а часть даже готическим шрифтом.

Польское влияние привело к тому, что многие литовцы и жмудины приняли активное участие в восстании 1863 г., сражаясь за своих польских хозяев. В 1864 г., после усмирения мятежа виленский генерал-губернатор М. Н. Муравьев, по рекомендации А. Ф. Гильфердинга, ввел употребление русского кириллического алфавита в литовский язык. Был разработан алфавит из 32 букв, и началась значительная книгоиздательская деятельность. Почти всеобщая неграмотность литовцев успешно ликвидировалась. Согласно переписи 1897 г., около половины всех литовцев в возрасте 10 лет и старше были грамотными. По этому показателю Виленская и Ковенская губернии были в числе наиболее образованных в России. Польское культурное влияние в Литве было в значительной степени подорвано. Литовцы стали чувствовать себя нацией. Разумеется,

в сегодняшней «независимой» Литве все это именуется «национальным угнетением».

Впрочем, одновременно придется признать, что мероприятия Гильфердинга в Литве, обеспечив такие успехи, в целом привели к парадоксальным результатам. Католическая церковь встретила кириллицу в штыки. В немецкой Восточной Пруссии был организован массовый выпуск литовских книг на латинском алфавите немецкого образца. Пользуясь тем, что граница была практически неохрняема, эти книги контрабандой распространялись в литовских губерниях. Содержание этих книг было достаточно примитивной польско-католической пропагандой, но, имея вкус запретного плода, действительно получили определенное хождение в Литве. В 1904 г. литовская кириллица была отменена. Это объяснялось тем, что в 1901—1904 гг. рядом ученых-филологов Петербургского университета была проведена реформа имеющихся на тот момент вариантов литовской письменности на латинском алфавите и разработано новое правописание, учитывающее характерные особенности литовской речи. Новый литовский алфавит, существующий и поныне, имеет 32 буквы, то есть является, в сущности, вариантом того алфавита, который был создан в 1864 г. при участии Гильфердинга, только с измененной графикой. Досадно, что в современной Литве деятельность Гильфердинга, спасшего жмудин и литву от окончательного ополячивания, расценивается отрицательно. Это все проявления прибалтийского комплекса «европейскости», которым страдают малые нации бывшей Российской империи.

¹ По данным, помещенным в атласе г. Эркерта.

² Кроме того, литовское племя захватывает северный конец Гродненского уезда Гродненской губернии; литвинов там 2800 человек.

³ Точная этнографическая граница между жмудью и верхними литвинами, сколько нам известно, еще никем не определена; мы можем только сказать, что жмудью называется по преимуществу западная часть Ковенской губернии по р. Невяжу. Впрочем, г. Юшкевич отличает в литовском языке, кроме

говоров жмудского и верхнелитовского, еще говоры ейрегольский и прусско-литовский (см. его статью «О говорах литовского языка», в прибавл. к Известиям II Отд. Акад. Наук, 1858 г., материалы, том V).

⁴ За исключением евреев (племени семитического), народов финно-турецкого поколения (в том числе и мадьяр) и, наконец, басков, происхождение которых составляет до сих пор загадку.

⁵ **Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów, przez Ludwika z Pokiewia.** Вильно. 1846 г.

⁶ Литовское племя в Пруссии сосредоточено преимущественно в округах Мемельском и Гейдекругском и распространяется также на округа Нидерунгский, Тилзитский, Рагнитский, Пилькаленский и Сталупененский, уступая, однако, в этих последних мало-помалу первенство немецкой народности. Округа Лабиауский, Инстербургский, Гумбиненский и Гольдапский, в прошлом столетии еще представлявшие население литовское, теперь почти совершенно онемечились (Шлейхер, «Litthauische Grammatik», с. 3).

⁷ Король Фридрих-Вильгельм I до такой степени заботился о приготовлении в литовском языке возможно большего числа образованных деятелей, что он не ограничился в этом отношении одним Кенигсбергским университетом и приказал учредить также литовские классы при университете в Галле (см. предисловие к Литовско-немецкому словарю Ругига, 1747 г.). Нам не удалось, впрочем, отыскать сведений о том, была ли эта последняя мера вполне осуществлена и какие она принесла практические плоды.

⁸ Уже в XVI столетии (1579—1590) пастор Бретке перевел в Кенигсберге всю Библию на литовский язык; но его труд остался в рукописи.

⁹ В особой статье Гейльсберга, предпосланной к словарю Мильке.

¹⁰ Кант, очевидно, намекает на поляков.

¹¹ Известный географ и историк, автор важного для истории северных государств в Европе, в особенности России, «Исторического и географического Магазина», умерший в 1773 г.

¹² В то время, когда кенигсбергский философ писал это, Пруссия владела половиною нынешнего Царства Польского, доставшегося ей по третьему разделу Польши; вместе с тем под властью Пруссии находилась тогда и та часть населенного литовским племенем края, которая теперь составляет северную оконечность Августовской губернии.

¹³ Кант имеет тут в виду немецкий язык.

¹⁴ См. Кеппена — о языке и литературе литовских народов. Привожу эту статью по польскому ее переводу, помещенному Леоном Рогальским в *Dzienniku Wilénskiem* за 1828 г. (Т. V. С. 430).

¹⁵ Даукша Николай (Микалаюс) (1527—1613) — католический священник, в 1595 г. перевел на литовский язык Катехизес, ставший первой литовской книгой. Также сделал ряд переводов с польского. (*Прим. ред.*)

¹⁶ Ширвид (Сирвидас) Константин — (1580—1631) — литовский лексикограф, издавший в 1620 г. польско-литовско-латинский словарь. До середины XIX века это единственный литовский словарь, отпечатанный в Литве. (*Прим. ред.*)

¹⁷ В порочном кругу (*фр.*)

¹⁸ Это было писано в 1862 г.

¹⁹ Нет сомнения, что *русский* язык не имеет доселе грамматики, которая по своим достоинствам могла бы сравниться с литовскою грамматикою г. Шлейхера.

Россия и ее инородческие окраины на западе

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 388-404.

Финляндия, которой посвятил свою статью Гильфердинг, занимала уникальное положение в Российской империи. После победы России в войне со шведами 1808—1809 гг. Финляндия была присоединена к России, но не как несколько новых губерний, а как почти независимое Великое Княжество Финляндское, имевшее свое правительство, парламент (Сейм), армию, денежную единицу. С Россией Финляндию связывала только династи-

ческая уния — самодержавный император Всероссийский был одновременно конституционным Великим князем Финляндским. Правда, Финляндия была весьма спокойной окраиной. Здесь не было никаких мятежей и долгое время даже каких-либо организованных сепаратистских движений. Финны ценили российское господство, обеспечившее им столетие мира и процветания.

Однако более полувека после 1809 г. в культурной и политической жизни Финляндии господствовали местные шведы. Среди шведской аристократии княжества существовало движение за возвращение в состав Швеции. В этих условиях имперские власти в 1860-е годы начали активно развивать культуру собственно финнов. Как раз в 1863 г. финский язык стал одним из государственных языков княжества. Так постепенно началось развитие финского языка и культуры, приведшее как к крушению надежд Швеции вернуть себе Финляндию, так и парадоксальным образом к росту финского антирусского национализма. Это во многом объяснялось тем, что, развивая финское самосознание, власти Российской империи, вопреки мнению Гильфердинга, не делали никаких попыток к полной интеграции княжества в состав России.

¹ В 1865 г. Указ подписан 20 февраля того года.

² Само собою разумеется, что это относится к высшим сферам тогдашнего русского общества, а не к тем, которые находились более или менее под влиянием народа и его жизни. Даже и в высших сферах были отрадные исключения, например Карамзин и другие.

³ I-е П. С. З. Т. XXX, № 23 883.

⁴ I-е П. С. З. 1808 г. Т. XXX, № 22 911.

⁵ Указ 12 декабря 1796 г., см. в I-м П. С. З. Т. XXIV, № 17 637.

⁶ Чтения Импер. Москов. Общ. Ист. и Др. 1865 г., кн. III: «Движения латышей и эстов в Ливонии с 1841 года». «Справка по делу о присоединении к православию крестьян прибалтийских губерний». См. также кн. 1 и 2 того же издания за 1865 г.

⁷ Известно, что большая часть пособий, назначенных в вознаграждение убытков, понесенных русскими в 1812 г., доста-

лась польским помещикам Западного края, приветствовавшим Наполеона как своего избавителя и всячески ему помогавшим. Царство Польское получило конституцию, которая ставила его в привилегированное перед Россией положение; самая же конституция эта была вся составлена в пользу шляхты и не давала никаких политических прав народу.

⁸ Самое разительное подтверждение этого представляет нам история Литвы в те века, когда события вывели ее на поприще самостоятельной политической деятельности (в XIII и XIV вв.). Как только Литва сделалась государством, народность литовская в нем утратилась; собственный литовский край имел так мало значения для князей, создавших это государство, что герой Литвы, Витовт, мог без сопротивления отдать Прусскому ордену самое зерно коренной Литвы, Жмудь, для того только, чтобы орден развязал ему руки для других предприятий.

⁹ Цифры по Эркерту:

	Эстляндия	Лифляндия	Курляндия
немцев	25 000	95 000	60 000
латышей		960 000	460 000
эстов	260 000	410 000	
русских	12 000	15 000	9000
других племен	6000	4000	47 000

Заметим, что цифры эти наиболее благоприятные для германизма. По Шницлеру, немцев в трех прибалтийских губерниях не 180 000, а только 118 000, именно: в Эстляндии — 18 000, в Лифляндии — 60 000, в Курляндии — 40 000.

¹⁰ Если только оно не состоит из случайной агломерации, как, например, Швейцария и Австрия.

Древний Новгород

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 407—445.

В своей научной критической статье, разбирая работы о древнем Новгороде известного ученого Н. И. Костомарова,

допускавшего много тенденциозно истолкованных и просто выдуманных сведений, нарушавших этику ученого, Гильфердинг высказал свой взгляд на природу уникального политического, социального и культурного образования, каким был Великий Новгород.

¹ Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русский историк, отличавшийся крайне непостоянными суждениями относительно русской истории. (*Прим. ред.*)

² В прусском катехизисе XVI в., единственном памятнике, оставшемся от языка древних прусов, мы находим выражение: Prūsiskai, по-прусски; en Prūsiskan tautan, в Прусской земле (см. *Нессельмана; Die Sprache der alten Preussen*).

³ Самое слово *Пруссия* есть позднейшее, книжное, произведенное от имени народа, прус, прусы.

⁴ См. в особенности *Теппена* (Тоеppen): *Historisch-comparative Geographie von Preussen*. Gotha. 1858.

⁵ Том. I. С. 27.

⁶ Не считаю нужным входить в особый разбор мнений г. Костомарова о Пскове, потому что в общих чертах взгляд на историческое значение Пскова обуславливается взглядом на Новгород; что же касается до частных, отличавших характер Пскова от характера его старшего брата, то мне здесь невозможно останавливаться на них.

⁷ Исторические монографии и исследования Н. Костомарова. 1863 г.

⁸ О значении Великого Новгорода и пр. Историч. монографии. Т. I. С. 382.

⁹ Этот взгляд особенно ясно представлен в приведенной статье г. Костомарова «О значении Великого Новгорода в русской истории».

¹⁰ Мысли о федеративном начале в Древней Руси. «Основа». Январь 1861. С. 158.

¹¹ Немецкое население, занимающее в настоящее время все окраины Чехии, водворилось там, как известно, в довольно позднее историческое время, преимущественно же в XVII веке.

¹² Все сказанное здесь относится к Чехии в собственном смысле, а не к землям, которые с течением времени вошли в состав *короны* чешской, т. е. Моравии, Силезии и Лузации. Между ими и Чехией установилась не федеративная связь, как ее хотят видеть у нас в «удельно-вечевом укладе», а связь династическая, какая была, например, в прежнее время между Англией и Шотландией, между Австрией и Венгрией и какую мы видим теперь между Россией и Финляндией, Швецией и Норвегией и т. п.

¹³ В форме *катун*.

¹⁴ Я оставляю здесь в стороне Болгарию, потому что естественный ход ее исторического развития, даже до вторжения турок, был два раза пресекаем внешнею силою, которая в конце X и потом вторично в XI веке не только лишила Болгарию политической независимости, но обратила ее совершенно в завоеванную провинцию Византийской империи.

¹⁵ Эта племенная рознь выступала не раз и в первую эпоху государственного объединения славянских народов, не раз и в эту эпоху являлись попытки дробления на уделы. Но в то время общий порыв к единству, только что овладевший страною, не давал укорениться этим попыткам.

¹⁶ Далее певец Слова о Полку Игореве поясняет свою мысль, почему он так жалеет, что старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам Киевским: «теперь, продолжает он, его стяги *разделены*: одни Рюриковы, другие Давидовы».

¹⁷ Chron. Polonorum (Перец. XI. С. 436):

Heu, heu, Boleslave, cur nos pater deseris?

Deus talem virum umquam mori cur permiseris?

Cur nou prius nobis unam simul mortem dederis?

¹⁸ Краледворская рукопись: Песнь о Яромире и Олдрихе. Приведенные слова относятся к восстановлению в Чехии единодержавной власти князя Яромира после кратковременного дробления страны, последовавшего за смертью Болеслава II и смутами, сопровождавшими это раздробление.

¹⁹ См. в особенности столь замечательные, по своему ученому изложению, «Geschichte der deutschen Kaiserzeit» Виль-

гельма Гизебрехта, «Deutsche Geschichte» Макса Вирта и его же «Geschichte der deutschen Einheit».

²⁰ Так называли этот город датчане; славянская форма его имени в точности неизвестна; по предположению Шафарика, эта форма была *Rarog*. Город лежал, как видно, у Висмарского залива.

²¹ Для собраний этого совета имелось особое общественное здание, называвшееся *континна*, от слова *кут* (с носовым звуком), по-польски *kał*.

²² Например, в Щетине два раза в неделю.

²³ К исправлениям, сделанным в этом тексте Иорнанда Шафариком и другими, позволю себе прибавить и свою догадку. После *Navego* мы читаем другое имя: *Athual*, или по другим спискам *Athaul*. Эта последняя форма так похожа на славное у готов имя *Ataulf*, что трудно воздержаться от предположения, не приноровилось ли под пером иорнандовых переписчиков к этим знакомым звукам слово, имевшее совсем другой вид, именно *Althua*, которое соответствовало бы скандинавскому названию Ладоги, *Aldaga*?

²⁴ Известие, встречающееся в некоторых списках нашей древней летописи, что Рюрик *сруби городок над Волховом и прозва и Новгород*, если оно имеет какое-нибудь историческое основание, может относиться только к построению варяжским князем, в подчинившемся ему торговом городе, какого-нибудь укрепленного двора, какие имел, например, князь поморян в торговых городах своей земли, или даже особого укрепления для обеспечения своей власти над городом. Последний случай представляется нам на Балтийском поморье в X веке, когда скандинавские викинги, подчинив себе славянский торговый город Волын или Юлин, выстроили себе там укрепление, служившее им притоном и защитой, Иомсбург. Что же касается до того, будто Рюрик дал своему городку на Волхове *наименование* Новгорода, то это очевидный <вымысел>, придуманный для объяснения имени: *Новый* — город. Это известие должно быть поставлено наряду с сказанием о построении Волына Юлием Цезарем (вследствие того, что этот город назывался немцами Юлин) и другими т. п. баснями.

²⁵ Нельзя не заметить, что в «Севернорусских народоправствах» встречаются слишком часто черты, которые более годятся для исторического романа, чем для истории. Так, г. Костомаров говорит, что после Шелонской битвы новгородские послы стояли перед великим князем «с плаксивыми минами» (т. I, с. 190). Почему известно, что у них были именно плаксивые мины, а не выражение стоического хладнокровия, достойного сраженных республиканцев? Иван Васильевич перед отъездом в поход посещал соборы «с обыкновенным невозмутимо-спокойным и благочестивым лицом» (с. 184). Разве его лицо, в такую решительную для всей его державы минуту, не могло быть, напротив, расстроенным? «Иван казался очень весел»; «он в видимо-хорошем расположении духа уехал на Городище» (стр. 207); другой раз, «он принимал вид соболезнования» (с. 215), — кто подметил все эти черты?

²⁶ Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej. Ч. II. С. 301.

Сельская община

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. С. 448—478.

Русская община много веков была основой социального устройства на Руси. Именно это обстоятельство вызывало неприятие общины у различных западников во властных структурах Российской империи. Вскоре после падения крепостного права западнические либералы начали кампанию с требованием отменить, в том числе, если и понадобится, грубой силой, общинную организацию русского народа. Славянофилы, в том числе и Гильфердинг, решительно выступили в защиту общины, справедливо указывая, что община защищает крестьян от Колупаевых и Разуваемых, не дает окончательно широким массам русских людей превратиться в бесшлюсовых, лишенных всякой собственности и прав пролетариев. При этом ряд патриотически настроенных русских деятелей также были настроены против общины. Великий охранитель М. Н. Катков, полемизируя со славянофилами, писал, что дух

русского народа проявил себя не в создании общины, а в создании государства. То, что великое государство вряд ли было создано без общинной организации русского народа, Катков упускал. Зато парадоксальным образом в защиту общины выступали революционеры-народники, видевшие в общине ячейку будущего социалистического общества. В целом дискуссии об общине шли еще несколько десятилетий, вплоть до коллективизации 30-х гг. Думается, что мнение Гильфердинга может служить примером научной честности и глубокого патриотизма в публицистике.

¹ Статья писана в начале 1865 г., по поводу появлявшихся в то время в некоторых газетах наших мнений о необходимости уничтожения сельской общины как учреждения, противного будто бы принципу экономической свободы.

² Джефферсон Дэвис (1808—1889) — американский политик, сторонник рабовладения, президент Конфедеративных Штатов Америки, государства, созданного рабовладельцами юга в период Гражданской войны 1861—1865 гг. (*Прим. ред.*)

³ В Царстве Польском населенность следующая: в губ. Варшавской — 54 души на 1 кв. версту, в Радомской — 54, в Плоцкой — 38, Люблинской — 37 и Августовской — 30 душ на кв. версту; из великороссийских губерний: в Московской — 51, Курской — 45, Тульской — 43, Рязанской — 38, Калужской — 37, Орловской — 36, Пензенской — 35, Воронежской, Тамбовской и Ярославской по 32 души на кв. версту.

⁴ Рабская война (*лат.*).

⁵ Если наше законодательство тоже определяет число рабочих часов в ремесленных цехах (Уст. ремес. Ст. 159), то это, очевидно, не имеет никакого соотношения с пролетариатом и есть следствие той искусственной регламентации ремесленного производства вообще, которое лежит в основании всего цехового устройства в России.

⁶ Выражение прежнего у нас закона: Св. зак. Изд. 1857 г. Т. IX. Ст. 1109.

⁷ Статья г. Иванишека «О древних сельских общинах в юго-западной России» («Русск. Беседа». 1857. Кн. III)

представляет нам предсмертные, так сказать, проявления древнего общинного быта на Волыни во второй половине XVI в.

⁸ «Русское государство в половине XVII века». Изд. Безсонова. Т. I. С. 247, 328. Т. II. С. 320. То же замечание повторяется и в других местах (Т. I. С. 236. Т. II. С. 319).

⁹ Известны постановления Ивана Грозного в пользу самоуправления общин.

¹⁰ Мы говорим здесь, разумеется, только о казачестве малороссийском. Великорусское казачество осталось, вообще, гораздо ближе к первоначальному типу земской общины и, между прочим, сохранило начало общинного поземельного владения. Оно и не обнаружило той исключительности, как казачество малороссийское, и не заключало в себе тех зародышей быстрого разложения.

¹¹ Захаров. «Поземельная собственность в Китае» — во 2-м т. Трудов Росс. Дух. Миссии в Пекине.

¹² Duncker, Geschichte des Alterthums. II, 104.

¹³ Eugène Bonnemère: Histoire des paysans. II, 499: «L'une des plus hautes et des plus complètes intelligences de l'antiquité, Aristote, était convaincu que l'esclavage était une institution sociale légitime et nécessaire et que le travail était impossible sans esclaves. Au moyen âge les esprits les plus éminents étaient convaincus que le servage était juste et indispensable. Aujourd'hui l'on est convaincu, au même titre, que le morcellement agricole et le salariat sont l'idéal et le dernier mot des institutions sociales.... La loi nouvelle de l'industrie a-t-elle réalisé sur cette terre un si séduisant Eden, qu'il faille déployer nos tentes et nous y arrêter sans espoir? Puisque la condition des travailleurs a changé sans cesse pour s'améliorer toujours, et que chacune de ces améliorations a sonné l'heure d'une grande et bienfaisante transformation sociale, ainsi que Chateaubriand l'établît avec raison, pourquoi ce qui n'a jamais cessé de progresser serait-il subitement frappé d'immobilisme, pourquoi le travailleur, qui a été tour à tour esclave, serf et salarié, ne serait-il pas appelé à devenir associé? Qui donc osera prendre la voix de Dieu pour dire à l'humanité, qui toujours marche: Tu n'iras pas plus loin».

¹⁴ Это всего яснее выразалось в известном взгляде русского крестьянства на землю и эпоху крепостного права: «Мы господские, а земля наша — мирская».

¹⁵ Мы разумеем здесь, конечно, только круговую поруку в отношении к общественным и государственным обязанностям, т. е. ту круговую поруку, которая логически истекает из идеи поземельной общины и коренится в народном быте. Мы совершенно устраним круговую поруку в делах уголовных, как вовсе не зависящую от общинного быта; это не что иное, как полицейская мера, которая принималась почти везде, и при общинном быте, и вне этого быта, для воспособления недостатку или несовершенству административных средств к предупреждению и преследованию преступлений.

¹⁶ Самый осязательный пример такого отвлеченного приложения идеи круговой поруки представляет Англия в своем налоге для бедных, poor-tax.

¹⁷ Система эта, со своей стороны, зависит от характера наших податей.

¹⁸ В «Губернских Ведомостях», где печатаются постановления присутствий по крестьянским делам, можно найти сотни дел о землях, купленных в прежнее время крестьянами-общинниками в личную собственность и которыми они владели как частным своим имуществом, оставаясь членами общины и пользуясь общинным наделом.

¹⁹ Об этом говорится во многих, печатавшихся в 1862—1864 г. постановлениях Пермского присутствия по крестьянским делам на основании представлений местных здоровых посредников. Нам пришлось слышать, что в замене личного (подворного) пользования общинным уже ощущается также народом потребность в некоторых местах белорусских губерний, где поземельная община была, в недавнее время, уничтожена стараниями польских панов.

²⁰ Любопытно, что даже в Североамериканских Штатах, где еще так мало причин развиться социалистическим идеям, путешественники замечают завистливое расположение бедных к их богатым согражданам, которые часто принуждены бывают скрывать в наружности проявление своего достатка.

²¹ В малороссийском казачестве, которое, как мы говорили выше, утратило поземельную общину, и напротив того, заключало в себе зародыши социалистических идей, вражда бедных против богатых играла, как известно, важную роль.

²² Материалы редакц. комис. 2-е изд. Т. III. Кн. I. С. 229.

²³ Это выражение употреблено было Тверским губернским комитетом в мнении большинства его членов (см. Материалы редакц. комис. 2-е изд. Т. III. Кн. I. С. 169).

Олонецкая губерния и ее народные рапсоды

Текст печатается по изданию: Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, собранные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.—Л. 1949. Т. 1. С. 29—84.

Одним из достижений русской науки XIX века было открытие русского былинного эпоса. А. Ф. Гильфердинг сыграл в этом выдающуюся роль. До 1860-х гг. русская просвещенная публика почти ничего не знала о существовании на Русском Севере сохранившихся с времен Киевской Руси былин. Вообще с русским народным творчеством в петербургской империи были знакомы очень мало. Лишь изданные в 1804 г. сборник былин, духовных стихов и лирических песен Кирши Данилова немного знакомил публику с культурой народа. Хотя за период с 1831 по 1856 гг., вплоть до своей смерти, неустанно собирал, проходя пешком целые губернии, народные песни Петр Киреевский (брат выдающегося философа), но из 10 тыс. собранных им песен при его жизни были опубликованы только 67!

В начале 1860-х гг. Павел Николаевич Рыбников, сосланный в Олонецкую губернию за участие в революционном кружке, собрал на севере большое количество былин и народных песен. С помощью Гильфердинга эти былины стали публиковаться, произведя настоящую сенсацию. Возникла мода на древнерусские мотивы в живописи и литературе, выдающийся филолог и славянофил по своим взглядам, еще один русский немец, Орест Миллер, по-немецки аккуратно систематизировал полученный былинный материал, который лег в основу его

курса древней русской литературы. Композитор Н. А. Римский-Корсаков использовал былинный речитатив, который он слышал от народного сказителя Трофима Рябинина, при написании оперы «Садко». Гильфердинг не только помог Рыбникову как ученый, но и сам отправился на север. Как уже говорилось, он собрал 318 былин и погиб во время второго путешествия за народным словом.

Предлагаем вам статью, являвшуюся предисловием к собранию онежских былин, в котором А. Ф. Гильфердинг высказывает свои оригинальные взгляды на народное искусство и специфику Русского Севера.

¹ Рыбников Павел Николаевич (1831—1885) — выдающийся русский фольклорист, собравший на Русском Севере более 200 народных былин, вошедшие в 4 т. собр., изданное в 1861—1867 гг.

² См. «Заметку» его (Т. III, С. IX): «Шунгские туземцы смотрели на старину не совсем доброжелательно. Их занимала только религиозная старина, и тут у меня подтвердилось замечание, сделанное мною еще в Черниговской губернии: где сильно разовьется старообрядчество, там народ интересуется памятниками поэзии и вообще искусства лишь настолько, насколько они причастны религиозной области и насколько они поддерживаются обычаем, возымевшим силу с XVII века. К мирским песням ревностные староверы большею частью относятся еще с тем настроением, которое вызвало в аскетах Древней Руси такого рода запрещение: «песней сатанинских не пети и мирских людей не соблазнять». Потому в Повенецком уезде слышно едва-едва про двух-трех сказителей».

³ Рябинин, Кузьма Романов, Прохоров, Паромский старик (т. е. Иван Сивцев), Бутылка (т. е. Абрам Евтихийев), Сорокин, Федотов (т. е. Дутиков), Иевлев, Потахин (т. е. Потап Антонов), Щеголёнок, Корнилов, Сарафанов, Никитин, Михайло Богданов (т. е. Михайло Иванов), Лукин и слепой Иван (т. е. Иван Фепонов). К этому числу следует прибавить еще упоминаемую в сборнике г. Рыбникова «племянницу Щеголёнка» (т. е. Прасковью Гавриловну Юхову из дер. Ятовщины Кижской волости): она мне пела

былины, но их уже так плохо помнила и так путала, что я с ее слов ничего не решился записать.

⁴ Леонтий Богданов, Трофим Романов, Василий Лазарев, Амосов и Савинов.

⁵ Для сличения приводим начало этой былины, как ее усвоила себе кенозерская крестьянка, и печатный текст Щербины:

**«Иово и Мара»
в устах Матрены Меньшиковой**

Были юные Ово и девушка Мара
 Двое с трех лет выростали,
 Одною водицей умывались,
 Одним полотном утирались,
 Один же сон ночью видали,
 Так любю друг другу в очи смотрели,
 И как солнце в глубокое море.
 Ован-от был удал из удалых,
 И не простого — господского рода.
 А Мара-то была сиротка,
 И столь была гибка, как ель молодая,
 И мало было веку любить эту Мару.
 Как не видишь, так та́к и заболеешь,
 А увидишь, так вылечит разом.
 В пору уж было Иове жениться,
 Девушке Маре можно уж выйти и замуж.
 Спрашивает юные Ово:
 «Душа моя Мара,
 Любишь ли меня, мое сердце,
 Как я держу тебя на мыслях?»
 Потихоньку Мара ему отвечала:
 «Юные Ово, перо дорогое!
 Дороже очей ты мне своих,
 Как мать сына у сердца ношу я».
 Выслушал эти речи неприметные сторож,
 Донес он Овановой майки,

Печатный текст

Двое милых, любясь, выростали:
 Юный Иово да девушка Мара,
 С малолетства от третьего года;
 Их увидишь, — так радостно станет:
 Скажешь, это василек со тмином.
 Умывались одною водою,
 Утирались одним полотенцем,
 Любо в очи друг-другу глядели,
 Будто солнце в глубокое море;
 Пели песню одну вечерами,
 Темной ночью один сон видали.
 Впору Иове уж было жениться,
 Можно было отдать Мару замуж...
 Вырос Иово — удал из удалых,
 Красотою — красивей девицы.
 Мара — слова для Мары не сыщешь!
 И на свете такой не бывало!..
 Не увидишь очей ее лучше,
 Тоньше стана ее не найдется,
 Миловидна, что горная вила,
 А гибка-то, что ель молодая.
 Год на Мару гляди — и все мало,
 Мало б веку любить эту Мару!
 Как увидишь ее — заболеешь,
 А посмотрит — так вылечит разом.
 Но сироткой была наша Мара,
 Иово ж был из богатого рода,
 Не простого — господского рода,

Говорит-де Овану эта майка:
 «Юные Ово, перо дорогое!
 Забудь ты и думать об этой дев-
 чонке:
 Дают за тебя лучше и краше,
 Дают-де Отлагича Злата Фатиму.
 Не видала, что солнце, что ме-
 сяц,
 Не видала, как поля зеленеют,
 Не видала муравки на поли,
 Не видала мужчины ни разу,
 И к тому же богатого рода,
 И не простого — господского
 рода,
 Богатство во время тебе приго-
 дится ...»

Раз он Маре, вздохнувши, про-
 молвил:
 «Так ли любишь меня, моя Мара,
 Как люблю я тебя, мое серд-
 це?»
 Тихо Мара ему отвечала:
 «Милый Иово, ты глаз мне до-
 роже,
 Завсегда ты на мыслях у Мары!
 Как мать сына, ношу тебя в
 сердце...»
 Их подслушал незаметный сто-
 рож. —
 Мать Иована те слышала речи;
 Злясь на Мару, сказала Иовану:
 «Милый Иово, перо дорогое!
 Позабудь ты об этой девчонке...
 Есть невеста и лучше, и краше:
 То — Фатима, Атлагича злато.
 Фата с детства взлелеяна в клетке,
 И не знает, что солнце, что месяц,
 Не видала, как хлеб зеленеет,
 Не видала муравки на поле,
 Не видала ни разу мужчины, —
 А к тому ж и богатого родя,
 И в подмогу богатством согдит-
 ся...»

⁶ Г. Рыбников обратил внимание на эту черту былин Со-
 рокина и писал: «Обилие подробностей, некоторая расплывчи-
 вость, богатство эпизодов, соединение многих былин в одну —
 у Сумозерского певца (дело идет о Сорокине) ясно указывает
 промысел сказителя, содержателя постоянного двора; чем дол-
 ше длится былина, тем ему выгоднее: обязательные слушате-
 ли рады лежа слушать до позднего вечера» (Т. IV. «Заметка».
 С. XXXVI). Я должен оговорить ошибку, в которую впал почтен-
 ный собиратель по невольному недоразумению. Андрей Со-
 рокин никогда не был содержателем постоянного двора и даже
 крайне удивился, когда я его спросил об этом; в местности, где
 он живет, нет ни одного постоянного двора. Но дер. Сумозеро
 единственная на протяжении 60 верст, отделяющих Водлозеро

от гор. Пудожа; потому все проезжающие по этому направлению принуждены в ней ночевать и пользуются для того гостеприимством сумозерских крестьян, между прочим и Сорокина, у которого есть своя изба. Оттого г. Рыбников мог подумать, что он содержит постоянный двор. Впрочем, не только прием проезжих не составляет промысла для Сорокина, который живет исключительно хлебопашеством и с гордостью показывал мне большие пространства «нив», расчищенных его руками из-под лесу, но обстоятельство, что он живет в таком проезжем месте, как Сумозеро, не могло повлиять на склад его былин, ибо он переселился в эту деревню уже взрослым работником (его принял в дом теть), а родился и вырос в деревушке Ценежах у Пудожа.

⁷ Такое же неправильное толкование и в словаре Даля: поленица — удалцы, ватага шалунов, наездники, разбойники; поленица удалая — шайка, вольница.

⁸ См. №№ 77 и 81. Если в былине о королевичах из Крякова (№ 87) Рябинин, по-видимому, смешивает поляницу с богатырем мужского пола, то это произошло очевидно оттого, что часть этой былины, в которой говорится о полянице, есть почти буквальная вставка из другой былины, изображающей борьбу Ильи Муромца с настоящею поляницею — его дочерью (№ 77).

⁹ По списку, доставленному П. О. Бутеневым.

¹⁰ Если читатель потрудится сравнить эти строки с напечатанными в сборнике г. Рыбникова (Т. I. С. 54), то он заметит, как размер исчезал вследствие того, что былина записывалась им пословесно и только поверялась по напеву («Заметка». Т. III. С. XIX), а не списывалась непосредственно с голоса. Вот соответствующее место у г. Рыбникова:

*Старый казак Илья Муромец
Поехал на добром коне
Мимо Чернигов град.
Под Черниговым силушки черным-черно,
Черным-черно, как черна ворона.
Припустил он коня богатырского
На эту силушку великую,
Стал конем топтать и копьём колоть,*

*Потоптал и поколол силу в скором времени,
И подъехал он ко городу ко Чернигову.
Приходят мужики к нему Черниговцы,
Отворяют ему ворота в Чернигов град
И зовут его в Чернигов воеводую.*

Из того ли то из города из Муромля,
Из того села да с Карачирова,
Выезжал удаленькой, дородний добрый молодец.
Он стоял заутрену во Муромли
А й к обеденке поспеть хотел он в стольней Киев град,
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнанó-то силушки черным-черно,
А й черным-черно, как черна ворона,
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добрóm кони никто тут не проезживат,
Птица черный ворон не пролетыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоей,
Он как стал-то эту силушку великую,
Стал конем топтать да стал копьем колоть,
А й побил он эту силу всю великую.
Ен подъехал-то под славный под Чернигов град.
Выходили мужички да тут черниговски
И отворяли-то ворота во Чернигов град,
А й зовут его в Чернигов воеводую.

*Говорит им Илья таковы слова:
— А й же вы, мужики Черниговцы!
Нейду я к вам в Чернигов воеводую;
А скажите-ка мне дорогу прямоезжую,
Прямоезжою дорогу в стольно-Киев-град.
Говорили ему мужички Черниговцы:
— А й же, удаленький дородний добрый молодец,
Славный богатырь свято-русский!
Прямоезжею дорожкой в Киев пятьсот верст,*

Окольною дорожкой цела тысяча.
 Прямоезжая дороженька заколодила,
 Заколодила дорожка, замуравела;
 Серый зверь тут не прорыскиват,
 Черный ворон не пролетыват:
 Как у тоя у Грязи у Черныя,
 У тоя у березы у покляпяя,
 У славного креста у Леванидова,
 У славненькой у речки у Смородинки,
 Сидит Соловей разбойник Одихмантьев сын.
 Свищет Соловей он по соловьему,
 Воскричит-то он, злодей, по звериному:
 Темны лесушки к земле преклоняются,
 Что есть людюшек, все мертвы лежат.

Говорит-то им Илья да таковы слова:
 — А й же мужички да вы Черниговски,
 Я не иду к вам во Чернигов воеводую.
 Укажите мне дорожку прямоезжую,
 Прямоезжую да в стольний Киев град.
 Говорили мужички ему Черниговски:
 — Ты удаленькой, дородний добрый молодец,
 А й ты славныя богатырь святорусский!
 Прямоезжая дорожка заколодела,
 Заколодела дорожка, замуравела.
 А й по той ли по дорожке прямоезжою
 Да й пехотою никто да не прохаживал,
 На добром кони никто да не проезживал.
 Как у той ли то у грязи-то у Черной,
 Да у той ли у березы у покляпяи,
 Да у той ли речки у Смородины,
 У того креста у Леванидова,
 Сиди Соловей розбойник во сыром дубу,
 Сиди Соловей розбойник Одихмантьев сын,
 А то свищет Соловей да по солovieму,
 Ен кричит злодей розбойник по звериному.
 Й от него ли-то от посьвисту солovieго,

Й от него ли-то от по́крыку зверинаго
 То все травушки муравы уплетаются,
 Все лазуревы цветочки отсыпаются,
 Темны лесушки к земли вси приклоняются,
 А что есть людей, то вси мертвы лежат.

¹¹ В сборнике г. Рыбникова (Т. I. С. 122) это место читается так по списку г. Бутенева, записанному, как рассказывал сам Ев-тихийев, с «пословесной» передачи былины:

Добрынюшке матушка говорила:
 — Что молод начал ездить во чисто поле,
 На тую гору Сорочинскую,
 Топтать-то молодых змиеньшей,
 Выручать-то полонов русских.
 Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки.
 Пучай-река есть свирипая:
 Средня струйка как огонь сичет.
 Добрынюшка матушки не слушался.

.....
 Как был он во чистом поли,
 На тых горах на высоких,
 Потоптал младых змиеньшей,
 Повыручил полонов русских,
 Богатырско его сердце пожаделося,
 Пожаделося и распотелося.
 Он приправил своего добра коня,
 Добра коня до Пучай-реки,
 Слезает он скоро с добра коня,
 Снимал с себя платье цвитное,
 Забрел за струечку за первую
 И забрел за струечку за среднюю.
 И сам говорил таково слово:
 — Мне Добрынюшки матушка говаривала,
 Мне Никитичу матушка наказывала, —
 Что не ездиди далече во чисто поле,
 На тую гору Сорочинскую,

Не топчи-ко младых змиенышей.
Не выручай полонов русских,
Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки,
Что Пучай-река есть свирипая:
Середня струйка как огонь сичет.
А Пучай-река есть кротка, смирна:
Она будто лужа дождевая.
Как в тую пору в то время
Ветра нет, тучу наднесло,
Тучи нет, а только дождь дождит,
Дождя-то нет, искры сыпятся, —
Летит Змиище-Горынчище
О двинадцати змия о хоботах.
Хочет змия его с конем сожечь,
Сама говорит таково слово:
— Теперича Добрыня в моих руках,
Захочу — Добрыню теперь потоплю,
Захочу — Добрыню в хобота возьму,
В хобота возьму и на Русь возьму,
Захочу — Добрыню съем-сожру.
Добрынюшка плавать горазд он был:
Нырнет на бережек на тамошний,
Нырнет на бережек на здешний.

¹² Т. е. Тотьюмою.

¹³ Частица, сложенная из *то* и приставки *ко*, употребляется вместо *то* или *тут*.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Славянские народы в Австрии и Турции	32
Венгрия и славяне	47
Чем поддерживается православная вера у южных славян? ...	92
Дух народа сербского.....	119
Славянские народности и польская партия в Австрии.....	129
Взгляд западных славян на Россию	143
Письмо к г. Ригеру в Прагу о русско-польских делах.....	157
Польский вопрос.....	168
Литва и жмудь	252
Россия и ее инородческие окраины на западе.....	278
Древний Новгород.....	296
Сельская община	341
Олонецкая губерния и ее народные рапсоды.....	376
Комментарии.....	430

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редакторы Л. К. Молотилова, Т. В. Линицкая
Корректор Н. Н. Самойлова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 02.06.2009 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 23,4 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*

Русское Православие *(выйдет в 2009 г.)*

Русское государство *(вышел)*

Русский патриотизм *(вышел)*

Русское мировоззрение *(вышел)*

Русский образ жизни *(вышел)*

Русская география

Русское хозяйство *(вышел)*

Международные отношения

Национальные отношения

Русская литература *(вышел)*

Русское искусство

Русский театр

Русская музыка

Русская наука

Русская школа

Русское воинство

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

- Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

- Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.

Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с. т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги Института русской цивилизации можно приобрести в Москве: в книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул. 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова 14, тел. 8(499)-186-93-78) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)